

М. ГОРЬКИЙ

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ИМ. А. М. ГОРЬКОГО

М. ГОРЬКИЙ
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ТРИДЦАТИ ТОМАХ

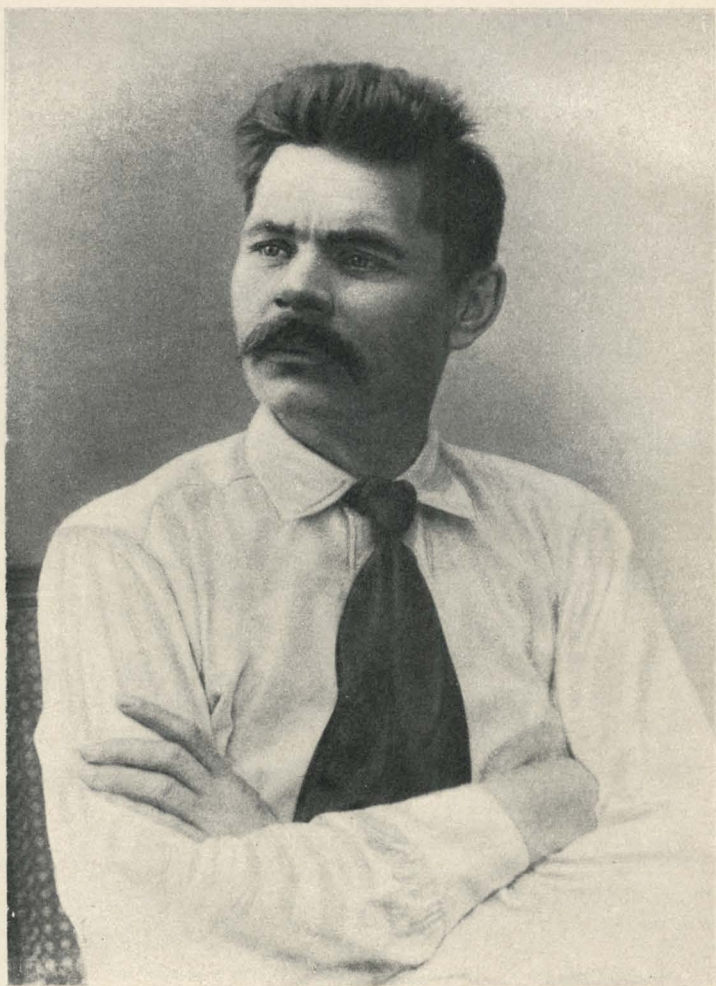
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1950

М. ГОРЬКИЙ

ТОМ 8

ПОВЕСТИ

1907 — 1909



А. М. ГОРЬКИЙ
Капри. 1907—1908 гг.

ЖИЗНЬ
НЕНУЖНОГО ЧЕЛОВЕКА

I

Когда Евсею Климову было четыре года — отца его застрелил полесовщик, а когда ему минуло семь лет — умерла мать. Она умерла вдруг, в поле, во время жатвы, и это было так странно, что Евсей даже не испугался, когда увидал ее мертвой.

Дядя Петр, кузнец, положив руку на голову мальчика, сказал:

— Чего будем делать?

Евсей покосился в угол, где на лавке лежала мать, и тихонько ответил:

— Я не знаю...

Кузнец вытер рукавом рубахи пот с лица, долго молчал, а потом тихонько оттолкнул племянника.

— Эх ты, старичок...

С того дня мальчика стали звать Старичком. Это шло к нему: ростом он был не по годам мал, двигался вяло, говорил тонким голосом. На его костлявом лице уныло торчал птичий нос, пугливо мигали круглые, бесцветные глаза, редкие желтые волосы росли вихрами. Ребятишки в школе смеялись над ним и колотили его — совиное лицо его почему-то раздражало здоровых и бойких детей. Он сторонился от них и жил одиноко, всегда где-то в тени, в уголках и ямках. Круглыми глазами, не мигая, он смотрел оттуда на людей, незаметный, опасливо съежившийся. Когда же глаза уставали, он закрывал их и долго сидел слепой, тихонько раскачивая хилое, легкое тело. Он старался также незаметно держаться и в семье дяди, но

здесь это было трудно, — приходилось обедать и ужинать вместе со всеми, а когда он сидел за столом, младший сын дяди, Яков, толстый и румяный, всячески старался задеть или рассмешить его, делал гримасы, показывал язык, толкал под столом ногами и щипал. Рассмешить не удавалось, но часто Евсей вздрагивал от боли, его желтое лицо серело, глаза широко раскрывались, ложка в руке дрожала.

— Ты чего, Старичок? — спрашивал дядя Петр.

— Это меня Яшка, — без жалобы, ровным голосом объяснял мальчик.

Если дядя Петр давал Яшке подзатыльника или дергал его за волосы, — тетка Агафья, оттопырив губы, сердито гудела:

— У-у, ябедник...

А потом Яшка находил его где-нибудь и долго, усердно бил. Евсей относился к побоям как к неизбежному, жаловаться на Яшку было невыгодно, потому что, если дядя Петр бил сына, тетка Агафья с лихвой возмещала эти побои на племяннике, а она дралась больше Яшки. Поэтому, когда Евсей видел, что Яшка идет драться, Старик бросался на землю, крепко, как мог, сжимал свое тело в ком, подгибая колени к животу, закрывал лицо и голову руками и молча отдавал бока и спину под кулаки брата. И всегда, чем терпеливее выносил он побои, тем более распалялся Яшка, порою он даже плакал и, пиная ногами тело брата, сам кричал:

— Мокрица окаянная, — реви!

Как-то раз Евсей нашел подкову и подарил ее Яшке, потому что тот все равно отнял бы находку. Смягченный подарком, Яшка спросил его:

— Больно я тебя давеча побил?

— Больно! — ответил Евсей.

Яшка подумал, почесал голову и сказал:

— Ну ничего, — пройдет!

Он ушел, а его слово что-то задело в душе Евсея, и он повторил вполголоса и с надеждой:

— Пройдет...

Однажды он видел, как бабы-богомолки растирали усталые ноги крапивой, он тоже попробовал потереть ею избитые Яшкой бока; ему показалось, что крапива сильно

уменьшает боль, и с той поры после побоев он основательно прижигал ушибленные места пушистыми листьями злого, никем не любимого растения.

Учился он плохо, потому что в школу приходил насыщенный опасениями побоев, уходил из нее полный обид. Его страх быть обиженным был ясен и вызывал у всех неодолимое желание надавать Старику тумачков.

У Евсея оказался алыт, учитель взял его в церковный хор. Дома пришлось бывать меньше, но зато он чаще встречался с товарищами по школе на спевках, а все они дрались не хуже Яшки.

Старая деревянная церковь понравилась ему, в ней было множество темных уголков, и его всегда жутко тянуло заглянуть в их уютную, теплую тишину. Он тайком ждал, что в одном из них найдет что-то необычное, хорошее, оно обнимет его, ласково прижмет к себе и расскажет нечто, как, бывало, делала его мать. Иконы были черные от долголетней копоти, осевшей на них, и все святые лики, добрые и строгие, одинаково напоминали бородатое, темное лицо дяди Петра.

А в притворе церкви была картина, изображавшая, как святой поймал чорта и бьет его. Святой был темный, высокий, жилистый, с длинными руками, а чорт — красненький, худощавый недоросточек, похожий на козленка. Сначала Евсей не смотрел на чорта, ему даже хотелось плюнуть на него, а потом стало жалко несчастного чертенка, и, когда вокруг никого не было, он тихонько гладил рукой искаженную страхом и болью козлиную мордочку нечистого.

Так впервые родилось у мальчика чувство жалости.

Нравилась ему церковь еще и тем, что в ней все люди, даже известные крикуны и буяны, вели себя тихо и покорно.

Громкий говор пугал Евсея, от возбужденных лиц и криков он бежал и прятался, потому что однажды, в базарный день, видел, как мужики сначала говорили громко, потом начали кричать и толкать друг друга, а потом кто-то схватил кол, взмахнул им, ударил. Тогда раздался страшный вой, визг, многие бросились бежать, сбили Старику с ног, и он упал лицом в лужу, а когда вскочил, то

увидал, что к нему идет, махая руками, огромный мужик и на месте лица у него — ослепительно красное, дрожащее пятно. Это было так страшно, что Евсей взвизгнул и вдруг точно провалился в черную яму. Нужно было опрыскивать его водой, чтобы он пришел в себя.

Пьяных он тоже боялся, — мать говорила ему, что в пьяного человека вселяется бес. Старику казалось, что этот бес — колючий, как еж, и мокрый, точно лягушка, рыжий, с зелеными глазами. Он залезает в живот человека, ездит там — и оттого человек бесится.

Было в церкви еще много хорошего. Кроме мира, тишины и ласкового сумрака, Евсею нравилось пение. Когда он пел не по нотам, то крепко закрывал глаза и, сливая свой голос с общей волной голосов так, чтобы его не было слышно, приятно прятал куда-то всего себя, точно сладко засыпал. И в этом полусонном состоянии ему всегда казалось, что он уплывает из жизни, приближается к другой, ласковой и мирной.

У него родилась мечта, которую он однажды высказал дяде такими словами:

— А можно так жить, чтобы и ходить везде и все видеть, только бы меня никто не видал?

— Невидимкой? — спросил кузнец.

И, подумав, ответил:

— Надо полагать — нельзя этого.

С той поры, как все село стало звать Евсея Стариком, дядя Петр называл его сиротой. Во всем человек особенный, кузнец и пьяный был не страшен, он просто снимал с головы шапку, ходил по улице, размахивая ею, высоким заунывным голосом пел песни, улыбался, качал головой, а слезы текли из его глаз обильнее, чем у трезвого. Евсею казалось, что его дядя самый умный и добрый мужик в селе и с ним можно говорить обо всем, — часто улыбаясь, он почти никогда не смеялся, говорил же не торопясь, тихо и серьезно. Иногда в кузнице он говорил как бы сам для себя, не замечая племянника или забыв о нем, — это особенно нравилось Евсею. В речах своих он всегда спорил с кем-то, кого-то увещевал.

— Окаянная, — не сердясь и негромко ворчал он, — ненасытная ты собачья пасть! Али я не работаю? Вот — глаза себе высушил, ослепну скоро — чего еще надо? Рас-

проклятая ты жизнь-судьба тяжелая, — ни красы, ни радости...

Было похоже, как будто крестный складывал песни, и Евсею казалось, что кузнец видит того, с кем говорит.

Однажды он спросил:

— Ты с кем говоришь?

— Говорю с кем? — повторил кузнец, не взглянув на него, потом, улыбаясь, ответил: — С глупостью со своей говорю...

Но беседовать с крестным удавалось редко, в кузнице всегда был кто-нибудь посторонний и часто вертелся круглый, точно кубарь, Яшка, заглушая удары молотка и треск углей в горне звонким криком, — при Яшке Евсей не смел заглядывать к дяде.

Кузница стояла на краю неглубокого оврага; на дне его, в кустах ивняка, Евсей проводил все свободное время весной, летом и осенью. В овраге было мирно, как в церкви, щебетали птицы, гудели пчелы и шмели. Мальчик сидел там, покачиваясь, и думал о чем-то, крепко закрыв глаза, или бродил в кустах, прислушиваясь к шуму в кузнице, и когда чувствовал, что дядя один там, вылезал к нему.

— Что, сирота? — встречал кузнец, прищуривая глаза, смоченные слезами.

Однажды Евсей спросил кузнеца:

— Нечистая сила ночью в церкви бывает?

Подумав, кузнец ответил:

— Чего ей не бывать? Она везде пролезет, ей легко...

Мальчик приподнял плечи и круглыми глазами пылливо ощупал темные углы кузницы.

— Ты их не бойся, бесов-то! — посоветовал дядя.

Евсей вздохнул и тихо ответил:

— Я не боюсь...

— Они тебе не вредны! — уверенно объяснил кузнец, отирая глаза черными пальцами. Тогда Евсей спросил:

— А как же бог?

— А что он?

— Зачем бог чертей в церковь пускает?

— Ему что? Бог церквам не сторож...

— Он там не живет?

— Бог-то? На что ему! Ему, сирота, везде место. Церковь — это для людей...

— А люди для чего?

— А люди — они, стало быть... вообще, для всего! Без людей не обойдешься, — н-да...

— Они — для бога?

Кузнец искоса посмотрел на племянника и не сразу ответил:

— Конечно...

Потом потер руки о передник и, глядя в огонь горна, заговорил:

— Я этих делов не знаю, сирота... Ты бы учителя спросил. А то — попа...

Евсей вытер нос рукавом рубахи, ответив:

— Я боюсь их...

— Лучше бы тебе не говорить про этакое! — серьезно посоветовал дядя Петр. — Мал ты. Ты гуляй себе, здоровья нагуливай... Жить надо здоровому; если не силен, работать не можешь, — совсем нельзя жить. Вот те и вся премудрость... А чего богу нужно — нам неизвестно.

Замолчав, он подумал, не отрывая глаз от огня, потом продолжал, серьезно и отрывисто:

— С одного края — ничего не знаю, с другого — не понимаю! «Вся премудростью сотворил еси», говорится...

Он оглянул кузницу и, заметив в углу мальчика, сказал:

— Чего жмешься? Говорю — иди, гуляй...

А когда Евсей робко пошел вон, кузнец прибавил вслед ему:

— Искра попадет в глаз тебе, будешь кривой. Кому кривого надо?

При жизни мать рассказала Евсею несколько сказок. Рассказывала она их зимними ночами, когда метель, толкая избу в стены, бегала по крыше и все ощупывала, как будто искала чего-то, залезала в трубу и плачевно выла там на разные голоса. Мать говорила сказки тихим сонным голосом, он у нее рвался, путался, часто она повторяла много раз одно и то же слово — мальчику казалось, что все, о чем она говорит, она видит во тьме, только — неясно видит,

Беседы дяди Петра напоминали Евсею материнские сказки; кузнец тоже, должно быть, видел в огне горна и чертей, и бога, и всю страшную человеческую жизнь, оттого он и плакал постоянно. Евсей слушал его речи, легко запоминал их, они одевали его сердце в жуткий трепет ожидания, и в нем все более крепла надежда, что однажды он увидит что-то не похожее на жизнь в селе, на пьяных мужиков, злых баб, крикливых ребятишек, нечто ласковое и серьезное, точно церковная служба.

У соседей кузнеца была слепая девочка Таня. Евсей подружился с нею, водил ее гулять по селу, бережно помогал ей спускаться в овраг и тихим голосом рассказывал о чем-то, пугливо расширяя свои водянистые глаза. Эта дружба была замечена в селе и всем понравилась, но однажды мать слепой пришла к дяде Петру с жалобой. Она заявила, что Евсей напугал Таню своими разговорами, теперь девочка не может оставаться одна, плачет, спать стала плохо, во сне мечется, вскакивает и кричит.

— Что он ей наговорил — понять нельзя, но только она все о бесах лепечет и что небо черное, в дырках, а сквозь дырья огонь видно, бесы в нем кувыркаются, дразнят людей. Разве можно такое младенчику рассказывать?

— Поди сюда! — позвал дядя Петр племянника.

И когда Евсей тихо подошел из угла, он, положив ему на голову тяжелую жесткую руку, спросил:

— Говорил ты это?

— Говорил.

— Зачем?

— Не знаю...

Кузнец, не снимая руки, оттолкнул голову мальчика и, глядя ему в глаза, серьезно сказал:

— Разве небо черное?

Евсей тихонько пробормотал:

— А какое же, если она не видит?..

— Кто?

— Танька...

— Да! — сказал кузнец и, подумав, спросил: — А огонь черный? Это ты зачем выдумал?

Мальчик молчал, опустив глаза.

— Ну, говори, — чай, не бьют тебя! Зачем ты ей это-
кое болтаешь, ну?

— Мне ее жаль, — шопотом ответил Евсей.

Кузнец легонько отодвинул его в сторону и сказал

— Больше с ней разговаривать не моги, слышал? Никогда. Ты, тетка Прасковья, будь покойна! Дружбу эту мы нарушим.

— Трепку бы дать ему! — посоветовала мать слепой. — Девочка жила тихо, никому не мешала, а теперь отойти от нее нельзя...

Когда Прасковья ушла, кузнец молча взял Евсея за руку, вывел его на двор и там спросил:

— Говори теперь толком — зачем ты пугал девочку?

Голос дяди звучал негромко, но строго. Евсей струсил и быстро, заикаясь, стал оправдываться:

— Я — не пугал, я только так, — она все жалуется: я, говорит, только черное вижу, а ты — все... Я и стал говорить ей, что все черное, чтобы она не завидовала... Я вообще не пугал...

Он всхлипнул, чувствуя себя обиженным. Дядя Петр тихо засмеялся.

— Дурак! Ты бы подумал — ведь она всего три года как ослепла, — ведь не слепой она родилась, после оспы это у нее. Значит, помнит она, что как светит. Экий ты глупый!

— Я не глупый, — она мне поверила! — возразил Евсей, вытирая глаза.

— Ну, ладно. Только ты не водись с ней... Слышишь?

— Не буду...

— А что плачешь — это ничего! Пусть думают, будто я тебя побил.

Кузнец толкнул Евсея в плечо и, усмехаясь, добавил:

— Жулики мы с тобой...

Тогда мальчуган ткнулся головой в бок ему, спрашивая дрожащим голосом:

— За что меня все обижают?

— Не знаю, сирота! — ответил дядя, подумав.

Обиды стали приносить мальчику едкое удовольствие, в нем туманно назревало убеждение, что он не такой, как все, потому его и обижают.

Село стояло на пригорке. За рекою тянулось топкое болото. Летом, после жарких дней, с топей поднимался лиловатый душный туман, а из-за мелкого леса всходила на небо красная луна. Болото дышало на село гнилым дыханием, посылало на людей тучи комаров, воздух ныл, плакал от их жадной суеты и тоскливого пения, люди до крови чесались, сердитые и жалкие.

Ночами по болоту плутали синие дрожащие огни, горворилось, что это бесприютные души грешников; люди сокрушенно вздыхали, жалея о них, а друг друга не жалели.

Но они могли жить дружно и весело, — Евсей однажды видел это.

У богатого мужика Веретенникова загорелся ночью овин; мальчик выбежал на огород, влез на ветлу и с нее смотрел на пожар.

Казалось ему, что в небе извивается многокрылое, гибкое тело страшной, дымно-черной птицы с огненным клювом. Наклонив красную, сверкающую голову к земле, птица жадно рвет солому огненно-острыми зубами, грызет дерево. Ее дымное тело, играя, вьется в черном небе, падает на село, ползет по крышам изб и снова пышно, легко вздымается вверх, не отрывая от земли пылающей красной головы, все шире разевая яростный клюв.

Перед лицом огня все люди стали маленькими, черными. Они брызгали на него водой, тыкали в пламя длинными шестами, вырывая из зубов пылающие снопы, топтали их ногами и тоже кашляли, фыркали, чихали, задыхаясь в жирном дыму. Кричали, выли, сливая свои голоса со свистом и воем огня, и всё ближе надвигались на него, окружая красную голову черным живым кольцом, точно затягивая петлю на шее ее. Петля разрывалась там и тут, ее снова связывали и все крепче, более узко, стягивали; огонь свирепо метался, прыгал, его тело пухло, надувалось, извиваясь, как змея, желая оторвать от земли поиманную людьми голову, и, обессилев, устало и угрюмо падало на соседние овины, ползало по огородам, таяло, изорванное и слабое.

— Дружней! — кричали люди, подбадривая один другого.

— Воды! — звенели голоса женщин.

Женщины стояли цепью от пожара до реки, все рядом, чужие и родные, подруги и враги, и непрерывно по рукам у них ходили ведра с водой.

— Живо, бабы! Милые — живо!

Было приятно и весело смотреть на эту хорошую, дружную жизнь в борьбе с огнем. Все подбодряли друг друга и хвалили за ловкость, силу, ругались ласково, крики были беззлобны — казалось, что при огне все увидели друг друга хорошими и каждый стал приятен другому. А когда, наконец, они победили огонь, им стало весело. Запели песни, засмеялись, захвастали друг перед другом своей работой, стали шутить, пожилые добыли водки и немножко выпили с устатка, а молодежь почти до утра гуляла по улице, и все было хорошо, как во сне.

Евсей не слышал ни одного злого крика, не заметил сердитого лица; все время, пока горело, никто не плакал от боли и обиды, никто не ревел звериным ревом дикой злобы, готовой на убийство.

На другой день он сказал дяде Петру:

— Как вчера хорошо было...

— Н-да, сирота, хорошо!.. Еще немного — слизнул бы огонь половину села.

— Я — про людей! — пояснил мальчик. — Про то, как дружно взялись. Вот бы всегда так жить им, — всегда бы горело!

Кузнец подумал и удивленно спросил:

— То есть, это выходит — чтобы всегда пожары были?

И, строго взглянув на Евсея, сказал, грозя ему пальцем:

— Ты, голова, гляди, не выдумай чего, на грех! Ишь ты, — пожары ему приятны!

II

Когда Евсей кончил учиться, кузнец сказал:

— Куда ж теперь приделать тебя? Здесь ты ни к чему. Вот поеду мехи покупать, сведу тебя, сирота, в город.

— Сам повезешь? — спросил Евсей.

— Сам. Жалко тебе будет село покидать?

— Нет. Тебя — жалко...

Кузнец сунул в горн кусок железа и, поправляя щипцами угли, задумчиво отозвался:

— Меня жалеть нечего, я — большой... Мужик, — как все.

— Ты лучше всех! — тихо молвил Евсей.

Дядя Петр, должно быть, не слышал его слов, он не ответил, вынул из огня раскаленное железо, прищурил глаза и стал ковать, брызгая красными искрами. Потом вдруг остановился, медленно опустил руку с молотом и, усмехаясь, сказал:

— Поучить бы тебя надо чему-нибудь...

Евсей насторожился, ожидая поучения. Но кузнец снова сунул железо в огонь, вытер слезы на щеках и, глядя в горн, забыл о племяннике. Пришел мужик, принес лопнувшую шину. Евсей спустился в овраг, сел там в кустах и просидел до заката солнца, ожидая, не останется ли дядя один в кузнице. Этого не случилось.

День отъезда из села стерся в памяти мальчика, он помнил только, что когда выехали в поле — было темно и странно тесно, телегу сильно встряхивало, по бокам вставали черные, неподвижные деревья. Но чем дальше ехали, земля становилась обширнее и светлее. Дядя всю дорогу угрюмился, на вопросы отвечал неохотно, кратко и невнятно.

Ехали целый день, ночевали в маленькой деревне, ночью кто-то долго и хорошо играл на гармонике, плакала женщина, порою сердитый голос вскрикивал:

— Молчи!

И матерно ругался.

Дальше поехали тоже ночью. Две собаки провожали их, с визгом катаясь во тьме вокруг телеги, а когда выехали из деревни, в лесу, с левой стороны от дороги, угрюмо жалобно кричала выпь.

— Дай бог на счастье! — пробормотал кузнец.

Евсей заснул и проснулся, когда дядя легонько постукивал его кнутовищем по ногам.

— Гляди, сирота, — эй!

Сонным глазам мальчика город представился подобным огромному полю гречихи; густое, пестрое, оно тянулось без конца, золотые главы церквей среди него — точно желтые цветы, темные морщины улиц — как межи.

— Ого-о! — сказал Евсей, когда присмотрелся.

Город, вырастая, становился все пестрей. Зеленый, красный, серый, золотой, он весь сверкал, отражая лучи солнца на стеклах бесчисленных окон и золоте церковных глав. Он зажигал в сердце ожидание необычного. Стоя на коленях, Евсей держался рукою за плечо дяди и неотрывно смотрел вперед, а кузнец говорил ему:

— Ты живи так — сделал, что назначено, а сам в сторону. Бойких людей опасайся: из десятка бойких — один, может, добьется, девять — разобьется.

Говорил он нерешительно, как будто сомневаясь — то ли говорит, что нужно? Евсей слушал его чутко, серьезно, ожидая услышать какие-то особенные слова против опасностей новой жизни.

Кузнец вздохнул и продолжал более твердо, более уверенно:

— Меня, сирота, один раз чуть розгами не выпороли в волости, да. Женихом был я в то время, — мне венчаться надо, а они меня — пороть! Им это все равно, они чужих делов не разбирают. А то губернатору жалобу подавал я — три с половиной месяца в остроге держали, — кроме побоев. Большие побои перенес, даже кровью харкал, и глаза вот с той поры слезятся. Один полицейский, рыжеватый такой, небольшого роста, чем-то все по голове меня тюкал.

— Ну, — тихонько сказал Евсей, — ты про это не говори...

— Да ведь чего еще скажешь? — воскликнул дядя Петр с усмешкой. — Нечего, сирота, сказать-то.

Евсей уныло опустил голову.

Встречу им подвигались отдельные дома, чумазые, окутанные тяжелыми запахами, вовлекая лошадь и телегу с седоками все глубже в свои спутанные сети. На красных и зеленых крышах торчали бородавками трубы, из них подымался голубой и серый дым. Иные трубы высовывались прямо из земли; уродливо высокие, грязные, они дымили густо и черно. Земля, плотно утоптанная, казалась пропитанной жирным дымом, отовсюду, тиская воздух, лезли тяжелые, пугающие звуки, — ухало, гудело, свистело, бранчливо грохало железо...

Дядя сказал:

— Это еще не город, это — фабрики.

Втянулись в широкую улицу, застроенную деревянными домами. Окрашенные в разные краски, пожилые, коренастые, они имели вид мирный и уютный. Особенно хороши были дома с палисадниками, точно подпоясанные зелеными фартуками, чистые и веселые.

— Сейчас приедем! — сказал кузнец, поворачивая лошадь в узкий проулок. — Ты, сирота, не бойся...

Он остановил лошадь у открытых ворот большого дома, спрыгнул на землю и ушел во двор. Дом был старый, весь покривился, под окнами выпучило бревна, окна были маленькие, тусклые. На большом, грязном дворе стояло много пролеток, четыре мужика, окружив белую лошадь, хлопали ее ладонями и громко кричали. Один из них, круглый, лысый, с большой желтой бородой и розовым лицом, увидав дядю Петра, широко размахнул руками и закричал:

— А-а!

...В тесной и темной комнате пили чай, лысый хохотал и вскрикивал так, что на столе звенела посуда. Было душно, крепко пахло горячим хлебом. Евсею хотелось спать, и он все поглядывал в угол, где за грязным пологом стояла широкая кровать со множеством подушек. Летало много больших, черных мух, они стукались в лоб, ползали по лицу, досадно щекотали вспотевшую кожу. Евсей стеснялся отгонять их.

— Мы тебя определим! — кричал ему лысый, весело кивая головой. — Наталья! За Матвеичем послала?

Полная, чернобровая женщина с маленьким ртом и высокою грудью звучно ответила:

— Который раз спрашиваешь...

— Петруха, друг, — Наталья-то! Меды сотовые! — оглушительно кричал лысый.

Дядя Петр, тихонько посмеиваясь, как будто боялся взглянуть на женщину, а она, пододвигая Евсею горячую ржаную лепешку с творогом, говорила ему:

— Ешь больше!.. В городе надо много есть...

Евсей изнемогал от подавляющего ощущения сытости, но не смел отказаться и покорно жевал все, что ему давали.

— Ешь! — кричал лысый и рассказывал дяде Петру: — Это, я тебе скажу, счастье. Всего неделю как его лошадь задавила, мальчишку-то! Шел он в трактир за кипятком, вдруг...

Незаметно и неслышно явился еще человек, тоже лысый, но — маленький, худой, в темных очках на большом носу и с длинным клочком седых волос на подбородке.

— В чем дело, людие? — негромко спросил он. Хозяин вскочил со стула, закричал, захохотал, а Евсею стало жутко.

Человек назвал хозяев и дядю Петра людьми и этим как бы отделил себя от них. Сел он не близко к столу, потом еще отодвинулся в сторону от кузнеца и оглянулся вокруг, медленно двигая тонкой, сухой шеей. На голове у него, немного выше лба, над правым глазом, была большая шишка, маленькое острое ухо плотно прильнуло к черепу, точно желая спрятаться в короткой бахrome седых волос. Он был серый, какой-то пыльный. Евсей незаметно старался рассмотреть под очками глаза, но не мог, и это тревожило его.

Лысый хозяин кричал:

— Понимаешь — сирота!

— Это — козырь! — заметил человек с шишкой. Он сидел, упираясь маленькими темными руками в свои острые колени, говорил немного, и порою Евсей слышал какие-то особенные слова.

Наконец он сказал:

— На том и кончено...

Дядя Петр тяжело пошевелился на стуле.

— Вот ты, сирота, при месте... А это хозяин твой...

Человек с шишкой на голове сквозь черные очки посмотрел на Евсея и сказал:

— Меня зовут Матвей Матвееч...

Отвернулся, взял стакан, бесшумно выпил чай, встал, молча поклонился и вышел.

Потом Евсей с дядей сидели на дворе, в тени около конюшен, и кузнец говорил осторожно, точно щупая словами что-то непонятное ему.

— Наверно — тебе хорошо будет у него... Старичок — судьбе отслужил, прошел сквозь все грехи, живет, чтобы

маленький кусочек съесть, ворчит-мурлыкает, вроде сытого кота...

— А он — не колдун? — спросил мальчик.

— Зачем? В городах, надо думать, нет их, колдунов-то.

Но, подумав, кузнец добавил:

— Однако тебе это все равно. И колдун — человек. Ты вот что знай: город — он опасный, он вон как причащает людей: жена у человека на богомолье ушла, а он сейчас на ее место стряпуху посадил и — балуется. А старик такого примера показать не может... Я и говорю, что, мол, тебе с ним ладно будет, надо думать. Будешь ты жить за ним, как за кустом, сиди да поглядывай.

— А как он умрет? — опасливо спросил Евсей.

— Авось, не скоро... Голову ты себе маслом смазывай, чтобы вихры не торчали...

Дядя заставил Евсея проститься с хозяевами и повел его в город. Евсей смотрел на все совиными глазами и жался к дяде. Хлопали двери магазинов, визжали блоки; треск пролеток и тяжелый грохот телег, крики торговцев, шарканье и топот ног — все эти звуки сцепились вместе, спутались в душное, пыльное облако. Люди шли быстро, точно боялись опоздать куда-то, перебежали через улицу под мордами лошадей. Неугомонная суeta утомляла глаза, мальчик порою закрывал их, спотыкался и говорил дяде:

— Иди скорее...

Ему хотелось придти куда-нибудь к месту, в угол, где было бы не так шумно, суетно и жарко. Наконец вышли на маленькую площадь, в тесный круг старых домов; было видно, что все они опираются друг на друга плотно и крепко. Среди площади стоял фонтан, на земле лежали сырые тени, шум здесь был гуще, спокойнее.

— Гляди, — сказал Евсей, — одни дома, заборов-то вовсе нет...

Кузнец, вздохнув, ответил:

— Читай вывески — где тут Распопова лавка?

Вышли на середину площади, встали у фонтана, и Евсей, оглядываясь, зашевелил губами. Вывесок было много, они покрывали каждый дом, как пестрые заплатки на кафтан нищего. Когда на одной из них мальчик увидал

нужную фамилию, он зябко вздрогнул и, ничего не сказав дяде, стал внимательно осматривать вывеску. Маленькая, изъеденная ржавчиной, она помещалась над дверью, которая вела куда-то вниз, в темную дыру, а перед дверью на тротуаре была яма, с двух сторон огражденная невысокой железной решеткой. Дом, где помещалась лавка, трехэтажный, грязно-желтый, с облупившеюся штукатуркой. Лицо дома подслеповатое, хитрое, неласковое.

Спустились к двери по каменным ступеням — их было пять, — кузнец снял картуз и осторожно заглянул в лавку.
— Входите! — раздался внятный голос.

Хозяин сидел за столом у окна и пил чай. На голове у него была надета шелковая черная шапочка без козырька.

— Бери стул, крестьянин, садись, выпей чаю. Мальчик, дай стакан, — вон там, на полке...

Хозяин протянул руку в темную глубину лавки, Евсей посмотрел туда, но никого не увидел. Тогда хозяин обратился к нему:

— Ну, что же ты! Разве ты не мальчик?

— Не привык еще! — тихо сказал дядя Петр. Старик снова взмахнул рукой.

— Вторая полка направо. Хозяина надо понимать с полуслова — такое правило.

Кузнец вздохнул. Евсей нащупал в сумраке посуду и быстро, спотыкаясь о груды книг на полу, подал стакан хозяину.

— Поставь на стол. А блюдечко?

— Ах ты! — воскликнул дядя Петр. — Как же ты, — блюдечко-то?..

— Нужно очень долго учить его! — сказал хозяин, внушительно взглянув на кузнеца. — Теперь, мальчик, обойди лавку и заметь себе на память, что где лежит...

Евсей почувствовал, как будто в тело его забралось что-то повелительное и властно двигает им, куда хочет. Он съежился, втянул голову в плечи и, напрягая зрение, стал осматривать лавку, прислушиваясь к словам хозяина. В лавке было прохладно, сумрачно. Узкая, длинная, как могила, она тесно заставлена полками, и на них, туго сжатые, стояли книги. На полу тоже валялись связки книг,

в глубине лавки, загромождая заднюю стену, они поднимались грудой почти до потолка. Кроме книг, Евсей надел только лестницу, зонт, галоши и белый горшок с отбитой ручкой. Было много пыли, и, должно быть, это от нее исходил тяжелый запах.

— Я человек одинокий, тихий, и, если он угодит мне, может быть, я его сделаю совершенно счастливым. Всю жизнь я прожил честно и прямоверно; нечестного — не прощаю и, буде что замечу, предаю суду. Ибо ныне судят и малолетних, для чего образована тюрьма, именуемая колонией для малолетних преступников — для ворюшек...

Слова его, серые и тягучие, туго опутывали Евсея, вызывая в нем пугливое желание скорее угодить старику, понравиться ему.

— Прощайся, мальчику надо заняться делом.

Дядя Петр встал, вздохнув.

— Ну, сирота... вот, значит, живи! Слушайся хозяина... Он горя тебе не захочет — зачем ему это? Не скачай...

— Ладно! — сказал Евсей.

— Надо говорить — хорошо, а не ладно! — поправил хозяин.

— Хорошо! — быстро повторил Евсей.

— Ну, прощай! — положив на плечо ему жесткую руку, сказал кузнец и, тряхнув племянника, ушел, точно вдруг испугался чего-то.

Евсей вздрогнул, стиснутый холодной печалью, шагнул к двери и вопросительно остановил круглые глаза на желтом лице хозяина. Старик крутил пальцами седой клок на подбородке, глядя на него сверху вниз, и мальчику показалось, что он видит большие, тускло-черные глаза. Несколько секунд они стояли так, чего-то ожидая друг от друга, и в груди мальчика трепетно забился еще неведомый ему страх. Но старик взял с полки книгу и, указывая на обложку пальцем, спросил:

— Это какая цифра?

— 1873, — ответил Евсей, низко опустив голову.

— Так.

Хозяин коснулся сухим пальцем подбородка Евсея.

— Смотри на меня.

Мальчик разогнул шею и торопливо пробормотал, закрыв глаза:

— Дяденька, я всегда буду слушаться... — И замер, ничего не видя.

— Поди сюда...

Старик сидел на стуле, упираясь ладонями в колени. Он снял с головы шапочку и вытирал лысину платком. Очки его съехали на конец носа, он смотрел в лицо Евсея через них. Теперь у него две пары глаз; настоящие — маленькие, неподвижные, темносерого цвета, с красными веками.

— Тебя часто били?

— Часто! — тихо сказал Евсей,

— Кто?

— Мальчишки...

Хозяин опустил очки на глаза, пожевал темными губами и сказал:

— Мальчишки и здесь драчуны, ты с ними не водись, слышишь?

— Слышу.

— Опасайся их! Озорники и воришки. Ты знай — я тебя худому не научу. Я человек хороший, меня надо любить. Будешь меня любить — тебе хорошо будет со мной. Понял?

— Понял.

Лицо хозяина стало прежним. Он взял Евсея за руку и повел его в глубину лавки, говоря:

— Вот — видишь — книги. На каждой поставлен год, в каждом году по двенадцать книг. Подбери их в порядке. Как ты это сделаешь?

Евсей подумал и робко ответил:

— Не знаю...

— А я тебе не скажу. Ты грамотный и должен сам догадаться...

Сухой, ровный голос точно сек мальчика. Сдерживая слезы, он стал развязывать пачки и каждый раз, когда книга шлепалась на пол, вздрагивал, оглядывался. Хозяин сидел за столом и писал. Тонко скрипело перо. Мимо двери быстро мелькали ноги, их тени падали в лавку и прыгали по ней. Из глаз Евсея, одна за другой, покатились слезы, он испугался их, быстро вытер лицо пыль-

ными руками и, полный темного страха, напряженно стал разбирать книги. Сначала это было трудно, но через несколько минут он уже стал погружаться в знакомое ему состояние бездумья, в привычную пустоту, которая властно охватывала его после побоев и обид, когда он сидел одиноко где-нибудь в углу. Глаза его ловили цифру года, название месяца, руки машинально укладывали книги в ряд; сидя на полу, он равномерно раскачивал свое тело и все глубже опускался в спокойный омут полусознательного отрицания действительности. И, как всегда в такие минуты, глубоко в нем тлела смутная надежда, разгоралось ожидание чего-то иного, не похожего на окружающее. Иногда в памяти вспыхивало емкое слово: «Пройдет...»

Оно тепло обнимало сердце обещанием необычного, руки мальчика невольно начинали двигаться быстрее, и ход времени становился незаметен.

— Вот видишь, — понял, как нужно делать!

Евсей вздрогнул, он не слышал, когда подошел старик, и, посмотрев на свою работу, спросил:

— Так?

— Бесспорно. Чаю хочешь?

— Не хочу.

— Должен говорить: спасибо, или благодарю вас — не хочу! — сказал хозяин. — Работай...

И ушел. Взглянув вслед ему, Евсей увидел в лавке пожилого человека без усов и бороды, в круглой шляпе, сдвинутой на затылок, с палкой в руке. Он сидел за столом, расставляя черные и белые штучки. Когда Евсей снова принялся за работу — стали раздаваться отрывистые возгласы гостя и хозяина:

— Тур...

— Шах королеве...

В лавку устало опускался шум улицы, странные слова квакали в нем, точно лягушки на болоте.

«Чего они делают?» — опасливо подумал мальчик и тихонько вздохнул, чувствуя, что отовсюду на него двигается что-то особенное, но не то, чего он робко ждал. Пыль щекотала нос и глаза, хрустела на зубах. Вспомнились слова дяди о старике:

«Будешь ты жить за ним, как за кустом...»

Темнело.

— Шах и мат! — густо крикнул гость, а хозяин, щелкнув языком, громко приказал:

— Мальчик, лавку запирать!

Старик занимал две маленькие комнаты в третьем этаже того же дома, где помещалась лавка. В первой комнате с окном стоял большой сундук и шкаф.

— Здесь будешь спать! — сказал хозяин.

Два окна второй комнаты выходили на улицу, из них было видно равнину бугроватых крыш и розовое небо. В углу перед иконами дрожал огонек в синей стеклянной лампаде, в другом стояла кровать, покрытая красным одеялом. На стенах висели яркие портреты царя и генералов. В комнате было тесно, но чисто и пахло, как в церкви.

Стоя у двери, Евсей осматривал жилище хозяина; старик стоял рядом с ним и говорил:

— Заметь порядок вещей, и чтобы всегда было так, как есть!

У стены помещался широкий черный диван, круглый стол, вокруг стола три стула, тоже черных. Этот угол комнаты имел вид печальный и зловещий.

Вошла высокая белолицая женщина, с овечьими глазами, она спросила тихим, певучим голосом:

— Подавать ужин?

— Давай... подавайте, Раиса Петровна...

— Новый мальчик?

— Да. Зовут — Евсей...

Женщина ушла.

— Притвори дверь! — сказал старик, и когда Евсей сделал это, он продолжал, понизив голос:

— Она — хозяйка квартиры, я у нее снимаю комнаты с обедом и ужином, понял?

— Понял...

— А у тебя один хозяин — я. Понимаешь?

— Да, — ответил Евсей.

— Значит, ты должен слушаться только меня... Ступай в кухню, умойся.

Умываясь, Евсей незаметно старался рассмотреть хозяйку квартиры, — женщина собирала ужин, раскладывая на большом подносе тарелки, ножи, хлеб. Ее большое

круглое лицо с тонкими бровями казалось добрым. Гладко причесанные темные волосы, немигающие глаза и широкий нос вызывали у мальчика догадку:

«Смирная...»

Заметив, что она, плотно сжав тонкие, красные губы, тоже следит за ним, он смутился и пролил воду на пол.

— Подотри! — сказала она не сердито. — Тряпка под стулом.

Когда он вошел в комнату, старик осмотрел его и спросил:

— Что она тебе говорила?

Но Евсей не успел ему ответить — женщина внесла поднос, поставила его на стол и сказала:

— Ну, я ухожу...

— Хорошо! — ответил хозяин.

Она подняла руку, пригладила волосы на виске — пальцы у нее были длинные — и ушла.

Сели ужинать. Хозяин ел не торопясь, громко чавкал, порою устало вздыхал. Когда стали есть мелко нарубленное жареное мясо, он сказал Евсею:

— Видишь, какая хорошая пища? Я всегда кушаю хорошее...

После ужина он приказал Евсею отнести посуду в кухню, научил его зажигать лампу, потом сказал:

— Теперь спи. В шкафе лежит войлок, подушка и одеяло. Это — твое. Завтра я куплю тебе хорошую одежду. Иди!

Когда, полусонный от тягостных ощущений, мальчик лег, хозяин вышел к нему и спросил:

— Хорошо?

На сундуке было жестко, но Евсей ответил:

— Хорошо...

— Если жарко — отвори окно.

Евсей немедленно сделал это. Окно выходило на крышу соседнего дома. На ней — трубы, четыре, все одинаковые. Посмотрел на звезды тоскливыми глазами робкого зверька, посаженного в клетку, но звезды ничего не говорили его сердцу. Свалился на сундук, закутался с головой одеялом и крепко закрыл глаза. Стало

душно, он высунул голову и, не открывая глаз, прислушался — в комнате хозяина раздался сухой, внятный голос:

— «Живый в помощи вышнего, в крове бога небесного...»

Евсей понял, что старик читает псалтырь... И, чутко вслушиваясь в знакомые, но непонятные слова царя Давида, мальчик заснул.

III

Жизнь его пошла ровно и гладко. Он хотел нравиться хозяину, чувствовал, понимал, что это выгодно для него, но относился к старику с подстерегающей осторожностью, без тепла в груди. Страх перед людьми рождал в нем желание угодить им, готовность на все услуги ради самозащиты от возможного нападения. Постоянное ожидание опасности развивало острую наблюдательность, а это свойство еще более углубляло недоверие к людям.

Он присматривался к странной жизни дома и не понимал ее, — от подвалов до крыши дом был тесно набит людьми, и каждый день с утра до вечера они возились в нем, точно раки в корзине. Работали здесь больше, чем в деревне, и злились крепче, острее. Жили беспокойно, шумно, торопливо — порою казалось, что люди хотят скорее кончить всю работу, — они ждут праздника, желают встретить его свободными, чисто вымытые, мирно, со спокойной радостью. Сердце мальчика замирало, в нем тихо бился вопрос:

«Проходит?..»

Но праздника не было. Люди понукали друг друга, ругались, иногда дрались и почти каждый день говорили что-нибудь дурное друг о друге.

По утрам хозяин уходил в лавку, а Евсей оставался в квартире, чтобы привести комнаты в должный порядок. Кончив это, он умывался, шел в трактир за кипятком и потом в лавку — там они с хозяином пили утренний чай. И почти всегда старик спрашивал его:

— Ну, что?..

— Ничего...

— Мало! — говорил хозяин.

Но однажды Евсей ответил иначе:

— Сегодня часовщик говорил скорняковой кухарке, что вы краденое принимаете...

Он сказал это неожиданно для себя и тотчас же, весь охваченный дрожью страха, опустил голову.

Старик тихо засмеялся. Потом протяжно и без сердца выговорил:

— Ме-ерзавец...

Его темные, сухие губы вздрогнули.

— Спасибо тебе, что сказал мне это, спасибо!

С той поры Евсей стал внимательно прислушиваться к разговорам и все, что слышал, не медля, тихим голосом передавал хозяину, глядя прямо в лицо ему.

Через несколько дней, убирая комнату, он нашел на полу смятый бумажный рубль, и когда за чаем старик спросил его:

— Ну, что?

— Вот — рубль нашел...

— Так. Ты нашел рубль, а я — золото! — сказал хозяин, усмехаясь.

Другой раз он поднял у входа в лавку двадцать копеек и тоже отдал монету хозяину. Старик опустил очки на конец носа и, потирая двугривенный пальцами, несколько секунд молча смотрел в лицо мальчика.

— По закону, — вдумчиво заговорил он, — треть находки — шесть копеек — принадлежит тебе...

Он замолчал, вздохнул и сказал, опуская монету в карман жилета:

— Однако — непонятный ты мальчик...

А шести копеек не отдал ему.

Тихий, незаметный, а когда его замечали — угодливый, Климов почти не обращал на себя внимания людей, а сам упорно следил за ними расплывчатым взглядом совиных глаз, — взглядом, который не оставался в памяти тех, кто встречал его.

С первых дней его сильно заинтересовала молчаливая, смиренная Раиса Петровна. Каждый вечер она надевала темное, шумящее платье, черную шляпу и уходила куда-то; утром, когда он убирал комнаты, она еще спала. Он видел ее только по вечерам перед ужином и то не каждый день; ее жизнь казалась ему таинственной, и вся она,

молчаливая, с белым лицом и остановившимися глазами, возбуждала у него неясные намеки на что-то особенное. Он незаметно уверил себя, что она живет лучше, чем все, знает больше всех, в нем слагалось непонятное ему, но хорошее чувство к этой женщине. С каждым днем она казалась ему все более красивой.

Однажды он проснулся на рассвете, пошел в кухню пить и вдруг услышал, что кто-то отпирает дверь из сеней. Испуганный, он бросился в свою комнату, лег, закрылся одеялом, стараясь прижаться к сундуку как можно плотнее, и через минуту, высунув ухо, услышал в кухне тяжелые шаги, шелест платя и голос Раисы Петровны:

— Эх-х, в-вы!.. — говорила она.

Он встал, осторожно подошел к двери и заглянул в кухню.

Смирная женщина сидела у окна, снимая шляпу. Лицо ее казалось более белым, чем всегда, из глаз обильно текли слезы. Ее большое тело качалось, руки двигались медленно.

— Знаю я вас, — сказала она, мотнув головой, и встала на ноги, опираясь о подоконник.

В комнате хозяина скрипнула кровать. Евсей отскочил к сундуку, лег, закутался.

«Обидели!» — думал он и радовался ее слезам, они приближали к нему эту смирную женщину, жившую тайной, ночной жизнью.

Кто-то прошел мимо него крадущимся шагом. Он поднял голову и вдруг вскочил, точно обожженный тонким, злым криком:

— У-уйди!

Из кухни, согнувшись, быстро вышел хозяин в ночном белье, остановился и сказал Евсею, присвистывая:

— Спи, спи, — чего ты? Спи...

Утром в лавке старик спросил:

— Испугался ночью-то?

— Да...

— Выпила она, — с ней случается это...

И заговорил строго:

— Ты однако знай — это женщина весьма хитрая. Она — молчит, а — злая. Она — грешница, играет на

рояли. Женщина, играющая на рояли, называется таперша. А знаешь ты, что такое публичный дом?

Евсей знал об этом из разговоров скорняков и стекольщиков на дворе, но, желая знать больше, ответил:

— Не знаю...

Старик объяснил ему очень понятно, с жаром. Порою он отплевывался, морщил лицо, выражая отвращение к мерзости. Евсей смотрел на старика и почему-то не верил в его отвращение и поверил всему, что сказал хозяин о публичном доме. Но все, что говорил старик о женщине, увеличило чувство недоверия, с которым он относился к хозяину.

Кроме Раисы, любопытство Евсея задевал ученик стекольщика Анатолий, тонкий мальчуган, с лохматыми волосами на голове, курносый, пропитанный запахом масла, всегда веселый. Голос у него был высокий, и Евсею нравилось слышать певучие, светлые крики мальчика:

— Стиёкла вставлять!

Он первый заговорил с Евсеем. Евсей мел лестницу и вдруг услышал снизу громкий вопрос:

— Эй, ты, хивря, — какой губернии?

— Здешний! — ответил Евсей.

— А я — костромской. Сколько лет тебе?

— Тринадцатый...

— И мне тоже. Идем со мной?

— Куда?

— На реку, купаться...

— Мне в лавку надо...

— Сегодня воскресенье...

— Все равно...

— Ну — чорт с тобой!

И стекольщик исчез, не обидев Евсея своим ругательством.

Он целый день ходил по городу с ящиком стекол, возвращался домой почти всегда в тот час, когда запирали лавку, и весь вечер со двора доносился его неугомонный голос, смех, свист, пение. Его все ругали, и все любили возиться с ним, хохотали над его шалостями. Евсея удивляла смелость, с которой курносый и лохматый мальчуган обращался со взрослыми, он испытывал чувство зависти, когда видел, как золотошвейки бегали по двору, догоняя

веселого озорника, и наконец его властно потянуло к стекольщику чувство преклонения перед ним. Погружаясь в свои неясные мечты о тихой и чистой жизни, теперь он находил в ней место и для буйного, лохматого мальчика. После ужина Евсей спрашивал хозяина:

— Можно мне на двор пойти?

Старик неохотно разрешал это.

Быстро сбега с лестницы, Евсей садился где-нибудь в тени и оттуда наблюдал за Анатолием. Двор был маленький, со всех сторон его ограждали высокие стены домов, у стен лежал грудями разнообразный хлам, на нем сидели, отдыхая, мастеровые, мастерицы, а на середине его Анатолий давал представление.

— Скорняк Звoryкин в церковь пошел! — вскрикивал он.

И Евсей изумленно видел маленького толстого скорняка, с отвисшей нижней губой и прискорбно сощуренными глазами. Выпучив живот и склонив набок голову, Анатолий мелкими шагами, но явно без охоты шел до ворот, — публика провожала его смехом и одобряющими криками.

— Звoryкин из трактира! — возглашал мальчик и катился по двору, бессильно болтая руками и ногами, тупо вытаращив глаза, противно и смешно распустив губы. Остановливался, колотил себя в грудь руками и свистящим голосом говорил:

— Гос-споди, — ну как я доволен! Бож-же мой, как все х-хорошо и все приятно рабу твоему Иакову Иванычу, господи! Стекольщик Кузин — злодей б-богу моему и всем людям — скот!.. Господи!

Публика хохотала, но Евсей не смеялся. Его подавляло сложное чувство удивления и зависти, ожидание новых выходок Анатолия сливалось у него с желанием видеть этого мальчика испуганным и обиженным, — ему было досадно, неприятно, что стекольщик изображает человека не опасным, а только смешным.

— Стекольщик Кузин идет! — кричал Анатолий.

Перед Евсеем вставал краснорожий, всегда полупьяный, тощий мужик, с рыжей раздвоенной бородой и засученными рукавами грязной рубахи. Заложив правую руку за нагрудник фартука, медленно разглаживая левой бо-

роду, нахмуренный, угрюмый, он двигается медленно и, глядя исподлобья, скрипит надорванным, сиплым голосом:

— Ты опять ругаешься, еретик? Это долго ли еще буду я слышать, а? Окаянный ты, пострели тебя горой...

— Кошей Распопов! — объявлял Анатолий.

Мимо Евсея, неслышно двигая ногами, скользила гладкая, острая фигурка хозяина, он смешно поводил носом, как бы что-то вынюхивая, быстро кивал головой и, взмахивая маленькой ручкой, дергал себя за бороду. В этом образе было что-то жалкое, смешное. Досада Евсея усиливалась, он хорошо знал, что хозяин не таков, каким его показывает маленький стекольщик.

Изобразив хозяев, Анатолий принимался передразнивать кого-нибудь из публики. Неистощимый, он до поздней ночи звенел колокольчиком, вызывая беззлобный смех. Иногда задетый им человек бросался ловить его, начиналась шумная беготня. Евсей вздыхал завистливо.

Заметив Климова, Анатолий вытаскивал его за руку на середину двора и представлял публике:

— Вот он — сахар с мылом! Кошея Распопова двоюродный сморчок! — И, повертывая тонкую фигуру мальчика во все стороны, он складно говорил смешные, странные слова о хозяине, Рансе Петровне и самом Евсее.

— Пусти! — тихонько просил его мальчик, стараясь вырвать руку из крепкой руки стекольщика, а сам внимательно слушал, желая и стараясь понять намеки, грязь которых чувствовалась им. Если Евсей вырывался сильно, публика, обыкновенно женщины, вяло говорили Анатолию:

— Пусти его...

Их заступничество почему-то всегда было неприятно Евсею, Анатолий же впадал в раздражение, начинал толкать и щипать его, вызывая на драку. Некоторые из мужчин советовали:

— А ну, подеритесь, — кто кого?

Женщины возражали:

— Не надо!

И снова Евсей чувствовал в этих словах нечто неприятное.

Кончалось тем, что Анатолий пренебрежительно отталкивал Евсея в сторону.

— Эх ты, хивря!

Однажды утром, после такой сцены, Евсей встретил Анатолия на дворе с ящиком стекол и вдруг, не желая, сказал ему:

— Зачем ты смеешься надо мной?

Стекольщик взглянул на него и спросил:

— А что?

Евсей не умел ответить.

— Драться хочешь? — снова спросил Анатолий. — Идем в сарай!

Он говорил спокойно и деловито.

— Нет, я не хочу драться, — тихо ответил Евсей.

— И не надо — я тебя побью! — сказал стекольщик и потом уверенно добавил: — Обязательно побью!

Евсей вздохнул, — он не понимал этого мальчишка. И, желая понять, вторично спросил тихим голосом:

— Я говорю — за что ты смеешься надо мной?

Анатолию, должно быть, стало неловко, он мигнул бойкими глазами, усмехнулся и вдруг сердито крикнул:

— Пошел к чертям! Чего пристаешь? Как дам тебе!..

Евсей убежал в лавку и целый день чувствовал в сердце зуд незаслуженной обиды. Она не порвала его влечения к Анатолию, но заставила его уходить со двора, как только Анатолий замечал его. И он устранил стекольщика из области своих грез...

Вскоре после этой неудачной попытки подойти к человеку, ночью, его разбудили голоса в комнате хозяина. Он прислушался — там была Раиса. Ему захотелось убедить себя в этом, он тихо встал, подошел к плотно закрытой двери и приложил глаз к замочной скважине.

Его сонный глаз прежде всего остановился на огне свечи и ослеп. Потом он увидел на черном диване большое выпуклое тело женщины. Она лежала вверх лицом, нагая, и, положив себе на грудь волосы, медленно заплетала их в косу длинными пальцами. На белом теле женщины дрожали отсветы огня, и все оно, чистое, яркое, казалось легким, подобно облаку. Это было очень красиво. Она что-то говорила, но слов он не слышал, а только голос, певучий, усталый и жалобный. Хозяин в ночном белье, сидя на стуле у дивана, наливал вино в стакан,

рука у него дрожала и клок седых волос на подбородке тоже дрожал. Очки он снял, лицо его было противно.

— Да, да, да, — говорил он, — ишь ты какая...

Евсей отошел от двери, лег в постель и подумал:

«Женились...»

Ему стало жалко Раису — зачем она сделалась женою человека, который говорит о ней дурно? И, должно быть, ей очень холодно лежать, голой на кожаном диване. Мелькнула у него нехорошая мысль, но она подтверждала слова старика о Раисе, и Евсей пугливо прогнал эту мысль.

Вечером на другой день Раиса, как всегда, внесла ужин, обычным голосом сказав:

— Я ухожу...

И так же обычно, сухо и небрежно говорил с ней хозяин. Евсей подумал, что нагую женщину он видел во сне.

Неожиданно и ненужно явился дядя Петр. Он поседел, сморщился, стал ниже ростом.

— А я — слепну, сирота! — говорил он, шумно схлебывая чай с блюдечка и улыбаясь мокрыми глазами. — Работать уж не могу, и надо мне, значит, по милостыню идти. С Яшкой нет сладу — в город просится... Не пустишь — убежит... Он — такой...

Все, что говорил кузнец, было тяжело слушать. Дядя смотрел виновато, и Евсею было неловко, стыдно за него перед хозяином. Когда дядя собрался уходить, Евсей тихонько сунул ему в руку три рубля и проводил его с удовольствием.

Книжная лавка постепенно возбуждала у мальчика смутные подозрения своим подобием могилы, туго набитой умершими книгами. Все они были растрепаны, изжеваны, от них шел прелый, тухлый запах. Покупали их мало, этому Евсей не удивлялся, но отношение хозяина к покупателям и книгам все более возбуждало его любопытство.

Бывало так: старик брал в руки книгу, осторожно перебрасывал ее ветхие страницы, темными пальчиками гладил переплет, тихонько улыбался, кивая головкой, и тогда казалось, что он ласкает книгу, как что-то живое, играет с нею, точно с кошкой. Читая, он, подобно тому,

как дядя Петр с огнем горна, вел с книгой тихую ворчливую беседу, губы его вздрагивали насмешливо, кивая головой, он бормотал:

— Так, так, — ишь ты? А-а, вот что? А-ах, дерзость!.. Этого не будет, — не-ет!..

Эти странные, оспаривающие кого-то восклицания, удивляя Евсея, пугали его, указывали на таинственную двойственность жизни старика.

— Ты не читай книг, — сказал однажды хозяин. — Книга — блуд, блудодейственного ума чадо. Она всего касается, смущает, тревожит. Раньше были хорошие исторические книги, спокойных людей повести о прошлом, а теперь всякая книга хочет раздеть человека, который должен жить скрытно и плотью и духом, дабы защитить себя от дьявола любопытства, лишающего веры... Книга не вредна человеку только в старости.

Евсей запоминал эти речи, и хотя они были непонятны ему, но утверждали ощущение тайны, облекающей жизнь хозяина.

Продавая книгу, старик точно обнюхивал покупателя, говорил с ним необычно, то слишком громко и торопливо, то понижая голос до шопота; его темные очки неподвижно упирались в лицо покупателя. Часто, проводив студента, купившего книгу, он ухмылялся вслед ему, а однажды погрозил пальцем в спину уходившего человека, маленького, красивого, с черненькими усиками на бледном лице. Чаще других покупали книги студенты, иногда приходили старики, эти долго рылись в книгах и жестоко спорили о цене. Почти каждый день заходил человек в котелке с широким, угреватым носом на бритом, плоском и толстом лице. Его звали Доримедонт Лукич, он носил на правой руке большой золотой перстень, а играя с хозяином в шахматы, громко сопел носом и дергал себя левой рукой за ухо. Он тоже приносил какие-то книги и свертки бумаг, хозяин брал их, одобрительно кивал головой, тихо смеялся и прятал в стол или ставил в угол, на полку за своей спиной. Евсей не замечал, чтобы хозяин платил за эти книжки, но он продавал их.

Одно время в лавку стал заходить чаще других знакомых покупателей высокий голубоглазый студент с рыжими усами, в фуражке, сдвинутой на затылок и откры-

вавшей большой белый лоб. Он говорил густым голосом и всегда покупал много старых журналов.

Однажды хозяин предложил ему книгу, принесенную Доримедонтом, и пока студент молча перелистывал ее — старик торопливым шопотом рассказывал ему что-то.

— Занятно! — воскликнул студент, усмехаясь. — Ах вы, старый греховодник! Не боитесь, а?

Хозяин вздохнул и ответил:

— Если чувствуешь бесспорную правду, то должен помогать ей по мере слабых сил...

Они долго шептались, и, наконец, студент сказал:

— Запишите адрес.

Старик записал его на отдельной бумажке, а когда пришел Доримедонт и спросил: «Что новенького, Матвеевич?» — хозяин протянул ему бумажку и сказал, ухмыляясь:

— Вот — новенький...

— Та-ак. Никодим Архангельский, — прочитал Доримедонт. — Дело! Поглядим, каков Никодим.

И через некоторое время, садясь играть в шахматы, он сообщил хозяину:

— А этот Никодим оказался икрянной рыбой! Нашли у него препорядочно всякой всячины...

— Книжки мне возврати, — молвил хозяин, двигая фигуру.

— Обязательно!

Голубоглазый студент больше не являлся. Исчез и маленький молодой человек с черными усами. Все это, питая подозрительность мальчика, намекало на какие-то тайны, загадки.

Книги не возбуждали в нем интереса, он пробовал читать, но никогда не мог сосредоточить на книге свою мысль. Уже загроможденная массой наблюдений, она дробилась на мелочах, расплывалась и наконец исчезала, испаряясь, как тонкая струя воды на камне в жаркий день.

Работая, двигаясь, он не умел думать, движение как бы разрывало паутину мысли, мальчик исполнял работу не спеша, аккуратно, точно, как машина, но не вносил в нее ничего от себя.

Когда же он был свободен и сидел неподвижно — им овладевало приятное ощущение летания в прозрачном

тумане, который обнимал жизнь и все смягчал, претворяя шумную действительность в тихий полусон.

В этом настроении дни проходили неуловимо быстро. Внешняя жизнь была однообразна, мозг незаметно засорялся липкой пылью буден. По городу Климков ходил редко, город не нравился ему.

Непрерывное движение утомляло глаза, шум наливало голову тяжелой, отупляющей мутой; город был подобен чудовищу сказки, оскалившему сотни жадных ртов, ревушему сотнями ненасытных глоток.

По утрам, убирая комнату хозяина, он, высунув голову из окна, смотрел на дно узкой, глубокой улицы, и — видел всегда одних и тех же людей, и знал, что каждый из них будет делать через час и завтра, всегда. Лавочные мальчишки были знакомы и неприятны, опасны своим озорством. Каждый человек казался прикованным к своему делу, как собака к своей конуре. Иногда мелькало или звучало что-то новое, но его трудно было понять в густой массе знакомого, обычного и неприятного.

Церкви города тоже не нравились ему — в них было слишком светло и чересчур сильны запахи ладана, масла. Евсей не выносил крепких запахов, от них кружилась голова.

Иногда в праздник хозяин запирает лавку и водит Евсея по городу. Ходили долго, медленно, старик указывал дома богатых и знатных людей, говорил о их жизни, в его рассказах было много цифр, женщин, убежавших от мужей, покойников и похорон. Толковал он об этом торжественно, сухо и все порицал. Только рассказывая — кто, от чего и как умер, старик оживлялся и говорил так, точно дела смерти были самые мудрые и интересные дела на земле.

После такой прогулки он угощал Евсея чаем в трактире, где играла музыкальная машина и все знали старика, относились к нему с боязливым почтением. Усталый Евсей под грохот и вой музыки, окутанный облаком тяжелых запахов, впадал в полусонное оцепенение.

Но однажды хозяин привел его в дом, где было собрано бесчисленное количество красивых вещей, удивительное оружие, одежды из шелка и парчи; в душе мальчика вдруг всколыхнулись забытые сказки матери, радостно вздрогнула окрыленная надежда, он долго ходил

по комнатам, растерянно мигая глазами, а когда возвратились домой, спросил хозяина:

— Это чье?..

— Казенное, цареве! — внушительно объяснил старик. Мальчик спросил иначе:

— А кто носил такие кафтаны и сабли?

— Цари, бояре, разные государевы люди...

— Теперь их нет?

— Как нет? Есть. Без них — нельзя. Только теперь одеваются не так.

— Зачем?

— Дешевле. Раньше Россия богаче была, а теперь — ограбили ее разные чужие нам люди — жида, поляки, немцы...

Он долго говорил о том, что Россию никто не любит, все обкрадывают ее и желают ей всякого зла. Когда он говорил много — Евсей переставал верить ему и понимать его. Но все-таки спросил:

— А я — государев человек?

— Как же! У нас все государево. Вся земля — божья, вся Русь — царева!

Перед глазами Евсея закружились пестрым хороводом статные, красивые люди в блестящих одеждах, возникала другая, сказочная жизнь. Она оставалась с ним, когда он лег спать; среди этой жизни он видел себя в голубом кафтане с золотом, в красных сапогах из сафьяна и Раису в парче, украшенной самоцветными камнями.

«Значит — проходит!» — подумал он.

Эта мысль снова вызвала надежду на иное будущее.

За дверью сухо звучал голос хозяина:

— «Вскую шаташася языцы и аггели помышляша злое...»

IV

Когда он с хозяином, закрыв лавку, вошел во двор, их встретил звонкий, трепетный крик Анатолия:

— Не буду, — дяденька!.. Никогда-а-а...

Евсей вздрогнул и невольно с тихим торжеством сказал:

— Ага-а...

Ему было приятно слышать крик страха и боли, исходивший из груди веселого, всеми любимого мальчика, и он попросил хозяина:

— Я останусь на дворе?

— Ужинать надо. Впрочем, я тоже пойду погляжу, как учат сорванца...

За крыльцом дома, у дверей в каменный сарай, собралась публика, в сарае раздавались тяжелые мокрые шлепки и рыдающий голос Анатолия:

— Дяденька, не виноват! Господи, я не буду, — пусти!.. Христа ради...

Часовщик Якубов, раскуривая папиросу, сказал:

— Так его!..

Косая золотошвейка Зина поддержала длинного и желтого часовщика:

— Авось, тише будет, покоя от него нет никому на дворе...

А хозяин Евсея спросил:

— Говорят, он передразнивать людей мастер?

— Как же! — ответила скорнякова кухарка. — Такой дьяволенок — всех осмеет...

В сарае раздавался глухой шорох, точно по старым доскам его пола таскали из стороны в сторону мешок, набитый чем-то мягким, ползал задыхающийся, сильный голос Кузина и все более глухие, все более редкие крики Анатолия:

— Ой... заступитесь... Господи!..

Слова начали сливаться в тонкий, захлебывающийся стон... Евсей вздрагивал, вспоминая боль побоев. Говор зрителей будил в нем спутанное чувство — было боязно стоять среди людей, которые вчера еще охотно и весело любовались бойким мальчиком, а сейчас с удовольствием смотрят, как его бьют. Но теперь эти усталые от работы, сердитые люди казались ему более понятными, он верил, что никто из них не притворяется, глядя на истязание человека с искренним любопытством. Было немного жалко Анатолия и все-таки приятно слышать его стоны. Мелькнула мысль:

«Теперь будет смирнее и подружится со мной!..»

Вдруг явился скорняк — подмастерье Николай, маленький, черный, кудрявый, с длинными руками. Как

всегда, дерзкий, никого не уважающий, он растолкал публику, вошел в сарай и оттуда дважды тяжело ухнул его голос:

— Оставь! Прочь!

Все отшатнулись от дверей. Из сарая выскочил Кузин, сел на землю, схватился руками за голову и, вытаращив глаза, сипло завыл:

— Ка-рау-ул...

— Идем-ка, дальше от греха! — сказал хозяин. Евсей подвинулся в угол ко крыльцу и встал там, наблюдая.

Вышел Николай. На руках у него бессильно раскинулось маленькое, измятое тело мальчика. Он положил его на землю, выпрямился и крикнул:

— Бабы, воды, стервы...

Зина и кухарка побежали.

Кузин, закидывая голову, глухо сопел:

— Разбой, караул...

Николай обернулся к нему, ударил ногой в грудь и опрокинул на спину, потом начал кричать, сверкая белками черных глаз:

— Сволочи! Ребенка убивают, а вам — комедия! Разобью хари всем!

Ему со всех сторон отвечали ругательствами, но никто не смел подойти близко.

— Идем! — сказал хозяин, взяв Евсея за руку. Они пошли и увидели, что Кузин, согнувшись, бесшумно бежит к воротам.

Когда мальчик остался один, он почувствовал, что в нем исчезла зависть к Анатолию, и, напрягая свой вялый мозг, объяснил себе то, что видел: это только казалось, что забавного Анатолия любили, на самом деле не было этого. Все любят драться, любят смотреть, как дерутся, все любят быть жестокими. Николай вступился за Анатолия потому, что он любит бить Кузина и бьет его почти каждый праздник. Смелый, сильный, он может поколотить любого человека в этом доме, а его колотят в полиции. Значит, будешь ли тихим или бойким — тебя все равно будут бить и обижать.

Прошло несколько дней, на дворе заговорили, что отправленный в больницу ученик стекольщика сошел с ума. Тогда Евсей вспомнил, как горели глаза мальчика во

время его представлений, как порывисты были его движения и быстро изменялось лицо, и со страхом подумал, что, может быть, Анатолий всегда был сумасшедшим. И забыл о нем.

...В дождливые ночи осени на крыше, под окном, рождались дробные звуки, мешая спать, будя в сердце тревогу. В одну из таких ночей он услышал злой крик хозяина:

— Мерзавка!..

Раиса возражала, как всегда, негромко и певуче:

— Я не могу позволить вам, Матвей Матвеевич...

— Подлая! Какие деньги я тебе плачу?

Дверь в комнату хозяина была не притворена, голоса звучали ясно. Мелкий дождь тихо пел за окном слезливую песню. По крыше ползал ветер; как большая, бесприютная птица, утомленная непогодой, он вздыхал, мягко касаясь мокрыми крыльями стекол окна. Мальчик сел на постели, обнял колени руками и, вздрагивая, слушал:

— Отдай мне двадцать пять рублей, воровка!

— Я не отпираюсь — Доримедонт Лукич дал мне...

— Ага! Вот видишь, дрянь!..

— Нет, вы позвольте — когда вы попросили меня следить за господином...

Дверь закрылась. Но и сквозь стену слышно было, как старик кричал:

— Ты помни, подлая, ты у меня в руках! И если я замечу, что ты с Доримедонтом шашни завела...

Голос женщины, теплый и гибкий, извивался вокруг злых слов старика и стирал их из памяти Евсея.

Женщина была права, в этом Евсей убеждало ее спокойствие и все его отношение к ней. Ему шел уже пятнадцатый год, его влечение к смирной и красивой Раисе Петровне начинало осложняться тревожно приятным чувством. Встречая Раису всегда на минуты, он смотрел ей в лицо с тайным чувством стыдливой радости, она говорила с ним ласково, это вызывало в груди его благодарное волнение и все более властно тянуло к ней...

Еще в деревне он знал грубую правду отношений между мужчиной и женщиной; город раскрасил эту правду грязью, но она не пачкала мальчика, — боязли-

вый, он не смел верить тому, что говорилось о женщинах, и речи эти вызывали у него не соблазн, а жуткое отвращение. Теперь, сидя на постели, Евсей вспоминал добрые улыбки, ласковые слова Раисы. Увлеченный этим, он не успел лечь, когда отворилась дверь из комнаты хозяина и перед ним встала она, полуодетая, с распущенными волосами, прижав руку к груди. Он испугался, замер, но женщина, улыбнувшись, погрозила ему пальцем и ушла к себе.

Утром, подметая в кухне пол, он увидел Раису в двери ее комнаты и выпрямился перед нею с веником в руках.

— Хочешь кофе пить со мной? — спросила она.

Обрадованный и смущенный, Евсей ответил:

— Я еще не умывался, — я сейчас!

И через несколько минут сидел за столом у нее в комнате, ничего не видя, кроме белого лица с тонкими бровями и добрых, влажно улыбавшихся глаз.

— Я тебе нравлюсь? — спросила она.

— Да! — ответил мальчик.

— Почему?

— Вы добрая и красивая...

Он отвечал, как во сне. Ему было странно слышать ее вопросы, глаза ее должны были знать все, что творилось в его душе.

— А Матвея Матвеевича ты любишь? — медленно и негромко спросила Раиса.

— Нет! — просто ответил Евсей.

— Разве? А он тебя любит, он сам говорил мне это...

— Нет! — повторил мальчик, качнув головой. Она подняла брови и немножко пододвинулась к нему, спрашивая:

— Ты мне не веришь?

— Вам — верю, а хозяину — не верю, ни в чем...

— Отчего? Отчего? — дважды быстро и тихо спросила она, подвигаясь к нему еще ближе. Теплый луч ее взгляда проник в сердце мальчика и будил там маленькие мысли; он торопливо выбрасывал их перед женщиной:

— Я его боюсь. Я всех боюсь, кроме вас...

— Почему?

— Вас тоже обижают... Я видел, вы плакали... Это вы не оттого плакали, что были тогда выпивши, — я

понимаю. Я много понимаю — только все вместе не могу понять. Каждое отдельное я вижу до последней морщинки, и рядом с ним совсем даже и непохожее — тоже понимаю, а — к чему это все? Одно с другим не складывается. Есть одна жизнь и — другая еще...

— Что ты говоришь? — удивленно спросила Раиса.

Несколько секунд они молча смотрели друг на друга, сердце мальчика билось торопливо, щеки покрылись румянцем смущения.

— Ну, теперь иди! — тихо сказала Раиса, вставая. — Иди, а то он будет спрашивать, почему ты долго. Не говори ему, что был у меня, — хорошо?

— Да.

Он ушел, насыщенный ласковым звуком певучего голоса, согретый участливым взглядом, и весь день в памяти его звенели слова этой женщины, грея сердце тихой радостью.

День этот был странно длинен. Над крышами домов и площадью неподвижно висела серая туча, усталый день точно запутался в ее сырой массе и тоже остановился. К вечеру в лавку пришли покупатели, один — сутулый, худой, с красивыми, полуседыми усами, другой — рыжебородый, в очках. Оба они долго и внимательно рылись в книгах, худой все время тихонько свистел, и усы у него шевелились, а рыжий говорил с хозяином. Евсей укладывал отобранные книги в ряд, корешками вверх, и прислушивался к словам старика Распопова.

Он заранее знал все, что будет говорить хозяин, знал, как он будет говорить, и от скуки, вызванной ожиданием вечера, проверял себя.

— Для библиотеки покупаете? — ласково спросил старик.

— Для библиотеки общества учителей! — ответил рыжий и тоже спросил: — А что?

«Похвалит!» — думал Евсей о хозяине и не ошибся.

— С большим знанием выбор делаете, приятно видеть правильную оценку книги...

— Приятно?

«Сейчас улыбнется», — подумал Евсей.

— Как же! — любезно усмехаясь, сказал старик. — К этому товару привыкаешь, любишь его, ведь не дрова,

а произведение ума. Когда видишь, что и покупатель тоже уважает книгу, — это приятно. Вообще-то наш покупатель чудак, приходит и спрашивает — нет ли интересной книги какой-нибудь? Ему все равно, он ищет забавы, игрушечку, но не пользу. А иной раз бывает — вдруг спросит запрещенных книг...

— Как это — запрещенных? — спросил рыжий, прищуривая маленькие глазки.

— Напечатанных за границей или тайно в России...

— А бывают в продаже и такие?

«Теперь будет говорить тихонько!» — вспоминал Евсей приемы старика.

Уставившись очками в лицо рыжего, хозяин почти шопотом сказал:

— Почему не быть? Иногда купишь целую библиотеку, ну, а в ней все попадается, все.

— И сейчас имеете такие книги?

— Найдется несколько...

— А ну, покажите-ка! — попросил рыжий.

— Только я вас попрошу сохранить это в секрете... Знаете, — не из-за прибыли, а из почтения... желаешь услужить...

Сутулый человек перестал свистеть, поправил очки и внимательно осмотрел старика.

Сегодня хозяин был особенно противен Евсею, весь день он наблюдал за ним с тоскливой злостью, и теперь, когда старик отошел с рыжим в угол лавки, показывая там книги, мальчик вдруг шопотом сказал сутулому покупателю:

— Тех книг не покупайте...

Сказал и вздрогнул в остром испуге. Из-под очков в лицо ему заглянули светлые прищуренные глаза.

— Почему?

Не сразу, с большим усилием, Евсей ответил:

— Я не знаю...

Покупатель снова поправил очки, отодвинулся от него и засвистал громче, искоса присматриваясь к старику. Потом, дернув головой кверху, он сразу стал прямее, вырос, погладил седые усы, не торопясь подошел к своему товарищу, взял из его рук книгу, взглянул и бросил ее на стол. Евсей следил за ним, ожидая чего-то беспощадного

для себя. Но сутулый дотронулся до руки товарища и сказал просто, спокойно:

— Ну, идем...

— А — книги? — воскликнул рыжий.

— Идем...

Рыжий взглянул на него, потом на хозяина, его маленькие глазки часто замигали, и он отошел к двери на улицу.

— Не желаете? — спросил Распопов. Евсей понял по голосу, что старик удивлен.

— Не желаю! — ответил покупатель, пристально глядя в лицо хозяина. Тот съежился, отступил, взмахнул рукой и вдруг неестественно громко заговорил незнакомым Евсею голосом:

— Воля ваша! Все-таки этого я, извините, не понимаю...

— Чего не понимаете? — спросил сутулый, усмехаясь.

— Рылись два часа, сторговались и вдруг — почему? — тревожно выкрикивал старик.

— Хотя бы потому, что вспомнил я вашу противную рожу. Вы еще не издохли?

Сутулый выговорил свои слова медленно, негромко, отчетливо и ушел из лавки не торопясь, шагая тяжело, гулко.

Минуту старик смотрел вслед ему, затем сорвался с места, мелкими шагами подбежал к Евсею и, схватив его за плечо, быстрым шопотом заговорил:

— Иди за ним, узнай, где живет, иди! Незаметно, понимаешь, скорее!

Евсей упал бы, если б старик не удерживал его на ногах. Слова старика сухо трещали в его груди, точно горох в погребушке...

— Чего ты дрожишь, болван?

Чувствуя, что рука хозяина выпустила его плечо, Евсей побежал к двери...

— Стой!..

Он остановился, схваченный криком.

— Куда тебе, — разве ты можешь!.. А-ах...

Евсей отскочил в угол, он впервые видел хозяина таким злым, понимал, что в этой злобе много испуга — чувства, слишком знакомого ему, и, несмотря на то, что сам

он был опустошен страхом, ему все-таки нравилась тревога старика.

Маленький, пыльный старик метался по лавке, точно крыса в западне. Он подбегал к двери, высовывал голову на улицу, вытягивал шею, снова возвращался в лавку, ощупывал себя растерявшимися, бессильными руками и бормотал и шипел, встряхивая головой так, что очки его прыгали по лицу:

— Н-на-а, — подлец!.. Да-а, — подлец, — я жив!

И крикнул Евсею:

— Запирай лавку!

Войдя в свою комнату, он, перекрестясь, тяжело свалился на черный диван. Всегда гладкий, теперь старик весь был покрыт морщинами, лицо его съежилось, платье повисло складками на его встревоженном теле.

— Скажи хозяйке, чтобы перцовки дала мне, — большую рюмку...

Когда Евсей принес водку, хозяин поднялся, залпом выпил ее и, широко открыв рот, долго смотрел в лицо Евсея, а потом спросил:

— Ты понимаешь, что он меня обидел?

— Да, — сказал Евсей.

Старик поднял руку, молча погрозил пальцем и надломленным голосом проговорил:

— Я его знаю...

Сняв свою черную шапочку, потер руками голый череп, осмотрел комнату, снова потрогал руками голову и лег на диван.

Раиса внесла ужин и, расставляя на столе тарелки, спросила:

— Устали?

— Нездоровится, лихорадка. Дайте еще перцовки. Посидите с нами, вам еще рано уходить...

Говорил он торопливо, приказывая. Когда Раиса села, старик приподнял очки и подозрительно осмотрел ее.

За ужином он вдруг, подняв ложку вверх, проговорил:

— Не хочется есть...

И, наклонив голову над тарелкой, долго молчал.

Евсей настойчиво старался понять, что случилось в лавке. Было похоже, как будто он неожиданно зажег

спичку, и от ее ничтожного пламени вдруг жарко вспыхнуло что-то и едва не сожгло его злым огнем.

Люди связаны, опутаны какими-то невидимыми нитями, — если случайно задеть нитку, человек дергается, сердится.

Старик вдруг тихо и подозрительно спросил, глядя на Евсея:

— Ты о чем думаешь?

Евсей смущенно встал:

— Я не думаю...

— Ну, ступай, — поужинал и ступай!

Желая позлить хозяина, Евсей начал убирать посуду со стола, нарочно не торопясь. Тогда старик визгливо крикнул:

— Иди, я тебе говорю! Дурак!

Евсей вышел, сел на сундук, дверь он притворил неплотно, — хотелось слышать, что будет говорить хозяин.

— Ты чего сидишь?

Он обернулся. Высунув голову из двери, хозяин смотрел на него.

— Ложись, спи!

Дверь плотно закрылась, Евсей разделся и лег.

Сухие слова старика шуршали за дверью, точно осенние листья. Иногда старик сердился, вскрикивал, — это мешало и думать и спать.

Утром Раиса снова позвала его к себе и, когда он сел, спросила, улыбаясь:

— Что у вас вчера в лавке-то было?

Евсей подробно рассказывал, она смеялась, довольная и веселая, но вдруг прищурила глаза и негромко спросила:

— Ты понимаешь — кто он?

— Нет...

— Сыщик! — шепнула она, глаза у нее пугливо расширились.

Евсей молчал. Тогда она встала, подошла к нему и, глядя его голову, заговорила задумчиво и ласково:

— Какой ты, — ничего не понимаешь. Что такое ты говорил мне? Какая другая жизнь?

Вопрос оживил его, ему очень хотелось говорить об этом. Глядя ей в лицо бездонным взглядом незрячих глаз, он начал рассказывать:

— Есть другая жизнь, — а откуда же сказки? Не только сказки...

Женщина, смеясь, растрепала ему волосы теплыми пальцами:

— Глупенький ты...

И серьезно, даже строго сказала:

— Схватят тебя, поведут куда хотят, и будут делать с тобой что хотят, — вот и вся жизнь!

Евсей молча кивнул головой, соглашаясь со словами Раисы. Она вздохнула, посмотрела из окна на улицу, и, когда снова обернулась к Евсею, лицо ее удивило его — оно было красное, глаза стали меньше, темнее. Женщина сказала ленивым и глухим голосом:

— Если бы ты был... умнее, что ли, бойчее, я бы тебе, может быть, что-нибудь сказала. Да ты такой, что и сказать тебе нечего. А твоего хозяина — удавить надо... Вот, передай ему, что я говорю... ты ведь все ему передаешь...

Евсей поднялся со стула, облитый обидой, и забормотал:

— Я про вас никогда не скажу. Я вас очень люблю, и, хоть бы удавили вы его, — все равно! Так я вас люблю...

Он вяло пошел к двери, но руки женщины, точно теплые, белые крылья, охватили его, повернули назад.

— Я тебя обидела? — слышал он. — Ну, прости... Если бы ты знал, какой он дьявол. Ненавижу его... ах ты...

Крепко прижав его к своей груди, она дважды поцеловала мальчика.

— Так — любишь?

— Да, — прошептал Евсей, чувствуя, что он кружится в горячем вихре неведомой радости.

Смеясь и лаская его, она сказала:

— Ах ты, — мальчуган...

Спускаясь с лестницы, он улыбался. У него кружилась голова, тело налилось сладкой истомой, он шел тихо и осторожно, точно боялся расплескать горячую радость сердца.

— Ты что долго? — вопросительно спросил хозяин.

Евсей взглянул на него, но увидел перед собой какое-то смутное пятно без формы.

— Голова у меня болит! — медленно ответил он.

— Также и у меня. Что это значит? Раиса встала?

- Да...
- Говорила с тобой?
- Да-а...
- О чем? — быстро спросил хозяин.

Вопрос точно хлестнул Евсея по лицу, он спохватился и ответил:

— Говорила, что плохо кухню подметаю...

Евсей услышал тихий, унылый возглас старика:

— Это — женщина опасная! Да, да... Выспрашивает, заставляет говорить ей чего не надо...

V

Дни побежали торопливой, спутанной толпой, как будто впереди их ожидала радость, но каждый день становился все тревожнее.

Старик стал угрюм, молчалив, странно оглядывался и, внезапно вспыхивая, кричал, сердился, выл тревожным воем больной собаки...

Он жаловался на нездоровье, его тошнило, за обедом он подозрительно нюхал кушанье, щипал дрожащими пальцами хлеб на мелкие крошки, чай и водку рассматривал на свет. По вечерам все чаще ругал Раису, грозя погубить ее. Она отвечала на его крики спокойно, мягко, у Евсея росла любовь к ней и скоплялась докучная ненависть к хозяину.

— Разве я не понимаю, что ты задумала, подлая! — кричал старик жалобно и зло. — Отчего у меня болезнь? Чем отравляешь?

— Что вы, что вы! — звучал спокойный голос женщины. — Хвораете вы от старости.

— Врешь, врешь!

— От испуга тоже...

— Ты, проклятая, молчи!

— Пора вам думать о смерти...

— Ага — вот ты чего хочешь? Врешь! Не на что тебе надеяться. Дело твое — не одному мне известно! Я Доримедонту рассказал про тебя, — да! Что?

И снова завыл слезливо и громко.

— Я знаю — он твой любовник!.. Это он подговорил

тебя, чтобы ты отравила меня. Ты думаешь — в его руках легче тебе будет? Врешь — не будет!

В темный час одной из подобных сцен Раиса вышла из комнаты старика со свечой в руке, полураздетая, белая и пышная; шла она, как во сне, качаясь на ходу, неуверенно шаркая босыми ногами по полу, глаза были полужакрыты, пальцы вытянутой вперед правой руки судорожно шевелились, хватая воздух. Пламя свечи откачнулось к ее груди, красный, дымный язычок почти касался рубашки, освещая устало открытые губы и блестя на зубах.

Когда она прошла мимо Евсея, не заметив его, он невольно потянулся за нею, подошел к двери в кухню, заглянул туда и оцепенел от ужаса: поставив свечу на стол, женщина держала в руке большой кухонный нож и пробовала пальцем остроту его лезвия. Потом, нагнув голову, она дотронулась руками до своей полной шеи около уха, искала на ней чего-то длинными пальцами, тяжело вздохнув, тихо положила нож на стол, и руки ее опустились вдоль тела...

Евсей схватился за косяк, она вздрогнула, обернулась на шорох и сердитым шопотом спросила:

— Чего тебе?..

Задышавшись, Евсей ответил:

— Он умрет скоро, — зачем вы себя-то!

— Ш-ш! — остановила она и, коснувшись Евсея, точно опираясь на него, снова прошла в комнату старика.

Скоро Распопов уже не мог встать с постели, голос его ослабевал и хрипел, лицо чернело, бессильная шея не держала голову, и седой клочок волос на подбородке странно торчал вверх. Приходил доктор, и каждый раз, когда Раиса давала больному лекарство, он хрипел:

— С ядом, а?

— Если не хотите — я вылью! — говорила женщина негромко.

— Нет, нет, ты оставь... Завтра я полицию позову, — спрошу, чем ты меня травишь...

Евсей стоял у двери, прикладывая к щели в ней то глаз, то ухо, почти до слез удивлялся терпению Раисы, в груди его неудержимо разрасталась жалость к ней, острое желание смерти старику.

Скрипела кровать, и дрожал тонкий звон ложки о стекло стакана.

— Размешивай, размешивай, стерва! — бормотал хозяин.

...— Перенеси меня на диван! — приказал он однажды:

Раиса взяла его на руки, понесла, легко, точно ребенка. Его желтая голова лежала на розовом плече ее, темные, сухие ноги вяло болтались, путаясь в белых юбках.

— Господи... — занял старик, раскидываясь по широкому дивану. — Господи, почто предал раба твоего в руки злодеев? Рааве грехи мои горше их грехов, владыко?

Он задохнулся, захрипел и свистящим голосом продолжал:

— Прочь ты! Отравила одного, я спас тебя от каторги, а теперь ты меня, — а-а! Врешь...

Раиса медленно отодвинулась в сторону, Евсей видел маленькое, сухое тело хозяина, его живот вздувался и опадал, ноги дергались, на сером лице судорожно кривились губы, он открывал и закрывал их, жадно хватая воздух, и облизывал тонким языком, обнажая черную яму рта. Лоб и щеки, влажные от пота, блестели, маленькие глаза теперь казались большими, глубокими и неотрывно следили за Раисой.

— Никого нет!.. Нет близкого на земле... Нет верного друга, — за что? О господи!

Голос старика взвизгнул и переломился.

— Ты, распутная... Побожись перед иконой, что не отравляешь меня...

Раиса обернулась в угол и перекрестилась.

— Не верю я, — не верю! — бормотал он, хватая и царапая руками грудь, белье, спинку дивана.

— Выпейте, лучше будет! — вдруг почти крикнула Раиса.

— Лучше?.. — повторил старик. — Родная, ты у меня одна, ты! Я тебе все отдам!.. Родная, Рая...

Он протягивал к ней костлявую руку и манил ее к себе, шевеля черненькими пальцами.

— Ах, надоел ты мне, проклятый! — сдавленным голосом выговорила Раиса. Выхватив из-под его головы по-

душку, бросила ее в лицо старика, навалилась на нее грудью и забормотала:

— Иди к чорту! Иди... иди...

Евсей слышал хрип, глухие удары, понимал, что Раиса душит, тискает старика, а хозяин бьет ногами по дивану, — он не ощущал ни жалости, ни страха, но хотел, чтобы все сделалось поскорее, и для этого закрыл ладонями глаза и уши.

Боль удара в бок дверью из комнаты хозяина заставила его вскочить на ноги — перед ним стояла Раиса, поправляя распустившиеся по плечам волосы.

— Ну, — видел? — сурово спросила она.

— Видел! — сказал Евсей, кивнув головой, и подвинулся ближе к Раисе.

— Вот, — доноси полиции...

Она повернулась и ушла в комнату, оставив дверь открытой, а Евсей встал в двери, стараясь не смотреть на диван, и шопотом спросил:

— Он совсем умер?..

— Да! — четко ответила женщина.

Тогда Евсей повернул голову, безучастными глазами посмотрел на маленькое тело хозяина, приклеенное к черному дивану, плоское, сухонькое, посмотрел на него, на Раису и облегченно вздохнул.

В углу, около постели, стенные часы нерешительно и негромко пробили раз — два; женщина дважды вздрогнула, подошла, остановила прихрамывающие взмахи маятника неверным движением руки и села на постель. Поставив локти на колени, она сжала голову ладонями, волосы ее снова рассыпались, окутали руки, закрыли лицо плотной, темной завесой.

Едва касаясь пола пальцами босых ног, боясь нарушить строгую тишину, Евсей подошел к Раисе, глядя на ее голое плечо, и сказал негромко:

— Так ему и надо...

— Отвори окно! — сурово приказала Раиса. — Подожди. Ты боишься?

— Нет!

— Почему? Ведь ты боязливый.

— С вами я не боюсь...

— Отвори окно!

Ночной холод ворвался в комнату и облетел ее кругом, задувая огонь в лампе. По стенам метнулись тени. Женщина взмахнула головой, закидывая волосы за плечи, выпрямилась, посмотрела на Евсея огромными глазами и с недоумением проговорила:

— За что погибаю? Всю жизнь — из ямы в яму... Одна другой глубже...

Евсей снова встал рядом с нею, оба долго молчали. Потом она обняла его за талию мягкой рукой и, прижимая к себе, тихо спросила:

— Слушай, ты скажешь про это?

— Нет! — ответил он, закрыв глаза.

— Никому? Никогда? — задумчиво проговорила женщина.

— Никогда! — повторил он тихо, но твердо.

Встала, оглянулась и заметила деловито:

— Оденься, холодно! Надо немножко прибрать комнату... Иди, оденься!

Когда он воротился, то увидел, что труп хозяина накрыт с головой одеялом, а Раиса осталась, как была, полуодетой, с голыми плечами; это тронуло его. Они, не торопясь, прибрали комнату, и Евсей чувствовал, что молчаливая возня ночью, в тесной комнате, крепко связывает его с женщиной, знающей страх. Он старался держаться ближе к ней, избегая смотреть на труп хозяина.

Светало.

— Теперь иди, ляг, усни, — приказала женщина. — Я скоро разбужу тебя, — и, потрогав рукой постель его, сказала: — Ай, как жестко тебе...

Когда он лег, — села рядом с ним и, поглаживая голову его мягкой ладонью, говорила тихо:

— Будут спрашивать — ты ничего не знаешь... спал, ничего не видел...

Спокойно и толково она учила его, как надо говорить, а ласка ее будила в нем воспоминание о матери. Ему было хорошо, он улыбался.

— Доримедонт — тоже сыщик... — слышал он баюкающий голос. — Ты будь осторожнее... Если он выпросит тебя, — я скажу, что ты все знал и помогал мне во всем, — тогда и тебя в тюрьму посадят.

И, тоже улыбаясь, повторила:

— В тюрьму и потом — на каторгу... Понял?

— Да! — тихо и счастливо ответил Евсей, глядя в лицо ее слипающимися глазами.

— Засыпаешь? Ну, спи... — слышал он сквозь дрему, счастливый и благодарный. — Забудешь ты все, что я говорила?.. Какой ты, слабенький... спи!

Он заснул.

Но скоро его разбудил строгий голос:

— Мальчик, вставай!.. Мальчик!

Он вскинулся всем телом, вытянув вперед руки. У постели его стоял Доримедонт с палкой в руке.

— Что ж ты спишь, — а? У тебя скончался хозяин, а ты спишь! В день смерти благодетеля нужно плакать, а не спать... Одевайся!

Плоское угреватое лицо сыщика было строго, слова его повелительно дергали Евсея и правили им, как вожжи смирной лошады.

— Беги в полицию. Вот записка!

Евсей вяло оделся, вышел на улицу и, усиленно расширяя глаза, побежал по тротуару, натываясь на прохожих.

«Скорей бы похоронить его! — бессвязно и тревожно думал он. — Напугает ее Доримедонт, она ему все и расскажет. Тогда и меня в тюрьму...»

Когда он вернулся домой, там уже сидел чернобородый полицейский чиновник и какой-то седой старик в длинном сюртуке, а Доримедонт говорил полицейскому командующим голосом:

— Слышите, Иван Иванович, что говорит доктор? Рак!.. Ага! Вот мальчик, — эй, мальчик, иди, принеси полдюжины пива, скорее!

Раиса в кухне варила кофе, делала яичницу. Рукава у нее были высоко засучены, белые руки мелькали быстро и ловко.

— Придешь — кофеем напою! — пообещала она Евсею, улыбаясь.

Он бегал весь день до вечера, потеряв себя в сутолоке, не имея времени заметить, что творится в доме, но чувствуя, что все идет хорошо для Раисы. В этот день она была красивее, чем всегда, и все смотрели на нее с удовольствием.

А вечером, когда он, почти больной от усталости, лежал в постели, ощущая во рту неприятный, склеивающий вкус, он слышал, как Доримедонт строго и властно говорил Раисе:

— Его нельзя спускать с глаз — понимаешь? Он — глуп.

Потом он и Раиса вошли в комнату Евсея, сыщик важно протянул руку и сказал, посапывая:

— Встань! Ну, скажи — как ты теперь будешь жить?

— Я не знаю...

— Не знаешь? Кто же знает?

Глаза сыщика опухли, щеки и нос у него побагровели, он дышал горячо, шумно и был похож на жарко истопленную печь.

— Ты будешь жить с нами, — со мной! — ласково объявила Раиса.

— Да, ты будешь жить у нас, а я найду тебе хорошее место.

Евсей молчал.

— Ну, что же ты?

— Ничего... — сказал Евсей не сразу.

— Должен благодарить, дурашка! — снисходительно пояснил Доримедонт.

Евсей чувствовал, что маленькие серые глазки, подобно гвоздям, прикрепляют его к чему-то неоспоримому.

— Мы будем для тебя — лучше родных! — сказал Доримедонт, уходя, и оставил за собой тяжелый запах пива, пота и жира.

Евсей открыл окно, прислушался, как ворчит и возится, засыпая, город.

Потом лег, глядя пугливыми глазами в темноту, в ней медленно двигались черными кусками шкафы, сундуки, колебались едва видимые стены, и все это давило необоримым страхом, толкало его в какой-то неизбежный, душный угол.

В комнате Раисы мычал сыщик:

— Ничего-о... Это — пройдет... А-а, привыкнешь!

Евсей сунул голову под подушку, но через минуту, задыхаясь, вскочил — перед ним мелькнули сухие, темные ноги хозяйина, засветились его маленькие, красные, больные глазки.

Он взвизгнул, побежал, вытянув вперед руки, толкнул ими в дверь Раисы и тихо завыл:

— Боюсь...

Два больших белых тела метнулись в комнату, одно из них пугливо и злобно зарычало:

— Пошел вон!

Евсей упал на колени и забился на полу у ног людей, как испуганная ящерица, тихонько вскрикивая:

— Боюсь...

...Потом дни были наполнены суетой похорон, переездом Раисы на квартиру Доримедонта. Евсей без дум метался, точно маленькая птица, в облаке темного страха, и лишь порою в нем, как синий болотный огонек, вспыхивала робкая мысль:

«Что со мной будет?»

И обжигала сердце тоской, вызывая желание убежать куда-то, спрятаться, но всюду он встречал зоркие глаза Доримедонта и слышал его тупой голос:

— Мальчик, живо!

Эта команда звучала где-то внутри Евсея, она толкала его из стороны в сторону; целые дни он бегал, а вечером, утомленный и пустой, засыпал тяжким, черным сном, полным страшных сновидений.

VI

От этой жизни он очнулся в сумрачном углу большой комнаты с низким потолком, за столом, покрытым грязной, зеленой клеенкой. Перед ним толстая исписанная книга и несколько листков чистой разлинованной бумаги, в руке его дрожало перо, он не понимал, что нужно делать со всем этим, и беспомощно оглядывался кругом.

В комнате стояло много столов, за ними, по двое и по четверо, сидели разные люди; устало и сердито перекидываясь короткими словами, они торопливо писали и много курили. Едкий синий дым плыл к форточкам окон, а встречу ему назойливо и непрерывно вытекал с улицы оглушающий шум. Множество мух кружилось над головами, они бестолково ползали по объявлениям на стенах,

по столам, стукались о стекла и в суете своей были подобны людям, наполнявшим эту душную, грязную клетку. У дверей стояли полицейские солдаты, входили разные люди, кланялись, покорно улыбались, вздыхали. Колыхался их торопливый, жалобный говор, его разрывали строгие окрики чиновников.

Вытянув шею над столом, Евсей осматривал служащих, желая найти среди них кого-то, кто помог бы ему. В нем пробудился инстинкт самозащиты и собирал все подавленные чувства, разорванные мысли в одно стремление — поскорее приспособиться к этому месту и людям, чтобы сделать себя незаметным среди них.

Все служащие, молодые и старые, имели нечто общее — одинаково измятые, потертые, все они легко и быстро раздражались, кричали, оскалив зубы, размахивая руками. Было много пожилых и лысых, несколько рыжих и двое седых: один — длинноволосый, высокий, с большими усами, похожий на священника, которому обрили бороду, другой — краснолицый, с огромною бородою и голым черепом.

Это он посадил Евсея в угол, положил перед ним книгу и приказал, стучая по ней пальцем, что-то переписать из нее.

Теперь перед этим стариком стояла пожилая женщина, вся в черном, и жалобно тянула:

— Милостивый государь...

— Вы мне мешаете! — крикнул старик, не глядя на нее.

Одни люди жаловались, просили, оправдывались, говоря покорно и плаксиво, другие покрикивали на них сердито, насмешливо, устало. Шелестела бумага, скрипели перья, и сквозь весь этот шум просачивался тихий плач девушки.

— Алексей! — громко позвал седобородый старик. — Уведи эту женщину...

Его глаза остановились на Климкове, он быстро подошел к нему и удивленно спросил:

— Ты что же — а? Ты почему не пишешь?

Евсей молчал, опустив голову.

— Ну, вот — наградили еще одним дураком! — сказал старик, пожимая плечами, и пошел прочь, крича: — Эй, Зарубин...

Сухой, тоненький подросток с черными кудрями на маленькой голове, с низким лбом и бегающими глазками, сел рядом с Евсеем, толкнул его локтем в бок, спрашивая вполголоса:

— В чем дело?

— Не понимаю... — испуганно сказал Климков.

Где-то внутри подростка — точно в животе у него — глухо ухнуло:

— У!

— Я тебя научу, а ты дашь мне полтинник, когда получишь жалованье, — ладно?

— Ладно...

Черненький указал, что надо выписать из книги, и в нем снова как будто что-то оборвалось:

— У!

Он исчез, юрко скользя между столов, сгибаясь на ходу, прижав локти к бокам, кисти рук к груди, вертя шершавой головкой и поблескивая узенькими глазками. Евсей, проводив его взглядом, благоговейно обмакнул перо в чернила, начал писать и скоро опустил в привычное и приятное ему забвение окружающего, застыл в бессмысленной работе и потерял в ней свой страх.

Он быстро привык к новому месту. Механически исполнительный, всегда готовый услужить каждому, чтобы поскорее отделаться от него, он покорно подчинялся всем и ловко прятался за своей работой от холодного любопытства и жестоких выходов сослуживцев. Молчаливый и скромный, он создал себе в углу незаметное существование и жил, не понимая смысла дней, пестро и шумно проходящих мимо его круглых, бездонных глаз.

Он слышал жалобы, стоны, испуганные крики, строгие голоса полицейских офицеров, раздраженный ропот и злые насмешки канцеляристов. Часто людей били по лицу, выталкивали в шею за дверь, нередко текла кровь; иногда полицейские приводили людей, связанных веревками, избитых, — они страшно мычали. Воры улыбались всем, как добрые знакомые, проститутки тоже заискивающе улыбались, все они оправляли свои платья всегда одним и тем же движением руки. Беспаспортные угрюмо или уныло молчали, глядя исподлобья; политические подназорные приходили гордо, спорили, кричали и никогда

не говорили никому ни здравствуйте, ни прощайте, ко всем относясь со спокойным презрением или явной враждебностью. О них в канцелярии говорили много, почти всегда насмешливо, порою злобно, но под насмешками и злобой Евсею чувствовался скрытый интерес и некоторый почтительный страх перед людьми, которые держались независимо.

Больше всего возбуждали интерес служащих политические сыщики, люди с неуловимыми физиономиями, молчаливые и строгие. О них с острой завистью говорили, что они зарабатывают большие деньги, со страхом рассказывали, что этим людям — все известно, все открыто; сила их над жизнью людей — неизмерима, они могут каждого человека поставить так, что куда бы человек ни подвинулся, он непременно попадет в тюрьму.

У Климкова незаметно накаплился опыт, слабая, немелкая мысль не могла организовать его в стройное целое, но, подчиняясь силе тяжести своей, он постепенно слагался сам собою, обострял любопытство, иногда подсказывал Евсею мысли, пугавшие его.

Вокруг никто никого не жалел, и Евсею тоже не было жалко людей, ему стало казаться, что все они притворяются, даже когда избиты, плачут и стонут. В глазах каждого он видел что-то затаенное, недоверчивое, и не раз ухо его ловило негромкое, но угрожающее обещание:

— Погодите — будет праздник и на нашей улице...

Вечерами, когда он сидел в большой комнате почти один и вспоминал впечатления дня, — все ему казалось лишним, ненастоящим, все было непонятно. Казалось — все знают, что надо жить тихо, беззлобно, но никто почему-то не хочет сказать людям секрет иной жизни, все не доверяют друг другу, лгут и вызывают на ложь. Было ясно общее раздражение на жизнь, все жаловались на тяжесть ее, каждый смотрел на другого, как на опасного врага своего, и у каждого недовольство жизнью боролось с недоверием к людям.

Порою Евсею овладевала тяжелая, ослабляющая скука, пальцы его становились вялыми, он откладывал перо в сторону и, положив голову на стол, долго, неподвижно смотрел в дымный сумрак комнаты, стараясь что-то найти в глубине своей души.

Его начальник, бритый старик, кричал ему:

— Климков! Заснул?

Евсей хватал перо и, вздыхая, говорил себе:

«Пройдет...»

Но не мог понять — верит он в это или уже не верит, а только утешает себя...

Дома было скучнее и тяжелее, чем в канцелярии полицейского управления.

Утром Раиса, полуодетая, с измятым лицом и тусклыми глазами, молча поила кофе. В ее комнате кашлял и харкал Доримедонт, теперь его тупой голос стал звучать еще более громко и властно, чем прежде. В обед и за ужином он звучно чавкал, облизывал губы, далеко высовывая большой, толстый язык, мычал, жадно рассматривая пищу перед тем, как начать есть ее. Его красные, прыщеватые щеки лоснились, серые глазки ползали по лицу Евсея, точно два холодных жучка, и неприятно щекотали кожу.

— Я, брат, — говорил он, — вес жизни знаю — и сколько стоит человеку фунт добра и зла! А тебе сразу счастье пришло, вот я тебя поставил на место и буду толкать до возможной высоты...

Говоря, он покачивал свое грузное тело, стул под ним жалобно скрипел. Евсей чувствовал, что этот человек может заставить его сделать все, что захочет.

Иногда сыщик хвастливо и самодовольно общал:

— Сегодня опять мне благодарность от Филиппа Филипповича. Руку подал даже...

Однажды, во время ужина, он, подергивая себя за ухо, рассказал:

— Сижу я в одном ресторане и вижу — человек котлету ест и все оглядывается и часто смотрит на часы. Тебе нужно знать, Евсей, — честный, спокойный человек не смотрит по сторонам, люди его не интересуют, время он знает. За людьми наблюдают только агенты охраны и преступники. Я, конечно, этого господина заметил. Вот приходит дачный поезд, является в ресторан еще господин, черный, с бородкой, из жидов, как видно, и в петлице у него два цветка — красный с белым. Знак! Вижу — здороваются, — глазами. Ага, думаю!.. Черный спросил

есть, сельтерской выпил и пошел, а тот, прежний, не то-ропясь, за ним... И я за ними...

Он надул щеки, с силой выдохнул изо рта в лицо Евсея струю дыхания, насыщенного запахами мяса и пива. Евсей покачулся на стуле, а сыщик захохотал, потом громко отрыгнул и продолжал, подняв толстый палец:

— Месяц и двадцать три дня я за ними ухаживал — н-на! Наконец — доношу: имею, мол, в руках след подозрительных людей. Поехали. Кто таков? Русский, который котлету ел, говорит — не ваше дело. Жид назвался верно. Взяли с ними еще женщину, — уже третий раз она попадает. Едем в разные другие места, собираем народ, как грибы, однако все шваль, известная нам. Я было огорчился, но вдруг русский вчера назвал свое имя, — оказывается господин серьезный, бежал из Сибири, — н-на! Получу на Новый год награду!

Раиса, слушая, смотрела куда-то через голову сыщика и медленно жевала корку хлеба, откусывая от нее маленькие кусочки.

— Ловите вы их, ловите, а они не переводятся! — лениво сказала она.

Сыщик усмехнулся и важно ответил:

— Не понимаешь ты политики, оттого и говоришь ерунду, любезная моя! Людей этих мы вовсе не желаем истребить окончательно — они для нас как бы искры и должны указывать нам, где именно начинается пожар. Это говорит Филипп Филиппович, а он сам из политических и к тому же — еврей, н-на... Это очень тонкая игра...

Взгляд Евсея скучно блуждал по квадратной тесной комнате, стены ее были оклеены желтыми обоями, всюду висели портреты царей, генералов, голых женщин, напоминая язвы и нарывы на коже больного. Мебель плотно прижималась к стенам, точно сторонясь людей, пахло водкой и жирной, теплой пищей. Горела лампа под зеленым абажуром, от него на лица ложились мертвые тени...

Сыщик протянул руку через стол и дернул Евсея за волосы.

— Когда я говорю — ты должен слушать...

Он часто бил Климкова, и хотя не больно, но его удары были особенно обидны, точно он бил не по лицу, а по душе. Особенно нравилось ему бить по голове перст-

нем, — он сгибал палец и стучал тяжелым перстнем так, что получался странный, сухо шелкавший звук. И каждый раз, когда Евсей получал удар, Раиса, двигая бровями, пренебрежительно говорила:

— Полноте, Доримедонт Лукич, не надо...

— Н-на! Что он — расколется от этого? Надо же его учить...

Раиса похудела, под глазами у нее явились синие круги, взгляд стал еще более неподвижен и туп. В те вечера, когда сыщика не было дома, она посылала Евсея за водкой, глотала ее маленькими рюмками и потом что-то рассказывала ему ровным голосом, запутанно и непонятно, часто останавливаясь и вздыхая.

Ее большое тело распускалось, постепенно она расстегивала пуговицу за пуговицей, развязывала тесемки и, полураздетая, разваливалась в кресле, точно перекишшее тесто.

— Скучно мне, — говорила она, мотая головой, — скучно! Был бы ты красивее или хоть старше, развлекал бы меня. Ах, какой ты ненужный...

Евсей молча опускал голову, сердце его обливалось жгучим холодом обиды.

— Ну, что ты вянешь, чего никнешь? — слышал он тоскливые жалобы. — Другие в твои годы уже давно девиц любят, живым живут...

Иногда, выпив водки, она привлекала его к себе и тормошила, вызывая в нем сложное чувство страха, стыда и острого, но не смелого любопытства. Он плотно закрывал глаза, отдаваясь во власть ее бесстыдных и грубых рук молча, безвольно, малокровный, слабый, подавленный обессиливающим предчувствием чего-то страшного.

— Ступай, спи! Ах ты, боже мой! — восклицала она, брезгливо отталкивая его. Он уходил от нее в прихожую, где спал, и все более отдалялся внутренне, понемногу теряя свое бесформенное, тепленькое чувство к ней. Лежа в постели, налитый обидой и острым, неприятным возбуждением, слышал, как Раиса густым, воркующим голосом пела задумчивую песню, всегда одну, и — звенит стекло бутылки, стучаясь о рюмку...

Но однажды, темною ночью, когда в стекла окна около постели Евсея с визгом хлестали тонкие струи осеннего

дождя, Раисе удалось разбудить в подростке нужное ей чувство.

— Вот так! — говорила она, пьяно посмеиваясь. — Теперь ты — мой любовник! Видишь, как это хорошо, — а?

Он стоял у постели с дрожью в ногах, в груди, задышавшись, смотрел на ее огромное, мягкое тело, на широкое, расплывшееся от усмешки лицо. Ему уже не было стыдно, но сердце, охваченное печальным чувством утраты, обиженно замирало, и почему-то хотелось плакать. Он молчал, печально ощущая, что эта женщина чужда, не нужна, неприятна ему, что все ласковое и хорошее, лежавшее у него в сердце для нее, сразу проглочено ее жадным телом и бесследно исчезло в нем, точно запоздалая капля дождя в мутной луже.

— Будем мы с тобою Доримедошку надувать, свинью, — иди сюда!

Он, не смея отказаться, подошел. Но теперь женщина уже не могла победить в нем неприязни к ней. Она долго тормошила его и обидно смеялась над ним, потом, грубо оттолкнув от себя его костлявое тело, выругалась и ушла.

Когда Евсей остался один, то безнадежно подумал:

«Теперь она меня изведет, — она припомнит мне это! Пропал я...»

Он посмотрел в окно — за стеклами трепетало и билось во тьме что-то бесформенное, испуганное; плакало, взвизгивая, хлесталось в стекла, шаркалось о стены, прыгало по крыше.

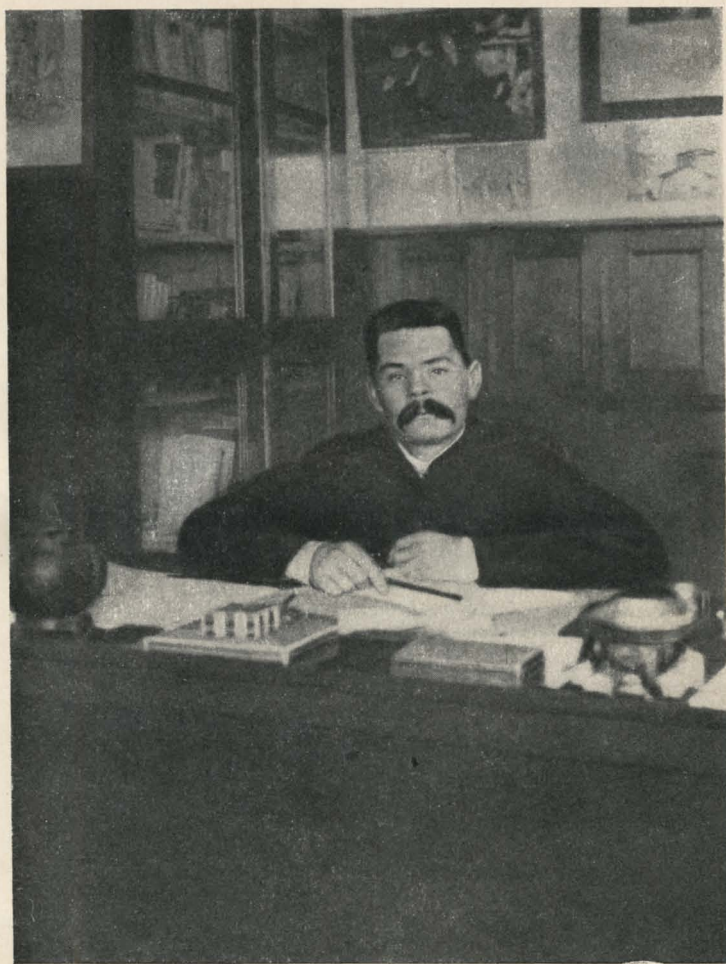
Тихонько подползла, соблазняя, осторожная мысль: «А если я скажу, что она старика удушила?»

Евсей испугался этого вопроса и долго не мог оттолкнуть его от себя.

«Она меня и так и этак погубит!» — отвечал он сам себе, а вопрос все-таки неуклонно стоял перед ним и манил его куда-то.

Утром ему показалось, что Раиса забыла о печальном насилии ночи. Она лениво и равнодушно дала ему кофе, хлеба и, как всегда, полубольная с похмелья, ни словом, ни взглядом не намекнула о изменившемся отношении к нему.

Он пошел на службу успокоенный и с того дня начал оставаться на вечерние занятия, а домой возвращался



А. М. ГОРЬКИЙ
Капри. 1907—1908 гг.

медленно, чтобы приходить позднее. Ему было трудно наедине с женщиной, он боялся говорить с нею, ожидая, что Раиса вспомнит ту ночь, когда она уничтожила хилое, но дорогое Евсею его чувство к ней.

Чаще других, вместе с ним, на вечерние занятия оставался в канцелярии Яков Зарубин и начальник Евсей — седоусый Капитон Иванович, которого за глаза все звали Дудкой.

Его бритое лицо было покрыто частой сетью мелких красных жилок, издали оно казалось румяным, а вблизи — иссеченным тонким прутом. Из-под седых бровей и устало опущенных век сердито блестели невеселые глаза, говорил он ворчливо и непрерывно курил толстые, желтые папиросы, над большой, белой головой всегда плавало облако синеватого дыма, отмечая его среди других людей.

— Какой он важный! — сказал однажды Евсей Зарубину.

— Он — полоумный! — ответил черненький Яков. — Почти год в сумасшедшем доме сидел.

Евсей видел, что иногда Дудка вынимает из кармана своего длинного, серого пиджака маленькую черную книжечку, подносит ее близко к лицу и что-то тихо ворчит, шевеля усами.

— Это у него молитвенник?

— Не знаю...

Смуглое лицо Зарубина судорожно дрогнуло, глазки вспыхнули, он покачнулся к Евсею и горячо прошептал:

— Ты к девицам ходишь?

— Нет...

— У! Идем со мной, — ладно? Можно — даром, только на пару пива надо иметь двадцать пять копеек. Если сказать, что мы из полицейского правления, — пусть даром и девиц даром дадут. Нас, полицейских чиновников, боятся!

И еще более тихо, но с большим пылом и жадностью он продолжал:

— А какие есть девки! Толстые, теплые, как пуховые перины. Это самое лучшее, девки, ей-богу!.. Другая ласкает, как родная мать.

— А у тебя есть мать?

— Есть. Только я живу у тетки. У меня мать — сволочь. На содержании у мясника живет. Я к ней не хожу, мясник не велит. Один раз я пришел, а он меня ка-ак хватит ногой в зад — у!

Маленькие, мышинные уши Зарубина вздрагивали, узкие глаза странно закатывались под лоб. Судорожным движением пальцев он щипал черный пух на верхней губе и весь трепетал от возбуждения.

— Ты почему тихий? Надо быть смелее, а то задавят тебя работой. Я тоже сначала боялся, так на мне все верхом ездил. Давай, будем товарищами на всю жизнь?

Он не нравился Евсею, возбуждая опасения своей вертлявостью, но Климов сказал:

— Давай.

— Руку! Вот и кончено. Завтра пойдем к девицам.

— Я не пойду...

Они не заметили, когда к ним подошел Дудка и спросил ворчливым голосом:

— Ну, кто — кого?

— Мы не боремся! — хмуро и непочтительно сказал Зарубин.

— Врешь! — сказал Дудка. — Ты, Климов, не поддавайся ему, слышишь?

— Слышу! — ответил Евсей, вставая перед ним.

И его потянуло к этому человеку чувство почтительного любопытства. Однажды он — по обыкновению неожиданно для себя — осмелился заговорить с Дудкой.

— Капитон Иванович...

— Что такое?

— Я хочу спросить вас, пожалуйста. Отчего люди так нехорошо живут?

Старик поднял тяжелые веки и, посмотрев в лицо Климова, сам спросил:

— А тебе какое дело?

Евсей смутился, вопрос старика встал перед ним во всей силе своей простоты.

— Ага! — тихонько сказал старик. Потом он нахмурился, вынул из кармана черную книжку и, стучая по ней пальцем, сказал:

— Евангелие! Читал?

— Да.

— Понял?

— Нет! — робко ответил Евсей.

— Читай еще... — Двигая усами, старик спрятал книгу в карман. — Книга для детей, для чистых сердцем...

Он ворчал ласково, Евсею хотелось еще спрашивать его о чем-то, но вопросы не складывались, а старик закурил папиросу, окутался дымом и, должно быть, забыл о собеседнике. Климков осторожно отошел прочь, его тяготение к Дудке усилилось, и он подумал:

«Хорошо бы мне сидеть поближе к нему...»

И это стало его мечтой. А Яков Зарубин мечтал так:

— Знаешь что, Климков, — говорил он горячим шопотом, — давай, будем стараться попасть в политические сыщики? Вот бы зажили мы с тобой — у!

Евсей молчал — политические сыщики пугали его своими строгими глазами и тайной, окружавшей их темное дело.

VII

Доримедонт явился поздно ночью в изорванном платье, без шляпы и палки, с разбитым лицом, мокрый от крови. Его грузное тело тряслось, по распухшему лицу текли слезы, он всхлипывал и глухо говорил:

— Надо уезжать в другой город...

Раиса молча отирала лицо его полотенцем, смоченным водкой и водой, он вздрагивал и стонал.

— Ти-ише... Звери, — как они били! Палками, а?

Евсей, снимая сапоги с ног сыщика, с удовольствием слушал его стоны, видел слезы и кровь.

— Буду просить перевода в другой город. Убьют здесь...

— Я — не поеду! — сказала женщина необычно твердо.

— Молчать, — не раздражай больного! — плачущим голосом вскричал сыщик.

Утром, по каменному лицу Раисы и злomu раздражению сыщика, Евсей понял, что эти люди не помирились. За ужином они снова начали спор, сыщик ругался, его распухшее, синее лицо было страшно, правая рука висела на перевязи, левой он грозно размахивал. Раиса, бледная и спокойная, выкатив круглые глаза, следила за взмахами

его красной руки и говорила упрямо, кратко, почти одни и те же слова:

— Не поеду.

— Почему, н-ну?

— Не хочу...

— Нет, поедешь!

— Не поеду...

— Увидим! Ты — кто? Забыла?

— Все равно...

После ужина сыщик закутал лицо свое шарфом и куда-то ушел, а Райса послала Евсея за водкой; когда же он принес ей бутылку столовой и другую — какой-то темной наливки, — она налила в чайную чашку из обеих бутылок, высосала всю ее и долго стояла, закрыв глаза, растирая горло ладонью. Потом спросила, кивнув головой на бутылку:

— Хочешь? Выпей, — все равно — будешь пить!..

Евсей смотрел на ее вялые губы, в потускневшие глаза и, вспоминая, какой она была еще недавно, жалел ее унылою жалостью.

— Эх, — задумчиво сказала она, — если б можно было прожить век с чистой совестью...

Губы у нее судорожно повело, она снова налила себе водки и предложила ему:

— Выпей!

Он отрицательно качнул головой.

— Трусишка. Плохо тебе жить, — это я понимаю, а зачем ты живешь — не понимаю. Зачем?

— Так! — хмуро ответил Евсей. — А что же делать?

Она взглянула на него и ласково сказала:

— Я думаю — удавишься ты...

Евсей обиженно вздохнул и уселся на стуле крепче.

Она прошла по комнате, шагая лениво и неслышно, остановилась перед зеркалом и долго, не мигая, смотрела на свое лицо. Пощупала руками полную белую шею, — у нее вздрогнули плечи, руки грузно опустились, — и снова начала, покачивая бедрами, ходить по комнате. Что-то запела, не открывая рта, — пение напоминало стон человека, у которого болят зубы.

На столе горела лампа, прикрытая зеленым абажуром, против окна, в пустом небе, блестел круглый шар

луны, — он тоже казался зеленым, стоял неподвижно, как тени в комнате, и обещал недоброе...

— Я пойду спать! — сказал Евсей, вставая со стула. Она не ответила и не взглянула на него. Тогда он шагнул к двери, повторил тише:

— Я пойду спать...

— Разве тебя держат? Иди...

Евсей понимал, что ей тошно, ему хотелось сказать что-нибудь. Остановясь в двери, он спросил:

— Вам ничего не нужно?

Взглянув в лицо его мутными глазами, она тихонько ответила:

— Пойди ты к чорту...

Ночью Климова грубо разбудил сыщик.

— Где Раиса? Не знаешь? Дурак!

Он ушел в комнату, потом высунул голову из двери и строго спросил:

— Что она делала?

— Ничего...

— А водку пила?

— Да...

— Свинья...

Сыщик дернул себя за ухо и исчез.

Задребезжала лампа. Сыщик выругался, потом начал зажигать спички, они вспыхивали, пугая темноту, и гасли; наконец из комнаты к постели Евсея протянулся бледный луч света, он вздрагивал пугливо и точно искал чего-то в тесной прихожей...

Слова вышел Доримедонт. Один глаз у него был закрыт опухолью, другой, светлый и беспокойный, быстро осмотрел стены и остановился на лице Евсея.

— Она ничего не говорила, Раиса?

— Ничего...

Евсей приподнялся на постели.

— Лежи, лежи! — сказал Доримедонт и сел в ногах у Евсея. — Будь ты годом старше, — необычно ласково, шопотом начал он, — я бы устроил тебя в охране по политическим делам. Это очень хорошая служба! Жалование — небольшое, но за успехи — награда... А ведь Раиса — красивая баба?

— Красивая, — согласился Евсей.

Сыщик странно усмехнулся, потрогал левой рукой повязку на голове, пощупал ухо.

— Женщина, — никогда ею сыт не будешь. Прародительница соблазна и греха. Куда она ушла?..

— Не знаю я, — тихо ответил Евсей, начиная чего-то бояться.

— Любовника у нее нет... Ты, Евсей, с женщинами не торопись! Они дорого стоят.

Тяжелый, грузный, обвязанный тряпками, он качался перед глазами Евсея и, казалось, был готов развалиться на части. Его тупой голос звучал беспокойно, левая рука щупала голову, грудь.

— Много я путался с ними! — говорил он, подозрительно оглядывая темные углы комнаты. — Беспокойно это, а — лучше нет ничего. Иные говорят — карты лучше, а тоже без женщин не могут жить. И охота не сохраняет от женщин, — ничто не сохраняет от них!

Утром Климов увидал, что сыщик спит на диване одетый, лампа не погашена, комната полна копотью и запахом керосина. Доримедонт храпел, широко открыв большой рот, его здоровая рука свесилась на пол, он был отвратителен и жалок.

Светало, в окно смотрел бледный кусок неба, в комнате просыпались мухи и жужжали, мелькая на сером фоне окна. Вместе с запахом керосина квартиру наполнял еще какой-то запах, густой и тревожный.

Погасив лампу, Евсей почему-то очень спешно умылся, оделся и ушел на службу.

Там, около полудня, Зарубин громко закричал ему:

— Климов, Фиалковская Раиса — это любовница Лукина, твоего хозяина?

— А что? — быстро спросил Евсей.

— Зарезалась!

Евсей поднялся на ноги, уколотый в спину острым ударом страха.

— Сейчас нашли ее в чулане — идем смотреть...

— Я не пойду! — сказал Евсей, опускаясь на свой стул.

Зарубин убежал, попутно сообщая канцеляристам:

— Я же говорил — любовница Лукина!

Слово любовница он выкрикивал особенно громко, со смаком. Евсей смотрел вслед ему, вытаращив глаза, а

перед ним качалась в воздухе голова Раисы, и с нее ручьями лились тяжелые пышные волосы.

— Ты что не идешь обедать? — спросил его Дудка.

В канцелярии почти никого не было. Евсей вздохнул и ответил:

— Хозяйка зарезалась.

— Ага, — да! Ну, иди в трактир...

Дудка шагнул в сторону, Евсей вскочил и схватил его за рукав.

— Возьмите меня...

— Куда?

— Совсем возьмите... — Дудка наклонился к нему.

— Что значит — совсем?

— К вам, — жить с вами, — навсегда...

— Идем обедать!

В трактире все время пронзительно свистела канарейка, старик молча ел жареный картофель, а Евсей не мог есть и ожидающе, вопросительно смотрел в лицо ему.

— Так тебе хочется жить со мной? Ну, живи...

Когда Евсей услышал эти слова, он сразу почувствовал, что они как бы отгородили его от страшной жизни. Ободрившийся, он благодарно сказал:

— Я вам буду сапоги чистить...

Дудка высунул из-под стола длинную ногу в рваном сапоге, посмотрел на него и сказал:

— Этого не нужно. А что хозяйка — хорошая была женщина?

Глаза старика смотрели ласково и как будто просили: «Скажи правду...»

— Не знаю я... — опустив голову, сказал Евсей и впервые почувствовал, что слишком часто говорит эти слова.

— Так, — молвил Дудка, — так!

— Ничего я не знаю! — заговорил Евсей, ощущая обидное недовольство собою, и вдруг осмелел. — Вижу то и это, — а что для чего — не могу понять. Должна быть другая жизнь...

— Другая? — повторил Дудка, прищулив глаза.

— Да. Так нельзя...

Дудка тихонько засмеялся, потом постучал ножом о стол и крикнул половому:

— Бутылку пива! — Значит — так нельзя? Любопытно.

Дудка начал молча пить пиво.

Когда они воротились в правление, Евсея встретил Доримедонт. Его повязки растрепались, глаз налился кровью, он быстро подошел к Евсею и таинственно спросил его:

— Раиса-то, — слышал?.. Это от пьянства, — ей-богу!

— Я туда не пойду! — сказал Евсей. — С Капитоном Ивановичем буду жить...

Доримедонт вдруг засуетился, оглядываясь, зашептал:

— Смотри — он не в своем уме; его здесь держат из жалости. Он даже вредный человек, — будь осторожен с ним!

Евсей ожидал, что сыщик будет ругать его, был удивлен его шопотом и внимательно слушал.

— Я из этого города уезжаю, — прощай!.. Я скажу про тебя своему начальнику, и когда ему понадобится новый человек — тебя вспомнят, будь покоен!

Он шептал долго, торопливо, а его глаз все время подозрительно бегал по сторонам, и, когда отворялась дверь, сыщик подскакивал на стуле, точно собираясь убежать. От него пахло какой-то мазью; казалось, что он стал менее грузен, ниже ростом и потерял свою важность.

— Прощай! — говорил он, положив руку на плечо Евсея. — Живи осторожно. Людям не верь, женщинам — того больше. Деньгам цену знай. Серебром — купи, золото — копи, меди — не гнушайся, железом — обороняйся, есть такая казацкая поговорка. Я ведь казак, н-на...

Евсею было тяжело и скучно слушать его, он не верил ни одному слову сыщика и, как всегда, боялся его. Когда он ушел — стало легче, и Климов усердно принялся за работу, стараясь спрятаться в ней от воспоминаний о Раисе и всех дум.

В нем что-то повернулось, пошевелилось в этот день, он чувствовал себя накануне иной жизни и следил искоса за Дудкой, согнувшимся над своим столом в облаке серого дыма. И, не желая, думал:

«Как все делается, — сразу! Вот — зарезалась...»

Вечером он шел по улице рядом с Дудкой и видел, что почти все люди замечают старика, иногда даже останавливаются, осматривая его.

Дудка шагал не быстро, но широко, на ходу его тело качалось, наклоняясь вперед, и голова тоже кланялась, точно у журавля. Он согнулся, положил руки за спину, ноги его пиджака разошлись и болтались по бокам, точно изломанные крылья.

В глазах Климова внимание людей к старику еще более выделяло его на особое место.

— Как тебя зовут?

— Евсей...

— Иоани — хорошее имя! — заметил старик, поправляя длинной рукой свою измятую шляпу. — У меня был сын — Иоани...

— А где он?

— Это тебя не касается, — спокойно ответил старик. А через несколько шагов добавил тем же тоном: — Если говорят — был, значит — нет! Уже нет...

Оттопырил нижнюю губу, почесал ее мизинцем и негромко проговорил:

— Увидим, кто — кого...

Потом повернул шею на сторону, наклонил голову и, заглядывая в глаза Климова, внушительно сказал, вытянув палец в воздухе перед собой:

— Сегодня придет ко мне один приятель, — у меня есть приятель, — один! Что мы говорим, что делаем — это тебя не касается. Что ты знаешь — я не знаю, и что ты делаешь — не хочу знать. Так же и ты. Непременно...

Евсей молча кивнул головой.

— Этому следуй вообще, — ко всем людям применяй. О тебе никто ничего не знает — и ты ничего не знаешь о других. Путь гибели человеческой — знание, посеянное дьяволом. Счастье — неведение. Ясно.

Евсей внимательно слушал, заглядывая в лицо ему; старик, заметив это, проворчал:

— В тебе есть — я замечаю — человеческое...

И прибавил:

— Что-то человеческое есть также и у собак...

По узкой деревянной лестнице они влезли на душный чердак, где было темно и пахло пылью. Дудка дал Евсею

спички и велел посветить ему, потом, согнувшись почти вдвое, долго отпирал дверь, обитую рваной клеенкой и растрепанным войлоком. Евсей светил, спички жгли ему кожу пальцев.

Старик жил в длинной и узкой белой комнате, с толчком, подобным крышке гроба. Против двери тускло светилося широкое окно, в левом углу у входа маленькая печь, по стене налево вытянулась кровать, против нее растопырился продавленный рыжий диван. Крепко пахло камфорой и сухими травами.

Старик открыл окно и шумно вздохнул.

— Хорошо, когда воздух чистый! — сказал он. — Спать ты будешь на диване. Как твое имя — Алексей?

— Евсей...

Он взял лампу со стола, поднял ее и указал пальцем на стену.

— Вот сын мой — Иоанн...

В узкой белой рамке, незаметной на стене, висел портрет, сделанный тонкими штрихами карандаша, — юное лицо с большим лбом, острым носом и упрямо сжатыми губами.

Лампа в руке старика дрожала, абажур стучал о стекло, наполняя комнату тихим, плачущим звоном.

— Иоанн! — повторил старик, ставя лампу на стол. — Имя человека много значит...

Он высунул голову в окно, с шумом потянул в себя холодный воздух и, не оборачиваясь к Евсею, приказал ему поставить самовар.

Пришел горбатый человек, молча снял соломенную шляпу и, помахивая ею в лицо себе, сказал красивым грудным голосом:

— Душно, хотя уже осень...

— Ага, пришел! — отозвался Дудка. Стоя у окна, они тихо заговорили. Евсей понял, что говорят о нем, но не мог ничего разобрать. Сели за стол, Дудка стал наливать чай, Евсей исподволь и незаметно рассматривал гостя — лицо у него было тоже бритое, синее, с огромным ртом и тонкими губами. Темные глаза завалились в ямы под высоким гладким лбом, голова, до макушки лысая, была угловата и велика. Он все время тихонько барабанил по столу длинными пальцами.

— Ну, читай! — сказал Дудка.

Горбатый вынул из кармана пиджака пачку бумаги, развернул.

— Титулы я пропущу...

Кашлянул и, полузакрыв глаза, начал читать:

— «Мы, нижеподписавшиеся, люди никому неведомые и уже пришедшие в возраст, ныне рабски припадаем к стопам вашим с таковою горестною жалобой, изливаемой нами из глубин наших сердец, разбитых жизнью, но не потерявших святой веры в милосердие и мудрость вашего величества...» Хорошо?

— Продолжай! — сказал Дудка.

— «Для нас вы есть отец народа русского, источник благой мудрости и единственная на земле сила, способная...»

— Лучше — могущественная, — заметил Дудка.

— Подожди!.. «способная водворить и укрепить в России справедливость»... — здесь нужно поставить, для стройности, еще какое-то слово, не знаю какое...

— Осторожнее со словами! — сказал Дудка строго, но негромко. — Помни, в них, для каждого человека, особый смысл...

Горбатый взглянул на него, поправил очки.

— Да... «Распадается великая Россия, творится в ней неподобное, совершается ужасное, подавлены люди скорбью бедности и нищеты, извращаются сердца завистью, погибает терпеливый и кроткий человек русский, нарождается лютое жадностью бессердечное племя людей-волков, людей-хищников и жестоких. Разрушена вера, ныне мнутя народы вне ее священной крепости, и отовсюду на беззащитных устремляются люди развращенного ума, пленяют их своей дьявольской хитростью и влекут на путь преступлений против всех законов твоих, владыко жизни нашей...»

— Владыко — это архиерей! — пробормотал Дудка. — Надо как-то иначе. И надо сказать прямо: начинается в людях всеобщее возмущение жизнью, а потому ты, который призван богом...

Горбатый отрицательно покачал головой.

— Мы можем указать, но не имеем права советовать...

— Кто есть враг наш, и какое имя его? Атеист, социалист, революционер — тройное имя. Разрушитель семьи, похищающий детей наших, провозвестник антихриста...

— Мы с тобой в антихриста не верим... — тихо сказал горбатый.

— Все равно! Мы говорим от множества людей — они верят в антихриста... Мы должны указать корень зла. Где видим его? В проповеди разрушения...

— Он это сам знает...

— Кто скажет правду ему? У него детей не захлестывало петлей безумия... На чем строится проповедь их? На всеобщей бедности и озлобленности против нее. И мы должны сказать ему прямо: «Ты отец народа, и ты — богат, отдай же народу твоему богатства, накопленные тобою, — этим ты подсечешь корень зла, и все будет спасено твоею рукою...»

Горбатый растянул рот в большую узкую щель и сказал:

— За это нас в каторгу.

Потом взглянул в лицо Евсея и на хозяина.

Климков слушал чтение и беседу, как сказку, и чувствовал, что слова входят в голову ему и навсегда вклеиваются в памяти. Полуоткрыв рот, он смотрел выкатившимися глазами то на одного, то на другого, и, даже когда темный взгляд горбатого ощупал его лицо, он не мигнул, очарованный происходившим.

— Однако, — сказал горбатый, — это неудобно...

— Ты что, Климков? — хмуро спросил Дудка.

У Евсея пересохло в горле, он не сразу ответил:

— Слушаю...

И вдруг понял по лицам их, что они не верят ему, боятся его. Он поднялся со стула и заговорил, путаясь в словах:

— Я — никому не скажу!.. Позвольте слушать, я ведь говорил вам, Капитон Иванович, что все нужно устроить как-нибудь иначе...

— Видишь? — сердито молвил Дудка, указывая пальцем на Евсея. — Вот — что это такое? Мальчишка, а... однако тоже говорит — нужна иная жизнь... Вот откуда берут силу те!..

— Ну да... — согласился горбатый.

Евсей оробел. Дудка, строго двигая бровями, заговорил, наклонясь к нему:

— Чтобы ты знал, — мы с ним пишем письмо государю, просим его принять строжайшие меры против состоящих под надзором за политическую неблагонадежность, понимаешь?

— Понимаю, — ответил Климков.

— Эти люди, — медленно и вразумительно начал горбатый, — агенты иностранных государств, главным образом — Англии, они получают огромное жалованье за то, чтоб бунтовать русский народ и ослаблять силу нашего государства. Англичанам это нужно для того, чтобы мы не отобрали у них Индию...

Они говорили Евсею поочередно — один кончит, начнет другой, а он слушал и старался запомнить их мудреные речи и точно пьянел от непривычной работы мозга. Ему казалось, что он сейчас поймет что-то огромное, освещающее всю жизнь, всех людей, все их несчастья. Было невыразимо приятно сознавать, что двое умных людей говорят с ним, как со взрослым; властно охватило чувство благодарности и уважения к этим людям, бедным, плохо одетым и так озабоченно рассуждавшим об устройстве иной жизни. Но скоро голова у него отяжелела, точно налилась свинцом, и, подавленный ощущением тягостной полноты в груди, он невольно закрыл глаза.

— Иди, спи! — сказал Дудка.

Климков покорно встал, осторожно разделся и лег на диван.

Осенняя ночь дышала в окно теплой и душистой сыростью, в черном небе трепетали, улетаая все выше и выше, тысячи ярких звезд, огонь лампы вздрагивал и тоже рвался вверх. Двое людей, наклонясь друг к другу, важно и тихо говорили. Все вокруг было таинственно, жутко и приятно поднимало куда-то к новому, хорошему.

VIII

Уже через несколько дней жизни с Капитоном Ивановичем Климков ощутил в себе нечто значительное. Раньше, обращаясь к полицейским солдатам, которые

прислуживали в канцелярии, он говорил с ними тихо и почтительно, а теперь — строгим голосом подзывал к себе старика Бутенко и сердито говорил:

— Опять в чернильнице у меня мухи!

Седой, увешанный крестами и медалями солдат равнодушно и многословно объяснял:

— Чернильниц всего тридцать четыре, а мух — тысячи, они хотят пить и лезут в чернила. Что ж им делать?

В уборной перед зеркалом он внимательно рассматривал свое серое лицо, угловатое, с острым маленьким носом и тонкими губами, искал на верхней губе признака усов, смотрел в свои водянистые, неуверенные глаза.

«Надо остричься! — решил он, когда ему не удалось пригладить светлые, жидкие вихры волос на голове. — И надо носить крахмальные воротники, а то у меня шея тонка».

Вечером он остригся, купил два воротничка и почувствовал себя еще более человеком.

Дудка относился к нему внимательно и добродушно, но часто в его глазах блестела насмешливая улыбка, вызывая у Климова смущение и робость. Когда приходил горбатый, лицо старика становилось озабоченным, голос звучал строго, и почти на все речи друга он отрывисто возражал:

— Не то. Не так. У тебя ум — как плохое ружье, — разносит мысли по сторонам, а надо стрелять так, чтобы весь заряд лег в цель, кучно.

Горбатый, покачивая тяжелой головою, отвечал:

— Хорошо — скоро не делается...

— Время идет — враг растет...

— Между прочим, я заметил человека, — сказал однажды горбатый, — недалеко от меня поселился. Высокий, с острой бородкой, глаза прищурены, ходит быстро. Спрашиваю дворника — где служит? Место искать приехал. Я сейчас же написал письмо в охранное — смотрите!..

Дудка прервал его речь, широким взмахом руки отсекая воздух.

— Это неважно! В доме — сыро, вот почему мокрицы. Так их не переведешь, надо высушить дом... — Я — солдат, — говорил он, тыкая пальцем в грудь себе, — я

командовал ротой и понимаю строй жизни. Нужно, чтобы все твердо знали устав, законы, — это дает единодушие. Что мешает знать законы? Бедность. Глупость — это уже от бедности. Почему он не борется против нищеты? В ней корни безумия человеческого и вражды против него, государя...

Евсей жадно глотал слова старика и верил ему: корень всех несчастий жизни человеческой — нищета. Это ясно. От нее — зависть, злоба, жестокость, от нее жадность и общий всем людям страх жизни, боязнь друг друга. План Дудки был прост и мудр: царь — богат, народ — беден, пусть же царь отдаст народу свои богатства, и тогда — все будут сытыми и добрыми!

Отношение Климова к людям изменялось; оставаясь таким же угодливым, как и прежде, теперь он начинал смотреть на всех снисходительно, глазами человека, который понял тайну жизни, может указать, где лежит дорога к миру и покою...

И, чувствуя необходимость похвастаться своим знанием, — однажды, обедая в трактире с Яковом Зарубиным, он с гордостью изложил ему все, что слышал от старика и его горбатого друга.

Узкие глазки Зарубина вспыхнули, он весь завертелся, растрепал себе волосы, запустил в них пальцы обеих рук и вполголоса воскликнул:

— Это верно, ей-богу! Какого чорта, в самом деле? У него — тысячи миллионов, а мы тут издыхаем. Кто это тебя научил?

— Никто! — твердо сказал Евсей. — Это я сам придумал.

— Нет, ты скажи по правде! Где слышал?

— Говорю — сам я додумался...

Яков с удовольствием оглянул его.

— Если так — голова у тебя неплохая. Только — врешь ты!

Евсей обиделся.

— Мне все равно — не верь.

Яков почему-то захохотал, крепко потирая руки.

Через два дня к столу Евсея подошел помощник пристава и какой-то сероглазый господин с круглой, гладко остриженной головой и скучным, желтым лицом.

— Ты, Климков, отправляешься в охранное отделение! — проговорил полицейский негромко и зловеще.

Евсей поднялся со стула, ноги у него задрожали, и он снова сел. Стриженный выдвинул ящик его стола и забрал все бумаги.

Расслабленный, ничего не понимая, Климков очнулся в полутемной комнате, у стола, покрытого зеленым сукном. В груди у него поднималась и опускалась волна страха, под ногами зыбко качался пол, стены комнаты, наполненной зеленым сумраком, плавно кружились. Над столом возвышалось чье-то белое лицо в раме густой, черной бороды, блестели синие очки. Евсей неотрывно смотрел прямо в стекла, в синюю, бездонную темноту, она влекла к себе и, казалось, высасывала кровь из его жил. Он рассказал о Дудке и его горбатом друге, подробно, связно, точно снимая со своего сердца пленку кожи.

Высокий, режущий ухо голос прервал его:

— Итак — во всем виноват государь император, говорят эти ослы?

Человек в синих очках не спеша протянул руку, взял трубку телефона и спросил насмешливо:

— Белкин, — вы? Да... Распорядитесь, дорогой, сегодня же вечером обыскать и арестовать двух прохвостов: канцеляриста полицейского правления Капитона Реусова и чиновника казенной палаты Антона Дрягина... Ну да, конечно...

Евсей схватился рукою за край стола.

— Так! — сказал человек с черной бородой, откинувшись на спинку кресла, расправил бороду обеими руками, поиграл карандашом, бросил его на стол и сунул руки в карманы брюк. Мучительно долго молчал, потом раздельно и строго спросил:

— Что же мне делать с тобой?

— Простите! — шопотом попросил Евсей.

— Климков? — не отвечая, молвил черный. — Фамилию я как будто слышал...

— Простите... — повторил Евсей.

— А ты чувствуешь себя сильно виноватым?

— Сильно...

— Это — хорошо. В чем же ты виноват?

Климков молчал. Черный человек сидел так удобно и

спокойно, что, казалось, он никогда уже не отпустит Евсея из этой комнаты.

— Не знаешь? — спросил он и предложил: — Подума́й...

Тогда Климов набрал в грудь побольше воздуха и начал рассказывать о Раисе и о том, как она задушила старика.

— Лукин? — равнодушно зевнув, сказал человек в синих очках. — Ага, вот почему мне знакома твоя фамилия!

Он встал, подошел к Евсею, поднял пальцем его подбородок, несколько секунд смотрел в лицо и затем позвонил.

Тяжело топая, в двери явился большой рябой парень, с огромными кистями рук; растопырив красные пальцы, он страшно шевелил ими и смотрел на Евсея.

— Возьми его!

Климов хотел встать на колени, — он уже согнул ноги, — но парень подхватил его под мышку и потащил за собой куда-то вниз по каменной лестнице.

— Что, блудня, испугался? — сказал он, вталкивая Евсея в маленькую дверь. — Ни кожи, ни рожи, а бунтуешь?

Его слова окончательно раздавили Евсея.

Услыхав за дверью тяжелый грохот железа, он сел на пол, обнял руками колени и опустил голову. На него навалилась тишина, и ему показалось, что он сейчас умрет. Он вскочил с пола и, точно мышь, тихо забегал по комнате, взмахивая руками. Ощупал койку, накрытую жестким одеялом, подбежал к двери, потрогал ее, заметил в стене против двери маленькое квадратное окно и бросился к нему. Оно было ниже земли, в яме, покрытой сверху толстой железной решеткой, сквозь нее падали хлопья снега и ползли по грязному стеклу. Климов бесшумно воротился к двери, уперся в нее лбом и в тоске зашептал:

— Простите... выпустите...

Потом снова опустился на пол, сознание его погасло, залитое волною отчаяния.

...Убивая разьедающей слабостью, медленно потянулись черные и серые полосы дней, ночей; они ползли в немой тишине, были наполнены зловещими предчувствиями,

и ничто не говорило о том, когда они кончат свое мучительное, медленное течение. В душе Евсея все затихло, оцепенело, он не мог думать, а когда ходил, то старался, чтобы шаги его были неслышны.

На десятый день его снова поставили перед человеком в синих очках и другим, который привез его сюда.

— Нехорошо там, Климков, а? — спрашивал его черный человек, чмокая толстой, красной нижней губой. Его высокий голос странно хлюпал, как будто этот человек внутренне смеялся. В синих стеклах очков отражался электрический свет, от них в пустую грудь Евсея падали властные лучи и наполняли его рабской готовностью сделать все, что надо, чтобы скорее пройти сквозь эти вязкие дни, засасывающие во тьму, грозящую безумием.

— Отпустите меня! — тихо попросил он.

— Да, я это сделаю. И — больше! Я возьму тебя на службу, и теперь ты сам будешь сажать людей туда, откуда вышел, — и туда и в другие уютные комнатки.

Он засмеялся, шлепая губой.

— За тебя просил покойник Лукин, и в память о его честной службе я тебе даю место. Ты получишь двадцать пять рублей в месяц, пока...

Евсей молча кланялся.

— Петр Петрович будет твоим начальником и учителем, ты должен исполнять все, что он тебе прикажет... Понял?! — Он будет жить с вами?

— Да! — неожиданно громко сказал сероглазый человек.

— Хорошо.

И снова, обращаясь к Евсею, черный начал говорить ему смягченным голосом что-то утешительное, обещающее, а Евсей старался проглотить его слова и, не мигая, следил за тяжелыми движениями красной губы под усами...

— Помни, ты теперь будешь охранять священную особу государя от покушений на жизнь его и на божественную власть. Понял?!

— Покорно благодарю! — тихо сказал Евсей.

Петр Петрович дернул головой вверх.

— Я все объясню ему... мне пора идти...

— Идите! Ну, ступай, Климов... Служи хорошо, и будешь доволен. Но — не забывай однако, что ты принимал участие в убийстве букиниста Распопова, ты сам сознался в этом, а я записал твоё показание — понимаешь?

Филипп Филиппович кивнул головой, его неподвижная, точно вырезанная из дерева, борода покачнулась, и он протянул Евсею белую пухлую руку с золотыми кольцами на коротких пальцах. Евсей закрыл глаза и отшатнулся.

— Какой ты, брат, трусишка! — тонко вскричал Филипп Филиппович, смеясь стеклянным смешком. — Теперь уже тебе нечего и некого бояться, ты теперь слуга царя и должен быть спокоен. Теперь ты на твердой почве — понимаешь?

Когда Евсей вышел на улицу, у него захватило дыхание, он пошатнулся и едва не упал. Петр поднял воротник пальто, оглянулся, движением руки позвал извозчика и негромко сказал:

— Поезжай ко мне...

Евсей сбоку взглянул на него и едва не крикнул — на гладком, бритом лице Петра вдруг выросли небольшие светлые усы.

— Ну, чего разинул рот? — хмуро и недовольно спросил он, заметив удивление Климова. Евсей опустил голову, стараясь против своего желания не смотреть в лицо нового хозяина своей судьбы.

А тот все время молча высчитывал что-то на пальцах, пригибая их один за другим, хмурил брови, покусывая губы, и изредка сердито говорил извозчику:

— Ну, скорее...

Шел дождь и снег, было холодно, Евсею казалось, что экипаж все время быстро катится с крутой горы в черный, грязный овраг. Остановились у большого дома в три этажа. Среди трех рядов слепых и темных окон сверкало несколько стекол, освещенных изнутри желтым огнем. С крыши, всхлипывая, лились ручьи воды.

— Иди вверх! — командовал Петр. Он уже снова был без усов.

Поднялись по лестнице, долго шли длинным коридором мимо белых дверей. Евсей подумал, что это тюрьма, но его успокоил густой запах жареного лука и ваксы, не сливавшийся с представлением о тюрьме.

Петр торопливо открыл одну из белых дверей, осветил комнату огнем двух электрических ламп, пристально посмотрел во все углы и, раздеваясь, заговорил сухо и быстро:

— Будут тебя спрашивать, кто ты, отвечай — мой двоюродный брат, приехал из Царского Села искать себе места, — смотри, не провись!

Лицо у него было озабоченное, глаза невеселые, речь отрывистая, тонкие губы все время кривились, вздрагивали. Он позвонил, открыл дверь, высунул в коридор голову и крикнул:

— Самовар!

Евсей уныло оглядывался, стоя в углу комнаты, и тупо ждал чего-то.

— Раздевайся, садись. Жить будешь в соседней комнате, — говорил сыщик, поспешно раздвигая карточный стол. Вынул из кармана записную книжку, игру карт и, сдавая их на четыре руки, продолжал, не глядя на Климова:

— Ты, конечно, понимаешь, что наше дело тайное. Мы должны скрываться, а то убьют, как вот Лукина убили...

— Его убили? — тихонько спросил Евсей.

— Ну да, — безучастно сказал Петр.

Потирая лоб, он рассматривал сданные карты.

— Сдача — тысяча двести четырнадцатая... У меня — туз, семерка червей, дама треф...

Он что-то записал в книжку и, не поднимая головы, продолжал, говоря двумя голосами — невнятно и озабоченно, когда считал карты, сухо, ясно и торопливо, когда поучал Евсея.

— Революционеры — враги царя и бога. Десятка бу-бен, тройка, валет пик. Они подкуплены немцами для того, чтобы разорить Россию... Мы, русские, стали всё делать сами, а немцам... Король, пятерка и девятка, — чорт возьми! Шестнадцатое совпадение!..

Он вдруг повеселел, глаза у него блеснули и на лице отразилось что-то мягкое, довольное.

— Что я говорил? — спросил он Евсея, взглянув на него.

— О немцах...

— Немцы — жадные. Они враги русского народа, хо-

тят нас завоевать, хотят, чтобы мы всё — всякий товар — **покупали** у них и отдавали им наш хлеб — у немцев нет хлеба... дама бубен, — хорошо! Двойка червей, десятка треф... Десятка?..

Прищуриль глаза, он посмотрел в потолок, вздохнул и смешал карты.

— Вообще, все иностранцы, завидуя богатству и силе России... двести пятнадцатая сдача... хотят сделать у нас бунт, свергнуть царя и... три туза... гм?... И посадить везде свое начальство, своих правителей над нами, чтобы грабить нас и разорять... Ты ведь этого не хочешь?

— Не хочу! — сказал Евсей, ничего не понимая и тупо следя за быстрыми движениями его пальцев.

— Этого никто не хочет! — задумчиво проговорил **Петр**, снова раскинув карты и озабоченно поглаживая щеку. — Потому ты должен бороться с революционерами — агентами иностранцев, — защищая свободу России, власть и жизнь государя, — вот и все. А как это надо делать — увидишь потом... Только не зевай, учись исполнять, что тебе велят... Наш брат должен смотреть и лбом и затылком... а то получишь по хорошему щелчку и **спереди** и сзади... Туз пик, семь бубен, десять пик...

В дверь постучали.

— Отопри! — приказал **Петр**.

Вошел рыжий кудрявый парень с подносом и самоваром.

— Иван, это мой двоюродный брат, он будет жить здесь, приготовь соседний номер...

— Господин Чижев приходили, — негромко сказал Иван.

— Выпивши?

— Немножко есть... Хотели зайти.

— Завари чай, Евсей! — сказал сыщик, когда слуга ушел. — Наливай, пей... Сколько жалованья ты получал в полицейском правлении?

— Девять рублей...

— Денег нет?

— Нет...

— Надо достать и сшить тебе костюм, нельзя долго **ходить** в одном... Ты должен всех замечать, тебя никто...

Он снова забормотал, считая карты, а Евсей, бесшумно наливая чай, старался овладеть странными впечатлениями дня и не мог, чувствуя себя больным. Его знобило, руки дрожали, хотелось лечь в угол, закрыть глаза и лежать так долго, неподвижно. В голове бессвязно повторялись чужие слова.

«В чем же ты виноват?» — тонко спрашивал Филипп Филиппович.

Кто-то сильно ударил в дверь из коридора. Петр поднял голову.

— Это ты, Саша?

За дверью сердито ответили:

— Ну, отпирай!

Когда Евсей открыл дверь, перед ним, покачиваясь на длинных ногах, вытянулся высокий человек с черными усами. Концы их опустились к подбородку и, должно быть, волосы были жесткие, каждый торчал отдельно. Он снял шапку, обнажив лысый череп, бросил ее на постель и крепко вытер ладонями лицо.

— Шапка — мокрая, а ты ее бросаешь на постель мне! — заметил Петр.

— А чорт с ней, твоей постелью! — гнусаво сказал гость.

— Евсей, повесь пальто...

Гость сел на стул, вытянул длинные ноги и, закулив папиросу, спросил:

— Это что такое, — Евсей?

— Мой двоюродный брат.

— Мы все братья, когда без платья. Водка есть?

Петр приказал Климову спросить бутылку водки и закуску. Евсей сделал это и сел к столу так, чтобы гость не видел из-за самовара его лица.

— Как дела, шулер? — спросил он, кивая головой на карты.

Петр вдруг привстал со стула и оживленно заговорил:

— Я нашел секрет, нашел!

— Нашел? — спросил гость и, покачав головой, медленно протянул: — Ду-урак!

Петр схватил записную книжку и горячим шопотом продолжал, тыкая пальцем:

— Подожди, Саша!.. У меня уже шестнадцатое совпадение, понимаешь? А я сделал всего тысячу двести четырнадцать сдач. Теперь карты повторяются все чаще. Нужно сделать две тысячи семьсот четыре сдачи, — понимаешь: пятьдесят два, умноженное на пятьдесят два. Потом все сдачи переделать тринадцать раз — по числу карт в каждой масти — тридцать пять тысяч сто пятьдесят два раза. И повторить эти сдачи четыре раза — по числу мастей — сто сорок тысяч шестьсот восемь раз.

— Э-э, дурак! — протянул гнусаво гость, качая головой, и его губы искривились.

— Почему, Саша, почему, объясни? — негромко вскричал Петр. — Ведь я тогда буду знать все сдачи, какие возможны в игре, — подумай! Взгляну на свои карты, — он приблизил книжку к лицу и начал быстро читать, — туз пик, семерка бубен, десятка трэф — значит, у партнеров: у одного — король червей, пятерка и девятка бубен, а у другого — туз, семерка червей, дама трэф, третий имеет даму бубен, двойку червей и десятку трэф!

Руки у него тряслись, на висках блеснул пот, лицо стало добрым и ласковым. Климов, наблюдая из-за самовара, видел большие, тусклые глаза Саши с красными жилками на белках, крупный, точно распухший нос и на желтой коже лба сеть прыщей, раскинутых венчиком от виска к виску. От него шел резкий, неприятный запах. Петр, прижав книжку к груди и махая рукой в воздухе, с восторгом шептал:

— Ведь я тогда без промаха буду играть. Сотни тысяч, миллионы улыбнутся мне! И нет в этом шулерства! Я — знаю! Знаю, и — больше ничего! Все законно!..

Он так крепко ударил себя в грудь кулаком, что закашлялся, а потом, опустившись на стул, стал тихо смеяться.

— Почему не дают водки? — угрюмо спросил Саша, бросая на пол окурки папиросы.

— Евсей, иди, скажи... — торопливо начал Петр, но уже в дверь постучали.

— Ты опять пьешь? — спросил Петр, улыбаясь. Саша протянул руку к бутылке.

— Нет, еще не пью, а вот сейчас — начну пить.

— Ведь это вредно при твоей болезни...

— Водка и здоровым вредна, — водка и фантазии. Ты, например, скоро будешь идиотом...

— Не буду, не беспокойся...

— Я математику знаю, я вижу, что ты болван.

— У каждого своя математика! — недовольно ответил Петр.

— Молчи! — сказал Саша, медленно высосал рюмку, понюхал кусок хлеба и налил другую.

— Сегодня я, — начал он, опустив голову и упираясь согнутыми руками в колени, — еще раз говорил с генералом. Предлагаю ему — дайте средства, я подыщу людей, открою литературный клуб и выловлю вам самых лучших мерзавцев, — всех. Надул щеки, выпучил свой животик и заявил, скотина, — мне, дескать, лучше известно, что и как надо делать. Ему все известно! А что его любовница перед фон-Рутценом голая танцевала, этого он не знает, и что дочь устроила себе выкидыш — тоже не знает...

Он снова высосал водку и еще налил.

— Все сволочь, и жить — нельзя. Моисей велел зарезать двадцать три тысячи сифилитиков. Тогда народу было немного, заметь! Если бы у меня была власть — я бы уничтожил миллионы...

— Себя первого? — спросил Петр, улыбаясь.

Саша, не отвечая, гнусил, точно в бреду:

— Всех этих либералов, генералов, революционеров, распутных баб. Большой костер, и — жечь! Напоить землю кровью, удобрить ее пеплом, и будут урожаи. Сытые мужики выберут себе сытое начальство... Человек — животное и нуждается в тучных пастбищах, плодородных полях. Города — уничтожить... И все лишнее, — все, что мешает мне жить просто, как живут козлы, петухи, — все — к дьяволу!

Его липкие, зловонно пахучие слова точно присасывались к сердцу Евсея и оклеивали его — слушать их было тяжело и опасно.

«Вдруг позовут и спросят — что он говорил?.. Может быть, он нарочно говорит для меня, — а потом — меня схватят...»

Он вздрогнул, задвигался на стуле и тихо спросил Петра:

- Можно мне уйти?
- Куда?
- Спать...
- Иди...
- Ступай ко всем чертям! — проводил Евсея Саша.

IX

Не зажигая огня в своей комнате, Климов бесшумно разделся, нащупал в темноте постель, лег и плотно закутываясь в сырую, холодную простыню. Ему хотелось не видеть ничего, не слышать, хотелось сжаться в маленький, незаметный комок. В памяти звучали гнусавые слова Саши. Евсею казалось, что он слышит его запах, видит красный венец на желтой коже лба. И в самом деле, откуда-то сбоку, сквозь стену, до него доходили раздраженные крики:

— Я сам — мужик! Я знаю, что нужно...

Не желая, Евсей напряженно вслушивался, со страхом, искал в своей памяти — кого напоминает ему этот злой человек?

Темно и холодно. За стеклами окна колеблются мутные отблески света; исчезают, снова являются. Слышен тихий шорох, ветер мечет дождь, тяжелые капли стучат в окно.

«Уйти бы в монастырь!» — тоскливо подумал Климов.

И вдруг вспомнил о боге, имя которого он слышал редко за время жизни в городе и почти никогда не думал о нем. В его душе, постоянно полной опасениями и обидами, не находилось места надежде на милость неба, но теперь, явившись неожиданно, она вдруг насытила его грудь теплом и погасила в ней тяжелое, тупое отчаяние. Он спрыгнул с постели, встал на колени и, крепко прижимая руки к груди, без слов обратился в темный угол комнаты, закрыл глаза и ждал, прислушиваясь к биению своего сердца. Но он слишком устал, было холодно, этот холод пронизывал кожу сотнями тонких игол, вызывая в теле дрожь. Климов снова лег в постель. А когда проснулся, то увидал, что в углу, куда он направил свою немую молитву, иконы не было. Висели две картины, на

одной охотник с зеленым пером на шляпе целовал толстую девицу, а другая изображала белокурую женщину с голою грудью и цветком в руке.

Он вздохнул, оделся, умылся, безучастно оглядел свое жилище, сел у окна и стал смотреть на улицу. Тротуары, мостовая, дома — все было грязно. Не торопясь шагали лошади, качая головами, на козлах сидели мокрые извозчики и тоже качались, точно развинченные. Как всегда, спешно шли куда-то люди; казалось, что сегодня они, обрызганные грязью и отсыревшие, менее опасны, чем всегда.

Хотелось есть, но, не зная — имеет ли право спросить себе чаю и хлеба, он сидел, неподвижный, точно камень, до поры, пока не услышал стук в стену.

Вошел в комнату Петра, остановился у двери. Сыщик, лежа в постели, спросил его:

— Ты чай пил? Спроси...

Он спустил с кровати голые ноги и стал рассматривать пальцы, шевеля ими.

— Напьемся чаю и пойдем со мной... — заговорил он, позевывая. — Я дам тебе одного человечка, ты за ним следи. Куда он — туда и ты, понимаешь? Записывай время, когда он войдет в какой-либо дом, сколько там пробудет. Узнай, кого он посещал. Если он выйдет из дома — или встретится дорогой — с другим человеком, — заметь наружность другого... А потом... впрочем, всего сразу не поймешь.

Он осмотрел Климова, посвистал тихонько и, отвернувшись в сторону, лениво продолжал:

— Вот что, — тут вчера Саша болтал... Ты не вздумай об этом рассказывать, смотри! Он человек больной, пьющий, но он — сила. Ему ты не повредишь, а он тебя живо сгложет — запомни. Он, брат, сам был студентом и все дела их знает на зубок, — даже в тюрьме сидел! А теперь получает сто рублей в месяц!

Измятое сном, дряблое лицо Петра нахмурилось. Он одевался и говорил скучным, ворчливым голосом:

— Наша служба — не шутка. Если б можно было сразу людей за горло брать, то — конечно. А ты должен сначала выходить за каждым верст сотню и больше...

Вчера, несмотря на все волнения дня, Петр казался Климову интересным и ловким человеком, а теперь он

говорил с натугой, двигался неохотно и все у него падало из рук. Это делало Климова смелее, и он спросил:

— Целый день по улицам ходить нужно?

— Иногда и ночью погуляешь, — на морозе градусов в тридцать. Нашу службу — очень злой чорт придумал...

— А когда всех их переловят?.. — снова спросил Евсей.

— Кого?

— Этих — врагов...

— Говори — революционеров или политических... Переловить их, мы с тобою, вряд ли успеем. Они, должно быть, двойнями родятся...

За чаем Петр развернул свою книжку, посмотрел в нее, вдруг оживился, вскочил со стула, торопливо сдал карты и начал считать:

— Тысяча двести шестнадцатая сдача. Имею: три пики, семь червей, туза бубен...

Выходя из дома, он оделся в черное пальто, барашковую шапку, взял в руки портфель, сделался похожим на чиновника и строго сказал:

— Рядом со мною по улице не ходи, не разговаривай. Я найду в один дом, а ты пройди в дворницкую, скажи там, что тебе нужно подождать Тимофеева. Я скоро...

Боясь потерять Петра в толпе прохожих, Евсей шагал сзади, не спуская глаз с его фигуры, но вдруг Петр исчез. Климов растерялся, бросился вперед; остановился, прижавшись к столбу фонаря, — против него возвышался большой дом с решетками на окнах первого этажа и тьмою за стеклами окон. Сквозь узкий подъезд был виден пустынный, сумрачный двор, мощный крупным камнем. Климов побоялся идти туда и, беспокойно переминаясь с ноги на ногу, смотрел по сторонам.

Со двора вышел спешными шагами человек в поддевке, в картузе, надвинутом на лоб, с рыжей бородкой, он мигнул Евсею серым глазом и негромко сказал:

— Что же ты не вошел к дворнику?

— Я вас потерял! — сознался Евсей.

— Потерял? Смотри, за это тебе могут дать в шею... Слушай: через три дома отсюда земская управа. Сейчас из нее выйдет человек, зовут его Дмитрий Ильич Курносов — помни! Идем, я тебе покажу его...

И через несколько минут Климов, как маленькая собака, спешно шагал по тротуару сзади человека в поношенном пальто и измятой черной шляпе. Человек был большой, крепкий, он шел быстро, широко размахивал палкой и крепко стучал ею по асфальту. Из-под шляпы спускались на затылок и уши черные с проседью вьющиеся волосы.

Евсей редко ощущал чувство жалости к людям, но теперь оно почему-то вдруг явилось. Вспотевший от волнения, он быстро, мелкими шагами перебежал на другую сторону улицы, забежал вперед, снова перешел улицу и встретил человека грудь ко груди. Перед ним мелькнуло темное, бородатое лицо с густыми бровями, рассеянная улыбка синих глаз. Человек что-то напевал или говорил сам себе, — его губы шевелились.

Климов остановился, вытер ладонями потное лицо, согнул спину и пошел вслед за ним, глядя в землю, лишь изредка вскидывая глаза.

«Немолодой, — думал он. — Бедный, видно... Все — от бедности...»

Ему вспомнился Дудка, он вздрогнул.

«Изобьет он меня...»

Стало жалко Дудку.

В уши назойливо лез уличный шум, хлюпала и брызгала жидкая, холодная грязь. Климову было скучно, одиноко, вспоминалась Раиса. Тянуло куда-то в сторону с улицы.

А человек, за которым он следил, остановился у крыльца, ткнул пальцем кнопку звонка, снял шляпу, помахал ею в лицо себе и снова взбросил на голову. Стоя в пяти шагах у тумбы, Евсей жалобно смотрел в лицо человека, чувствуя потребность что-то сказать ему. Тот заметил его, сморщил лицо и отвернулся. Сконфуженный, Евсей опустил голову.

— Из охраны? — услышал он негромкий, сиповатый голос. Спрашивал высокий рыжий мужик в грязном переднике, с метлой в руках.

— Да! — тихо сказал Евсей и в ту же секунду сообразил: «Не надо было сознаваться...»

— Опять — новый, — заметил дворник. — Всё за Курносовым ходите?

— Да...

— Так. Скажи там начальству — утром сегодня к нему гость приехал с вокзала, с чемоданами, — три чемодана. Не прописывали еще в полиции — срок имеют сутки. Маленький такой, красивый, с усами...

Дворник замолчал, несколько раз погладил метлой тротуар, забрызгал грязью сапоги и брюки Евсею, остановился и заметил:

— Тебя тут видно. Они тоже не дураки, вашего брата замечают. Ты встал бы в воротах, что ли...

Евсей послушно отошел к воротам...

И вдруг, на другой стороне улицы, увидел Якова Зарубина. С тростью в руке, в новом пальто и в перчатках, Яков, сдвинув набок черный котелок, шел по тротуару и улыбался, играя глазами, точно уличная девица, уверенная в своей красоте...

— Здравствуй! — сказал он, оглядываясь. — Я тебя сменить пришел... Иди в трактир Сомова на Лебяжью улицу, спроси там Николая Павлова...

— Ты разве тоже в охране? — спросил Евсей.

— На десять дней раньше тебя поступил... а что?

Евсей посмотрел в его сияющее черное личико.

— Это ты про меня рассказал?

— А Дудку — ты выдал?

Подумав, Евсей хмуро ответил:

— Я — после тебя. Я только тебе сказал...

— А Дудка — только тебе, — у!

Яков засмеялся, толкнул Климова в плечо.

— Иди скорее, курица вареная!

И, помахивая тросточкой, пошел рядом с ним.

— Это должность хорошая, это я — понимаю! Жить можно барином — гуляй, посматривай. Вот видишь костюмчик?

Скоро он простился с Евсеем и быстро пошел назад, а Климов неприязненно посмотрел вслед ему и задумался. Он считал Якова человеком пустым, ставил его ниже себя, и было обидно видеть Зарубина щегольски одетым, довольным.

«Донес на меня. Если я рассказал про Дудку, так я — со страха. А он — зачем?»

И, угрожая Якову, он мысленно воскликнул:

«Погоди! Еще увидим, кто лучше!..»

Когда он спросил в трактире Николая Ивановича, ему указали лестницу наверх; войдя по ней, он остановился перед дверью и услышал голос Петра.

— Карт в игре — пятьдесят две... В городе, в моем участке, тысячи людей, и я знаю из них несколько сотен. Знаю, кто с кем живет, кто где служит. А ведь люди меняются — карты всегда одни и те же...

Кроме Петра и Саши, в комнате был еще третий человек. Высокий, стройный, он стоял у окна, читая газету, и не пошевелился, когда вошел Евсей.

— Какая дурацкая рожа! — встретил Евсея Саша, упираясь в лицо ему злым взглядом. — Ее надо переделывать — слышите, Маклаков?

Читавший газету повернул голову, осмотрел Евсея большими светлыми глазами и сказал:

— Надо...

Возбужденный, с растрепанной прической, Петр спрашивал Евсея, что он видел, и чистил себе зубы гусиным пером. На столе стояли остатки обеда, запах жира и кислой капусты раздражал Евсею ноздри, вызывая острое чувство голода. Он стоял перед Петром и бесстрастным голосом рассказывал то, что сообщил ему дворник. С первых же слов рассказа Маклаков заложил руки с газетой за спину и, наклонив голову, стал внимательно слушать, пошевеливая светлыми усами. И на голове у него волосы были тоже странно белые, как серебряные, с легким оттенком желтизны. Чистое лицо, серьезное, с нахмуренным лбом, спокойные глаза, уверенные движения сильного тела, ловко и плотно обтянутого в солидный костюм, сильный басовый голос — все это выгодно отводило Маклакова в сторону от Саши и Петра.

— Дворник сам вносил чемоданы? — спросил он Евсея.

— Не сказал.

— Значит, не он вносил. Он сказал бы, тяжелы или легки. Вносили — сами! — заметил Маклаков. И добавил: — Вероятно — это литература. Очередной номер.

— Надо сказать, чтобы не медля делали обыск! — проговорил Саша и скверно выругался, грозя кому-то

кулаком. — Мне нужно типографию. Достаньте шрифт, ребята, я сам устрою типографию, — найду ослов, дам им все, что надо, потом мы их сцапаем, и — у нас будут деньги...

— План не вредный! — воскликнул Петр.

Маклаков посмотрел на Евсея и спросил его:

— Вы обедали?

— Нет...

Кивком головы указывая на стол, Петр скомандовал:

— Ешь скорее!

— Зачем же угощать обедками? — спокойно спросил Маклаков, шагнул к двери, открыл ее и крикнул: — Эй, обед...

— Ты попробуй, — гнусил Саша Петру, — уговорить этого идиота Афанасова, чтобы он дал нам типографию, которая была арестована в прошлом году.

А Маклаков смотрел на них и молча крутил усы.

Внесли обед, и вместе с лакеем в комнате явился круглый рябоватый и скромный человек. Он благожелательно улыбнулся всем и сказал:

— Сегодня вечером в зале Чистова — банкет революционеров. Трое наших отправляются туда официантами — между прочими — вы, Петруша.

— Опять я! — вскричал Петр, и его лицо покрылось пятнами, постарело, озлобилось. — За два месяца третий раз лакея играть! Позвольте же!.. Не хочу!

— Об этом вы скажите не мне!

— Соловьев! Почему именно меня всегда назначают лакеем?

— Похож! — сказал Саша, усмехаясь.

— Назначено трое! — повторил Соловьев, вздохнув. — Пива бы выпить?

— Вот видите, Маклаков, — заговорил Саша, — у нас никто не хочет работать серьезно, с увлечением, а у них дело развивается. Банкеты, съезды, дождь литературы, на фабриках — открытая пропаганда...

Маклаков молчал, не глядя на него.

Заговорил круглый Соловьев, тихо и ласково улыбаясь:

— А я сегодня на вокзале девицу поймал с книжками. Еще летом на даче заметил я ее — ну, думаю, гуляй,

милая!.. А сегодня хожу по вокзалу, готовых у меня никого нет, смотрю — она идет с чемоданчиком... Подошел, вежливо предлагаю — пожалуйста со мной на два слова. Вижу — вздрогнула, побелела и чемоданчик за спину прячет. А, думаю, милашка моя глупенькая, попалась! Ну, сейчас ее в дежурную, вскрыли багажник, а там — «Освобождение», последний номерок, и всякое другое вредное дрянцо. Отвез девочку в охранное — что делать? Карасики не ловятся — и щуренка съешь. Едет, личико от меня в сторону отвернула, щечки горят, а на глазках — слезинки. Но — молчит. Спрашиваю — удобно вам, барышня? Молчит...

Соловьев тихонько и мягко засмеялся, его рябое лицо покрылось дрожащими лучами морщин.

— Кто она? — спросил Маклаков.

— Доктора Мелихова дочь.

— А-а... — протянул Саша. — Я его знаю...

— Солидный человек, имеет ордена — Владимира и Анны, — сообщил Соловьев.

— Я его знаю! — повторил Саша. — Шарлатан, как все они. Пробовал меня лечить...

— Вас теперь один господь мог бы вылечить! — ласково сказал Соловьев. — Быстро вы разрушаетесь здоровьем...

— Подите к чорту! — крикнул Саша. — Чего вы ждете, Маклаков?

— А вот он поест...

— Эй, ты, глотай живее! — крикнул Саша Климову.

Обедая, Климов внимательно слушал разговоры и, незаметно рассматривая людей, с удовольствием видел, что все они — кроме Саши — не хуже, не страшнее других.

Им овладело желание подслужиться к этим людям, ему захотелось сделаться нужным для них. Он положил нож и вилку, быстро вытер губы грязной салфеткой и сказал:

— Я — готов.

Распахнулась дверь, в комнату, согнувшись, вскочил вертлявый растрепанный человек, прошипел:

— Тиш-ше!

Высунул голову в коридор, послушал, потом, тщательно притворив дверь, спросил:

— Не запирается? Где ключ?

Оглянулся и, вздохнув, сказал:

— Слава богу!

— Э, дубина! — презрительно прогнусил Саша. — Ну, что такое? Опять хотели бить тебя?

Человек подскочил к нему и, задышав, размахивая руками, отирая пот с лица, начал вполголоса бормотать:

— И — хотели! Конечно. Хотели убить молотком.

Двое. Шли за мной от тюрьмы, ну да! Я был на свиданиях, выхожу — а они у ворот стоят, двое. И один держит в кармане молоток...

— Может быть, это револьвер? — спросил Соловьев, вытягивая шею.

— Молоток!

— Ты видел? — с усмешкой осведомился Саша.

— Ах, я же знаю! Они решили молотком. Без шума — р-раз...

Он оправлял галстук, застегивал пуговицы, искал чего-то в карманах, приглаживал курчавые потные волосы, его руки быстро мелькали, и казалось, что вот они сейчас оторвутся. Костлявое серое лицо обливалось потом, темные глаза разбегались по сторонам, то прищуренные, то широко открытые, и вдруг они неподвижно, с неподдельным ужасом остановились на лице Евсея. Человек попятился к двери, хрипло спрашивая:

— Это — кто?

Маклаков подошел к нему, взял за руку.

— Успокойтесь, Елизар, это свой.

— Вы его знаете?

— Скотина! — раздался раздраженный возглас Саши. — Тебе лечиться надо...

— Вас под вагон конки толкали? Нет? Так вы погодите ругаться...

— Вот, смотрите, Маклаков... — заговорил Саша, но человек продолжал с яростным возбуждением:

— Вас ночью били неизвестные люди? Ага! Вы поймите — неизвестные люди! Таких людей, неизвестных мне, — сотни тысяч в городе... Они везде, а я один.

Успокоительно прозвучал мягкий голос Соловьева и утонул в новом взрыве слов разбитого человека. Он внес с собою вихрь страха, Климов сразу закружился, утонул в шопоте его тревожной речи, был ослеплен движениями

изломанного тела, мельканием трусливых рук и ждал, что вот что-то огромное, черное ворвется в дверь, наполнит комнату и раздавит всех.

— Пора идти! — сказал Маклаков, дотронувшись до его плеча.

На улице, сидя в пролетке, Евсей угрюмо и тихо заметил:

— Не гожусь я для этого дела...

— Почему? — спросил Маклаков.

— Я — боязливый...

— Это — пройдет!

— Ничего не проходит! — быстро сказал Евсей.

— Все! — возразил ему Маклаков спокойно.

На улице было слякотно, холодно, темно. Отсветы огней лежали в грязи, люди и лошади гасили их, ступая ногами в золотые пятна.

Евсей, без мысли глядя вперед, чувствовал, что Маклаков рассматривает его лицо.

— Привыкнете! — заговорил Маклаков. — Но если есть другая служба — уходите сейчас же. Есть?

— Нет...

Шпион пошевелился, но не сказал ни слова. Глаза у него были полускрыты, он дышал через нос, и тонкие волосы его усов вздрагивали.

В воздухе плавали густые звуки колокола, мягкие и теплые. Тяжелая туча накрыла город плотным темным пологом. Задумчивое пение меди, не поднимаясь вверх, печально влачилося над крышами домов.

— Завтра воскресенье! — негромко произнес Маклаков. — Вы в церковь ходите?

— Нет! — ответил Евсей.

— Почему?

— Не знаю. Так...

— А я — хожу. Люблю утренние службы. Поют певчие, и солнце в окна смотрит. Это хорошо.

Простые слова Маклакова ободрили Евсея, ему захотелось говорить о себе.

— Петь — хорошо! — начал он. — Мальчишкой я пел в церкви, в селе у нас. Поешь, и даже непонятно — где ты? Все равно как нет тебя...

— Приехали! — сказал Маклаков.

Евсей вздохнул, печально глядя на длинное здание вокзала, — оно явилось перед глазами как-то сразу и вдруг загородило дорогу.

Прошли на перрон, где уже собралось много публики, остановились, прислонясь к стене. Маклаков прикрыл глаза ресницами и точно задремал. Позванивали шпоры жандармов, звучно и молодо смеялась стройная женщина, черноглазая, со смуглым лицом.

— Запомните эту, которая смеется, и старика рядом с ней! — внятным шопотом говорил Маклаков. — Ее зовут Сарра Лурье, акушерка, квартирует на Садовой, дом — семь. Сидела в тюрьме, была в ссылке. Очень ловкая женщина! Старик тоже бывший ссыльный, журналист...

Вдруг он точно испугался кого-то, быстрым движением руки надвинул шапку на лоб и еще тише продолжал:

— Высокий, в черном пальто, мохнатая шапка, рыжий — видите?

Евсей кивнул головой.

— Это — писатель Мионов... Четыре раза сидел по тюрьмам в разных городах...

Черный, железный червь, с рогом на голове и тремя огненными глазами, гремя металлом огромного тела, взвизгнул, быстро подполз к вокзалу, остановился и злобно зашипел, наполняя воздух густым белым дыханием. Потный, горячий запах ударил в лицо Климова, перед глазами быстро замелькали черные суетливые фигурки людей.

Евсей впервые видел так близко эту массу железа, она казалась ему живой, чувствующей и, властно привлекая к себе его внимание, возбуждала в нем враждебное и жуткое предчувствие. В памяти его ослепительно и угрожающе блестели огненные глаза, круглые, лучистые, вертелись большие красные колеса, блистал стальной рычаг, падая и поднимаясь, точно огромный нож...

Раздался негромкий возглас Маклакова.

— Что? — спросил Евсей.

— Ничего! — с досадой ответил сыщик. Щеки у него покраснели, он закусил губы. По его взгляду Евсей догадался, что он следит за писателем. Не спеша, покручивая ус, писатель шел рядом с пожилым, коренастым человеком

в расстегнутом пальто и в летней шляпе на большой голове. Человек этот громко хохотал и, поднимая вверх бородатое красное лицо, вскрикивал:

— Ехал, ехал...

Писатель снял шапку, кому-то кланяясь, — голова у него была гладко острижена, лоб высокий, лицо скуластое, с широким носом и узкими глазами. Это лицо показалось Климову грубым, неприятным, большие рыжие усы придавали ему что-то солдатское, жесткое.

— Идемте! — сказал Маклаков. — Они, должно быть, поедут вместе. Нам надо быть поосторожнее, приезжий-то бывалый человек...

На улице он нанял извозчика, сказав ему:

— Поезжай за тем экипажем!

И долго молчал, согнув спину и раскачиваясь всем телом. Потом тихо пробормотал:

— В прошлом году летом был я у него при обыске...

— У писателя? — спросил Евсей.

— Да. Поезжай дальше, извозчик! — быстро приказал Маклаков, заметив, что передний экипаж остановился.

Через минуту он соскочил с пролетки, сунул извозчику деньги, сказал Евсею: «Подождите!» — и скрылся в сырой тьме. Был слышен его голос:

— Извините — это дом Яковлева?

Кто-то глухо ответил:

— Перцева.

Прислонясь к забору, Евсей считал замедленные шаги Маклакова и думал:

«Просто это — следить за людьми...»

Шпион подошел и недовольным голосом заговорил:

— Нам здесь делать нечего. Завтра с утра вы оденетесь в другое платье и будете наблюдать за этим домом.

Он зашагал по улице, и в уши Климова застучала его речь, быстрая, точно дробь барабана.

— Запоминайте лица, костюмы, походку людей, которые будут приходить в эту квартиру. Людей, похожих друг на друга, — нет, каждый имеет что-нибудь свое, вы должны научиться сразу поймать это свое в человеке — в его глазах, в голосе, в том, как он держит руки на ходу, как, здороваясь, снимает шапку. Эта служба прежде всего требует хорошей памяти...

Евсей чувствовал, что сыщик говорит со скрытою неприязнью к нему.

— У вас слишком заметное лицо, особенно глаза, это не годится, вам нельзя ходить без маски, без дела. По фигуре, да и вообще, вы похожи на мелочного торговца, вам надо завести ящик с товаром — шпильки, иголки, тесемки, ленты и всякая мелочь. Я скажу, чтобы вам дали ящик и товару, — тогда вы можете заходить на кухни, знакомиться с прислугой...

Он замолчал, снял свою бороду, спрятал ее в карман, поправил шапку и пошел тише.

— Прислуга всегда готова сделать что-нибудь неприятное для господ, ее легко выпросить. Особенно женщин — кухарок, нянек, горничных. Они любят сплетничать. Однако — я продрог! — другим голосом закончил он поучение. — Зайдем в трактир.

— У меня денег нет...

— Пустяки!

В трактире он строгим тоном барина спросил:

— Рюмку коньяку побольше и пару пива. Вы хотите коньяку?

— Нет. Я не пью, — ответил Евсей сконфуженно.

— Это хорошо!

Шпион внимательно взглянул в лицо Климова, поправил усы, на минуту закрыл глаза, потянулся всем телом так, что у него хрустнули кости. А когда выпил коньяк, то снова вполголоса заговорил:

— И хорошо, что вы такой молчаливый... О чем вы думаете, а?

Евсей опустил голову и ответил:

— О себе...

— Что же именно?

Глаза Маклакова светились мягко, и Евсей искренно ответил:

— Думаю, что, может, лучше бы мне в монастырь поступить...

— Вы в бога веруете?

Подумав, Евсей сказал, как бы извиняясь:

— Верую! Только я — не для бога, а для себя. Что я богу?

— Ну, давайте выпьем...

Климков храбро выпил стакан холодного, горького пива, — оно вызвало у него дрожь. Облизав губы, он спросил:

— Часто бьют вас?

— Меня? Кто? — удивленно и обиженно воскликнул сыщик.

— Не вас, а вообще — шпионов?

— Надо говорить — агенты, а не шпионы, — поправил его Маклаков, усмехаясь. — Меня — не били...

Он задумался, плечи у него опустились, спина согнулась, по белому лицу скользнула тень.

— Должность наша — собачья, люди смотрят на нас — довольно скверно! — тихонько проговорил он и вдруг, улыбнувшись всем лицом, наклонился к Евсею. — Только один раз за пять лет я видел человеческое отношение к себе. Было это у Миронова. Я пришел к нему с жандармами, в форме околоточного надзирателя; нездоровилось мне, лихорадило, едва на ногах стою. Принял он нас вежливо, немножко будто сконфузился, посмеивается. Большой такой, руки длинные, усы — точно у кота. Ходит с нами из комнаты в комнату, всем говорит — вы, заденет кого-нибудь — извиняется. Неловко всем около него — и полковнику, и прокурору, и нам, мелким птицам. Все этого человека знают, в газетах портреты его печатаются, даже за границей известен, — а мы пришли к нему ночью... совестно как-то! Вижу я — смотрит он на меня, — потом подошел близко и говорит: «Вы бы сели, а? Вам нездоровится, как видно, сядьте!» Так он меня этими словами и опрокинул. Сел я. Думаю — уйди от меня! А он: «Хотите принять порошок?» Все молчат, — никто на меня и на него не смотрит...

Маклаков тихо засмеялся.

— Дал он мне хину в облатке, а я ее разжевал. Во рту — горечь нестерпимая, в душе — бунт. Чувствую, что упаду, если встану на ноги. Тут полковник вмешался, велел меня отправить в часть, да, кстати, и обыск кончился. Прокурор ему говорит: «Должен вас арестовать...» — «Ну, что же, говорит, арестуйте! Всякий делает то, что может...» Так это он просто сказал — с улыбкой!..

Рассказ понравился Евсею, точно обласкал его и разогрел желание быть приятным Маклакову.

«Хороший человек!» — утвердительно подумал он о сыщике.

А тот вздохнул, спросил себе еще рюмку коньяку, медленно выпил ее, вдруг осунулся, похудел и опустил голову на стол.

Евсею хотелось говорить, в голове суматошно мелькали разные слова, но не укладывались в понятную и ясную речь. Наконец, после многих усилий, Евсей нашел о чем спросить.

— Он тоже на службе у врагов наших?

— Кто? — едва подняв голову, спросил сыщик.

— Писатель-то...

— У каких — врагов наших?

Евсей смутился, — сыщик смотрел, безглаголиво скривив губы, в голосе его была слышна насмешка. Не дождав-шись ответа, он встал, кинул на стол серебряную монету, сказал кому-то: «Запишите!», надел шапку и, ни слова не говоря Климову, пошел к двери. Евсей, ступая на носки, двинулся за ним, а шапку надеть не посмел.

— Завтра к девяти будьте на месте, в двенадцать вас сменят! — сказал ему Маклаков уже на улице, сунул руки в карманы пальто и исчез.

«Не прости!» — огорченно думал Евсей, идя по пустынной улице.

Он чувствовал себя худо — со всех сторон его окружала тьма, было холодно, изо рта в грудь проникал клейкий и горький вкус пива, сердце билось неровно, а в голове кружились, точно тяжелые хлопья осеннего снега, вялые мысли.

«Вот — день отслужил я... Кабы я понравился кому-нибудь...»

X

Ночью Евсею приснилось, что его двоюродный брат Яшка сел ему на грудь, схватил за горло и душит... Он проснулся и услышал в комнате Петра его сердитый, сухой голос:

— Мне наплевать на государство и на всю эту чепуху...

Засмеялась женщина, и прозвучал чей-то тонкий голос:

— Ш-ш! Не ори!..

— У меня нет времени разбирать, кто прав, кто виноват, — я не дурак. Я молод, мне надо жить. Он мне, подлец, лекции читает о самодержавии, — а я четыре часа лакеем метался около всякой сволочи, у меня ноги ноют, спина от поклонов болит. Коли тебе самодержавие дорого, так ты денег не жалей, а за грош гордость мою я самодержавию не уступлю, — подите вы к чорту!

А через несколько часов Евсей сидел на тумбе против дома Перцева. Он долго ходил взад и вперед по улице мимо этого дома, сосчитал в нем окна, измерил шагами его длину, изучил расплывшееся от старости серое лицо дома во всех подробностях и, наконец, устав, присел на тумбу. Но отдыхать ему пришлось недолго, — из двери вышел писатель в накинутом на плечи пальто, без галюш, в шапке, сдвинутой набок, и пошел через улицу прямо на него.

«В морду даст!» — подумал Евсей, глядя на суровое лицо и нахмуренные рыжие брови. Он попробовал встать, уйти — и не мог, окованный страхом.

— Вы чего тут сидите? — раздался сердитый голос.

— Так...

— Ступайте прочь!..

— Я не могу...

— Вот письмо — идите, отдайте его тому, кто вас послал сюда.

Большие синие глаза приказывали, послушаться их взгляда не было сил. Отвернув лицо в сторону, Евсей пробормотал:

— Н-не имею разрешения принимать от вас что-нибудь. И разговаривать тоже...

Писатель улыбнулся хмурой улыбкой и сунул конверт в руку Евсея.

Климков пошел, держа конверт в правой руке на высоте груди, как что-то убийственное, грозящее неведомым несчастьем. Пальцы у него ныли, точно от холода, и в голове настойчиво стучала пугливая мысль:

«Что же будет со мной?..»

Но вдруг он увидел, что конверт не заклеен, это поразило его, он остановился, оглянулся, быстро вынул письмо и прочитал:

«Уберите прочь от меня этого болвана. Миронов».

Евсей облегченно вздохнул.

— Надо отдать Маклакову. Обругает он меня...

Страх исчез, но было тяжело при мысли о том, что снова не удалось угодить сыщику, который так нравился.

Он застал Маклакова за обедом в компании с маленьким, косоглазым человеком, одетым в черное.

— Знакомьтесь! Климков, Красавин.

Евсей сунул руку в карман за письмом и смущенно сказал:

— Вышло так, что...

Маклаков протянул к нему руку.

— Расскажите после!..

Лицо у него было усталое, глаза потускнели, белые прямые волосы растрепались.

«Видно, напился вчера!» — подумал Евсей.

— Нет, Тимофей Васильевич, — холодно и внушительно заговорил косоглазый человек. — Это вы напрасно. Во всяком деле имеется своя приятность, когда дело любишь...

Маклаков взглянул на него и залпом выпил большую рюмку водки.

— Они — люди, мы — люди, но — это ничего не значит.

Косой заметил, что Евсей смотрит на его разбегающиеся глаза, и надел очки в оправе из черепахи. Он двигался мягко и ловко, точно черная кошка, зубы у него были мелкие, острые, нос прямой и тонкий; когда он говорил, розовые уши шевелились. Кривые пальцы все время быстро скатывали в шарики мякиш хлеба и раскладывали их по краю тарелки.

— Подручный? — спросил он, кивнув головой на Евсея.

— Да...

Красавин кивнул головой и, пощипывая тонкий темный ус, плавно заговорил:

— Конечно, Тимофей Васильевич, судьбе жизни на хвост не наступишь, по закону господа бога, дети растут, старики умирают, только все это нас не касается — мы получили свое назначение, — нам указали: ловите

нарушающих порядок и закон, больше ничего! Дело трудное, умное, но если взять его на сравнение — вроде охоты...

Маклаков встал из-за стола, отошел в угол и оттуда поманил Евсея к себе.

— Ну, что?

Евсей отдал ему конверт. Сыщик прочитал письмо, удивленно взглянул в лицо Климова, прочитал еще раз и тихо спросил:

— Это откуда?

Евсей смущенно шопотом ответил:

— Он сам дал. Вышел на улицу...

Ожидая ругательства или удара, он согнул шею, но услышал тихий смех и осторожно поднял голову. Сыщик смотрел на конверт, широко улыбаясь, глаза у него весело блестели.

— Эх вы, чудак! — сказал он. — Уж вы молчите об этом!

— Можно поздравить с удачным дельцем? — спросил Красавин.

— Можно! — сказал Маклаков. — А японцы нас все-таки вздули, Гаврила! — весело воскликнул он, потирая руки.

— Радости твоей в таком случае никак не могу принять! — сказал Красавин, двигая ушами. — Хотя это и поучительно, как многие выражаются, но все же пролита русская кровь и обнаружена недостача силы.

— А — кто виноват?

— Японец. Чего ему надо? Всякое государство должно жить внутри себя...

Они заспорили, но Евсей, обрадованный отношением Маклакова, не слушал их. Он смотрел в лицо сыщика и думал, что хорошо бы жить с ним, а не с Петром, который ругает начальство и за это может быть арестован, как арестовали Дудку.

Красавин ушел. Маклаков вынул письмо, прочитал его еще раз и засмеялся, глядя на Евсея.

— Так вы об этом ни слова, — никому! Он сам вышел?

— Да. Вышел и говорит: «Ступай прочь!»

Евсей виновато улыбнулся.

Сыщик, прищутив глаза, посмотрел в окно и медленно проговорил:

— Вам нужно заняться торговлей, я вам говорил. Сегодня вы свободны, у меня нет поручений для вас. До свиданья!

Он протянул руку, Евсей благодарно коснулся ее и ушел счастливый.

XI

Через несколько недель он почувствовал себя более ловко.

Утром каждого дня, тепло и удобно одетый, с ящиком мелкого товара на груди, он являлся в один из трактиров, где собирались шпионы, в полицейский участок или на квартиру товарища по службе, там ему давали простые, понятные задачи: ступай в такой-то дом, познакомься с прислугой, расспроси, как живут хозяева. Он шел и на первый раз старался подкупить прислугу дешевой ценой товара, маленькими подарками, а потом осторожно выспрашивал то, о чем ему было приказано узнать. Когда он чувствовал, что собранных сведений недостаточно, то дополнял их из своей головы, выдумывая недостающее по плану, который нарисовал ему старый, жирный и чувствительный Соловьев.

— Человеки эти, которые нам интересны, — говорил он слащаво и самодовольно, — все имеют одинаковые привычки — в бога не веруют, в храмы не ходят, одеваются плохо, но в обращении вежливы. Читают много книг, по ночам сидят долго, часто собирают гостей, однако вина пьют мало и в карты не играют. Говорят об иностранных государствах и порядках, о рабочем социализме и свободе для людей. Также о бедном народе и что нужно бунтовать его против государя нашего, перебить все правительство, занять высшие должности и посредством социализма снова устроить крепостное право — при нем для них будет полная свобода.

Теплый голос шпиона оборвался, он покашлял и чувствительно вздохнул.

— Свобода! Это, конечно, всякому приятно и хочется. Но дайте мне ее, так я, может быть, первым злодеем

земли стану, вот что! Даже ребенку невозможно дать полной свободы; святые отцы — угодники божии, но однако подвергались искушению плоти и грешили самым лучшим образом. Не свободой, а страхом связана жизнь людей — повиновение закону необходимо для человека. Революционеры же закона отрицают. Составляют они две партии — одна сейчас же хочет перебить бомбами и другими способами министров и царевых верных людей, другая — после, дескать, сначала общий бунт, а потом уж всех сразу казним.

Соловьев задумчиво возвел глаза вверх и, помолчав, продолжал:

— Разобрать их политику нам трудно, может, они там... действительно, что-нибудь понимают, но для нас все это вредные мечты — мы исполняем волю царя, помазанника божия, он за нас и отвечает перед богом, а мы должны делать, что велят. А чтобы войти в доверие революционерам, надо жаловаться: жизнь, мол, очень трудна для бедных, полиция обижает и законов никаких нет. Хотя они люди злодейского направления, но легковерны, и на эту удочку их всегда поймашь. С прислугою ихней веда себя умеючи, прислуга у них тоже бывает не глупа. В нужном месте уступай товар подешевле, чтобы к тебе привыкли, чтобы тебя ценили, но подозрений опасайся. Что такое? Продает дешево и на вопросы любопытен. Лучше всего заводи себе подружек — какую-нибудь этакую шишечку грудастенькую, горяченькую, и будет тебе с нею всячески хорошо. Она тебе и рубашку сошьет, и ночевать позовет, и все, что велишь, узнает, разношает, этакая мышка мягонькая. Через женщину далеко можно руку протянуть!

Этот круглый человек с волосатыми руками, толстогубый и рябой, чаще всех говорил о женщинах. Он понижал свой мягкий голос до шопота, шея у него потела, ноги беспокойно двигались, и темные глаза без бровей и ресниц наливались теплым маслом. Тонко воспринимавший запахи, Евсей находил, что от Соловьева всегда пахнет горячим, жирным, испорченным мясом.

Когда Евсей служил в полиции, там рассказывали о шпионах как о людях, которые все знают, все держат в своих руках, всюду имеют друзей и помощников; они

могли бы сразу поймать всех опасных людей, но не делают этого, потому что не хотят лишиться себя службы на будущее время. Вступая в охрану, каждый из них дает клятву никого не жалеть, ни мать, ни отца, ни брата, и ни слова не говорить друг другу о тайном деле, которому они поклялись служить всю жизнь.

Евсей ожидал увидеть фигуры суровые, ему казалось, что они должны говорить мало, речи их непонятны для простых людей и каждый из них обладает чудесной прозорливостью колдуна, умеющего читать мысли человека.

Теперь, наблюдая за ними, он ясно видел, что эти люди не носят в себе ничего необычного, а для него они не хуже, не опаснее других. Казалось, что они живут дружнее, чем вообще принято у людей, откровенно рассказывают о своих ошибках и неудачах, часто смеются сами над собой и все вместе одинаково усердно, с разной силой злости, ругают свое начальство.

Между ними чувствовалась тесная связь, была заметна заботливость друг о друге, — иногда случалось, что кто-нибудь опаздывал или не являлся на свидание, и все искренно беспокоились о нем, посылали Евсея, Зарубина или еще кого-нибудь из многочисленной группы «подручных» искать пропавшего в других местах свиданий. Бросалось в глаза отсутствие жадности к деньгам у большинства, готовность поделиться ими с товарищем, который проигрался в карты или прокутил свои рубли. Все они любили азартные игры, их, как детей, занимали фокусы с картами, и они завидовали ловкости шулеров.

С завистью сообщали друг другу о кутежах начальства, подробно описывали телосложение знакомых распутниц и жарко спорили о разных приемах половых сношений. Большинство были холостые, почти все молодые, и для каждого женщина являлась чем-то вроде водки, — она успокаивала, усыпляла, с нею отдыхали от тревог собачьей службы. Почти каждый имел в кармане неприличные фотографии, их рассматривали и при этом говорили пакости, возбуждавшие у Евсея острое, опьяняющее любопытство, а иногда — неверие и тошноту. Он знал, что некоторые из них занимаются мужеложством, очень многие заражены секретными болезнями и все обильно пили,

мешая водку с пивом, пиво с коньяком, всегда стремясь опьянеть возможно скорее.

Только немногие вкладывали в свою службу охотничий задор, хвастались ловкостью и рисовали себя героями; большинство делало свое дело скучно, казенно.

В разговорах о людях, которых они выслеживали, как зверей, почти никогда не звучала яростная ненависть, пенным ключом кипевшая в речах Саши. Выделялся Мельников, тяжелый, волосатый человек с густым реющим голосом, он ходил странно, нагибая шею, его темные глаза всегда чего-то напряженно ждали, он мало говорил, но Евсею казалось, что этот человек неустанно думает о страшном. Был замечен Красавин холодной злобностью и Соловьев сладким удовольствием, с которым он говорил о побоях, о крови и женщинах.

Среди молодежи суетился Яков Зарубин. Всегда озабоченный, он ко всем подбегал с вопросами, слушая разговоры о революционерах, сердито хмурил брови и что-то записывал в маленькую книжку. Старался услужить всем крупным сыщикам и явно не нравился никому, а на его книжку смотрели подозрительно.

О революционере большинство говорило равнодушно, как о человеке надоевшем, иногда насмешливо, как о забавном чуде, порою с досадой, точно о ребенке, который озорничает и заслуживает наказания. Евсею стало казаться, что все революционеры — пустые люди, несерьезные, они сами не знают, чего хотят, и только вносят в жизнь смуту, беспорядок.

Однажды Евсей спросил Петра:

— Вот вы говорите, что революционеры немцами подкуплены, а теперь говорят не то...

— Что — не то? — спросил с досадою Петр.

— Что бедные они и глупые... а про немцев — никто не говорит...

— Поди ты к чорту! Не все ли тебе равно? Делай, что велят, — твоя масть бубны, и ходи с бубен...

От Саши Климов старался держаться возможно дальше, — запах иодоформа и гнусавый, злой голос отталкивали, зловещее лицо большого пугало.

— Мерзавцы! — кричал Саша, ругая начальство. — Им дают миллионы, они бросают нам гроши, а сотни ты-

ся тратят на бабенок да разных бар, которые будто бы работают в обществе. Революции делает не общество, не барство — это надо знать, идиоты, революция растет внизу, в земле, в народе. Дайте мне пять миллионов — через один месяц я вам подниму революцию на улицы, я вытащу ее из темных углов на свет...

Он всегда создавал страшные планы поголовного истребления вредных людей. Его лицо становилось свинцовым, красные глаза странно тускнели, изо рта брызгала слюна.

Было видно, что все относятся к нему безразлично, но боятся его. Один Маклаков спокойно уклонялся от общения с ним и даже не подавал ему руки, здороваясь или прощаясь.

Ругая всех товарищей дураками, насмехаясь над каждым, Саша заметно выделял Маклакова на особое место, говорил с ним всегда серьезно, видимо, охотнее, чем с другими, и даже за глаза не бранил его.

Однажды, когда Маклаков вышел не простясь с ним по обыкновению, Саша сказал:

— Брезгует мною, дворянин. Имеет право, чорт его возьми! Его предки жили в комнатах высоких, дышали чистым воздухом, ели здоровую пищу, носили чистое белье. И он тоже. А я — мужик; родился и воспитывался, как животное, в грязи, во вшах, на черном хлебе с мякиной. У него кровь лучше моей, ну да. И кровь и мозг.

Помолчав, он прибавил угрюмо, без насмешки в голосе:

— О равенстве людей говорят, идиоты. И обманщики — барство, — мерзавцы. Проповедует равенство барин, потому что он бессильная сволочь и сам ничего не может сделать. Ты такой же человек, как и я, сделай же так, чтобы я мог лучше жить, — вот теория равенства...

Мельников, занимавшийся сыском среди рабочих, угрюмо поддакивал ему:

— Да, все обманщики...

И, утвердительно опуская лохматую темную голову, он крепко сжимал волосатые кулаки.

— Их нужно убивать, как мужики убивают конокрадов! — взвизгивал Саша.

— Убивать — это жирно будет, но иной раз в ухо свистнуть барина очень хочется! — сказал сыщик Чашин, знаменитый бильярдный игрок, кудрявый, тонкий, остроносый. — Возьмем такой подлый случай: играю я, назад тому с неделю, у Кононова в гостинице с каким-то господином, вижу — личность словно знакома, ну — все курицы в перьях! Он тоже присматривается — гляди, я не полиняю! Обставил я его на трешницу и полдюжины пива, пьем, вдруг он встает и говорит: «Я вас узнал! Вы — сыщик! Когда, говорит, я был в университете, то по вашей милости четыре месяца в тюрьме торчал, вы, говорит, подлец!» Я сначала струсил, но сейчас же и меня за сердце взяло: «Сидели вы, говорю, никак не по моей милости, а за политику вашу, и это меня не касается, а вот я почти год бегал за вами днем и ночью во всякую погоду, да тринадцать дней больницы схватил — это верно!» Тоже выговаривает, свинья! Наел себе щеки, как поп, часы у него золотые, в галстук булавка с камнем...

Аким Грохотов, благообразный человек с подвижным лицом актера, заметил:

— И я таких знаю. В молодости он кверху ногами ходит, а как придут серьезные года, гуляет смирно вокруг своей жены и, пропитания ради, хоть к нам в охрану готов. Закон природы!..

— Есть среди них, которые, кроме революции, ничего не умеют делать, это самые опасные! — сказал Мельников.

— Д-да! — точно выстрелив, воскликнул Красавин, жадно раскидывая свои косые глаза.

Однажды Петр, проигравшийся в карты, устало и озлобленно спросил:

— Когда кончится вся эта наша канитель?

Соловьев поглядел на него и пожевал толстыми губами.

— Нам о таком предмете не указано рассуждать. Наше дело простое — взял опасное лицо, намеченное начальством, или усмотрел его своим разумом, собрал справки, установил наблюдение, подал рапорт начальству, и — как ему угодно! Пусть хоть с живых кожицу сдирает — политика нас не касается... Был у нас служащий агент, Соковнин, Гриша, он тоже вот начал рассу-

ждать и кончил жизнь свою при посредстве чахотки, в тюремной больнице...

Чаще всего беседы развивались так.

Веков, парикмахер, всегда одетый пестро и модно, скромный и тихий, сообщал:

— Вчера троих арестовали...

— Экая новость! — равнодушно отзывался кто-нибудь.

Но Веков непременно желал рассказать товарищам все, что он знает, в его маленьких глазках загоралась **искра** тихого упрямства, и голос звучал вопросительно.

— На Никитской, кажется, господа революционеры опять что-то затевают — очень суетятся...

— Дурачье! Там все дворники ученые...

— Однако, — осторожно говорил Веков, — дворника **можно** подкупить...

— И тебя тоже. Всякого человека можно подкупить, дело цены...

— Слышали, братцы, вчера Секачев семьсот рублей выиграл?

— Он передергивает.

— Д-да, не шулер, а молодой бог...

Веков оглядывался, конфузливо улыбаясь, потом молча и **тщательно** оправлял свой костюм.

— Новая прокламация явилась! — сообщал он в другой раз.

— Много их! Чорт их знает, которая новая...

— В них большое зло.

— Ты читал?

— Нет. Филипп Филиппович говорил — новая, и сердится.

— Начальники всегда сердятся, — закон природы! — вздыхая, замечал Грохотов.

— Кто читает эти прокламации!

— Ну — читают! И даже очень...

— Так что? Я тоже читал, а брюнетом не сделался, как был, так и есть рыжеватый. Дело не в прокламациях, **а в бомбах**...

— Прокламация — не взорвет...

Но о бомбах не любили говорить, и почти каждый раз, **когда** кто-нибудь вспоминал о них, все усиленно старались свести разговор на другие темы.

— В Казани на сорок тысяч золотых вещей украдено!

Кто-нибудь оживленно и тревожно справлялся:

— Поймали воров?

— Поймают! — с грустью предрекал другой.

— Ну, когда еще эго будет, а той порою люди поживут с удовольствием...

И всех охватывал туман зависти, люди погружались в мечты о кутежах, широкой игре, дорогих женщинах.

Мельников более других интересовался ходом войны и часто спрашивал Маклакова, внимательно читавшего газеты:

— Все еще бьют нас?

— Бьют.

— Какая же причина? — недоуменно, выкатывая глаза, восклицал Мельников. — Народу мало, что ли?

— Ума не хватает! — сухо отзывался Маклаков.

— Рабочие недовольны. Не понимают. Говорят — генералы подкуплены...

— Это наверное! — вмешался Красавин. — Они же все не русские, — он скверно выругался, — что им наша кровь?..

— Кровь дешевая! — сказал Соловьев и странно улыбнулся.

Вообще же о войне говорили неохотно, как бы стесняясь друг друга, точно каждый боялся сказать какое-то опасное слово. В дни поражений все пили водку больше обычного, а напиваясь пьяными, ссорились из-за пустяков. Если во время беседы присутствовал Саша, он вскипал и ругался:

— Выродки! Вы ничего не понимаете!

В ответ ему иные улыбались извиняющейся улыбкой, другие хмуро молчали, иногда кто-нибудь негромко говорил:

— За сорок рублей в месяц не много поймешь...

— Вас уничтожить надо! — взвизгивал Саша.

Многие болели постоянным страхом побоев и смерти, некоторым, как Елизару Титову, приходилось лечиться от страха в доме для душевнобольных.

— Играю вчера в клубе, — сконфуженно рассказывал Петр, — чувствую — в затылок давит и спине холодно.

Оглянулся — стоит в углу высокий мужчина и смотрит на меня, как будто вершками меряет. Не могу играть! Встал из-за стола, вижу — он тоже двигается в углу. Я — задним ходом да бегом по лестнице, на двор, на улицу. А дальше не могу идти, — не могу! Все кажется, что он сзади шагает. Крикнул извозчика, еду, сижу боком, оглядываюсь назад. Вдруг он откуда-то появился впереди и шагает через улицу, прямо перед лошадьёю — может, это и не он, да тут уж не думаешь — ка-ак я закричу! Он остановился, а я из пролетки прыгнул да — бегом. Извозчик — за мной. Ну, и бежал я, чорт возьми!

— Бывает! — улыбаясь, сказал Грохотов. — Я этак-то спрятался однажды во двор, а там еще страшнее. Так я на крышу залез и до рассвета дня сидел за трубой. Человек человека должен опасаться, — закон природы...

Красавин пришел однажды бледный, потный, глаза его остановились, он сдавил себе виски и тихо, угрюмо общил:

— Ну, за мной пошли...

— Кто?

— Ходят, — вообще...

Соловьев попробовал успокоить его:

— Все люди ходят, Гаврилушка...

— Я по шагам слышу — это за мной.

И более двух недель Евсей не видел Красавина.

Шпионы относились к Климову добродушно, и если порою смеялись над ним, этот смех не оскорблял Евсея. Когда же он сам огорчался своими ошибками, они утешали его:

— Привыкнешь! Пройдет!

Он плохо понимал, когда шпионы занимаются своими делами, ему казалось, что большую часть дня они проводят в трактирах, а на разведки посылают таких скромных людей, как он.

Ему было известно, что сзади всех, кого он знает, стоят еще другие шпионы, отчаянные, бесстрашные люди, они вертятся среди революционеров, их называют провокаторами, — они-то и работают больше всех, они и направляют всю работу. Их мало, начальство очень ценит таких людей, а уличные шпионы единодушно не любят их за гордость и завидуют им.

Однажды Грохотов указал Евсею на улице одного из таких людей.

— Глядите, Климов!

По тротуару шел высокий плотный мужчина с белокурыми волосами. Волосы он зачесал назад, они красиво падали из-под шляпы на плечи, лицо у него было большое, благородное, с пышными усами. Одетый солидно, он оставлял впечатление важного, сытого барина.

— Вот какой! — с гордостью сказал Грохотов. — Хорош? Гвардия наша, да-а! Двенадцать человек бомбистов выдал, сам с ними бомбы готовил — хотели министра взорвать — сам их всему научил и выдал! Ловко?

— Да-а! — сказал Евсей, удивленный солидностью этого человека.

— Вот они какие, настоящие-то! — говорил Грохотов. — Он сам в министры годится, — имеет фигуру и лицо! А мы что? Голодного барина нищий народ...

Готовый служить всем и каждому за добрый взгляд и ласковое слово, Климов покорно бегал по городу, следил, расспрашивал, доносил, и если угождал, то искренно радовался. Работал он много, сильно уставал, думать ему было некогда.

Серьезный Маклаков казался Евсею лучше, чище всех людей, каких он видел до этой поры. Его всегда хотелось о чем-то спросить, хотелось что-то рассказать ему о себе — такое привлекательное лицо было у этого молодого шпиона.

Иногда он спрашивал:

— Тимофей Васильевич, а революционеры сколько получают в месяц?

Светлые глаза Маклакова покрывались легкой тенью.

— Вздор ты говоришь! — негромко, но сердито отвечал он.

XII

Дни шли быстро, суетливо, однообразно; Евсею казалось, что так они и пойдут далеко в будущее, наполненные уже привычною беготнею, знакомыми речами.

Но среди зимы вдруг все вздрогнуло, пошатнулось, люди тревожно раскрыли глаза, замахали руками, начали

яростно спорить, ругаться и как-то растерянно затоптались на одном месте, точно тяжело ушибленные и ослепшие от удара.

Началось это с того, что однажды вечером, придя в охранное отделение со спешным докладом о своих расспросах, Климов встретил там необычное и непонятное: чиновники, агенты, писаря и филёры как будто недели новые лица, все были странно не похожи сами на себя, чему-то удивлялись и как будто радовались, говорили то очень тихо, таинственно, то громко и злобно. Бессмысленно бегали из комнаты в комнату, прислушиваясь к словам друг друга, подозрительно прищуривали тревожные глаза, покачивая головами, вздыхали, вдруг останавливались и снова все сразу начинали спорить. Казалось, что в комнате широкими кругами летал вихрь страха и недоумения, он носит людей, как сор, сметает в кучи и разбрасывает во все углы, играя бессилием их. Климов, стоя в углу, смотрел пустыми глазами на это смятение и напряженно слушал.

Согнув крепкую шею, вытягивая вперед голову, Мельников хватает людей за плечи волосатой рукой.

— Почему же это народ? — раздается его низкий, глухой голос.

— Свыше ста тысяч, сказано...

— Убитых — сотни! Раненых! — кричит Соловьев.

И откуда-то доносится противный, режущий ухо голос Саши:

— Попа надо было поймать. Прежде всего, идиоты!

Раскидывая косые глаза во все стороны, идет Красавин, он заложил руки за спину и кусает губы. Рядом с Евсеем встал тихонький Веков и, перебирая пальцами пуговицы своего жилета, сказал:

— Вот до чего достигли, — господи боже мой! Кровопролитие, а?

— Что случилось? — также тихо спросил Евсей.

Веков осторожно оглянулся, взял Климова за рукав и вполголоса сообщил:

— Вчера в Петербурге народ со священником и хоругвями пошел до государя императора — понимаете — а его не допустили, войско выставлено было, и произошло кровопролитие...

Мимо них пробежал красивый, солидный господин Леонтьев, он взглянул на Векова сквозь стекла пенсне и спросил:

— Где Филипп Филиппович?

Веков, вздрогнув, убежал за ним. Евсей закрыл глаза и, во тьме, старался понять смысл сказанного. Он легко представил себе массу народа, идущего по улицам крестным ходом, но не понимал — зачем войска стреляли, и не верил в это. Волнение людей захватывало его, было неловко, тревожно, хотелось суетиться вместе с ними, но, не решаясь подойти к знакомым шпионам, он подвигался все глубже в угол.

Мимо него шмыгали агенты, казалось, что все они тоже ищут уютного уголка, чтобы встать в нем и собраться с мыслями.

Маклаков, сунув руки в карманы, исподлобья смотрел на всех. К нему подошел Мельников.

— Это из-за войны?

— Не знаю...

— Чего они просили?

— Конституции! — ответил Маклаков.

Угрюмый шпион отрицательно покачал головой.

— Не верю...

Мельников, точно медведь, повернулся, пошел прочь, ворча:

— Ничего не понимает никто...

Евсей подвинулся к Маклакову, тот взглянул на него.

— Что?

— Рапорт...

Маклаков отмахнулся от него рукой.

— Какие сегодня рапорты!

— Тимофей Васильевич, что значит — конституция?

— Другой порядок жизни! — негромко ответил шпион. К нему подбежал Соловьев, потный, красный.

— Не слыхал — будут командировки в Петербург? Я думаю — должны быть, — такое событие! Ведь это бунт, а? Настоящий бунт! Крови-то сколько пролили! Что такое?

В голове Евсея медленно переворачивались, повторяясь, слова Маклакова:

«Другой порядок жизни...»

Они задели его за сердце, вызвав острое желание войти в их смысл. Но все кругом вертелось, мелькало, и надоедливо звучал сердитый гулкий голос Мельникова:

— Надо знать — какой народ? Одно дело — рабочие люди, другое — просто жители. Это нужно различать...

А Красавин четко говорил:

— Если даже и народом начат бунт против государя, то уже — народа нет, а только бунтовщики...

— Погоди... а когда тут обман?..

— Эй, чорт! — зашептал Зарубин, подбегая к Евсею. — Вот так я попал в дело!.. Идем, расскажу!

Климов молча шагнул за ним, но остановился.

— Куда идти?

— В портерную в одну. Понимаешь, — там есть девица Маргарита, а у нее знакомая модистка, а у этой модистки на квартире по субботам книжки читают, студенты и разные этикие...

— Я не пойду! — сказал Евсей.

— Эх ты, — у!

Лента странных впечатлений быстро опутывала сердце, мешая понять то, что происходит. Климов незаметно ушел домой, унося с собою предчувствие близкой беды. Она уже притаилась где-то, протягивает к нему неотразимые руки, наливая сердце новым страхом. Климов старался идти в тени, ближе к заборам, вспоминая тревожные лица, возбужденные голоса, бессвязный говор о смерти, о крови, о широких могилах, куда, точно мусор, сваливались десятки трупов.

Дома он встал у окна и долго смотрел на желтый огонь фонаря, — в полосу его света поспешно входили какие-то люди и снова ныряли во тьму. В голове Евсея тоже слабо засветилась бледная узкая полоса робкого огня, через нее медленно и неумело проползали осторожные, серые мысли, беспомощно цепляясь друг за друга, точно вереница слепых.

В бреду шли дни, наполненные страшными рассказами о яростном истреблении людей. Евсею казалось, что дни эти ползут по земле, как черные, безглазые чудовища,

разбухшие от крови, поглощенной ими, ползут, широко открыв огромные пасти, отравляя воздух душным, соленым запахом. Люди бегут и падают, кричат и плачут, мешая слезы с кровью своей, а слепые чудовища уничтожают их, давят старых и молодых, женщин и детей. Их толкает вперед на истребление жизни владыка ее — страх, сильный, как течение широкой реки.

Это случилось далеко, в городе, неизвестном Евсею, но он знал, что страх живет везде, он чувствовал его всюду вокруг себя.

Никто не понимал события, никто не мог объяснить его, оно встало перед людьми огромной загадкой и пугало их. Шпионы с утра до вечера торчали на местах своих свиданий, читали газеты, толклись в канцелярии охраны, спорили и тесно жались друг к другу, пили водку и нетерпеливо ждали чего-то.

— Кто-нибудь может объяснить правду? — спрашивал Мельников.

Через несколько дней, вечером, они собрались в охранном отделении, и Саша резко сказал:

— Довольно болтать ерунду! Это японский план, японцы дали восемнадцать миллионов попу Гапону, чтобы возбудить в народе бунт, — поняли? Народ напoили по дороге ко дворцу, революционеры приказали разбить несколько винных лавок — понятно?

И он окидывал всех красными глазами, как будто искал среди слушателей несогласных с ним.

— Они думали, что государь, любя народ, выйдет к нему, а в это время решено было убить его. Ясно?

— Ясно! — крикнул Яков Зарубин и стал что-то записывать в свою книжку.

— Болван! — сурово сказал Саша. — Я не тебя спрашиваю. Мельников, понимаешь?

Мельников сидел в углу, схватив голову руками, и качался, точно у него болели зубы. Не изменяя позы, он ответил:

— Обман! — Голос его тупо ударился в пол, точно упало что-то тяжелое и мягкое.

— Ну да, обман! — повторил Саша и снова начал говорить быстро и складно. Иногда он осторожно дотрагивался до своего лба, потом, посмотрев на пальцы, отирал

их о колено. Евсею казалось, что даже слова его пропитаны гнилым запахом; понимая все, что говорил шпион, он чувствовал, что эта речь не стирает, не может стереть в его мозгу темных дней праздника смерти. Все молчали, изредка покачивая головами, никто не смотрел друг на друга, было тихо, скучно, слова Саши долго плавали по комнате над фигурами людей, никого не задевая.

— А если было известно, что народ обманут, — зачем же его убивать? — неожиданно спросил Мельников.

— Дурак! — крикнул Саша. — Тебе скажут, что я любовник твоей жены, а ты напьешься и полезешь с ножом на меня, — что я должен делать? На, бей, хотя тебе наврали и я не виноват...

Мельников вдруг встал, вытянулся и зарычал:

— Не лай, собака!

Евсей покачулся от его слов, а сидевший рядом с ним тонкий и слабый Веков боязливо прошептал:

— О, господи! Держите его...

Саша оскалил зубы, сунул руку в карман, отшатнулся назад. Все остальные — их было много — сидели молча, неподвижно и ждали, следя за рукою Саши. Мельников взмахнул шапкой и не спеша пошел к двери.

— Не боюсь я твоего пистолета...

Он с шумом хлопнул дверью, Веков встал, запер ее и, возвращаясь на свое место, проговорил:

— Какой опасный мужчина...

— Итак, — продолжал Саша, вынув из кармана револьвер и рассматривая его, — завтра с утра каждый должен быть у своего дела — слышали? Имейте в виду, что теперь дела будет у всех больше, — часть наших уедет в Петербург, это раз; во-вторых — именно теперь вы все должны особенно насторожить и глаза и уши. Люди начнут болтать разное по поводу этой истории, революционеришки станут менее осторожны — понятно?

Благообразный Грохотов громко вздохнул и проговорил:

— Если так — японцы, деньги большие, — то, конечно, это объясняет!

— Без объяснения очень трудно! — сказал кто-то.

— Все очень интересуются этим бунтом...

Голоса звучали вяло, с натугой.

— Ну, теперь вы знаете, в чем дело и как надо говорить с болванами! — сердито сказал Саша. — А если какой-нибудь осел начнет болтать — за шиворот его, свисти городского и — в участок! Туда даны указания, что надо делать с этим народом. Эй, Веков или кто-нибудь, позвоните, пусть мне принесут сельтерской!

К звонку бросился Яков Зарубин.

— Н-да-а, — задумчиво протянул Грохотов. — А все-таки они — сила! Сто тысяч народу поднять...

— Глупость — легка, поднять ее не трудно! — перебил его Саша. — Поднять было чем — были деньги. Дайте-ка мне такие деньги, я вам покажу, как надо делать историю! — Саша выругался похабною руганью, привстал на диване, протянул вперед желтую, худую руку с револьвером в ней, прищурил глаза и, целясь в потолок, вскричал сквозь зубы, жадно всхлипнувшим голосом: — Я бы показал...

Всею все казалось бессильным, ненужным, как редкие капли дождя для пламени пожара; все это не угашало страха, не могло остановить тихий рост предчувствия беды.

В эти дни, незаметно для него, в нем сложилось новое отношение к людям, — он узнал, что одни могут собраться на улицах десятками тысяч и пойти просить помощи себе у богатого и сильного царя, а другие люди могут истреблять их за это. Он вспомнил все, что говорил Дудка о нищете народа, о богатстве царя, и был уверен, что и те и другие поступают так со страха — одних пугает нищенская жизнь, другие боятся обнищать. Но все же люди удивили его своей отчаянной смелостью и вызвали в нем чувство, до сей поры незнакомое ему.

Теперь, шагая по улице с ящиком на груди, он по-прежнему осторожно уступал дорогу встречным пешеходам, сходя с тротуара на мостовую или прижимаясь к стенам домов, но стал смотреть в лица людей более внимательно, с чувством, которое было подобно почтению к ним. Человеческие лица вдруг изменились, стали значительнее, разнообразнее, все начали охотнее и проще заговаривать друг с другом, ходили быстрее, тверже.

Евсей часто бывал в одном доме, где жили доктор и журналист, за которыми он должен был следить. У доктора служила кормилица Маша, полная и круглая женщина с веселым взглядом голубых глаз. Она была ласкова, говорила быстро, а иные слова растягивала, точно пела их. Чисто одетая в белый или голубой сарафан, с бусами на голой шее, пышногрудая, сытая, здоровая, она нравилась Евсею.

Он увидел ее дней через пять после того, как Саша объяснил причины бунта. Маша сидела на постели в комнате кухарки, лицо у нее опухло, нижняя губа смешно огтопырилась.

— Здравствуй! — сердито сказала она. — Не надо ничего, — иди! Не надо...

— Хозяева обидели? — спросил Евсей.

Он чувствовал, что это не так, но считал себя обязанным службою спросить именно об этом. Вынужденно вздохнул и добавил:

— На них всю жизнь работай...

Худая, сердитая кухарка вдруг закричала:

— Зятя у нее убили!.. А сестру нагайками исхлестали, в больницу легла...

— В Петербурге? — тихо осведомился Климков.

— Ну да...

Маша набрала полную грудь воздуха и прояжно застонала.

— Господи! Переплетчик; смирный, непьющий, — по сорок рублей в месяц добывал. Таню избили, а она — на сносях. Мужеву товарищу... ногу прострелили... Всех убили, всех изувечили, окайнные, чтобы им ни сна, ни отдыха!

Она долго, злобно взвизгивала, растрепанная, жалкая, а потом свалилась на постель и, воткнув в подушки голову, глухо застонала, вздрагивая.

— Дядя прислал ей письмо, — говорила кухарка, бегая от плиты к столу и обратно. — Что пишет! Вся наша улица письмо это читает, никто не может понять! Шел народ с иконами, со святыми, попы были — всё по-христиански... Шли к царю они, — дескать, государь, отец, убавь начальства, невозможно нам жить при таком

множестве начальников, и податей не хватает на жалование им, и волю они взяли над нами без края, что пожелают, то и дерут. Честно, открыто все было, и вся полиция знала, никто не мешал... Пошли, идут, и вдруг — давай в них стрелять! Окружили их со всех концов и стреляют, и рубят, и конями топчут. Два дня избивали насмерть, ты подумай!

Ее неприятный голос опустился до шопота, стало слышно, как шипит масло на плите, сердито булькает, закипая, вода в котле, глухо воет огонь и стонет Маша. Евсей почувствовал себя обязанным ответить на острые вопросы кухарки, ему хотелось утешить Машу, он осторожно покашлял и сказал, не глядя ни на кого:

— Говорят — японцы это устроили...

— Та-ак! — иронически вскричала кухарка. — Вот-вот, — японцы, как же! Знаем мы этих японцев. Барин наш объяснял, кто они такие, да! Скажи-ка ты брату моему про японцев, он тоже знает, как их зовут. Подлецы, а не японцы...

По рассказам Мельникова Евсею было известно, что брат кухарки, Матвей Зимин, служит на мебельной фабрике и читает запрещенные книжки. И вдруг Евсею захотелось сказать, что полиции известна неблагонадежность Зимина.

Но в эту минуту Маша вскочила с постели и, поправляя волосы, закричала:

— Нечем оправдаться — выдумали японцев!..

— Сво-олочи! — протянула кухарка. — Вчера, на базаре, тоже какой-то насчет японцев проповедь говорил... Старичок один послушал его, да как начал сам — и про генералов и про министров, — без стеснения! Нет, народ не обманешь!

Глядя на пол, Климов молчал. Желание сказать кухарке о надзоре за ее братом исчезло. Невольно думалось, что каждый убитый имеет родных, и теперь они — вот так же — недоумевают, спрашивают друг друга: за что? Плачут, а в сердцах у них растет ненависть к убийцам и к тем, кто старается оправдать преступление. Он вздохнул и сказал:

— Страшное дело сделано...

Думая про себя:

«Мне ведь тоже надо защищать начальство...»

Маша толкнула ногой дверь в кухню, и Евсей остался один с кухаркой. Она покосилась на дверь и ворчливо заговорила:

— Убивается женщина, молоко даже испортилось у нее, третий день не кормит! Ты вот что, торговец, в четверг, на той неделе, рождение ее, — кстати я тоже именины свои праздновать буду, — так ты приходи-ка в гости к нам, да подари ей хоть бусы хорошие. Надо как-нибудь утешить!

— Я приду!

Климков ушел, взвешивая в уме все, что говорили женщины. Речи кухарки были слишком крикливы, бойки, сразу чувствовалось, что она говорит не от себя, а чужое; горе Маши не трогало его. Но он понимал, что эти речи были необычны, не по-человечески смелы. У Евсея было свое объяснение события: страх толкнул людей друг против друга, и тогда вооруженные и обезумевшие истребили безоружных и безумных. Но это объяснение не успокаивало души, — он видел и слышал, что люди как будто начинают освобождать себя из плена страха, упрямо ищут виноватых, находят их и осуждают. Всюду появилось множество тайных листов, в них революционеры описывали кровавые дни в Петербурге и ругали царя, убеждая народ не верить правительству. Евсей прочитал несколько таких листов, их язык показался ему непонятным, но он почувствовал в этих бумажках опасное, неотразимо входившее в сердце, насыщая его новой тревогой. И решил больше не читать их.

Было строго приказано найти типографию, в которой печатались листки, переловить людей, которые раскидывали их; Саша ругался и даже ударил за что-то Векова по лицу. Филипп Филиппович стал приглашать по вечерам агентов и беседовал с ними. Обыкновенно он сидел среди комнаты за столом, положив на него руки, разбрасывал по столу свои длинные пальцы и все время тихонько двигал ими, шупая карандаши, перья, бумагу; на пальцах у него разноцветно сверкали какие-то камни, из-под черной бороды выглядывала желтая большая медаль; он медленно ворочал короткой шеей, и бездонные, синие стекла его очков поочередно присасывались к лицам людей,

смирно и молча сидевших у стен. Он никогда почти не вставал с кресла, у него двигались только пальцы да шея; толстое лицо казалось нарисованным, борода приклеенной. Пухлый и белый, он был солиден, когда молчал, но как только раздавался его тонкий, взвизгивающий голос, похожий на пение железной пилы, когда ее точит подпил, все на нем — черный сюртук и орден, камни и борода — становилось чужим и лишним. Иногда Евсей думал, что перед ним сидит искусно сделанная кукла, а в ней спрятан маленький, сморщенный человечек, похожий на чортика, и что, если на эту куклу громко крикнуть, чортик испугается, выскочит из нее и убежит, прыгнув в окно.

Но он боялся Филиппа Филипповича и, чтобы не привлечь на себя заглатывающего взгляда его синих очков, сидел возможно дальше от него и тоже все время старался не двигаться.

— Господа! — дрожал в воздухе тонкий голос. — Вы должны запомнить слова мои. Каждый должен весь свой ум, всю душу вложить в борьбу с тайным, хитрым врагом. В борьбе за жизнь вашей матери России все средства позволены. Революционеры не брезгуют ничем, не стесняются и убийством. Вспомните, сколько погибло ваших товарищей от их руки. Я не говорю вам — убивайте, нет, конечно, убить человека немудрено, это может сделать всякий дурак. Закон — с вами, вы идете против беззаконников, щадить их преступно, их надо искоренять, как вредную траву. Вы должны сами догадываться о том, как вернее и лучше задушить нарождающуюся революцию... Этого требует царь и родина...

Помолчав, он взглянул на свои кольца.

— У вас мало энергии, мало любви к делу. Например: вы прозевали старого революционера Сайдакова; мне известно, что он прожил у нас в городе три с половиною месяца. Второе, вы до сей поры не можете найти типографию...

Кто-то обиженно сказал:

— Без провокаторов — трудно...

— Прошу не прерывать! Я сам знаю, что трудно и что легко! Вы до сей поры не можете собрать серьезных улик против целого ряда лиц, известных своим крамольным духом, не можете дать оснований для их ареста...

— А вы — без оснований! — сказал Петр и засмеялся.

— К чему эти шутки? Я говорю серьезно. Если мы арестуем их без оснований, мы должны будем выпустить их, — только и всего. А лично вам, Петр Петрович, я замечу, что вы уже давно обещали мне нечто — помните?.. Точно так же и вы, Красавин, говорили, что вам удалось познакомиться с человеком, который может провести вас к террористам, — ну, что же?..

— Жулик он, человек-то! Да вы подождите, я свое дело сделаю!.. — спокойно отозвался Красавин.

— Не сомневаюсь, но прошу всех вас понять, что мы должны работать энергичнее. Надо торопиться!

Говорил он долго, иногда целый час, не отдыхая, спокойно, одним и тем же голосом и только слова — должен, должны — произносил как-то особенно, в два удара: сперва звонко выкрикивал: — «долл...» — и, шипящим голосом оканчивая: — «жженн», — обводил всех синими лучами стеклянного взгляда. Это слово хватало Евсея за горло и душило.

А шпионы, после беседы, говорили друг с другом:

— Крещеный жид, а поди-ка ты...

— Ему с Нового года еще прибавили шестьсот рублей...

Иногда вместо Филиппа с шпионами беседовал красивый, богато одетый господин Леонтьев. Он не сидел, а расхаживал по комнате, держа руки в карманах, вежливо сторонился от всех, его гладкое лицо было холодно и брезгливо, тонкие губы двигались неохотно, он всегда хмурился, и глаз его не было видно. Приезжал из Петербурга господин Ясногурский, широкоплечий, низенький, лысый, с орденом на груди. У него был огромный рот, дряблое лицо, тяжелые глаза, точно два маленькие камня, и длинные руки. Говоря, он громко чмокал губами, щедро сыпал крепкие похабные ругательства, и Евсею особенно глубоко запомнилась одна его фраза:

— Они говорят народу: ты можешь устроить для себя другую, легкую жизнь. Врут они, дети мои! Жизнь строит государь император и святая наша церковь, а люди ничего не могут изменить, ничего!..

Все говорили об одном — нужно служить усерднее, нужно быть ловчее, потому что революционеры становятся

все более сильны. Иногда рассказывали о царях, о том, как они умны и добры, как боятся и ненавидят их иностранцы за то, что русские цари всегда освобождали разные народы из иностранного плена — освободили болгар и сербов из-под власти турецкого султана, хивинцев, бухар и туркмен из-под руки персидского шаха, маньчжуров от китайского царя. А немцы, англичане и японцы недовольны этим, они хотели бы забрать освобожденные Россией народы в свою власть, но знают, что царь не позволит им сделать это, — вот почему они ненавидят царя и, желая ему всякого зла, стараются устроить в России революцию.

Евсей, слушая эти речи, ждал, когда будут говорить о русском народе и объяснят: почему все люди неприятны и жестоки, любят мучить друг друга, живут такой беспокойной, неуютной жизнью, и отчего такая нищета, страх везде и всюду злые стоны? Но об этом никто не говорил.

После одной из бесед Веков сказал Евсею, идя с ним по улице:

— Значит — входят они в силу, слышал ты?.. Невозможно понять — что такое? Тайные люди, живут негласно — и вдруг начинают всё тревожить, — так сказать — всю жизнь раскачивают. Трудно сообразить — откуда же сила?

Мельников, теперь еще более угрюмый и молчаливый, похудевший и растрепанный, однажды ударил кулаком по колену и зарычал:

— Желаю знать — где правда?

— Что такое? — сердито спросил Маклаков.

— Что? Вот что — я так понимаю — одно начальство ослабело, наше начальство. Теперь поднимается на народ другое. Больше ничего!..

— И вышел вздор! — сказал Маклаков, смеясь.

Мельников посмотрел на него и вздохнул.

— Не ври, Тимофей Васильевич... Врешь ты... Умный, а врешь.

Речи о революционерах западали в голову Климова, создавая там тонкий слой новой почвы для роста мыслей; эти мысли беспокоили, куда-то тихо увлекали...

Идя в гости к Маше, он вдруг сообразил:

«Познакомлюсь со столяром сегодня... Революционер...»

Он пришел первым, подарил Маше голубые бусы, Анфисе роговую гребенку; они, довольные подарками, наперебой угощали его чаем и наливкой. Маша, красиво выгибая полную белую шею, заглядывала в лицо ему с доброй улыбкой, и глаза ее мягко ласкали его сердце. Анфиса, разливая чай, спрашивала:

— Ну, купец наш тороватый, когда же мы на твоей свадьбе гулять будем?

Евсей конфузился и, стараясь не показывать этого, доверчиво рассказывал:

— Жениться я не решусь, — это очень трудно...

— Трудно? Ах ты, скромница... Марья, слышишь? Трудно, говорит, жениться-то...

Маша улыбалась в ответ на громкий смех кухарки, искоса поглядывая на Климова.

— Может, они трудность по-своему понимают...

— Я — по-своему!.. — сказал Евсей, поднимая голову. — Я, видите ли, насчет того, что человека найти трудно, — чтобы жить душа в душу и друг друга не бояться. Чтобы верить человеку...

Маша села рядом с ним, он покосился на ее шею, грудь, вздохнул...

«А если сказать им — где я служу?..»

Испуганный этим желанием, он быстрым усилием задал его и, повысив голос, торопливо продолжал:

— Если человек не понимает жизнь, то лучше пусть он один остается...

— Одному — очень трудно! — сказала Маша и налила ему рюмку наливки. — Выкушайте!

Евсею хотелось говорить много и открыто, он видел, что его слушают охотно, и это, вместе с двумя рюмками вина, возбуждало его. Но пришла горничная журналиста, Лиза, тоже возбужденная, и сразу овладела вниманием Анфисы и Маши. Косая на левый глаз, бойкая, красиво причесанная и ловко одетая, она казалась хорошенькой и бесстыдной.

— Мои идола созвали гостей на сегодня и не хотят меня отпускать! — говорила она, усаживаясь. — Ну, нет, говорю, уж как вам угодно...

— Много гостей? — скучно спросил Климков, вспоминая свои обязанности.

— Много-ого! Да ведь это какие гости? Никогда никто гривенника в руку не сунет. Даже в Новый год и то два рубля тридцать копеек собрала я на чай с них...

— Небогатые, значит? — спрашивал Евсей.

— Ну, какое богатство? Ни у кого галош крепких нету...

— Кто же они, служащие?

— Разные. Иной в газете пишет, другой просто студент, — ах, какой один хорошенький есть! Чернобровый, кудрявый, с усиками, зубы белые, ровные, веселый-развеселый. Недавно приехал из Сибири, все про охоту рассказывает...

Евсей взглянул на Лизу и опустил голову; хотелось сказать ей:

«Перестаньте!..»

Но вместо этого он тихо спросил:

— Сослан был?

— Кто его знает! Мои господа тоже были ссыльные.

— Кого теперь не ссылают! — воскликнула кухарка. — Жила я у Попова, инженера; богатый человек, свой дом имел, лошадей, жениться собирался, — вдруг пришли ночью жандармы — цап!.. И заслали его в Сибирь...

— Я господ своих не осуждаю! — перебила ее Лиза. — Нисколько. Они хорошие люди, не ругаются, не жадные... И всё они знают, обо всем говорят...

Евсей беспомощно посмотрел на румяное лицо Маши и подумал:

«Молчала бы, дура...»

— И у нас господа тоже всё понимают! — заявила Маша с гордостью.

— Когда случилось это — бунт в Петербурге, — оживленно начала Лиза, — так у нас все ночи напролет говорили...

— Ведь и наши были у вас! — снова заметила кормилица.

— Были, были! Много народу было! И говорили они, и писали жалобы, а один даже заплакал, ей-богу!

— Заплачешь! — сказала кухарка, вздыхая.

— Схватил себя за голову и рыдает — несчастная, говорит, Россия! Воды ему давали. Даже мне жалко его, тоже заплакала...

Маша испуганно оглянулась.

— Господи, — как вспомню я сестрицу...

Встала и ушла в комнату кухарки. Женщины сочувственно посмотрели вслед ей, а Климов облегченно вздохнул и против своего желания спросил Лизу, скучно и с натугой:

— Кому же они жалобы писали?

— Уж не знаю! — ответила Лиза.

— А Марья плакать пошла! — заметила кухарка.

Дверь отворилась, и, покашливая, вошел брат кухарки.

— Холодновато! — сказал он, снимая с шеи красный шарф.

— А вот, выпей скорее...

— Следует! Здравствуй и поздравляю.

Тонкий, он двигался свободно, не торопясь, а в голосе у него звучало что-то важное, не сливавшееся с его светлой бородкой и острым черепом. Лицо у него было маленькое, худое, скромное, глаза большие, карие.

«Революционер!» — напомнил себе Евсей, молча пожимая руку столяра. И заявил: — Мне пора идти...

— Куда? — вскричала кухарка, схватив его за руку. — Ты, купец, не ломай компании...

Зимин взглянул на Евсея и задумчиво сказал:

— Вчера у нас на фабрике еще заказ взяли. Гостиную, кабинет, спальню. Всё — военные заказывают. Наворовали денег и хотят жить в новом стиле...

«Ну, вот! — с досадой воскликнул мысленно Евсей. — Сразу начал, — ах, господи!»

Не представляя, к чему поведет его вопрос, он спросил столяра:

— А у вас на фабрике революционеры есть?

Точно уколотый, Зимин быстро повернулся к нему и посмотрел в глаза. Кухарка нахмурилась и сказала негромко и недовольно:

— Говорят, они везде теперь есть...

— От ума это или от глупости? — спросила Лиза.

Не выдержав тяжелый и пытливый взгляд столяра, Климов медленно опустил голову. Вежливо, но строго Зимин осведомился:

— Вас почему это интересует?

— Я — без интереса! — вяло ответил Евсей.

— Зачем же вы спрашиваете?

— Так! — сказал Евсей, а через несколько секунд прибавил: — Из вежливости...

Столяр улыбнулся.

Евсею казалось, что три пары глаз смотрят на него подозрительно и сурово. Было неловко, и что-то горькое щипало в горле. Вышла Маша, виновато улыбаясь, оглянула всех, и улыбка исчезла с ее лица.

— Что это вы?

«Это — от вина!» — мелькнуло в голове Евсея. Он встал на ноги, покачнулся и заговорил:

— Я спросил потому, что давно хотел сказать вашей сестре про вас...

Зимин тоже встал, лицо его сморщилось, пожелтело, он спокойно спросил:

— Что — сказать про меня?

До слуха Евсея дошел тихий шопот Маши:

— Из-за чего они?

— Я знаю, — говорил Евсей, и ему казалось, что он поднялся с пола на воздух, качается в нем, легкий, как перо, и все видит, все замечает с удивительной ясностью, — что за вами следит агент охранного отделения...

Кухарка покачнулась на стуле, изумленно и испуганно воскликнув:

— Ма-атвей?..

— Позволь! — сказал Зимин, успокоительно проведя рукой перед ее лицом.

Потом он решительно и строго приказал:

— Вот что, молодой человек, — вам надо идти домой! И мне. Одевайтесь...

Евсей улыбался. Он все еще чувствовал себя пустым и легким, это было приятно. Он плохо помнил, как ушел, но не забыл, что все молчали и никто не сказал ему — прощай...

На улице Зимин толкал его плечом в плечо и говорил негромко, отчетливым голосом:

— Прошу вас к сестре моей больше не ходить...

— Разве я вас обидел? — спросил Евсей.

— Вы кто такой?

— Я торгую...

— А откуда вам известно, что следят за мной?

— Знакомый сказал...

— Шпион?

— Да...

— А вы тоже шпион?

— Нет, — сказал Евсей.

Но, взглянув в лицо Зимина, бледное и худое, вспомнил глуховатый спокойный звук его голоса и без усилия поправился:

— Тоже...

Несколько шагов молчали.

— Ну, идите! — сказал Зимин, вдруг останавливаясь. Голос его прозвучал негромко, он странно потряс головой.

— Ступайте...

Евсей прислонился спиной к забору и смотрел на столяра, мигая глазами. Зимин тоже рассматривал его, покачивая правую руку.

— Ведь вот, — недоуменно сказал Евсей, — вам сказал правду, что за вами следят...

— Ну?

— А вы сердитесь...

Столяр наклонился к нему и облил Климова волною шипящих слов.

— Да чорт с вами, — я и без вас знаю, что следят, ну? Что, — дела плохо идут? Думал меня подкупить да из-за моей спины предавать людей? Эх ты, подлец!.. Или хотел совести своей милостыню подать? Иди ты к чорту, иди, а то в рожу дам!

Евсей отвалился от забора и пошел.

— Га-адина! — услышал он сзади себя брезгливый вздох.

Климов повернулся и первый раз в жизни обругал человека во всю силу своего голоса.

— Сам гадина! Сукин сын...

Столяр не ответил, и шагов его не было слышно. Где-то ехал извозчик, под полозьями саней взвизгивал снег, скрежетали камни.

«Назад пошел туда», — соображал Климов, медленно шагая по тротуару.

Он сплюнул, потом тихонько запел:

Уж ты сад ли мой сад...

И снова остановился у фонаря, чувствуя, что надо утешить себя.

«Вот я иду и могу петь... Услышит городской — ты чего орешь? Сейчас я ему покажу мой билет... Извините, скажет. А запоеет столяр — его отправят в участок. Не нарушай тишины...»

Климов усмехнулся, глядя в темноту.

«Да, брат? Ты — не запоешь...»

Это не успокоило, на сердце было печально, горькая, мыльная слюна оклеивала рот, вызывая слезы на глазах.

Уж ты са-ад ли мой са-ад,
Да сад зеленый мо-ой...

— запел он всей грудью, а глаза крепко закрыл. Но и это не помогло, — сухие, колющие слезы пробивались сквозь веки и холодили кожу щек.

— Из-возчик! — низким голосом крикнул Климов, все еще бодрясь. Но когда он сел в сани, в нем как будто сразу лопнуло множество туго натянутых жилок, голова опустилась, и, качаясь в санях, он забормотал:

— Хорошо обидели, — очень крепко!.. Спасибо! Э-эх, добрые люди, умные люди...

Эта жалоба была приятна, она насыщала сердце охмеляющей сладостью, которую Евсей часто испытывал в детстве, — она ставила его против людей в мученическую позу и делала более заметным для себя самого.

XV

Утром, лежа в постели, он, нахмурившись, смотрел в потолок и, вспоминая происшедшее, уныло думал:

«Нет, надо не за людьми, а за собой следить...»

Мысль показалась ему странной.

«Разве я злодей сам себе?»

Начал лениво одеваться, заставляя себя думать о задаче дня, — он должен был идти в фабричную слободу.

Светило солнце, с крыш говорливо текла вода, смывая грязный снег, люди шагали быстро и весело. В теплом воздухе протяжно плавал добрый звон великопостных колоколов, широкие ленты мягких звуков поднимались и улетали из города в бледноглубые дали...

«Теперь идти бы куда-нибудь, — полями, пустынями!» — думал Евсей, входя в тесные улицы фабричной слободки. Вокруг него стояли красноватые, чумазные стены, небо над ними выпачкано дымом, воздух насыщен запахом теплого масла. Все вокруг было неласково, глаза уставали смотреть на прокопченные каменные клетки для работы.

Климков зашел в трактир, сел за столик у окна, спросил себе чаю и начал прислушиваться к говору людей. Их было немного, всё рабочие, они ели и пили, лениво перебрасываясь краткими словами, и только откуда-то из угла долетал молодой, неугомонный голос:

— Ты подумай — откуда богатство?

Евсей с досадой отвернулся. Он нередко слышал речи о богатстве и всегда испытывал при этом скучное недоумение, чувствуя в этих речах только зависть и жадность. Он знал, что именно такие речи считаются вредными.

— Работаешь ты — дешево, а покупаешь товар — дорого, верно ли? Всякое богатство накоплено из денег, которые нам за работу нашу недоплачены. Давай, возьмем пример...

«Жадные все!» — думал Евсей.

Насыщая себя приятной горечью порицания людей, он уже ничего не слушал, не видел. Вдруг над ухом его раздался веселый голос:

— Климков, что ли?

Он быстро скинул голову, перед ним стоял кудрявый парень, — кто это?

— Не узнаешь? А — Якова помнишь? Двоюродные братья мы...

Парень засмеялся и сел за стол. Его смех окутал Климкова теплым облаком воспоминаний о церкви и тихом

овраге, о пожаре и речах кузнеца. Молча, смущенно улыбаясь, он осторожно пожал руку брата.

— Не узнал я...

— Понятно! — воскликнул Яков. — А я тебя — сразу! Ты — как был, так и остался... чего делаешь?

Климков отвечал осторожно — нужно было понять, чем опасна для него эта встреча? Но Яков говорил за двоих, рассказывая о деревне так поспешно, точно ему необходимо было как можно скорее покончить с нею. В две минуты он сообщил, что отец ослеп, мать все хворает, а он сам уже три года живет в городе, работая на фабрике.

— Вот и вся жизнь.

Яков был как-то особенно густо и щеголевато испачкан сажей, говорил громко, и, хотя одежда у него была рваная, казалось, что он богат. Климков смотрел на него с удовольствием, беззлобно вспоминал, как этот крепкий парень бил его, и в то же время боязливо спрашивал себя: «Революционер?»

— Ну, как живется?

— А тебе — как?

— Работать — трудно, жить — легко! Так много работы — жить время нет!.. Для хозяина — весь день, вся жизнь, а для себя — минуты! Книжку почитать некогда, в театр пошел бы, а — когда спать? Ты книжки читаешь?

— Я? Нет...

— Ну да, — нет времени! Хотя я все-таки успеваю. Тут такие есть книжки — возьмешь ее и весь замрешь, словно с милой любовницей обнимаешься, право... Ты насчет девиц — как? Счастливый?

— Ничего! — сказал Евсей.

— Меня — любят! Девицы здесь тоже, — ах ты! В театр ходишь?

— Бывал...

— Я это люблю! Я все хватаю, будто мне завтра умирать надо! Зоологический сад — вот тоже прекрасно где!

Сквозь слой грязи на щеках Якова выступала краска возбуждения, глаза у него горели, он прищмокивал губами, точно всасывая что-то живительное, освежающее. У Евсея шевелилась зависть к этому здоровому, жадному телу. Он упорно начал напоминать себе о том, как Яков колотил его крепкими кулаками по бокам. Но радостная

речь звучала не умолкая, вокруг Евсея носились, точно ласточки — звеня, ликующие слова и возгласы.

Он с невольной улыбкой слушал и чувствовал, что раскалывается надвое, хотелось слушать, и было неловко, почти совестно. Он вертел головой и вдруг увидел за окном лицо Грохотова. На левом плече шпиона и на руке у него висели рваные брюки, грязные рубахи, пиджаки. Незаметно подмигнув Климову, он прокричал кислым голосом:

— Старое платье продаю-покупаю...

— Мне пора! — сказал Евсей, вскакивая на ноги.

— Ты в воскресенье свободен? Приходи ко мне... нет, лучше я к тебе — это где?

Евсей молчал, ему не хотелось указать свою квартиру.

— Ты что? С барышней живешь? Эка важность! По-знакомь, вот и все, чего стыдишься? Верно ли?

— Я, видишь ли, живу не один...

— Ну, да...

— Только я не с барышней, а — со стариком.

Яков расхохотался.

— Экий ты нескладный! Чорт знает как говоришь! Ну, старика нам не надо, конечно. А я живу с двумя товарищами, ко мне тоже неудобно заходить. Давай, уговоримся, где встретиться...

Уговорились, вышли из трактира, и, когда Яков, прощаясь, ласково и сильно пожал руку Климова, Евсей пошел прочь от него так быстро, как будто ждал, что брат всрочится и отнимет это крепкое рукопожатие. Шел он и уныло соображал:

«Здесь самое клёвое место, здесь, говорят, больше всего революционеров — Яков будет мешать...»

По душе у него прошло серую тенью злое раздражение.

— Старое платье продаю! — пропел Грохотов сзади него и зашептал: — Покупай рубашку, Климов!

Евсей обернулся, взял в руки какую-то тряпку и начал молча рассматривать ее, а шпион, громко расхваливая товар, шопотом говорил:

— Гляди, — ты попал в точку! Кудрявый — я к нему присмотрелся — социалист! Держись за него, с ним можно

много зацепить. — И, вырвав из рук Евсея тряпку, обиженным голосом закричал: — Пять копеек? За такую вещь? Смеешься, друг, напрасно обижаешь... Иди своей дорогой, иди! — И, покрикивая, зашагал через улицу.

«Вот, теперь я сам буду под надзором!» — подумал Евсей, глядя в спину Грохотова.

Когда малоопытный шпион знакомился с рабочими, он был обязан немедленно донести об этом своему руководителю, а тот или давал ему более опытного в сыске товарища, или сам являлся к рабочим, и тогда завистливо говорилось:

«Захлестнулся в провокацию».

Такая роль считалась опасной, но за предательство целой группы людей сразу начальство давало денежные награды, и все шпионы не только охотно «захлестывались», но даже иногда старались перебить друг у друга счастливый случай и нередко портили дело, подставляя друг другу ножку. Не раз бывало так, что шпион уже присосался к кружку рабочих, и вдруг они каким-то таинственным путем узнавали о его профессии и били его, если он не успевал во-время выскользнуть из кружка. Это называлось — «передернуть петлю».

Климкову было трудно поверить, что Яков социалист, и в то же время ему хотелось верить в это. Разбуженная братом зависть перерождалась в раздражение против Якова за то, что он встал на дороге. И вспоминались его побои.

Вечером он сообщил Петру о своем знакомстве.

— Ну, и что же? — сердито спросил Петр. — Не знаешь, что надо делать? На какой же чорт вашего брата учат?

Он убежал куда-то, встрепанный, худой, с темными пятнами под глазами.

«Видно, опять в карты проигрался!» — скучно подумал Климков.

На другой день об успехе Евсея узнал Саша, подробно расспросил его, в чем дело, подумал и, гнило улыбаясь, начал учить:

— Погодя немного, ты осторожно скажешь им, что поступил конторщиком в типографию, — слышишь? Они спросят — не можешь ли ты достать шрифта? Скажи —

могу, но уме́й сказать это просто, так, чтобы люди видели, что для тебя все равно: достать — не достать... Зачем — не спрашивай! Веди себя дурачком, каков ты есть. Если ты это дело провалишь — тебе будет скверно... После каждого свидания — докладывай мне, что слышал...

Евсей чувствовал себя перед Сашей маленькой собачкой на веревке, смотрел на его прыщеватое, желтое лицо и, ни о чем не думая, ждал, когда Саша выпустит его из облака противных запахов, — от них тошнило.

Он пошел на свидание с Яковом пустой, как труба, но когда увидел брата с папиросой в зубах, в шапке набекрень, — дружески улыбнулся ему.

— Как дела? — весело крикнул Яков.

— Нашел работу, — ответил Евсей и тотчас подумал: «Это я сказал прежде времени...»

— Где?

— В типографии, конторщиком...

Яков громко свистнул.

— В типографии?.. — Хочешь — в гости сведу? Хорошая компания, две девицы — одна модистка, другая шпульница. Слесарь один, молодой парень, гитарист. Потом еще двое — тоже народ хороший...

Он говорил быстро, глаза его радостно улыбались всему, что видели. Остановливаясь перед окнами магазинов, смотрел взглядом человека, которому все вещи приятны, все интересно, — указывал Евсею на оружие и с восторгом говорил:

— Революеры-то? Словно игрушки...

Подчиняясь его настроению, Евсей обнимал вещи расплывчатым взглядом и улыбался удивленно, как будто впервые он видел красивое, манящее обилие ярких материй, пестрых книг, ослепительную путаницу блеска красок и металлов. Ему нравилось слушать голос Якова, была приятна торопливая речь, насыщенная радостью, она так легко проникала в темный пустырь души.

— Веселый ты! — одобрительно сказал он.

— Очень! Плясать научился у казаков — у нас на фабрике два десятка казаков стоят. Слыхал ты, у нас бунтовать хотели? Как же, в газетах про нас писали...

— Зачем же бунтовать? — спросил Евсей, задетый простотой, с которою Яков говорил о бунте.

— Как — зачем? Обижают нас, рабочих... Что же нам делать?..

— А казаки что?

— Ничего! Сначала думали, что они нам — начальство, а потом говорят: «Товарищи, давайте листочков...»

Яков вдруг оборвал речь, взглянул в лицо Евсея, нахмурил брови и с минуту шел молча. А Евсею листочки напомнили его долг, он болезненно сморщился и, желая что-то оттолкнуть от себя и от брата, тихо проговорил:

— Читал я эти листочки...

— Ну? — спросил Яков, замедляя шаг.

— Непонятно мне...

— А ты почитай еще.

— Не хочу...

— Неинтересно?

— Да...

Несколько времени шли молча. Яков задумчиво насвистывал, мельком поглядывая в лицо брата.

— Нет, листочки эти — дорогое дело, и читать их нужно всем пленникам труда, — задушевно и негромко начал он. — Мы, брат, пленники, приковали нас к работе на всю жизнь, сделали рабами капиталистов, — верно ли? А листочки эти освобождают человеческий наш разум...

Климков пошел быстрее, ему не хотелось слушать гладкую речь Якова, у него даже мелькнуло желание сказать брату:

«Об этом ты не говори со мной, пожалуйста...»

Но Яков сам прервал свою речь:

— Вот он, Зоологический...

Выпили в буфете бутылку пива, слушали игру военного оркестра, Яков толкал Евсея в бок локтем и спрашивал его:

— Хорошо?

А когда оркестр кончил играть, Яков вздохнул и заметил:

— Это Фауста играли, оперу. Я ее три раза видел в театре — красиво, очень! История-то глупая, а музыка — хороша! Пойдем обезьян смотреть...

По пути к обезьянам он интересно рассказал Евсею историю Фауста и чорта, пробовал даже что-то петь, но это ему не удалось, — он расхохотался.

Музыка, рассказ о театре, смех и говор празднично одетой толпы людей, весеннее небо, пропитанное солнцем, — опьяняло Климова. Он смотрел на Якова, с удивлением думая:

«Какой смелый! И все знает, а — одних лет со мной...»

Климову начинало казаться, что брат торопливо открывает перед ним ряд маленьких дверей и за каждой из них все более приятного шума и света. Он оглядывался вокруг, всасывая новые впечатления, и порою тревожно расширял глаза — ему казалось, что в толпе мелькнуло знакомое лицо товарища по службе.

Стояли перед клеткой обезьян, Яков с доброй улыбкой в глазах говорил:

— Ты смотри — ну, чем не люди? Верно ли? Глаза, морды — какое все умное, а?..

Он вдруг замолчал, прислушался и сказал:

— Стой, это наши! — исчез и через минуту подвел к Евсею барышню и молодого человека в поддевке, радостно восклицая:

— А сказали — не пойдете? Обманщики!.. Это мой двоюродный брат Евсей Климов, я говорил про него. А это — Оля, — Ольга Константиновна. Его зовут Алексей Степанович Макаров.

Опустив голову, Климов неловко и молча пожимал руки новых знакомых и думал:

«Захлестывает меня. Лучше — уйти мне...»

Но уходить не хотелось, он снова оглянулся, побуждаемый боязнью увидеть кого-нибудь из товарищей-шпионов. Никого не было.

— Он не очень развязный, — говорил Яков барышне. — Не пара мне, грешному!

— Нас стесняться не надо, мы люди простые! — сказала Ольга. Она была выше Евсея на голову, светлые волосы, зачесанные кверху, еще увеличивали ее рост. На бледном, овальном лице спокойно улыбались серовато-голубые глаза.

У человека в поддевке лицо доброе, глаза ласковые, двигался он медленно и как-то особенно беспечно качал на ходу свое, видимо, сильное тело.

— Долго мы будем плутать, как нераскаянные грешники? — мягким басом спросил он.

— Посидеть где-нибудь, что ли...

Ольга, наклонив голову, заглядывала в лицо Климкова.

— Вы бывали здесь раньше?

— Первый раз...

Он шел рядом с нею, стараясь зачем-то поднимать ноги выше, от этого ему было неловко идти. Сели за столик, спросили пива, Яков балагурил, а Макаров, тихонько по-свистывая, рассматривал публику прищуренными глазами.

— У вас товарищ есть? — спросила Ольга.

— Нет, — никого нет...

— Мне так сразу и показалось, что вы одинокий! — сказала она, улыбаясь.

— Глядите — сыщик! — тихо воскликнул Макаров.

Евсей вскочил на ноги, снова быстро сел, взглянул на Ольгу, желая понять, заметила ли она его невольное испуганное движение? Не понял. Она молча и внимательно рассматривала темную фигуру Мельникова; как бы с трудом сыщик шел по дорожке мимо столов и, согнув шею, смотрел в землю, а руки его висели вдоль тела, точно вывихнутые.

— Идет, как Иуда на осину! — негромко сказал Яков.

— Должно быть — пьяный! — заметил Макаров.

«Нет, он всегда такой», — едва не сказал Евсей и завожился на стуле.

Мельников, точно черный камень, двинулся в толпу людей, и она скрыла его в своем пестром потоке.

— Заметили, как он шел? — спросила Ольга.

Евсей поднял голову, внимательно и с ожиданием взглянул на нее...

— Я думаю, что слабого человека одиночество на все может толкнуть...

— Да, — шопотом сказал Климков, что-то понимая, и, благодарно взглянув в лицо девушки, повторил громче: — Да!

— Я его знал года четыре тому назад! — рассказывал Макаров. Теперь лицо у него как будто вдруг удлинилось, высохло, стали заметны кости, глаза раскрылись и, темные, твердо смотрели вдаль. — Он выдал одного

студента, который книжки нам давал читать, и рабочего Тихонова. Студента сослали, а Тихонов просидел около года в тюрьме и помер от тифа...

— А вы разве боитесь шпионов? — вдруг спросила Ольга Климкова.

— Почему? — глухо отозвался он.

— Вы вздрогнули, когда увидели его...

Евсей, крепко потирая горло и не глядя на нее, ответил:

— Это — так, — я его тоже знаю...

— Ага-а! — протянул Макаров, усмехаясь.

— Тихонький! — воскликнул Яков, подмигивая.

Климков, не понимая их восклицаний, ласковых взглядов, — молчал, боясь, что помимо своей воли скажет слова, которые разрушат тревожный, но приятный полусон этих минут.

Тихо и ласково подходил свежий весенний вечер, смягчая звуки и краски, в небе пылала заря, задумчиво и негромко пели медные трубы...

— Вот что, — сказал Макаров, — останемся здесь или пойдем домой?

Решили идти домой. Дорогой Ольга спросила Климкова:

— А вы сидели в тюрьме?

— Да, — ответил он, но через секунду прибавил: — Недолго...

Сели в вагон трамвая, потом Евсей очутился в маленькой комнате, оклеенной голубыми обоями, — в ней было тесно, душно и то весело, то грустно. Макаров играл на гитаре, пел какие-то неслыханные песни, Яков смело говорил обо всем на свете, смеялся над богатыми, ругал начальство, потом стал плясать, наполнил всю комнату топотом ног, визгом и свистом. Звенела гитара, Макаров поощрял Якова прибаутками и криками:

— Эх, кто умеет веселиться, того горе боится!

А Ольга смотрела на все спокойно и порою спрашивала Климкова, улыбаясь:

— Хорошо?

Опьяненный тихой, неведомой ему радостью, Климков тоже улыбался в ответ. Он забыл о себе, лишь изредка, секундами, ощущал внутри назойливые уколы, но раньше,

чем сознание успевало претворить их в мысль, они исчезали, ничего не напоминая.

И только дома он вспомнил о том, что обязан предать этих веселых людей в руки жандармов, вспомнил и, охваченный холодной тоской, бессмысленно остановился среди комнаты. Стало трудно дышать, он облизал губы сухим языком, торопливо сбросил с себя платье, остался в белье, подошел к окну, сел. Прошло несколько минут оцепенения, он подумал:

«Я скажу им, — этой скажу, Ольге...»

Но тотчас же ему вспомнился злой и брезгливый крик столяра:

«Гадина...»

Климков отрицательно покачал головой.

«Напишу ей: «Берегитесь...» И про себя напишу...»

Эта мысль обрадовала его, но в следующую секунду он сообразил:

«При обыске найдут мое письмо, узнают почерк, — пропал я тогда...»

Почти до рассвета он сидел у окна; ему казалось, что его тело морщится и стягивается внутрь, точно резиновый мяч, из которого выходит воздух. Внутри неотвязно сосала сердце тоска, извне давила тьма, полная каких-то подстерегающих лиц, и среди них, точно красный шар, стояло зловещее лицо Саши. Климков сжимался, гнулся. Наконец осторожно встал, подошел к постели и бесшумно спрятался под одеяло.

XVI

А жизнь, точно застоявшаяся лошадь, вдруг пошла странными прыжками, не поддаваясь усилию людей, желавших управлять ею так же бессмысленно и жестоко, как они правили раньше. Каждый вечер в охранном отделении тревожно говорили о новых признаках общего возбуждения людей, о тайном союзе крестьян, которые решились отнять у помещиков землю, о собраниях рабочих, открыто начинавших порицать правительство, о силе революционеров, которая явно росла с каждым днем. Филипп Филиппович, не умолкая, царапал агентов охраны своим тонким голосом, раздражающим уши, осыпал всех

М. Горький.

Жизнь ненужного человека.

Коллективный

...Когда Евсей Кривоу было четыре года - отца его застрелили полёсовщики, а когда ему минуло семь лет - умерла мать. Она умерла вдруг в поле, во время жатвы и это было так странно, что Евсей даже не испугался, когда увидел ее мертвой.

Дядя Петръ, кузнецъ, положивъ руку на голову мальчика сказалъ:

-Что будешь дѣлать?

Евсей

~~молчалъ~~ покосился въ уголь, гдѣ на лавкѣ молча лежала мать и тихонько отвѣтилъ:

-Я не знаю...

Кузнецъ вытеръ рукавомъ рубахи потъ съ лица, долго молчалъ, а потомъ тихонько оттолкнулъ племянника.

-Жить - у меня будешь. Въ училищѣ что-ли отдать тебя, чтобы не мѣшалъ ты? Эхъ, старичекъ...

Съ того дня мальчика стали звать Старикомъ. Это шло къ нему: ростомъ онъ былъ не по годамъ малъ, двигался ~~мало~~ вяло, говорилъ тонкимъ голосомъ. На его костлявомъ лицѣ уныло торчалъ маленькій птичій носъ, пугливо мигали круглые, безщипные глаза, рѣдкіе желтые волосы росли вихрами, въ немъ, ~~старичекъ~~ было что-то хилое, сморщенное. Работники въ школѣ смѣлись надъ нимъ и колотили его - скучный старческий видъ и свиное лицо почему-то раздражало наивболѣе здоровыхъ и бойкихъ дѣтей. Онъ сторонился отъ нихъ и жилъ молча, одиноко, всегда гдѣ-то въ тѣни, въ уголкахъ и ямкахъ. Круглыми глазами не мигая онъ смотрѣлъ оттуда на людей, незамѣтный, опасливо съежившійся. Когда-же глаза уста

Книга Заказовъ
- № 1031
19... г.

Первая страница машинописного текста повести
„Жизнь ненужного человека“ (ранняя редакция 1908 г.)

упреками в бездеятельности, Ясногурский печально чмокал губами и просил, прижимая руки к своей груди:

— Дети мои! Помните — за царем служба не пропадает!

Но когда Красавин сумрачно спросил его: «Что же надо делать?» — он замахал руками, странно разинув глубокий черный рот, долго не мог ничего сказать, а потом крикнул:

— Ловите их!

Евсей слышал, как изящный Леонтьев, сухо покашливая, говорил Саше:

— Очевидно, наши приемы борьбы с крамолой не годятся в эти дни общего безумия...

— Да-с, плевком пожара не погасишь! — ответил Саша шипящими звуками, а лицо его искаженно улыбалось.

Все жаловались, сердились, кричали; Саша таскал свои длинные ноги и насмешливо восклицал, издеваясь:

— Что-о? Одолевают вас революционеры?

Шпионы метались день и ночь, каждый вечер приносили в охрану длинные рапорты о своих наблюдениях и сумрачно говорили друг другу:

— Разве теперь так нужно?

— Расчешут нам кудри! — сказал Петр, ломая пальцы так, что они хрустели.

— За штат отчислят, коли живы останемся, — уныло вторил ему Соловьев. — Хоть бы пенсию дали, — не дадут?..

— Петлю на шею, а не пенсию! — угрюмо сказал Мельников.

Люди, которые еще недавно были в глазах Евсея страшны, представлялись ему неодолимо сильными, теперь метались по улицам города, точно прошлогодние сухие листья.

Он с удивлением видел других людей: простые и доверчивые, они смело шли куда-то, весело шагая через все препятствия на пути своем. Он сравнивал их со шпионами, которые устало и скрытно ползали по улицам и домам, выслеживая этих людей, чтобы спрятать их в тюрьму, и ясно видел, что шпионы не верят в свое дело.

Ему нравилась Ольга, ее живая, крепкая жалость к людям, нравился шумный, немного хвастливый говорун Яков, беспечный Алексей, готовый отдать свой грош и последнюю рубашку первому, кто попросит.

Наблюдая распад силы, которой он покорно служил до этих дней, Евсей начал искать для себя тропу, которая позволила бы ему обойти необходимость предательства. Рассуждал он так:

«Если я буду ходить к ним, — не сумею не выдать их. Передать их другому — еще хуже. Надо сказать им. Теперь они становятся сильнее, с ними мне лучше будет...»

И, повинуясь влечению к новым для него людям, он все чаще посещал Якова, более настойчиво искал встреч с Ольгой, а после каждого свидания с ними — тихим голосом, подробно докладывал Саше о том, что они говорили, что думают делать. И ему было приятно говорить о них, он повторял их речи с тайным удовольствием.

— Э, размазня! — гнусил Саша, сердито и насмешливо окидывая Климова тусклыми глазами. — Ты их сам толкай вперед. Ты сказал им, что можешь достать шрифт? Тебя спрашивают, идиот!

— Нет еще, не сказал...

— Так чего же ты мямлишь? Завтра же предложи им!

Климову было легко исполнить приказание Саши, — Яков и Ольга уже спрашивали его, не может ли он достать шрифт, он ответил им неопределенно.

На другой день, вечером, идя к Ольге, он нес в груди темную пустоту, всегда, в моменты нервного напряжения, владевшую им. Решение исполнить задачу было вложено в него чужой волей, и ему не надо было думать о ней. Это решение расплозлось, разрослось внутри его и вытеснило все страхи, неудобства, симпатии.

Но когда в маленькой, скудно освещенной комнате перед ним встала высокая фигура Ольги, а на стене он увидал ее большую тень, которая тихо подвигалась встречу ему, — Климов оробел, смутился и молча встал в двери.

— Вы — что? Нездоровится? — говорила Ольга, пожимая его руку.

Прибавила огня в лампе и, наливая чай, продолжала:

— Очень плохой вид у вас...

Климкову захотелось скорее кончить дело.

— Вот что, — вы говорили, что шрифт нужен вам.

— Говорила! Я знаю, что вы его дадите.

Она сказала эти слова просто и точно ударила ими Евсей. Изумленный, он откинулся на спинку стула и глухо спросил:

— А почему знаете?..

— Вы тогда не сказали ни да, ни нет — значит, подумала я, он наверное даст...

Евсей не понял и, стараясь не встречаться взглядами с ее глазами, спросил снова:

— Почему же?

— Должно быть, потому, что считаю вас серьезным человеком, верю вам...

— Не надо верить! — сказал Евсей.

— Ну, полноте! Надо.

— А как ошибетесь?

Она пожала плечами.

— Не верить человеку, — заранее думать о нем, что он лгун, дурной, — разве это можно?

— Я могу дать шрифт, — сказал Евсей, вздохнув. Задача была кончена. Он сидел, наклонив голову, сжимая между колен крепко стиснутые руки, и прислушивался к словам девушки.

Ольга, облокотясь на стол, вполголоса говорила о том, когда и куда нужно принести обещанное им. Теперь, когда он исполнил долг службы, со дна его души стала медленно подниматься удушливая тошнота, мучительно просыпалось то враждебное ему чувство, которое все глубже делило его надвое.

— Замечаете вы, — тихо говорила девушка, — как быстро люди знакомятся? Все ищут друзей, находят их, все становятся доверчивее, смелее.

Ее слова точно улыбались. Не решаясь посмотреть в лицо Ольги, Климков следил за ее тенью на стене и рисовал на тени голубые глаза, небольшой рот с бледными губами, лицо, немного усталое, мягкое и доброе.

«Сказать ей теперь, что все это фокус, чтобы погубить ее?» — спрашивал он сам себя.

И отвечал:

«Выгонит. Обругает и выгонит».

— Вы Зими́на — столяра — не знаете? — вдруг спросил он.

— Нет. А что?

Евсей тяжело вздохнул.

— Так. Тоже — хороший человек.

«Если бы она знала столяра, — медленно соображал Климков, — я бы научил ее — пусть спросит его обо мне. Тогда бы...»

Ему показалось, что стул опускается под ним и тошнота сейчас хлынет в горло. Он откашлялся, осмотрел комнату, бедную, маленькую. В окно смотрела луна, круглая, точно лицо Якова, огонь лампы казался досадно лишним.

«Погашу свет, встану перед ней на колени, обниму ноги и все скажу. А она мне даст пинка?...»

Но это его не остановило. Он тяжело поднялся со стула, протянул руку к лампе, рука вяло опустилась, ноги вздрогнули, он покачнулся.

— Что вы? — спросила Ольга.

Желая ответить, Климков тихо завыл, встал на колени и начал хватать ее платье дрожащими руками. Она уперлась в лоб его горячей ладонью, другой рукой взяла за плечо, спрятала ноги под стул и строго заговорила:

— Нет, нет! А-ай, как это нехорошо... Я не могу... Ну, встаньте же!..

Теплота ее тела будила в нем чувственное желание, и толчки рук ее он воспринимал, как возбуждающие ласки...

«Не святая!» — мелькнуло у него в уме, и он начал обнимать колени девушки сильнее.

— Я говорю вам — встаньте! — крикнула она, уже не убеждая, а приказывая.

Он встал, не успев ничего сказать.

— Поймите, — бормотал он, разводя руками.

— Да, да, я понимаю... Боже мой! Всегда это на дороге! — воскликнула она и, посмотрев в лицо ему, сурово сказала: — Мне надоело это!

Она встала у окна, между нею и Евсеем стоял стол. Холодное недоумение обняло сердце Климкова, обидный стыд тихо жег его.

— Вы ко мне не ходите... Пожалуйста...

Евсей взял шапку, накинул на плечи пальто и, согнувшись, ушел.

Через несколько минут он сидел на лавке у ворот какого-то дома и бормотал, искусственно напрягаясь:

— Сволочь...

Припоминая позорные для женщины слова, он покрывал ими стройную высокую фигуру Ольги, желая испачкать грязью всю ее, затемнить с ног до головы. Но ругательства не приставали к ней, и хотя Евсей упорно будил в себе злость, но чувствовал только обиду.

Смотрел на круглый одинокий шар луны — она двигалась по небу толчками, точно прыгала, как большой светлый мяч, и он слышал тихий звук ее движения, подобный ударам сердца. Не любил он этот бледный, тоскующий шар, всегда в тяжелые минуты жизни как бы наблюдавший за ним с холодной настойчивостью. Было поздно, но город еще не спал, отовсюду неслись разные звуки.

«Раньше ночи были спокойнее», — подумал Климов, встал и пошел, не надевая пальто в рукава, сдвинув шапку на затылок.

«Ну, хорошо, — подожди! — думал он. — Выдам их и попрошу, чтобы меня перевели в другой город...»

В три приема он передал Макарову несколько пакетов шрифта, узнал о квартире, где будет устроена типография, и удостоился от Саши публичной похвалы:

— Молодчина! Получишь награду...

Евсей отнесся к его похвале равнодушно, а когда Саша ушел, ему бросилось в глаза острое, похудевшее лицо Маклакова — шпион, сидя в темном углу комнаты на диване, смотрел оттуда в лицо Евсея, покручивая свои усы. Во взгляде его было что-то задевшее Евсея, он отвернулся в сторону.

— Климов, поди сюда! — позвал шпион.

Климов подошел, сел рядом.

— Правда, что ты брата своего выдаешь? — спросил Маклаков негромко.

— Двоюродного...

— Не жалко?

— Нет...

И вспомнив слова, которые часто говорило начальство, Евсей тихо повторил их:

— У нас — как у солдат — нет ни матери, ни отца, ни братьев, только враги царя и отечества...

— Ну, конечно! — сказал Маклаков и усмехнулся.
По голосу и усмешке Климов чувствовал, что шпион издевается над ним. Он обиделся.
— Может быть, мне и жалко, но когда я должен служить честно и верно...
— Я ведь не спорю, чудак!
Потом он закурил папиросу и спросил Евсея:
— Ты что сидишь тут?
— Так, — делать нечего...
Маклаков хлопнул его по колену и сказал:
— Несчастный ты человечек!
Евсей встал.
— Тимофей Васильевич...
— Что?
— Скажите мне...
— Что сказать?
— Я не знаю...
— Ну, и я тоже.
Климов шопотом пробормотал:
— Мне жалко брата!.. И еще одна дсвица там... Они все — лучше нас, ей-богу!
Шпион тоже встал на ноги, потянулся и, шагая к двери, холодно произнес:
— Пойди ты к чорту...

XVII

Подошла ночь, когда решено было арестовать Ольгу, Якова и всех, кто был связан с ними по делу типографии. Евсей знал, что типография помещается в саду во флигеле, — там живет большой рыжебородый человек Костя с женой, рябоватой и толстой, а за прислугу у них — Ольга. У Кости голова была гладко острижена, а у жены его серое лицо и блуждающие глаза; они оба показались Евсею людьми не в своем уме и как будто долго лежали в больнице.

— Какие страшные! — заметил он, когда Яков указал ему этих людей в квартире Макарова.

Яков, любя похвастаться знакомствами, гордо тряхнул кудрявой головой и важно объяснил:

— От своей трудной жизни! Работают в подвалах, по ночам, сырость, воздуху мало. Отдыхают — в тюрьмах, — от этого всяк наизнанку вывернется.

Климкову захотелось в последний раз взглянуть на Ольгу; он узнал, какими улицами повезут арестованных в тюрьму, и пошел встречу им, стараясь убедить себя, что его не трогает все это, и думая о девушке:

«Наверное, испугается. Плакать будет...»

Шел он, как всегда, держась в тени, пробовал беззастенчиво свистать, но — не мог остановить стройного течения воспоминаний об Ольге, — видел ее спокойное лицо, верующие глаза, слышал немного надорванный голос, помнил слова:

«Вы напрасно так нехорошо говорите о людях, Климов. Разве вам не в чем упрекнуть себя?»

Слушая ее, он всегда чувствовал, что Ольга говорит верно. И теперь у него тоже не было причин сомневаться в этом, но было голое желание видеть ее испуганной, жалкой, в слезах.

Вдали затрещали по камням колеса экипажа, застучали подковы. Климов прижался к воротам и ждал. Мимо него проехала карета, он безучастно посмотрел на нее, увидел два хмурых лица, седую бороду кучера, большие усы околodочного рядом с нею.

«Вот и всё! — подумал он. — И не пришлось увидеть ее...»

Но в конце улицы снова дребезжал экипаж, он катился торопливо, были слышны удары кнута о тело лошади и ее усталое сопение. Ему казалось, что звуки неподвижно повисли в воздухе и будут висеть так всегда.

Кутаясь в платок, в пролетке сидела Ольга рядом с молодым жандармом, на козлах, рядом с извозчиком, торчал городской. Мелькнуло знакомое лицо, белое и доброе; Евсей скорее понял, чем увидал, что Ольга совершенно спокойна, нимало не испугана. Он почему-то вдруг обрадовался и, как бы возражая неприятному собеседнику, мысленно сказал:

«Она — не заплачет!»

Закрыв глаза, простоял еще несколько времени, потом услышал шаги, звон шпор, понял, что это ведут

арестованных мужчин, сорвался с места и, стараясь не топтать ногами, быстро побежал по улице, свернул за угол и, усталый и облитый потом, явился к себе домой.

Вечером на другой день Филипп Филиппович, обливая его синими лучами, говорил торжественно, еще более тонким голосом, чем всегда:

— Поздравляю тебя, Климов, с добрым успехом и желаю, чтобы этот успех был первым звеном в длинной цепи удач!

Климов переступил с ноги на ногу и тихонько развел руками, точно желая освободить себя из невидимых пут.

В комнате было несколько шпионов, они молча слушали звук пилы и смотрели на Евсея, он чувствовал их взгляды на своей коже, и это было неловко.

Когда начальник кончил говорить, Евсей тихо попросил его о переводе в другой город.

— Ну, ерунда, брат! — сухо сказал Филипп Филиппович. — Стыдно быть трусом. Что такое? Первое удачное дело — и бежать? Я сам знаю, когда нужно перевести... Ступай!

Награду ему дал Саша.

— Эй, ты, сморчок! — позвал он его. — На вот, получи...

Коснувшись своей влажной, желтой рукой руки Евсея, он сунул ему бумажку и ушел прочь.

Подскочил Яков Зарубин.

— Сколько?

— Двадцать пять рублей, — ответил Климов, развертывая билет непослушными пальцами.

— А сколько людей было?

— Семеро...

Зарубин поднял глаза к потолку и забормotal:

— Трижды семь — двадцать один, четыре на семь — по три с половиной!

Он тихонько свистнул и, оглянувшись, шопотом сообщил:

— Саше — полтора ста дали, да счет расходов он представил по этому делу в шестьдесят три рубля. Надувают нас, дураков! Ну, что же, угощай на радостях...

— Идем, — сказал Климов, искоса поглядывая на деньги и не решаясь положить их в карман.

Пошли, и дорогою Зарубин деловито заговорил:

— А все-таки, видно, твои люди дрянь были...

— Почему это? — обидчиво спросил Климков. — Во все не дрянь...

— Мало дали за них, мало! Я ведь знаю порядки, меня не обманешь, нет! Красавин одного революционера поймал, — сто рублей получил здесь, да из Петербурга прислали сто! Соловьеву — за нелегальную барыню — семьдесят пять. Видишь? А Маклаков? Положим, он ловит адвокатов, профессоров, писателей, им цена особая...

Он говорил не устая, Климков был доволен его болтовней, она мешала ему думать.

Пришли в публичный дом. Зарубин крикливым голосом завсегдатая начал спрашивать у высокой, худой и кривой экономки:

— Лида здорова? А — Капа? Вот, Евсей, ты познакомься с Капой, — это такая девица! Изверг! Она тебя тому научит, чего ты во сто лет без нее не узнаешь. Дайте нам лимонаду и коньяку. Прежде всего, Евсей, надо хватить коньяку с лимонадом — это вроде шампанского, сразу поднимешься на дыбы!

— Мне все равно, — ответил Климков.

Дом был дорогой, на окнах висели пышные занавески, мебель казалась Евсею необыкновенной, красиво одетые девицы — гордыми и неприступными; все это смущало его. Он жался в угол, уступая дорогу девицам, они как будто не замечали его, проходя мимо и касаясь своими юбками его ног. Лениво проплывало подавляющими массами полуголое тело, ворочались в орбитах подведенные глаза.

— Студенты? — спросила рыжая девица подругу, толстую брюнетку с высокой голой грудью и голубой лентой на шее. Та что-то шепнула в ухо ей, рыжая сделала Евсею гримасу, он отвернулся от нее и сказал Зарубину недовольно:

— Знают, кто мы...

— А как же! Конечно! Потому и берут за вход половину цены, и скидка со счета двадцать пять процентов.

Евсей выпил два бокала шипучего, вкусного напитка, и хотя ему не стало веселее, но окружающее сделалось более безразличным.

К ним за стол сели две девицы — высокая, крепкая Лидия и огромная, тяжелая Капитолина. Голова Лидии была несоразмерно с телом маленькая, лоб узкий, острый, сильно выдвинутый подбородок и круглый рот с мелкими зубами рыбы, глаза темные и хитрые, а Капитолина казалась сложенной из нескольких шаров разной величины; выпученные глаза ее были тоже шарообразны и мутны, как у слепой.

Черненький, неугомонный, подобно мухе, Зарубин вертел головой, двигал ногами, его тонкие, темные руки летали над столом, он все хватал, щупал, обнюхивал. Евсей вдруг почувствовал, что Зарубин вызывает у него тяжелое, тупое раздражение.

«Мерзавец! — думал он. — За мои деньги привел мне урода, а себе красивую выбрал».

Он налил рюмку коньяку, проглотил ее и, обожженный, открыл рот, вращая глазами.

— Ловко? — воскликнул Яков.

Девицы засмеялись, и на минуту Евсей оглох и ослеп, точно заснул.

— Вот, Евсей, Лида, мой верный друг, умница и раз-умница! — разбудил его Зарубин, дергая за рукав. — Когда я заслужу внимание начальства, я ее возьму отсюда, женюсь на ней и пристрою к своему торговому делу. Так, Лидочка?

— Поживем — увидим, — ответила девица, томно ско-сив на него свои масляные глаза.

— Ты что молчишь, дружок? — басом спросила Капи-толина, хлопая по плечу Евсея тяжелой рукой.

— Она всем говорит — ты, — заметил Яков.

— Это мне все равно! — сказал Евсей, не глядя на де-вицу и отодвигаясь от нее. — Только — скажи ей, что она мне не нравится и пускай уйдет...

Несколько секунд все молчали.

— Чорт с вами! — густо и спокойно сказала Капито-лина и, упираясь рукой в стол, медленно подняла со стула свое тяжелое тело.

Евсею стало досадно, что она не обиделась, он взгля-нул на нее и проговорил:

— Вроде слона, какая-то...

— Ай, как это невежливо! — с сожалением вскричала Лидия.

— Да, Евсей, это, брат, невежливо! — убежденно подтвердил Зарубин. — Капитолина Николаевна девица замечательная, и все понимающие люди ее ценят.

— А мне все равно, — сказал Евсей. — Я хочу пива!

— Эй, пива! — крикнул Зарубин. — Капочка, будьте любезны, похлопочите насчет пива.

Толстая девица повернулась и, шаркая ногами по полу, молча ушла, а Зарубин, наклонясь к Евсею, вкрадчиво и поучительно начал:

— Видишь ли что, Евсей, конечно, здесь заведение и прочее. Но девицы такие же люди, как мы с тобой, — зачем их обижать бесполезной грубостью?

— Отстань! — сказал Климов.

Ему хотелось, чтобы вокруг было тихо, чтобы девицы перестали плавать в воздухе, как скучные клочья весенней тучи, и бритый тапер с темносиним лицом утопленника не тыкал пальцами в желтые зубы рояля, похожего на челюсть чудовища, которое громко и визгливо хохотало. Хотелось, чтобы все молча сели на стулья и сидели неподвижно, чтобы занавески на окнах не шевелились так странно, как будто с улицы их дергает невидимая, неприязненная рука. И пусть в дверях встанет Ольга, одетая в белое, тогда он поднимется, обойдет всю комнату и каждого человека с размаху ударит по лицу, — пусть Ольга видит, что ему противны все они.

В уши ему назойливо садились жалобные слова Зарубина:

— Мы приехали веселиться, а ты сразу начинаешь скандал...

Евсей, покачиваясь, мутно посмотрел в лицо ему и вдруг с холодной ясностью сказал себе:

«Из-за этого, сукина сына. Из-за него я попал в петлю. Все из-за него!»

Он взял в руку бутылку пива, налил себе стакан, выпил его и, не выпуская бутылки из руки, поднялся с места.

— Деньги мои, а не твои, сволочь! — сказал он.

— Что ж из этого? Мы — товарищи...

Черная, стриженная и колючая голова Зарубина запрокинулась назад, Евсей увидел острые блестящие глазки на смуглом лице с оскаленными зубами.

— Ты сядь, — сказал он.

Климков взмахнул бутылкой и ударил ею по лицу, целясь в глаза. Масляно заблестела алая кровь, возбуждая у Климкова яростную радость, — он еще взмахнул рукой, обливая себя пивом. Все ахнуло, завизжало, пошатнулось, чьи-то ногти впились в щеки Климкова, его схватили за руки, за ноги, подняли с пола, потащили, и кто-то плевал в лицо ему теплой, клейкой слюной, тискал горло и рвал волосы.

Он очнулся в участке, оборванный, исцарапанный, мокрый, сразу все вспомнил и впервые без испуга подумал:

«Что же теперь будет?»

Знакомый полицейский чиновник посоветовал Евсею вымыть лицо и ехать домой.

— Судить меня будут? — спросил Климков.

— Не знаю, — сказал полицейский, вздохнул и завистливо добавил: — Едва ли будут, берегут вас...

Через несколько дней Евсея позвал Филипп Филиппович и долго пронзительно кричал на него.

— Ты, идиот, должен давать людям примеры доброго поведения, а не скандалы делать! Если я узнаю еще что-нибудь подобное о тебе — я тебя посажу на месяц под арест, — слышал?

Климков испугался, согнулся и стал жить тихонько, молча, незаметно, стараясь возможно больше устоять для того, чтобы ни о чем не думать.

Когда он встретился с Яковом Зарубиным, то увидел у него над правым глазом небольшой красный шрам; эта новая черта на подвижном лице сыщика была ему приятна, и сознание, что он нашел в себе силу и смелость ударить человека, поднимало его в своих глазах.

— За что ты меня? — спросил Яков.

— Так, — сказал Евсей. — Пьян был я...

— Эх ты, чорт! Ведь ты знаешь, что такое лицо для нашей должности! Разве можно его портить?

Зарубин потребовал с Евсея угощение хорошим обедом.

Среди шпионов разнесся слух, что некоторые министры тоже оказались подкуплены врагами царя и России. Они составили заговор, чтобы отнять у царя власть, заменить существующий, добрый русский порядок жизни другим, взятым у иностранных государств, вредным для русского народа. Теперь они выпустили манифест, в котором будто бы по воле царя и с его согласия извещали народ о том, что ему скоро будет дана свобода собираться в толпы, где он хочет, говорить о том, что его интересует, писать и печатать в газетах все, что ему нужно, и даже будет дана свобода не верить в бога.

Филипп Филиппович часами тайно беседовал с Красиным, Сашей, Соловьевым и другими опытными агентами, после этих бесед все они ходили нахмуясь, озабоченные, отвечая на вопросы своих товарищей кратко и невразумительно.

Однажды, сквозь неплотно притворенную дверь кабинета Филиппа Филипповича, в канцелярию просочился голос Саши, прерывавшийся от возбуждения:

— Да не о конституции, не о политике надо говорить с ними, а о том, что новый порядок уничтожит их, что при нем смирные издохнут с голоду, буйные сгниют в тюрьмах. Кто нам служит? Выродки, дегенераты, психически больные, глупые животные...

— Вы говорите бог знает что! — громко вскричал Филипп Филиппович.

И раздался печальный голос Ясногурского:

— Планчик-то у вас — какой? Непонятно мне, хороший вы мой, намерение-то ваше...

В канцелярии сидели Петр, Грохотов, Евсей и еще двое новых шпионов — один рыжий, горбоносый, с крупными веснушками на лице и в золотых очках, другой — бритый, лысый и краснощекий, с широким носом и багровым пятном на шее около левого уха. Внимательно слушая разговор Саши, они косились друг на друга и молчали. Петр несколько раз вставал, подходил к двери, наконец он громко кашлянул около нее — тотчас же невидимая рука плотно притворила ее. Лысый шпион осторожно пощупал толстыми пальцами свой нос и тихо спросил:

— Это кого же он называет выродками?

Сначала никто не ответил ему, потом Грохотов, покорно вздохнув, сказал:

— Он всех так зовет...

— Умная бестия! — воскликнул Петр, мечтательно улыбаясь. — Гнилой весь, а смотрите, все больше забирает силу. Вот что значит образование!..

Лысый оглянул всех подслеповатыми глазами и снова раздумчиво осведомился:

— Ведь это он про нас говорит?

— Политика дело мудрое, ничем не брезгует, — сказал Грохотов.

— Если бы я получил образование, я бы — показал козырей! — заявил Петр.

Рыжий беспечно покачивался на стуле и часто зевал, широко открывая рот.

Из кабинета вышел Саша, багровый и встрепанный, остановился у двери, оглядел всех, насмешливо спросил:

— Подслушивали?

Один за другим входили сыщики, потные, пыльные, устало и невесело перекидываясь различными замечаниями. Появился Маклаков, сердитый, нахмуренный, глаза у него были острые и обижающие. Прищуриваясь, быстро прошел в кабинет Красавин и громко хлопнул дверью.

Саша говорил Петру:

— Произойдет перемена места — мы будем тайным обществом, а они останутся явными идиотами, вот что будет! Эй! — крикнул он. — Никому не уходить!

Все присмирели, замолчали. Из кабинета вышел Ясногурский, его оттопыренные мясистые уши прилегли к затылку, и весь он казался скользким, точно кусок мыла. Расхаживая в толпе шпионов, он пожимал им руки, ласково и смиренно кивал головой и вдруг, уйдя куда-то в угол, заговорил оттуда плачущим голосом:

— Добрые слуги царицы! К вам моя речь от сердца, скорбью напоенного, к вам, люди бесстрашные, люди безупречные, верные дети царя-отца и православной церкви, матери вашей...

— Завыл!.. — прошептал кто-то около Евсея, а Климову послышалось, что Ясногурский нехорошо выругался.

— Вы уже знаете о новой хитрости врагов, о новой пагубной затее, вы читали извещение министра Булыгина о том, что царь наш будто пожелал отказаться от власти, врученной ему господом богом над Россией и народом русским. Все это, дорогие товарищи и братья, дьявольская игра людей, передавших души свои иностранным капиталистам, новая попытка погубить Русь святую. Чего хотят достигнуть обещаемой ими Государственной думой, чего желают достичь — этой самой — конституцией и свободой?

Шпионы сдвинулись теснее.

— Во имя отца и сына и святого духа, рассмотрим козни дьяволов при свете правды, коснемся их нашим простым русским умом и увидим, как они рассыплются прахом на глазах наших. Вот смотрите — хотят отнять у царя его божественную силу и волю править страной по указанию свыше, хотят выборы устроить в народе, чтобы народ послал к царю своих людей и чтобы эти люди законы издавали, сокращая власть цареву. Надеются, что народ наш, темный и пьяный, позволит подкупить себя вином и деньгами и проведет в покои царя тех, кого ему укажут предатели либералы и революционеры, а укажут они народу жидов, поляков, армян, немцев и других инородцев, врагов России.

Климов заметил, что Саша, стоя сзади Ясногурского, улыбался насмешливо, как чорт, и, не желая, чтобы больной шпион заметил его, наклонил голову.

— Окружит эта шайка продажных мошенников светлый трон царя нашего и закроет ему мудрые глаза его на судьбу родины, предадут они Россию в руки инородцев и иностранцев. Жиды устроят в России свое царство, поляки свое, армяне с грузинами, латыши и прочие нищие, коих приютила Русь под сильною рукою своею, свои царства устроят, и когда останемся мы, русские, одни... тогда... тогда, — значит...

Саша, стоя рядом с Ясногурским, начал шептать ему на ухо. Старик сердито отмахнулся, заговорил громче:

— Тогда хлынут на нас немцы и англичане и заберут нас в свои жадные когти... Разрушение Руси ждет нас, дорогие друзья мои, — берегитесь!

Он выкрикнул последние слова речи, замолчал на минуту, а потом поднял руки над головой и начал снова:

— Но у царя нашего есть верные слуги, они стерегут его силу и славу, как псы неподкупные, и вот они основали общество для борьбы против подлых затей революционеров, против конституций и всякой мерзости, пагубной нам, истинно русским людям. В общество это входят графы и князья, знаменитые заслугами царю и России, губернаторы, покорные воле царевой и заветам святой старины, и даже, может быть, сами великие...

Саша снова остановил Ясногурского, старик выслушал его, покраснел, замахал руками и вдруг закричал:

— Ну, и говорите, — что это такое? Какое у вас право? Не хочу...

Он странно подпрыгнул и, расталкивая толпу шпионов, ушел. Теперь на его месте стоял Саша. Высокий и сутулый, он высунул голову вперед, молча оглядывая всех красными глазами и потирая руки.

— Ну, вы поняли что-нибудь? — резко прозвучал его вопрос.

— Поняли... поняли... — недружно и негромко ответило несколько голосов.

— Я думаю! — насмешливо воскликнул Саша и поражающе отчетливо, со злобой и силой заговорил:

— Слушайте, — и которые умнее, пусть растолкуют мои слова дуракам. Революционеры, либералы и вообще наше русское барство — одолело, — поняли? Правительство решило уступить их требованиям, оно хочет дать конституцию. Что такое конституция для вас? Голодная смерть, потому что вы лентяи и бездельники, к труду не годны; тюрьма — для многих, потому что многие из вас заслужили ее, для некоторых — больница, сумасшедший дом, ибо среди вас целая куча полоумных, душевнобольных. Новый порядок жизни, если его устроят, немедленно раздавит вас. Департамент полиции будет уничтожен, охранные отделения закрыты, вас вышвырнут на улицу. Это вам понятно? — Все молчали, точно окаменев. Климков подумал:

«Тогда бы я ушел куда-нибудь...»

— Я думаю — понятно? — сказал Саша, помолчав, и снова окинул всех одним взглядом. Красный венец на лбу у него как будто расплылся по всему лицу, и лицо покрылось свинцовой синевой.

— Этот новый порядок жизни невыгоден вам, — значит, нужно бороться против него — так? За кого, за чей интерес вы будете бороться? За себя лично, за свой интерес, за ваше право жить так, как вы жили до этой поры. Ясно? Что вы можете сделать?

В душевной комнате вдруг родился тяжелый шум, точно вздохнула и захрипела чья-то огромная, больная грудь. Часть сыщиков молча и угрюмо уходила, опустив головы, кто-то раздраженно ворчал.

— Чем говорить разное, прибавили бы жалованья...

— Пугают всё... всегда пугают!..

В углу около Саши собралось человек десять, Евсей тихонько подвигался к ним и слышал восхищенный голол Петра.

— Вот как надо говорить — дважды два четыре, и всё — тузы!..

— Нет, я недоволен, — слащаво и выпытывающе говорил Соловьев. — Подумайте! Что значит — подумайте? Каждый может думать на свой лад, — ты мне укажи, что делать?

Красавин грубо и резко крикнул:

— Указано это!

— Я не понимаю! — спокойно заявил Маклаков.

— Вы? — крикнул Саша. — Врете, вы поняли!

— Нет.

— А я говорю — вы поняли! Но вы — трус, вы дворянин, — я вас знаю!

— Может быть, — сказал Маклаков. — Но знаете ли вы, чего хотите?

Он спросил так холодно и значительно, что Евсей, вздрогнув, подумал:

«Ударит его Сашка...»

Но тот тихо и визгливо переспросил:

— Я? Знаю ли я, чего хочу?

— Ну да...

— Я вам это скажу! — угрожающе, поднимая голос, крикнул Саша. — Я скоро издохну, мне некого бояться, я

чужой человек для жизни, — я живу ненавистью к хорошим людям, пред которыми вы, в мыслях ваших, на коленях стоите. Не стоите, нет? Врете вы! Вы — раб, рабья душа, лакей, хотя и дворянин, а я мужик, прозревший мужик, я хоть и сидел в университете, но — ничем не подкуплен...

Евсей протиснулся вперед и встал сбоку спорящих, стараясь видеть лица обоих.

— Я знаю своего врага, это вы — барство, вы и в шпионах господа, вы везде противны, везде ненавистны, — мужчины и женщины, писатели и сыщики. И я знаю средство против вас, против барства, я его знаю, я вижу, что надо сделать с вами, чем вас истребить...

— Вот именно это интересно, а не истерика ваша, — сказал Маклаков, засунув руки в карманы.

— Да, вам интересно? Хорошо — я скажу...

Саша, видимо, хотел сесть и, качаясь, точно маятник, оглядывался кругом, говоря непрерывно и задыхаясь в быстрой речи:

— Кто строит жизнь? Барство! Кто испортил милое животное — человека, сделал его грязной скотиной, больным зверем? Вы, барство! Так вот, все это — всю жизнь — надо обратить против вас, так вот, — надо вскрыть все гнойники жизни и утопить вас в потоке мерзости, рвоты людей, отравленных вами, — и будьте вы прокляты! Пришло время вашей казни и гибели, поднимется против вас все искалеченное вами и задашит, задавит вас. Поняли? Да, вот как будет. Уже в некоторых городах пробовали — насколько крепки головы господ. Вам известно это? Да?

Он покачнулся назад, опираясь спиной об стену, протянул вперед руки и захлебнулся смехом. Маклаков взглянул на людей, стоявших рядом с ним, и, тоже усмехаясь, громко спросил:

— Вы поняли, что он говорит?

— Говорить все можно! — ответил Соловьев, но тотчас же быстро прибавил: — В своей компании! Но самое интересное — узнать бы наверно, что в Петербурге тайное общество составилось и к чему оно?

— Это нам нужно знать! — требовательно сказал Красавин.

— А ведь в самом деле, братцы, революция-то на другую квартиру переезжает! — воскликнул Петр весело и живо.

— Ежели там, в этом обществе, действительно князья, — раздумчиво и мечтательно говорил Соловьев, — то дела наши должны поправиться...

— У тебя и так двадцать тысяч в банке лежит, старый чорт!

— А может — тридцать? Считай еще раз! — обиженно сказал Соловьев и отошел в сторону.

Саша кашлял глухо и сипло, Маклаков смотрел на него хмуро.

— Что вы на меня смотрите? — крикнул Саша Маклакову.

Тот повернулся и пошел прочь, не ответив; Евсей безотчетно двинулся за ним.

— Вы поняли что-нибудь? — спросил Маклаков Евсея.

— Мне это не нравится...

— Да? Почему?

— Зlobится он все. А зlobы и без него много...

— Так! — сказал Маклаков, кивая головой. — Зlobы достаточно...

— И ничего нельзя понять, — осторожно оглядываясь, продолжал Евсей, — все говорят разное...

Шпион задумчиво стряхивал платком пыль со своей шляпы и, должно быть, не слышал опасных слов.

— Ну, до свиданья! — сказал он.

Евсею хотелось идти с ним, но шпион надел шляпу и, покручивая ус, вышел, не взглянув на Климкова.

А в городе неудержимо быстро росло что-то странное, точно сон. Люди совершенно потеряли страх; на лицах, еще недавно плоских и покорных, теперь остро и явно выступило озабоченное выражение. Все напоминали собою плотников, которые собираются сломать старый дом и деловито рассуждают, с чего удобнее начать работу.

Почти каждый день на окраинах фабричные открыто устраивали собрания, являлись революционеры, известные и полиции и охране в лицо; они резко порицали порядки жизни, доказывали, что манифест министра о созыве Государственной думы — попытка правительства

успокоить взволнованный несчастьями народ и потом обмануть его, как всегда; убеждали не верить никому, кроме своего разума.

И однажды, когда бунтовщик крикнул: «Только народ — истинный и законный хозяин жизни! Ему вся земля и вся воля!» — в ответ раздался торжествующий рев: «Верно, брат!»

Евсей, оглушенный этим ревом, обернулся — сзади него стоял Мельников; глаза его горели, черный и растрепанный, он хлопал ладонями, точно ворон крыльями, и орал:

— Верно-о!

Климков изумленно дернул его за полу пиджака и тихонько прошептал:

— Что вы? Это социалист говорит, поднадзорный...

Мельников замигал глазами, спросил:

— Он?

И, не дождавшись ответа, снова крикнул:

— Урра! Верно...

А потом, с тяжелою злобою, сказал Евсею:

— Убирайся ты... Все равно, кто правду говорит...

Слушая новые речи, Евсей робко улыбался, беспомощно оглядываясь, искал вокруг себя в толпе человека, с которым можно было бы откровенно говорить, но, находя приятное, возбуждающее доверие лицо, вздыхал и думал:

«Заговоришь, а он сразу и поймет, что я сыщик...»

Он слышал, что в речах своих революционеры часто говорят о необходимости устроить на земле другую жизнь, эти речи будили его детские мечты. Но на зыбкой почве его души, засоренной дрянными впечатлениями, отравленной страхом, вера росла слабо, она была подобна больному рахитом ребенку, кривоногому, с большими глазами, которые всегда смотрят вдаль.

Евсей верил словам, но не верил людям. Пугливый зритель, он ходил по берегу потока, не имея желания броситься в его освежающие волны.

Шпионы ходили вяло, стали чужими друг другу, хмуро замолчали, и каждый смотрел в глаза товарища подозрительно, как бы ожидая чего-то опасного для себя.

— А насчет петербургского союза из князей — ничего не слышно? — спрашивал Красавин почти каждый день. Однажды Петр радостно объявил:

— Ребята, Сашу в Петербург вызвали! Он там наладит игру, увидите!

Вяхирев, горбоносый и рыжеватый шпион, лениво заметил:

— Союзу русского народа разрешено устроить боевые дружины для того, чтобы убивать революционеров. Я туда пойду. Я ловко стреляю из пистолета...

— Из пистолета — удобно, — сказал кто-то. — Выстрелил да и убежал...

«Как они просто говорят обо всем!» — подумал Евсей, невольно вспомнив другие речи, Ольгу, Макарова, и досадливо оттолкнул все это прочь от себя...

Саша вернулся из Петербурга как будто более здоровым, в его тусклых глазах сосредоточенно блестели зеленые искры, голос понизился, и все тело как будто выпрямилось, стало бодрее.

— Что будем делать? — спросил его Петр.

— Скоро узнаешь! — ответил Саша, оскалив зубы.

XIX

Пришла осень, как всегда, тихая и тоскливая, но люди не замечали ее прихода. Вчера дерзкие и шумные, сегодня они выходили на улицы еще более дерзкими.

Потом наступили сказочно страшные, чудесные дни — люди перестали работать, и привычная жизнь, так долго угнетавшая всех своей жестокой, бесцельной игрой, сразу остановилась, замерла, точно сдавленная чьим-то могучим объятием. Рабочие отказали городу — своему владыке — в хлебе, огне и воде, и несколько ночей он стоял во тьме, голодный, жаждущий, угрюмый и оскорбленный. В эти темные обидные ночи рабочий народ ходил по улицам с песнями, с детской радостью в глазах, — люди впервые ясно видели свою силу и сами изумлялись значению ее, они поняли свою власть над жизнью и благодушно ликовали, рассматривая ослепшие дома, неподвижные, мертвые машины, растерявшуюся полицию, закрытые пасти магазинов

и трактиров, испуганные лица, покорные фигуры тех людей, которые, не умея работать, научились много есть и потому считали себя лучшими людьми в городе. В эти дни власть над жизнью вырвалась из их бессильных рук, но жестокость и хитрость осталась с ними. Климков видел, что эти люди, привыкшие командовать, теперь молча подчиняются воле голодных, бедных, неумытых, он понимал, что господам обидно стало жить, но они скрывают свою обиду и, улыбаясь рабочим одобрительно, лгут им, боятся их. Ему казалось, что прошлое не вернется, — явились новые хозяева, и если они могли сразу остановить ход жизни, значит, сумеют теперь устроить ее иначе, свободнее и легче для себя, для всех, для него.

Старое, жестокое и злое уходило прочь из города, оно таяло во тьме, скрытое ею, люди заметно становились добрее, и хотя по ночам в городе не было огня, но и ночи были шумно-веселы, точно дни.

Всюду собирались толпы людей и оживленно говорили свободной, смелою речью о близких днях торжества правды, горячо верили в нее, а неверующие молчали, присматриваясь к новым лицам, запоминая новые речи. Часто среди толпы Климков замечал шпионов и, не желая, чтобы они видели его, поспешно уходил прочь. Чаше других встречался Мельников. Этот человек возбуждал у Евсея особенный интерес к себе. Около него всегда собиралась тесная куча людей, он стоял в середине и оттуда темным ручьем тек его густой голос.

— Вот — глядите! Захотел народ, и все стало, захочет и возьмет все в свои руки! Вот она, сила! Помни это, народ, не выпускай из своей руки чего достиг, береги себя! Больше всего остерегайся хитрости господ, прочь их, гони их, будут спорить — бей насмерть!

Когда Климков слышал эти слова, он думал:

«За такие речи сажали в тюрьму, — скольких посадили! А теперь — сами так же говорите...»

Он с утра до поздней ночи шатался в толпе, порою ему нестерпимо хотелось говорить, но, ощущая это желание, он не медля уходил куда-нибудь в пустынный переулок, в темный угол.

«Заговоришь — узнают тебя!» — неотвязно грозила ему тяжелая мысль.

Как-то ночью, шагая по улице, он увидел Маклакова. Спрятавшись в воротах, шпион поднял голову и смотрел в освещенное окно дома на другой стороне улицы, точно голодная собака, ожидая подачки.

«Не бросает дела!» — подумал Евсей и спросил Маклакова: — Хотите, я вас сменю, Тимофей Васильевич?

— Ты? Меня? — негромко воскликнул шпион, и Климов почувствовал что-то неладное: впервые шпион обратился к нему на «ты», и голос у него был чужой.

— Не надо, — иди! — сказал он.

Всегда гладкий и приличный, теперь Маклаков был растрепан, волосы, которые он тщательно и красиво зачесывал за уши, беспорядочно лежали на лбу и на висках; от него пахло водкой.

— Прощайте! — сняв шапку, сказал Евсей и не спеша пошел. Но через несколько шагов сзади него раздался тихий оклик:

— Послушай...

Евсей обернулся; бесшумно догнав его, шпион стоял рядом с ним.

— Идем вместе...

«Сильно, должно быть, пьян!» — подумал Евсей.

— Знаешь, кто живет в том доме? — спросил Маклаков, посмотрев назад. — Миронов — писатель — помнишь?

— Помню.

— Ну, еще бы тебе не помнить, — он так просто поставил тебя дураком...

— Да, — согласился Евсей.

Шли медленно и не стучали ногами. В маленькой узкой улице было тихо, пустынно и холодно.

— Воротимся назад! — предложил Маклаков. Потом поправил шапку, застегнул пуговицы пальто и задумчиво сообщил: — А я, брат, уезжаю. В Аргентину. Это в Америке — Аргентина...

Климов услышал в его словах что-то безнадежное, тоскливое, и ему тоже стало печально и неловко.

— Зачем это так далеко? — спросил он.

— Надо...

Он снова остановился против освещенного окна и молча посмотрел на него. На черном кривом лице дома

окно, точно большой глаз, бросало во тьму спокойный луч света, свет был подобен маленькому острову среди темной тяжелой воды.

— Это его окно, Миронова, — тихо сказал Маклаков. — По ночам он сидит и пишет...

Встречу шли какие-то люди, негромко напевая песню.

Это будет последний
И решительный бой...

— говорила песня задумчиво, как бы спрашивая...

— Надо бы перейти на другую сторону! — шопотом предложил Евсей.

— Боишься? — спросил Маклаков, но первый шатнул с тротуара на мерзлую грязь улицы. — Напрасно боишься, — эти люди, с песнями о боях, смирные люди. Звери не среди них... Хорошо бы теперь посидеть в тепле, в трактире... а все закрыто! Все прекращено, брат...

— Пойдемте домой! — предложил Климков.

— Домой? Нет, спасибо...

Евсей остался, покорно подчиняясь грустному ожиданию чего-то неизбежного.

— Слушай, какой ты, к чорту, шпион, а? — вдруг спросил Маклаков, толкая Евсея локтем. — Я слежу за тобою давно, и всегда лицо у тебя такое, точно ты рвотного принял.

Евсей обрадовался возможности открыто говорить о себе и торопливо забормотал:

— Я, Тимофей Васильевич, уйду! Вот, как только устроится все, я и уйду. Займусь, помаленьку, торговлей и буду жить тихо, один...

— Что устроится?

— А вот все это, — с новой жизнью. Когда народ возьмется сам за все...

— Э-э... — протянул шпион, махнув рукой; засмеялся и оборвал своим смехом желание Евсея говорить.

Было тоскливо.

— Вот что! — неожиданно грубо и с сердцем заговорил Маклаков, когда снова подходили к дому, где жил писатель. — Я в самом деле уезжаю, — навсегда, из России. Мне нужно передать этому... писателю бумаги. Видишь, вот — пакет?

Он помахал в воздухе перед лицом Евсея белым четырёхугольником и быстро продолжал:

— Сам я не пойду к нему. Я второй день слежу за ним — не выйдет ли? Он — болен, не выходит. Я отдал бы ему на улице. Послать по почте нельзя, его письма вскрывают, воруют на почте и отдают нам в охрану. А идти к нему — я не могу...

Шпион прижал пакет к груди, наклонился, заглядывая в глаза Евсею.

— Здесь в пакете — моя жизнь, я написал про себя рассказ, — кто я и почему. Я хочу, чтобы он прочитал это, — он любит людей...

Взяв Евсея за плечо крепкой рукой, шпион потрянул его и приказал:

— Ступай ты, отдай ему это! В руки прямо, лично ему. Иди! Скажи... — Маклаков оборвался, помолчал. — «Один агент охранного отделения прислал вам эти бумаги и покорнейше просит» — так и скажи, не забудь — «покорнейше просит! — прочитать их». Я тебя подожду тут, — иди! Но, смотри, не говори ему, что я здесь. А если он спросит — скажи: «бежал, уехал в Аргентину». Повтори!

— Уехал в Аргентину...

— Да, и — не забывай! — покорнейше просит! Иди скорее...

Тихонько подталкивая Климова в спину, он проводил его до двери дома, отошел в сторону и там остановился, наблюдая.

Взволнованный, охваченный мелкою дрожью, потеряв сознание своей личности, задавленное повелительною речью Маклакова, Евсей тыкал пальцем в звонок, желая возможно скорее скрыться от шпиона, готовый лезть сквозь двери. Дверь открылась, в полосе света встал какой-то черный человек, сердито спрашивая:

— Что вам нужно?

— Писателя, господина Миронова. Лично его, в руки ему назначено письмо — пакет, пожалуйста, скорее! — говорил Евсей, невольно подражая быстрой и несвязной речи Маклакова.

В голове у него замутилось, там лежали только слова шпиона, белые и холодные, точно мертвые кости, и когда

над его головой раздался глуховатый голос: «Чем могу служить вам?» — Евсей проговорил безучастным голосом, точно автомат:

— Один агент охранного отделения прислал эти бумаги и покорнейше просит прочитать их. Он уехал в Аргентину...

Незнакомое, странно чужое слово смутило Евсея, и он тише добавил:

— Которая в Америке...

— А где же бумаги?

Голос звучал ласково. Евсей поднял голову, узнал солдатское лицо с рыжими усами, вынул из кармана толстый пакет и подал его.

— Ну, присядьте...

Климов сел, опустив голову.

Звук разрываемой бумаги заставил его вздрогнуть. Не поднимая головы, он опасливо посмотрел на писателя, тот стоял перед ним, рассматривая пакет, и шевелил усами.

— Вы говорите — он уехал?

— Да...

— А вы сами тоже агент?

— Тоже, — тихонько сказал Евсей.

И подумал:

«Сейчас начнет ругать...»

— Лицо ваше мне как будто знакомо.

Евсей старался не смотреть на него, но чувствовал, что он улыбается.

— Да, знакомо, — проговорил он, вздыхая.

— Вы тоже — наблюдали за мной?

— Один раз. А вы заметили меня из окна, вышли на улицу и дали мне письмо...

— Да, да — помню! Ах, чорт возьми, так это вы? Я вас, кажется, обругал тогда, а?

Евсей встал со стула, недоверчиво взглянул в смеющееся лицо, посмотрел вокруг.

— Это ничего! — сказал он.

Ему было нестерпимо неловко слышать грубовато ласковый голос и боязно, что писатель ударит его и выгонит вон.

— Странно мы с вами встретились на сей раз, а?

— Больше ничего? — смущенно спросил Евсей.

— Ничего. Но вы, кажется, устали? Посидите, отдохните...

— Я пойду...

— Как хотите. Ну, спасибо, — до свиданья!

Он протянул руку, большую, с рыжею шерстью на пальцах. Евсей осторожно дотронулся до нее и неожиданно для себя попросил:

— Позвольте и мне жизнь мою рассказать вам...

И когда четко сказал эти слова, то подумал вослед им:

«Вот с кем надо мне говорить! Если сам Тимофей Васильевич, такой умный и лучше всех которых, его уважает...»

Вспомнив Маклакова, Евсей взглянул в окно, на секунду встревожился, потом сказал себе:

«Ничего, — ему не первый раз мерзнуть...»

— Ну, что же, расскажите, если хочется... Да вы бы сняли пальто... Может быть, чаю вам дать? Холодно!

Евсею захотелось улыбнуться, но он не позволил себе этого.

И через несколько минут, полузакрыв глаза, монотонно и подробно, тем же голосом, каким он докладывал в охранном о своих наблюдениях, Климов рассказывал писателю о деревне, Якове, кузнеце.

Писатель сидел на широком тяжелом табурете у большого стола, он подогнул одну ногу под себя и, упираясь локтем в стол, наклонился вперед, покручивая ус быстрым движением пальцев. Его круглая, гладко остриженная голова была освещена огнями двух свечей, глаза смотрели зорко, серьезно, но куда-то далеко, через Климова.

«Не слушает», — подумал он и немного повысил тон, незаметно продолжая осматривать комнату и ревниво следя за лицом писателя.

В комнате было темно и сумрачно. Тесно набитые книгами полки, увеличивая толщину стен, должно быть, не пропускали в эту маленькую комнату звуков с улицы. Между полками матово блестели стекла окон, заклеенные холодною тьмою ночи, выступало белое узкое пятно двери. Стол, покрытый серым сукном, стоял среди комнаты, и от него все вокруг казалось окрашенным в темносерый тон.

Евсей поместился в углу на стуле, обитом гладкой, жесткой кожей, он зачем-то крепко упирался затылком в высокую спинку стула и потому съезжал с него. Ему мешало пламя свеч, желтые язычки огня все время как будто вели между собой немую беседу — медленно наклонялись друг к другу, вздрагивали и, снова выпрямляясь, тянулись вверх.

Писатель стал крутить ус медленнее, но взгляд его попрежнему уходил куда-то за пределы комнаты, и все это мешало Евсею, разбивало его воспоминания. Он догадался закрыть свои незрячие глаза, и когда его тесно обняла темнота, легко вздохнул и вдруг увидел себя разделенным на человека, который жил и действовал, и на другого, который мог рассказывать о первом, как о чужом ему. Его речь полилась плавнее, голос окреп, события жизни связно потянулись одно за другим, развиваясь, точно клубок серых ниток, и освобождая маленькую, хилую душу от грязных и тяжелых лохмотьев пережитого ею. Рассказывать о себе было приятно, Климов слушал свой голос с удивлением, он говорил правдиво и ясно видел, что ни в чем не виноват — ведь он дни свои прожил не так, как хотелось ему! Его всегда заставляли делать то, что было неприятно ему, он искренно жалел себя, почти готовый плакать, и любовался собою...

Когда писатель спросил его о чем-то, Евсей не понял вопроса и, не открывая глаз, сказал тихо:

— Подождите, — я по порядку...

Он говорил не уставая, а когда дошел до момента встречи с Маклаковым, вдруг остановился, как перед ямой, открыл глаза, увидел в окне тусклый взгляд осеннего утра, холодную серую бездонность неба. Тяжело вздохнул, выпрямился, почувствовал себя точно вымытым изнутри, непривычно легко, приятно пусто, а сердце свое — готовым покорно принять новые приказы, новые насилия.

Писатель шумно поднялся на ноги, высокий, крепкий. Он сжал руки, пальцы его громко и неприятно хрустнули, и повернулся к окну.

— Что вы думаете делать теперь? — спросил он, не глядя на Климова.

Евсей тоже встал со стула и уверенно повторил сказанное им Маклакову:

— Как только устроится новая жизнь, я тихонько займусь торговлей. Уеду в другой город. Деньги у меня накоплены, рублей полтораста...

Писатель медленно повернулся к нему.

— Так! — сказал он. — У вас нет каких-либо других желаний?

Климков подумал и ответил.

— Нет...

— А вы верите в новую жизнь? Думаете — устроится она?

— Да как же, — если весь народ хочет этого?.. А что? Не устроится?

— Я ничего не говорю...

Он снова отвернулся к окну, расправил усы обеими руками и помолчал. Евсей, ожидая чего-то, стоял не двигаясь и прислушивался к пустоте в своей груди.

— Скажите мне, — спросил писатель негромко и медленно, — вам не жалко тех людей, — девушку, брата, его товарищей?

Климков опустил голову, одернул полы пиджака.

— Ведь вот теперь вы узнали, что они были правы, — да?

— Раньше было жалко. А теперь — не жалко..

— Нет? Почему?

Не сразу, негромко Климков сказал:

— Что же? Они люди хорошие и своего добились...

— А вам не думалось, что вы занимаетесь дурным делом? — спросил писатель.

Евсей вздохнул и ответил:

— Ведь мне оно не нравится, — делаю, что велят...

Писатель осторожно шагнул к нему, потом подался в сторону от него, Климков увидел дверь, в которую он вошел, — увидал, потому что глаза писателя смотрели на нее.

«Надо уходить», — подумал он.

— Вы хотите спросить меня о чем-нибудь? — сказал писатель.

— Нет. Я ухожу...

— Прощайте...

И писатель отодвинулся от него в сторону. Ступая на носки, Евсей вышел в прихожую и стал надевать пальто, а из двери комнаты раздался негромкий вопрос:

— Послушайте — зачем вы рассказали все это о себе?

Тиская в руках шапку, Евсей, подумав, ответил:

— Тимофей Васильевич очень уважает вас, — тот, который послал меня...

Писатель усмехнулся.

— Только?

«А зачем я рассказал ему, в самом деле?» — вдруг удивился Климков и, мигая глазами, пристально взглянул в лицо писателя.

— Н-ну, прощайте! — потирая руки, сказал хозяин и отодвинулся от гостя.

Евсей поклонился ему.

Когда он вышел на улицу и оглянулся, то в конце ее, в сером сумраке утра, сразу заметил черную фигуру человека, который, опустив голову, тихо шагал вдоль забора.

«Ждет! — сообразил Климков, съежился и подумал: — Заругает, скажет — долго...»

Шпион, должно быть, услышал в тишине утра гулкий звук шагов по мерзлой земле, он поднял голову и быстро пошел, почти побежал встречу Евсею.

— Отдал?

— Отдал...

— Почему ты так долго? Он говорил с тобой?

Маклаков дрожал. Схватил Евсея за лацкан пальто и тотчас выпустил его, подул себе на пальцы, как будто ожег их, и затопал ногами о землю.

— Я тоже рассказал ему всю мою жизнь! — громко сообщил Евсей. Ему приятно было сказать об этом Маклакову.

— Ну? А про меня он не спрашивал?

— Спросил — уехали вы?

— Что же ты?

— Уехал, — сказал...

— Больше ничего?

— Ничего...

— Ну, идем, — я замерз.

И он быстрым шагом бросился вперед, сунув руки в карманы пальто и согнув спину.

— Так ты рассказал свою жизнь?

— Все сполна, до сегодняшнего дня! — ответил Евсей, снова ощущая что-то приятное, поднимавшее его на одну высоту со шпионом, которого он уважал.

— Что же он сказал тебе?

Почему-то смущенно и не сразу Климов молвил:

— Ничего не сказал...

Маклаков остановился, придержал Евсея за рукав и тихо, строго спросил:

— Ты мои бумаги отдал?

— Общайте меня, Тимофей Васильевич! — искренно вскричал Евсей.

— Не буду, — сказал Маклаков, подумав. — Ну, вот что — прощай! Прими мой совет — я его даю, жалея тебя, — вылезай скорее из этой службы, — это не для тебя, ты сам понимаешь. Теперь можно уйти — видишь, какие дни теперь! Мертвые воскресают, люди верят друг другу, они могут простить в такие дни многое. Всё могут простить, я думаю. А главное, сторонись Сапки — это больной, безумный, он уже раз заставил тебя брата выдать, — его надо бы убить, как паршивую собаку! Ну, прощай!

Он схватил руку Евсея холодными пальцами и, крепко пожимая ее, спросил еще раз:

— Так ты отдал бумаги ему, не ошибся, нет?

— Ей-богу, отдал!

— Я верю. Несколько дней не говори про меня там.

— Я туда не хожу. Двадцатого за жалованьем пойду...

— Потом — скажешь...

Он быстро повернул за угол. Евсей посмотрел вслед ему, подозрительно думая:

«Должно быть, сделал что-нибудь против начальства и испугался...»

Ему стало жалко себя при мысли, что он больше не увидит Маклакова, и в то же время было приятно вспомнить, каким слабым, иззябшим, суетливым видел он шпиона, всегда спокойного, твердого. Он даже с начальством охраны говорил смело, как равный, но, должно быть, боялся поднадзорного писателя.

«А вот я, маленький человек, — думал Евсей, одиноко шагая по улице, — и всех боялся, а писатель меня не напугал».

И Климов, довольный собой, улыбнулся.

«Ничего не мог сказать писатель-то...»

Ему вдруг стало не то — грустно, не то — обидно, он, замедлив шаги, углубился в догадки — отчего это? И снова думал:

«Лучше бы Ольге рассказать тогда...»

XX

Около полудня его разбудил унылый Веков, в пальто и шапке, он держался рукою за спинку кровати, тряс ее и вполголоса, монотонно говорил:

— Климов, эй, вставайте, зовут в канцелярию всех, эй, Климов, — конституцию объявили, всех агентов собирают по квартирам, слышите, Климов...

Слова его падали, точно крупные капли дождя, полные печали, лицо сморщилось, как при зубной боли, и глаза, часто мигая, казалось, готовились плакать.

-- Что такое? — спросил Евсей, вскакивая с постели.

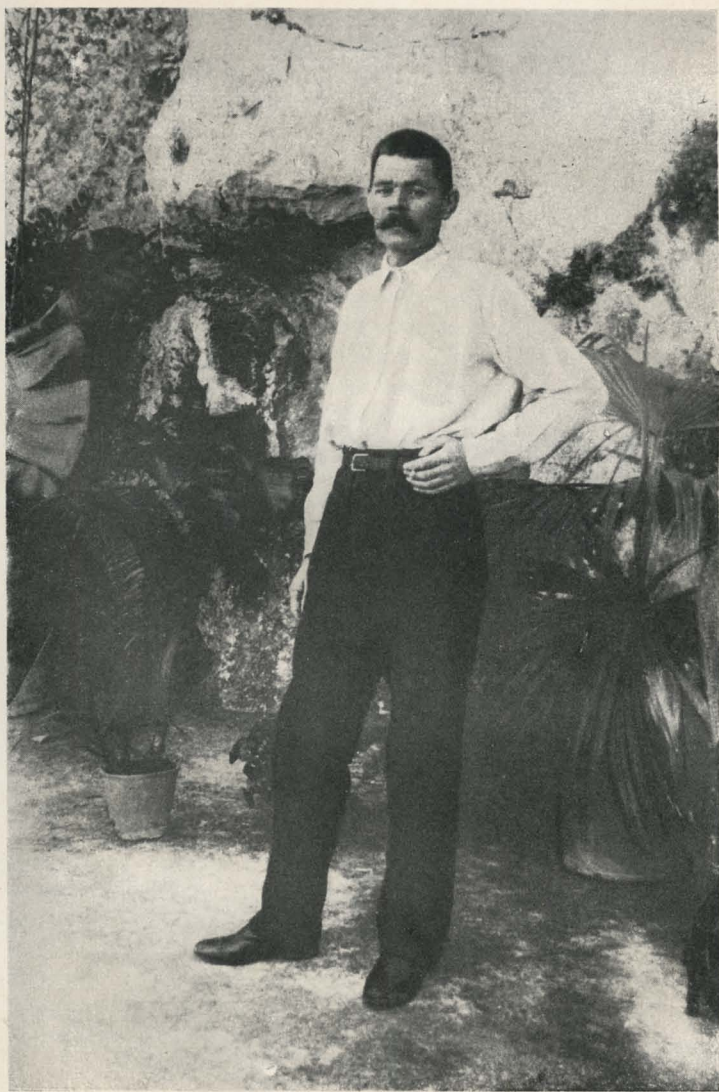
Веков уныло оттопырил губы и сказал.

— Манифест... А у нас, в охране, как в сумасшедшем доме стало... Саша — такой грубый человек — удивительно! Кричит, знаете: бей, режь! Позвольте! Да я даже за пятьсот рублей не решусь человека убить, а тут предлагают за сорок рублей в месяц убивать! Дико слушать такие речи...

Натягивая брюки, Климов задумчиво спросил:

— Кого же это убивать?

— Революционеров... А — какие же теперь революционеры, если по указу государя императора революция кончилась? Они говорят, чтобы собирать на улицах народ, ходить с флагами и «Боже царя храни» петь. Почему же не петь, если дана свобода! Но они говорят, чтобы при этом кричать — долой конституцию! Позвольте... я не понимаю... ведь так мы, значит, против манифеста и воли государя?



А. М. ГОРЬКИЙ
Капри. 1908 г.

Голос его звучал протестующе, обиженно, ноги задевали одна за другую, и весь он был какой-то мягкий, точно из него вынули кости.

— Я туда не пойду, — сказал Климов.

— Как не пойдете?

— Так. Я сначала похожу по улицам, посмотрю — что будут делать.

Веков вздохнул.

— Конечно, — вы человек одинокий. Но когда имеешь семью, то есть — женщину, которая требует того, сего, пятого, десятого, то — пойдешь куда и не хочешь, — пойдешь! Нужда в существовании заставляет человека даже по канату ходить... Когда я это вижу, то у меня голова кружится и под ложечкой боль чувствую, — но думаю про себя: «А ведь если будет нужно для существования, то и ты, Иван Веков, на канат полезешь»...

Он метался по комнате, задевая за стол, стулья, бормотал и надувал щеки, его маленькое лицо с розовыми щеками становилось похоже на пузырь, незаметные глаза исчезали, красненький нос прятался меж буграми щек. Скорбящий голос, понурая фигура, безнадежные слова его — все это вызывало у Климова досаду, он недружелюбно заметил:

— Скоро все устроится по-другому, — так что теперь жаловаться не к чему...

— Но ведь не хотят у нас этого! — воскликнул Веков, взмахнув руками и останавливаясь против Евсея. — Понимаете?

Евсей, обеспокоенный, повернулся на стуле, желая возразить что-то, но не мог найти слов и стал, сопя носом, завязывать ботинки.

— Саша кричит — бейте их! Вяхирев револьверы показывает, — буду, говорит, стрелять прямо в глаза, Кравин подбирает шайку каких-то людей и тоже все говорит о ножах, чтобы резать и прочее. Чашин собирается какого-то студента убить за то, что студент у него любовницу увел. Явился еще какой-то новый, кривой, и все улыбается, а зубы у него впереди выбиты — очень страшное лицо. Совершенно дико все это...

Он понизил голос до шопота и таинственно сказал:

— Всякий должен защищать свое существование в жизни — это понятно, — однако желательно, чтобы без убийства. Ведь если мы будем резать, то и нас будут резать...

Веков вздрогнул, склонил голову к окну, прислушался и, подняв руку кверху, побледнел.

— Что это? — спросил Евсей.

Гулкий шум мягкими неровными ударами толкался в стекла, как бы желая выдавить их и налиться в комнату. Евсей поднялся на ноги, вопросительно и тревожно глядя на Векова, а тот издали протянул руку к окну, должно быть, опасаясь, чтобы его не увидали с улицы, открыл форточку, отскочил в сторону, и в ту же секунду широкий поток звуков ворвался, окружил шпионов, толкнулся в дверь, отворил ее и поплыл по коридору, властный, ликующий, могучий.

Но Веков выглядывал из форточки и поминутно, быстро ворочая шеей, говорил торопясь и обрывисто:

— Народ идет, — красные флаги, — множество народу, — бесчисленно, — разного звания... Офицер даже... и поп Успенский... без шапок... Мельников... Мельников наш, — смотрите-ка!

Евсей подскочил к форточке, взглянул вниз, там текла, заполняя всю улицу, густая толпа. Над головами людей реяли флаги, подобно красным птицам, и, оглушенный кипящим шумом, Климов видел в первых рядах толпы бородатую фигуру Мельникова, — он держал обеими руками короткое древко, взмахивал им, и порою материя флага окутывала ему голову красной чалмой. Из-под шапки у него выбились темные пряди волос, они падали на лоб и щеки, мешались с бородой, и мохнатый, как зверь, шпион, должно быть, кричал — рот его был широко открыт.

— Куда они идут? — пробормотал Климов, обернувшись к товарищу.

— Радуются! — сказал тот, упираясь лбом в стекло окна.

Оба замолчали, пропуская мимо своих глаз пестрый поток людей, ловя чуткими ушами в глубоком море шума громкие всплески отдельных возгласов.

— Какая сила, а? Жили люди каждый отдельно — вдруг двинулись все вместе, — неестественное событие! А Мельников, — видели вы?

— Он всегда стоял за народ! — объяснил Евсей учающим голосом и отошел от окна, чувствуя себя бодро и ново.

— Теперь — все пойдет хорошо, — никто не хочет, чтобы им командовали. Всякий желает жить, как ему удобно, — тихо, мирно, в хороших порядках! — солидно говорил он, рассматривая в зеркале свое острое лицо. Желая усилить приятное чувство довольства собой, он подумал — чем бы поднять себя повыше в глазах товарища, и таинственно сообщил:

— А знаете — Маклаков бежал в Америку...

— Вот как! — безучастно отозвался шпион. — Что же, он холостой человек...

«Зачем я сказал?» — упрекнул себя Евсей, потом с легкой тревогой и неприязнью попросил Векова: — Вы об этом не говорите никому, пожалуйста!

— О Маклакове? Хорошо. Мне надо идти в охрану. Вы не пойдете?

— Выйдем вместе...

На улице Веков вполголоса, с унылым раздражением, заметил:

— Глуп народ все-таки! Вместо того, чтобы ходить с флагами и песнями, он должен бы, уж если почувствовал себя в силе, требовать у начальства немедленного прекращения всякой политики. Чтобы всех обратить в людей, и нас и революционеров... выдать кому следует — и нашим и ихним — награды и строго заявить — политика больше не допускается!..

Он вдруг исчез, свернув за угол.

По улице возбужденно метался народ, все говорили громко, у всех лица радостно улыбались, хмурый осенний вечер напоминал собою светлый день пасхи.

То в конце улицы, занавешенной сумраком, то где-то близко люди запевали песню и гасили ее громкими криками:

— Да здравствует свобода!

И всюду раздавался смех, звучали ласковые голоса.

Это нравилось Климову, он вежливо уступал дорогу встречным, смотрел на них одобрительно, с улыбкой удовольствия.

Из-за угла выскочили, тихо посмеиваясь, двое людей, один из них толкнул Евсея, но тотчас же сорвал с головы шапку и воскликнул:

— Ах, извините, пожалуйста!

— Ничего... — любезно ответил Климов.

Перед Евсеем стоял Грохотов. Чисто выбритый и точно смазанный маслом, он весь сиял улыбками, и его сладкие глазки играли, бегая по сторонам.

— Ну, Евсей, вот уж попал я в кашу. Если бы не мой талант... Ты знаком? Это Пантелеев, тоже наш...

Грохотов задыхался, говорил быстрым шопотом и торопливо отирал пот с лица.

— Понимаешь, — иду бульваром, вижу — толпа, в середине оратор, ну, я подошел, стою, слушаю. Говорит он этак, знаешь, совсем без стеснения, я на всякий случай и спросил соседа: кто это такой умница? Знакомое, говорю, лицо — не знаете вы фамилии его? Фамилия — Зимин. И только это он назвал фамилию, вдруг какие-то двое цап меня под руки. «Господа, — шпион!» Я слова сказать не успел. Вижу себя в центре, и этакая тишина вокруг, а глаза у всех — как шилья... Пропал, думаю...

— Зимин? — смущенно спросил Евсей, оглянувшись назад, и пошел быстрее.

Грохотов вскинул голову к небу, перекрестился и продолжал еще более торопливо:

— Но господь надоумил меня, сразу я опомнился и громко так кричу: «Господа, полная ошибка! Я не шпион, а известный подражатель знаменитых людей и звуков... Не угодно ли проверить на деле?» Эти, которые схватили меня, кричат: «Врет, мы его знаем!» Но я уже сделал лицо, как у обер-полицеймейстера, и его голосом кричу: «Кто разрешил собрание толпы?» И слышу — господи! — смеются уже!.. Ну, тут я как начал изображать все, что умею — губернатора, пилу, поросенка, муху, — хохочут! Даже те, которые держат меня, засмеялись, окайные, выпустили... И начали мне аплодировать, честное слово, — вот Пантелеев удостоверит, он все видел!..

— Правильно! — сильным голосом сказал Пантелеев, коренастый человек в очках и в поддевке.

— Да, брат, аплодировали! — с восторгом воскликнул Грохотов, застучал кулаком по своей узкой груди и закашлялся. — Теперь кончено, — я себя знаю! Артист, вот он — я! Могу сказать — обязан своему искусству жизнью, — а что? Очень просто! Народ шутить не любит...

— Народ стал доверчив, — заметил Пантелеев, раздумчиво и странно, — и очень смягчился сердцем...

— Это верно! Что делают, а? — тихонько воскликнул Грохотов и уже шопотом продолжал: — Все открылось, везде на первом плане поднадзорные, старые знакомые наши... Что такое, а?

— Столяру фамилия Зимин? — спросил Евсей еще раз.

— Зимин Матвей, по делу о пропаганде на мебельной фабрике Кнопа, — ответил Пантелеев внушительно и строго.

— Он должен быть в тюрьме! — сказал Евсей недовольно.

Грохотов весело свистнул.

— В тюрьме-е? Ты не знаешь, что из тюрьмы всех выпустили?

— Кто?

— Да народ же!..

Евсей молча прошел несколько шагов, потом спросил:

— Зачем же это?

— Вот и я говорю: не надо было позволять этого! — сказал Пантелеев, и очки задвигались на его широком носу. — Какое у нас положение теперь? Нисколько не думает начальство о людях...

— Всех выпустили? — спросил Климов.

— Всех...

Пантелеев сипло и строго продолжал, раздувая ноздри:

— И уже было несколько встреч, совершенно неприятных и даже опасных, — так что Чашин, например, должен был угрожать револьвером, потому что его ударили в глаз. Он стоит спокойно, как посторонний человек, вдруг подходит дама и оглашает публике: вот — шпион! Так как Чашин подражать животным не умеет, то пришлось обороняться оружием...

— До свиданья! — сказал Евсей. — Я домой пойду...

Он пошел переулками, а когда видел, что встречу идут люди, то переходил на другую сторону улицы и старался спрятаться в тень. У него родилось и упорно росло предчувствие встречи с Яковом, Ольгой или с кем-либо другим из их компании.

«Город велик, людей много...» — увещевал он себя, но каждый раз, когда впереди раздавались шаги, сердце его мучительно замирало и ноги дрожали, теряя силу.

«Выпустили! — с унылой досадой размышлял он. — Ничего не сказали и выпустили... Как же мне-то... разве мне все равно, где они?..»

Было уже темно. Перед воротами полицейской части одиноко горел фонарь. Евсей поравнялся с ним, и вдруг чей-то голос негромко сказал:

— На задний двор...

Он остановился, испуганно глядя во тьму под воротами. Они были закрыты, а у маленькой двери, в одном из тяжелых створов, стоял темный человек и, видимо, ждал его.

— Скорее! — недовольно приказал он.

Климков согнулся, пролезая в маленькую дверь, и пошел по темному коридору под сводом здания на огонь, слабо мерцавший где-то в глубине двора. Оттуда навстречу подползал шорох ног по камням, негромкие голоса и знакомый, гнусавый, противный звук... Климков остановился, послушал, тихо повернулся и пошел назад к воротам, приподняв плечи, желая скрыть лицо воротником пальто. Он уже подошел к двери, хотел постучать в нее, но она отворилась сама, из нее вынырнул человек, споткнулся, задел Евсея рукой и выругался:

— Чорт возьми... кто это?

— Климков...

— Ага! Ну, показывайте дорогу...

Климков молча зашагал во двор, где глаза его уже различали много черных фигур. Облитые тьмою, они вышались в ней неровными буграми, медленно передвигаясь с места на место, точно большие неуклюжие рыбы в темной холодной воде. Слащаво звучал сытый голос Соловьева:

— Это мне не подходит. Вы поймайте мне девочку, девчонку, — я вам ее высеку...

Откуда-то из-за угла непрерывно, точно вода с крыши в дождливый день, и монотонно, как чтение дьячка в церкви, лился, подобный звуку кларнета, голос Саши:

— Каждый раз, как встретятся вам эти с красными флагами, бейте их, бейте прежде тех, которые несут флаги, остальные разбегутся...

— А как нет?

— У вас будут револьверы! Также, если увидите людей, знакомых вам, тех, за которыми вы следили в свое время и которые сегодня выпущены из тюрем своеволием разнузданной толпы, — уничтожайте...

— Резонно! — сказал кто-то.

— Одним свободу дали, а других — куда? — резко крикнул Вяхирев.

Евсей отошел в угол, прислонился там к поленнице дров и, недоуменно оглядываясь, слушал.

— Тело — тельце — телятинка — мясо, — расплывались, как густые масляные пятна, нелепые слова Соловьева.

Темные стены разной высоты окружали двор, над ним медленно плыли тучи, на стенах разбросанно и тускло светились квадраты окон. В углу на невысоком крыльце стоял Саша в пальто, застегнутом на все пуговицы, с поднятым воротником, в сдвинутой на затылок шапке. Над его головой покачивался маленький фонарь, дрожал и коптил робкий огонь, как бы стараясь скорее догореть. За спиной Саши чернела дверь, несколько темных людей сидели на ступенях крыльца у ног его, а один, высокий и серый, стоял в двери.

— Вы должны понять, что свобода вам дана для борьбы! — говорил Саша, заложив руки за спину.

Был слышен шорох подошв по камням, сухие, металлические щелчки и порою негромкие, озабоченные возгласы и советы:

— Осторожнее...

— Заряжать не велено!..

Безличные во тьме, странно похожие один на другого, по двору рассыпались какие-то тихие, черные люди, они стояли тесными группами и, слушая липкий голос Саши, беззвучно покачивались на ногах, точно под сильными

толчками ветра. Речь Саши насыщала грудь Климова печальным холодом и острою враждою к шпиону.

— Вам дано право выступить против бунтовщиков в открытом бою, на вас возлагается обязанность защищать обманутого царя всеми средствами. Вас ждут щедрые милости. Кто не получил револьвера?..

Раздалось несколько негромких восклицаний:

— Я... Мне... Я...

Люди двинулись к крыльцу, Саша посторонился, серый человек присел на корточки.

— Нельзя ли два? — спрашивал ноющий голос.

— Зачем?

— Для товарища...

— Пошел, пошел...

Знакомые Евсею голоса шпионов звучали громче, более смело и веселее...

Кто-то, жадно причмокивая, ворчал:

— Патронов мало, надо бы по целой коробке...

— В двух частях я наладил дело сегодня! — говорил Саша.

— Интересно будет завтра...

Слова и звуки вспыхивали перед глазами Евсея, как искры, сжигая надежду на близость спокойной жизни. Он ощущал всем телом, что из тьмы, окружающей его, от этих людей надвигается сила, враждебная ему, эта сила снова схватит его, поставит на старую дорогу, приведет к старым страхам. В сердце его тихо закипала ненависть к Саше, гибкая ненависть слабого, непримиримое, мстительное чувство раба, которого однажды мучили надеждою на свободу.

Люди спешно, по трое и по двое, уходили со двора, исчезая под широкой аркой, зиявшей в стене. Огонь над головой шпиона вздрогнул, посинел, угас, Саша точно прыгнул с крыльца куда-то в яму и оттуда сердито гнулся:

— Сегодня в охрану не явилось семь человек, — почему? Многие, кажется, думают, что наступили какие-то праздники? Глупости не потерплю, лени — тоже... Так и знайте... Я теперь заведу порядки серьезные, я — не Филипп! Кто говорил, что Мельников ходит с красным флагом?

— Да вот я видел его...

— С флагом?

— Да. Шел и орал: «Свобода!»

Климков пошел к воротам, шагая, как по льду, и точно боясь провалиться куда-то, а цепкий голос Саши догонял его, обдавая затылок жутким холодом.

— Ну, этот дурак первый будет резать, я его знаю! — Саша засмеялся тонким воющим смехом. — У меня на него есть слово: бей за народ! А кто сказал, что Маклаков бросил службу?

«Все знает, сволочь!» — отметил Евсей.

— Это я сказал, а мне Веков, он слышал от Климкова...

— Веков, Климков, Грохотов, это всё — паразиты, выродки и лентяи! Кто-нибудь из них здесь?

— Климков, — ответил Вяхирев.

Саша крикнул:

— Климков!

Евсей протянул руку вперед и пошел быстрее, ноги у него подгибались.

Он слышал, что Красавин сказал:

— Ушел, видно. Вы бы не кричали фамилии-то...

— Прошу не учить меня! Я скоро уничтожу все фамилии и прочие глупости...

Когда Евсей вышел из ворот, его обняло сознание своего бессилия и ничтожества. Он давно не испытывал этих чувств с такой подавляющей ясностью, испугался их тяжести и, изнемогая под их гнетом, попробовал ободрить себя:

«Может, еще все обойдется... не удастся ему...»

И не верил в это.

XXI

На другой день он долго не решался выйти из дома, лежал в постели, глядя в потолок; перед ним плавало свинцовое лицо Саши с тусклыми глазами и венцом красных прыщей на лбу. Это лицо сегодня напоминало ему детство и зловещую луну, в тумане, над болотом.

Вспомнив, что кто-нибудь из товарищей может придти к нему, он поспешно оделся, вышел из дома, быстро

пробежал несколько улиц, сразу устал и остановился, ожидая вагон конки. Мимо него непрерывно шли люди, он почувствовал, что сегодня в них есть что-то новое, стал присматриваться к ним и быстро понял, что новое — хорошо знакомая ему тревога. Люди озирались вокруг недоверчиво, подозрительно, смотрели друг на друга уже не такими добрыми глазами, как за последнее время, голоса звучали тише, в словах сверкала злость, досада, печаль... Говорили о страшном.

Около него встали двое прохожих, и один из них, низенький, толстый и бритый, спросил другого:

— Сколько убито, говорите?

— Пять. Шестнадцать ранено...

— Казаки стреляли?

— Да. Мальчик убит, гимназист...

Евсей, взглянув на говоривших, сухо осведомился:

— За что?

Человек с большой черной бородой пожал плечами и ответил неохотно и негромко:

— Говорят — пьяные были они, казаки...

«Это Сашка устроил!» — уверенно сказал себе Климов.

— А на Спасском мосту толпа избивала студента и бросила в воду, — сообщил бритый, отдуваясь.

— Какая толпа? — снова и настойчиво спросил Евсей.

— Не знаю.

Чернобородый пояснил:

— Сегодня с утра по улицам ходят небольшие кучки каких-то оборванцев с трехцветными флагами, носят с собой портреты царя и избивают прилично одетых людей...

«Сашка!» — повторил Евсей про себя.

— Говорят — это организовано полицией и охраной...

— Конечно! — вскричал Климов, но тотчас же крепко сжал губы, покосился на чернобородого и решил отойти прочь. В это время подошел вагон, собеседники Евсея направились к нему, он подумал:

«Надо и мне сесть, а то догадаются, что я сыщик, — дожидаясь вагона вместе с ними, а не поехал».

В вагоне публика показалась Климову более спокойной, чем на улице.

«Все-таки закрыто, хотя и стеклами», — объяснил себе Климков эту перемену, прислушиваясь к оживленной беседе пассажиров.

Высокий человек с костлявым лицом жалобно говорил, разводя руками:

— Я тоже государя люблю и уважаю, я ему душевно благодарен за манифест и готов кричать ура сколько угодно, и готов благодарно молиться, но окна бить из патриотизма и скулы сворачивать людям — за чем же?

— Варварство, зверство в такие дни! — сказала полная дама.

— Ах, этот народ, сколько в нем ужасного!

Из угла раздался уверенный и твердый голос:

— Все это — дело полиции!

Все на минуту замолчали.

Из угла снова сказали:

— Изготавливают контрреволюцию по-русски... Присмотритесь — кто командует патриотическими манифестациями? Переодетая полиция, агенты охраны.

Евсей, с радостью слушая эти слова, незаметно разглядывал молодое лицо, сухое и чистое, с хрящеватым носом, маленькими усами и клочком светлых волос на упрямом подбородке. Человек сидел, упираясь спиной в угол вагона, закинув ногу на ногу, он смотрел на публику умным взглядом голубых глаз и говорил, как имеющий власть над словами и мыслями, как верующий в их силу.

Одетый в короткую теплую куртку и высокие сапоги, он был похож на рабочего, но бслые руки и тонкие морщины вдоль лба выдавали его.

«Переодетый!» — подумал Евсей.

Он с большим вниманием стал следить за твердой речью белокурого юноши, рассматривая его умные, прозрачно-голубые глаза и соглашаясь с ним... Но вдруг съежился, охваченный острым предчувствием, — на площадке вагона, рядом с кондуктором, он рассмотрел сквозь стекло черный выпуклый затылок, опущенные плечи, узкую спину. Вагон трясло, и знакомая Евсею фигура гибко качалась, удерживаясь на ногах.

«Яшка Зарубин».

Климков беспокойно взглянул на молодого человека, тот снял шляпу и, поправляя белокурые волнистые волосы, говорил:

— Покуда в руках нашего правительства есть солдаты, полиция, шпионы, оно не уступит народу и обществу своих прав без боя, без крови, мы должны помнить это!

— Неправда, сударь мой! — закричал костлявый человек, — государь дал полную конституцию, дал, да, и вы не смеее...

— Но кто же устраивает избиения на улицах и кто кричит «долой конституцию»? — холодно спросил молодой человек. — Да вы лучше взгляните на защитников старого порядка — вот они идут...

Вагон заскрипел, завизжал, остановился, и когда смолк раздражающий шум его движения, стали слышны беспокойные громкие крики:

— Бо-оже царя храни...

— Ур-ра-а-а...

Из-за угла улицы впереди вагона выбежало много мальчишек, они крикливо рассыпались по мостовой, точно брошенные сверху, а за ними поспешно и нестройно, черным клином, выдвинулась в улицу толпа людей с трехцветными флагами над нею, и раздались тревожные крики:

— Ур-ра! Стой, ребята...

— Долой конституцию...

— Не желаем...

— Бо-оже царя храни...

Люди толкались, забегая один вперед другого, размахивали руками, кидали в воздух шапки, впереди всех, наклонив голову, точно бык, шел Мельников с тяжелой палкой в руках и национальным флагом на ней. Он смотрел в землю, ноги поднимал высоко и, должно быть, с большой силою топал о землю, — при каждом ударе тело его вздрагивало и голова качалась. Его рев густо выделялся из нестройного хаоса жидких, смятенных криков обилием охающих звуков.

— Не хотим обмана...

За ним, подпрыгивая и вертя шеями, катились по мостовой какие-то темные и серые растрепанные люди, они

поднимали головы и руки кверху, глядя в окна домов, на-скакивали на тротуары, сбивали шапки с прохожих, снова подбегали к Мельникову и кричали, свистели, хватались друг за друга, свиваясь в кучу, а Мельников, размахивая флагом, охал и гудел, точно большой колокол.

— Стой! — высоко поднимая флаг и голову, командовал шпион. — Пой-й!

И из его широкого рта хлынул дикий и тоскливый рев:

— Бо-о...

Но тотчас же в воздухе беспорядочно и хищно, как стая голодных птиц, заплескались возбужденные крики, вцепились в голос шпиона и покрыли его торопливой, жадной массой:

— Ура-а, государю! Шапки долой-й... Православные! Долой измену!

В вагоне было тихо, все стояли, сняв шапки, и молча, бледные, смотрели на толпу, обнимавшую их волнистым, грязным кольцом. Но переодетый человек не снял шапку. Евсей взглянул на его строгое лицо, подумав: «Форсит...» — и стал смотреть на улицу сквозь стекло, криво усмехаясь. Он хорошо чувствовал ничтожество этих беспокойно прыгающих людей, ясно понимал, что их хлещет изнутри темный страх, это страх толкает их из стороны в сторону, с ним они борются, опьяняя себя громкими криками, желая доказать себе, что ничего не боятся. Они бегали вокруг вагона, как стая собак, только что выпущенных с цепи, полные неосмысленной радости, не успевшие освободиться от привычного страха, и, видимо, не могли решиться пойти вдоль широкой светлой улицы, — не умели собрать себя в одно тело, суетились, орали и тревожно оглядывались вокруг, чего-то ожидая.

Вот около вагона стоит худенький, остробородый мужичок в рваном полушубке, он закрыл глаза, поднял лицо кверху и, разинув голодный рот с желтыми зубами, кричит тонким голосом:

— До-оло-ой... не надо-о...

От напряжения по щекам у него текут слезы, на лбу блестит пот; переставая кричать, он сгибает шею, недоверчиво оглядывается, приподняв плечи, и, снова закрыв глаза, кричит, точно его бьют...

— Дово-ольно-о!

Евсей видел знакомые, сумрачные лица дворников, усатую рожу благочестивого и сердитого Климыча, церковного сторожа, голодные глаза подростков-босяков, удивленные рожи каких-то робких крестьян и среди них несколько фигур, которые всех толкают, всем указывают, насыщая безвольные, слепые тела своей волею, своей большой злостью.

Среди толпы вьюном вился Яков Зарубин, вот он подбежал к Мельникову и, дергая его за рукав, начал что-то говорить, кивая головой на вагон. Климов быстро оглянулся на человека в шапке, тот уже встал и шел к двери, высоко подняв голову и нахмутив брови. Евсей шагнул за ним, но на площадку вагона вскочил Мельников, он загородил дверь, втиснув в нее свое большое тело, и зарычал:

— Шапку долой!

Человек круто повернулся и пошел к другому выходу, а там стоял Зарубин и высоким голосом кричал:

— Вот этот, в шапке! Я его знаю! Он бомбы делает, берегись, ребята!

В руке Зарубина блестел револьвер, он взмахивал им, точно камнем, и совал вперед; на площадку лезли люди с улицы, встречу им толкались пассажиры вагона, дама визгливо рыдала:

— Шапку — снять — что вы!

Все визжали, ревели, давили друг друга и тарасили безумно прыгающие глаза на человека в шапке.

— Я буду стрелять, прочь! — громко сказал он, подвигаясь к Зарубину. Сыщик попятился назад, но его толкнули в спину, он упал на колени, опираясь одной рукою в пол, вытянул другую. Испуганно хлопнул выстрел, другой, зазвенели стекла, на секунду все крики точно застыли, а потом твердый голос презрительно сказал:

— Мерзавцы!

Воздух и стекла снова вздрогнули от выстрела, а Зарубин громко крикнул:

— У!

И стукнулся головой о пол, точно кланяясь в ноги кому-то.

Стало просторнее, тише. Климов, забитый в угол, скорчившись на лавке, равнодушно подумал:

«Могло меня убить...»

Он устало оглянулся, человек в шапке стоял на площадке вагона, к нему, мимо Евсея, шагал Мельников, а Зарубин лежал вниз лицом на полу и не двигался.

— Я вас перестреляю — идите прочь! — сухо и громко раздалось на площадке, но Мельников перешагнул через Якова, схватил белокурого юношу поперек тела, бросил его на мостовую и диким голосом исступленно закричал:

— Бей-й!

Торопливо трижды выстрелил револьвер, забухали глухие удары, кто-то заныл протяжно и жалобно, точно ребенок:

— О-ой, ноженька...

И кто-то хрипло, с натугой выкрикивал:

— А-а... по башке-то его... а-а...

А тонкий истерический голос восторженно звенел:

— Рви его, голубчики, — дави его!.. Будет, прошло их времечко, — теперь мы их... Наш черед...

И все крики вдруг покрыл громкий, полный тоскливого презрения возглас:

— Идиоты!

Евсей, пошатываясь, вышел на площадку и увидел с нее темную кучу людей. Согнув спины, взмахивая руками и ногами, натужно побряхтывая, устало хрипя, они деловито возились на мостовой, как большие мохнатые черви, таская по камням раздавленное и оборванное тело белокурого юноши, били в него ногами, растапывая лицо и грудь, хватали за волосы, за ноги и руки и одновременно рвали в разные стороны. Полуголое, облитое кровью, оно мягко, как тесто, хлопалось о камни, с каждым ударом все более теряя сходство с фигурой человека, люди озабоченно трудились над ним, а худенький мужичок, стараясь раздавить череп, наступал на него ногой и вопил:

— Пришло н-наше время...

Уже кончали дело, один за другим отходили с мостовой на тротуары, рябой парень вытирал руки овчиной полушубка и хозяйственно спрашивал:

— Кто взял его пистолет?

Теперь голоса звучали утомленно, неохотно. Но на

трогуаре, в маленькой группе людей у фонаря, был слышен смех. Обиженный голос горячо доказывал:

— Врешь — я первый! Как он упал — тут я его сапогом в морду...

— Первый извозчик Михайла навалился, а потом я...

— Михайле пуля в ногу попала...

— Ежели не в кость, так ничего!..

Эги, отведав вкуса крови, видимо, стали смелее, они оглядывались по сторонам несатыми глазами, с жадностью и ожиданием.

Среди улицы лежал бесформенный темный бугор, от него по впадинам между камней, не торопясь, растекалась кровь.

«Вот как они!» — тупо думал Евсей, следя за красными узорами на камнях. В темнокрасном дрожащем тумане перед глазами Евсея явилось волосатое лицо Мельникова, негромко и устало прогудел его голос:

— Вот — убили...

— Скоро как...

— Утром тоже одного убили...

— За что?

— Говорил... Чашин в живот ему выпалил...

— За что? — повторил Евсей.

— Обманывают они... Подложный манифест... Народу ничего нет...

— Это все Сашка выдумал! — сказал Климов тихо и убежденно.

Мельников тряхнул головой, поглядел на свои большие руки и каким-то пьяным голосом пробормотал:

— Кто-нибудь всегда обманывает... Яшка — помер?

Он вошел в вагон, наклонился и, легко подняв Зарубина, положил его на лавку, лицом кверху.

— Помер... Вон куда попало...

Евсей искал на лице Зарубина шрам от удара бутылкой, но не находил его. Теперь над правым глазом шпиона была маленькая красная дырка, Климов не мог оторвать от нее взгляда, она как бы всасывала в себя его внимание, возбуждая острую жалость к Якову.

— У тебя пистолет есть? — спросил Мельников.

— Нет...

— Вот, возьми Яшкин...

— Не хочу, не надо мне...

— Теперь всем это надо! — просто сказал Мельников и опустил револьвер в карман пальто Евсея. — Вот, — был Яшка и нет Яшки...

«Это я его отметил для смерти!» — думал Климков, рассматривая лицо товарища. Брови Зарубина были строго нахмурены, черные усики топорщились на приподнятой губе, он казался раздраженным, и можно было ждать, что из полукрытого рта взволнованно польется быстрая речь.

— Идем! — сказал Мельников.

— А он, — они как же? — спросил Евсей, с усилием отрывая глаза от Зарубина.

— Полиция приберет, — убитых подбирать нельзя — закон это запрещает! Пойдем куда-нибудь — встряхнемся... Не ел я сегодня... не могу есть, вот уж третьи сутки... И спать тоже. — Он тяжело вздохнул и закончил с угрюмым равнодушием: — Меня бы надо уложить на покой вместо Якова.

— Все губит Сашка! — сквозь зубы проговорил Евсей.

Они шли по улице, ничего не замечая, и говорили каждый о своем подавленными голосами, оба точно пьяные.

— Где верное? — спрашивал Мельников, протягивая вперед руку, как бы щупал воздух.

— Вот видишь — убили двух, — говорил Евсей, напряженно ловя непослушную мысль.

— Сегодня, надо думать, много убито...

Мельников долго молчал, потом вдруг погрозил в воздух кулаком и сказал решительно, громко:

— Будет! Взял я грехов на себя довольно. За Волгой есть у меня дядя, древний старик, — вся моя родня на земле. Пойду к нему! Он — пчеляк. Молодой был — за фальшивые бумажки судился...

И, снова помолчав немного, шпион тихонько засмеялся.

— Что ты? — досадливо спросил Евсей.

— Все забываю, — три года назад дядя-то помер...

Незаметно дошли до знакомого трактира; у двери Евсей остановился и, задумчиво посмотрев на освещенные окна, недовольно пробормотал:

— Опять люди... Не хочется мне идти туда.

— Пойдем, все равно! — сказал Мельников и, взяв его за руку, повел за собой, говоря: — Мне одному скучно будет. И боязлив я стал... Не того боюсь, что убьют, коли узнают сыщика, а так, просто — жутко.

Они не пошли в комнату, где собирались товарищи, а сели в общей зале в углу. Было много публики, но пьяных не замечалось, хотя речи звучали громко и ясно, слышалось необычное возбуждение. Климов по привычке начал вслушиваться в разговоры, а мысль о Саше, не покидая его, тихо развивалась в голове, ошеломленной впечатлениями дня, но освежаемой приливами едкой ненависти к шпиону и страха перед ним.

«Погубит он меня, — погубит...»

Мельников неохотно пил пиво, молчал и почесывался.

Недалеко от них за столом сидели трое, все, видимо, приказчики, молодые, модно одетые, в пестрых галстуках, с характерной речью. Один из них, кудрявый и смуглый, взволнованно говорил, поблескивая темными глазами:

— Пользуются одичалостью разных голодных оборванцев и желают показать нам, что свобода невозможна по причине множества подобных диких людей. Однако, — позвольте, — дикие люди не вчера явились, они были всегда, и на них находилась управа, их умели держать под страхом законов. Почему же сегодня им позволяют всякое безобразие и зверство?

Он победоносно оглянул зал и ответил на свой вопрос с горячим убеждением:

— Потому, что желают показать нам: «Вы за свободу, господа? Вот она, извольте! Свобода для вас — убийства, грабежи и всякое безобразие толпы...»

— Слышишь? — сказал Евсей. — Это Сашкин план.

Мельников угрюмо взглянул на него и не ответил.

Кудрявый поднялся со стула и продолжал, плавно поводя рукой со стаканом вина в ней:

— Неправда, и — протестую! Свобода нужна честным людям не для того, чтобы душить друг друга, но чтобы каждый мог защищать себя от распространенного насилия нашей незаконной жизни! Свобода — богиня разума, и — довольно уже пили нашу кровь! Я протестую! Да здравствует свобода!

Публика закричала, затопала ногами...

Мельников взглянул на кудрявого оратора и пробормотал:

— Какой дурак...

— Он верно говорит! — возразил Евсей, сердясь.

— А ты почему знаешь? — равнодушно спросил шпион и медленными глотками стал пить пиво.

Евсею захотелось сказать этому тяжелому человеку, что он сам дурак, слепой зверь, которого хитрые и жестокие хозяева его жизни научили охотиться за людьми, но Мельников поднял голову и, глядя в лицо Климова темными, страшно вытаращенными глазами, заговорил гулким шопотом:

— Мне потому жутко, знаешь ты, что, когда я сидел в тюрьме, был там один случай...

— Постой!... — сказал Евсей. — Не мешай!

Сквозь мягкую массу шума победоносно пробивался тонкий, сверлящий ухо голос:

— Слышали?.. Богиня, говорит он. А между прочим, у нас, русских людей, одна есть богиня — пресвятая богородица Мария дева. Вот как говорят эти кудрявые молодчики, да!

— Вон его!

— Молчать!..

— Нет, позвольте! Ежели свобода, то каждый имеет право...

— Видите? Они, кудрявые, по улицам ходят, народ избивают, который за государеву правду против измены восстает, а мы, русские, православные люди, даже говорить не смей. Это — свобода?

— Будут драться! — сказал Климов, вздрагивая. — Убьют которого-нибудь! Я уйду...

— Эх, какой ты, — ну, идем! Чорт с ними, — что тебе?

Мельников бросил на стол деньги, двинулся к выходу, низко наклонив голову, как бы скрывая свое приметное лицо.

На улице, во тьме и холоде, он заговорил, подавляя свой голос:

— Когда сидел я в тюрьме, — было это из-за мастера одного, задушили у нас на фабрике мастера, — так вот и я тоже сидел, — говорят, мне: каторга; все говорят, сначала следовательно, потом жандармы вмешались, пугают, —

а я молодой был и на каторгу не хотелось мне. Плакал, бывало...

Он начал кашлять бухающими звуками и замедлил шаг.

— Раз приходит помощник смотрителя тюрьмы Алексей Максимыч, хороший старичок, любил он меня, все сокрушался. «Эх, говорит, Ляпин, — моя фамилия настоящая Ляпин, — эх, говорит, брат, жалко мне тебя, такой ты несчастный есть...»

Речь его задумчиво и ровно расстилалась перед Евсеем мягкой полосой, а Климов тихо спускался по ней, как по узкой тропе, куда-то вниз, во тьму, к жутко интересной сказке.

— Приходит. «Хочу, говорит, тебя, Ляпин, спасти для хорошей жизни. Дело твое каторжное, но ты можешь его избежать. Только нужно тебе для этого человека казнить. Человек этот — осужденный за политическое убийство, вешать его будут по закону, при священнике, крест дадут целовать, так что ты не стесняйся». Я говорю: «Что же, если с дозволения начальства и меня за это простят, то я его повешу, только я ведь не умею...» — «Мы, говорит, тебя научим, у нас, говорит, есть один знающий человек, его паралич разбил, и сам он не может». Ну, учили они меня целый вечер, в карцере было это, насовали в мешок тряпья, перевязали его веревкой, будто шею сделали, и я его на крючок вздергивал, учился. А утром рано дали мне выпить полбутылки, вывели меня на двор, с солдатами, с ружьями, вижу: помост выстроен — виселица, значит, — разное начальство перед ней. Кутаются все, ежятся, — осень была, ноябрь. Вхожу я на помост, а доски шатаются, скрипят под ногами, как зубы. От этого стало мне неприятно, говорю: «Дайте еще водки, а то я боюсь». Дали. Потом привели его...

Мельников снова начал глухо кашлять, хватая себя за горло, а Евсей, прижимаясь к нему, старался идти в ногу с ним и смотрел на землю, не решаясь взглянуть ни вперед, ни в сторону.

— Вижу — молодой, крепкий, стоит твердо, всё волосы поглаживает так со лба на затылок. Стал я надевать на него саван и, видно, щипнул его или задел как, он и говорит мне тихонько, без сердца: «Осторожнее». Да. Поп

крест ему дает, а он: «Не беспокойтесь, говорит, я не верую»... И лицо у него такое, как будто ему известно все, что будет после смерти, наверное известно... Кое-как задушил я его, трясусь весь, руки онемели, ноги не стоят, страшно стало от него, что спокойно он все это... Господином над смертью стоит...

Мельников замолчал, оглянулся и пошел быстрее.

— Ну? — спросил Евсей шопотом.

— Ну, удушил и все... Только с того времени, как увижу или услышу — убили человека, — вспоминаю его... По-моему, он один знал, что верно... Оттого и не боялся... И знал он — главное — что завтра будет... чего никто не знает. Евсей, пойдем ко мне ночевать, а? Пойдем, пожалуйста!

— Ладно! — тихо сказал Климов.

Он был рад предложению; он не мог бы теперь идти к себе один, по улицам, в темноте. Ему было тесно, тяжело жало кости, точно не по улице он шел, а полз под землей и она давила ему спину, грудь, бока, обещая впереди неизбежную, глубокую яму, куда он должен скоро сорваться и бесконечно лететь в бездонную, немую глубину...

— Вот — хорошо! — сказал Мельников. — А то мне одному скучно.

Евсей с тоской посоветовал ему:

— Вот ты бы Сашку убил...

— Ну тебя! — отмахнулся Мельников. — Что ты думаешь, — я это люблю, убивать? Мне потом два раза говорили тоже повесить, женщину и студента, ну, я отказался. Наткнешься опять на какого-нибудь, так вместо одного двоих будешь помнить. Они ведь представляются, убитые, они приходят!

— Часто?

— Разно. От них — чем оборонишься? Богу молиться я не умею. А ты?

— Я молитвы помню...

Вошли в какой-то двор, долго шагали в глубину его, спотыкаясь о доски, камни, мусор, потом спустились куда-то по лестнице. Климов хватался рукой за стены и думал, что этой лестнице нет конца. Когда он очутился в квартире шпиона и при свете зажженной лампы осмотрел

ее, его удивила масса пестрых картин и бумажных цветов; ими были облеплены почти сплошь все стены, и Мельников сразу стал чужим в этой маленькой, уютной комнате, с широкой постелью в углу за белым пологом.

— Это все сожительница моя мудрила, — говорил он, раздеваясь. — Ушла, сволочь, один жандарм, вахмистр, сманил. Непонятно мне — вдовый он, седой, а она — молодая, на мужчину жадная, однако — ушла! Это уж третья уходит. Давай, ляжем спать...

Легли рядом, на одной постели, она качалась под Евсеем волнообразно, опускаясь все ниже, у него замирало сердце от этого, а на грудь ему тяжело ложились слова шпиона:

— Одна была — Ольга...

— Как?

— Ольга. А что?

— Ничего.

— Маленькая такая, худая, веселая. Бывало, спрячет шапку мою или что другое, — я говорю: «Олька, где вещь?» А она: «Ищи, ты ведь сыщик!» Любила шутить. Но была распутная, чуть отвернешься в сторону, а она уж с другим. Бить ее боязно было — слаба. Все-таки за косы драл, — надо же как-нибудь...

— Господи! — тихо воскликнул Климков. — Что же я буду делать?..

А его товарищ помолчал и потом сказал, глухо и медленно:

— Вот и я иной раз так же вою...

XXII

Проснулся Климков с каким-то тайным решением, оно туго опоясало его грудь невидимой широкой полосой. Он чувствовал, что концы этого пояса держит кто-то настойчивый и упрямо ведет его к неизвестному, неизбежному; прислушивался к этому желанию, осторожно ощупывал его неловкою и трусливою мыслью, но в то же время не хотел, чтобы оно определилось. Мельников, одетый и умытый, но непричесанный, сидел за столом у самовара, лениво, точно вол, жевал хлеб и говорил:

— Ты хорошо спишь. А я — вздремнул немного, ночью проснулся, — вдруг тело рядом! Помню, что Таньки нет, а про тебя забыл. Тогда показалось мне, что это тот лежит. Пришел и лег — погреться захотелось...

Он засмеялся глупым смехом.

— Однако — это не шутка, — спичку я зажигал, смотрел на тебя. Нездоров ты, по-моему, лицо у тебя синее, как...

Он оборвал речь кашлем, но Евсей догадался, какое слово не сказал его товарищ, и скучно подумал:

«Раиса тоже говорила, что я удавлюсь...»

Эта мысль испугала его, ясно намекая на то, чего он не хотел понять.

— Который час?

— Одиннадцатый...

— Рано еще! — тихо заметил Климков.

— Рано! — подтвердил хозяин, и оба замолчали. Потом Мельников предложил ему:

— Давай жить вместе — а?

— Я не знаю, — ответил Евсей.

— Чего?

— Что будет, — сказал Климков, подумав.

— Ничего не будет. Ты смирный, говоришь мало, и я тоже не люблю говорить. Спросишь о чем-нибудь — один скажет одно, другой другое, третий еще что-нибудь, а ну вас к чорту, думаю! Слов у вас много, а верных нет...

— Да, — сказал Евсей, чтобы ответить.

«Надо что-нибудь сделать! — думал он, обороняясь, и вдруг решил: — Сначала я — Сашку...» И, не желая представить, что будет потом, спросил Мельникова:

— Куда пойдем?

— На службу пойдем, — равнодушно ответил шпион.

— Я не хочу! — заявил Евсей сухо и твердо.

Мельников почесал бороду, помолчал, отодвинул от себя посуду и, положив локти на стол, заговорил раздумчиво и вполголоса:

— Служба наша теперь трудная, все стали бунтовать, а — которые настоящие бунтовщики? Разбери-ка!..

— Я знаю, кто первый подлец и злодей! — пробормотал Климков.

Мельников стал одеваться, громко сопя носом и спрашивая:

- Значит, вместе живем?
- Да...
- Вещи свои сегодня перевезешь?
- Не знаю...
- А ночевать здесь будешь?
- Здесь.

Когда шпион ушел, Климов вскочил на ноги, испуганно оглянулся и затрясся под хлесткими ударами подошрения.

«Вдруг он меня запер снаружи, а сам пошел сказать Сашке, — сейчас придут, схватят меня...»

Бросился к двери — она была не заперта. Тогда он мысленно сказал, с горечью убеждая кого-то:

«Ну, — разве можно так жить? Никому не веришь...»

Потом долго сидел за столом не двигаясь, напрягая весь свой ум, всю хитрость, чтобы построить врагу безопасную для себя ловушку, и наконец составил план. Нужно чем-нибудь выманить Сашу из охраны на улицу, идти с ним и, когда встретится большая толпа народа, крикнуть: «Это шпион! Бей его!» Должно произойти то же самое, что было у Зарубина с белокурый человеком. Если люди не возьмутся за Сашу так серьезно, как они вчера взялись за переодетого революционера, Евсей даст им пример, он первый выстрелит, как это сделал Зарубин, но он попадет в Сашу. Он будет целиться в живот ему.

Климов почувствовал себя сильным, смелым и заторопился, ему хотелось сделать дело сейчас же. Но воспоминание о Зарубине мешало ему, спутывая убогую простоту задуманного. Он невольно повторил свою мысль:

«Это я его отметил для смерти...»

Он не упрекал, не обвинял себя, но ему казалось, что какая-то нить связывает его с черненьким сыщиком и нужно что-то сделать, пусть эта нить оборвется.

«Не простился я с ним. А где его найдешь теперь?»

Надев пальто, он ощупал в кармане револьвер, обрадовался, снова почувствовал приток решимости и вышел на улицу твердыми шагами.

Но чем ближе подходил он к охранному отделению, тем заметнее таяло и линяло настроение бодрости, расплывалось ощущение силы, а когда он увидел узкий тупой переулок и в конце его сумрачный дом в три этажа, ему вдруг неодолимо захотелось найти Зарубина, проститься с ним.

«Я его обидел», — объяснял он себе это желание, быстро повертывая куда-то в сторону от своей цели.

И в то же время он смутно чувствовал, что не может ускользнуть от того, что схватило его за сердце и давит, влечет за собой, указывая единственный выход из страшной путаницы.

Задача дня, решение уничтожить Сашу не мешало темной и властной силе расти и насыщать его сердце, как сейчас помешало этой задаче внезапно вспыхнувшее желание найти труп маленького шпиона.

Искусственно раздувая это желание, опасаясь, что и оно исчезнет, Евсей несколько часов разъезжал на извозчике по полицейским частям, с напряженной деловитостью расспрашивая о Зарубине, и только вечером узнал, где его труп. Ехать туда было уже поздно, и Климов отправился домой, тайно довольный тем, что день прошел.

Мельников не явился ночевать, Евсей пролежал всю ночь один, стараясь не двигаться. При каждом движении полог над кроватью колебался, в лицо веял запах сырости, а кровать певуче скрипела. Пользуясь тишиной, в комнате бегали и шуршали проклятые мыши, шорох разрывал тонкую сеть дум о Якове, Саше, и сквозь эти разрывы Евсей видел мертвую, спокойно ожидающую пустоту вокруг себя, — с нею настойчиво хотела слиться пустота его души.

Рано утром он уже стоял в углу большого двора у желтой конурки с крестом на крыше. Седой, горбатый сторож, отпирая дверь, говорил:

— Их тут двое — одного признали, а другого нет, и сейчас его повезут в могилу, непризнанного-то...

Потом Евсей увидел сердитое лицо Зарубина. Оно только посинело немного, но не изменилось. Ранку на месте шрама обмыли, теперь она стала черной. Маленькое, ловкое тело его было наго и чисто, он лежал кверху

лицом, вытянутый, как струна, и, сложив на груди смуглые руки, как будто спрашивал, сердитый:

«Ну, что?»

А рядом с ним был положен темный труп, весь изорванный, опухший, в красных, синих и желтых пятнах. Кто-то закрыл лицо его голубыми и белыми цветами, но Евсей видел из-под них кость черепа, клочок волос, слеplенных кровью, и оторванную раковину уха.

— Этого нельзя узнать — головы-то нет почти, а узнали его, вчера пришли две барышни, вот цветы принесли, прикрыли цветами человеческое безобразие. А другой — неизвестно кто...

— Я знаю! — твердо сказал Евсей. — Он — Яков Зарубин, служил в охранном отделении.

Сторож взглянул на него и отрицательно покачал головой.

— Нет, это не он. Нам полиция тоже говорила — Зарубин, и контора наша охрану спрашивала, оказалось — не он!

— Я же знаю! — тихо и обиженно воскликнул Евсей.

— А из охраны сказали — не знаем, не служил такой...

— Неправда! — воскликнул Евсей тоскливо и растерянно.

Со двора вошли двое молодых парней, и один спросил сторожа:

— Который неизвестный?

— Вот этот.

Климков вышел на двор, сунув сторожу монету и поворачивая с бессильным упрямством:

— А все-таки это Зарубин...

— Как хотите! — сказал старик, встряхивая горбом. — Только если бы так, то его узнали бы другие, вог вчера ходил агент, тоже искал кого-то убитого, а не признал вашего-то, хотя почему его не признать?

— Какой агент? — спросил Евсей.

— Полный, лысый, ласковый по голосу...

«Соловьев!» — догадался Евсей, тупо глядя, как тело Зарубина укладывают в белый некрашеный гроб.

— Не лезет! — пробормотал один из парней.

— Согни ноги-то, чорт...

— Крышка не закроется...

— Боком клади, ну!

— А вы не охальничайте, ребята! — спокойно сказал старик.

Парень, державший голову трупа, сапнул носом и сказал:

— Это сыщик, дядя Федор...

— Мертвый человек — никто! — поучительно заметил горбатый, подходя к ним.

Парни замолчали, продолжая втискивать упругое смуглое тело в узкий и короткий гроб.

— Да вы, дурачье, возьмите другой гробок! — сердясь воскликнул горбатый.

— Чай, все равно! — сказал один из парней, а другой хмуро добавил:

— Не велик барин...

Евсей пошел со двора, унося в душе горькое чувство обиды за Якова. И вслед ему — он ясно слышал это — горбун говорил парням, убиравшим труп:

— Тоже что-то нехорошо. Пришел, говорит: знаю! Может, он этого дела хозяин? Ребята!

И почти одновременно два голоса ответили:

— Тоже шпион, видно...

— Нам-то что?..

Климков быстро вскочил в пролетку, крикнув извозчику:

— Скорее...

— Куда теперь?

Не сразу и тихо Евсей сказал:

— Прямо...

В голове у него тупо стучали обидные мысли:

«Как собаку зароют его... И меня так же...»

Встречу ему двигалась улица, вздрагивали, покачиваясь, дома, блестели стекла, шумно шли люди, и все было чуждо.

«Уничтожу Сашку... сейчас пойду и застрелю...»

Отпустив извозчика, он вошел в ресторан, в котором Саша бывал редко, реже, чем в других, остановился перед дверью комнаты, где собирались шпионы, и сказал себе:

«Сразу, как увижу, выстрелю...»

Тихонько, дрожащею рукою, он постучал в дверь и, ощупывая в кармане револьвер, застыл в холодном ожидании.

— Это кто? — спросили из-за двери.

— Я, — сказал Евсей.

Тогда дверь немножко приотворилась, в щели мелькнул глаз и красноватый маленький нос Соловьева.

— А-а-а? — удивленно протянул он. — А был слушок, что тебя убили...

— Нет, не убили! — сердито отозвался Климков, снимая пальто.

— Запри дверь... Говорили, что, будто, шел ты с Мельниковым...

Он внимательно жевал ветчину, это мешало ему говорить, жирные губы медленно выпускали равнодушные слова и чмокали.

— Значит, неверно, что ты с Мельниковым ходил?

— Почему неверно? — спросил Евсей.

— Да вот... живехонек ты, а ему плохо... Видел я его вчера...

— Где?

Шпион назвал больницу, в которой Евсей только что был.

— Зачем он там? — безучастно осведомился Климков.

— А такая история, ударил его казак шашкой по голове, и лошади потоптали. Как это случилось и почему — неизвестно. Сам он лежит без памяти, доктор сказал — не встанет...

Соловьев налил маленькую рюмку какой-то зеленой водки, посмотрел ее на свет, прищурив глаз, выпил и спросил Евсея:

— Где же это ты скрываешься, а?

— Я не скрываюсь...

Где-то в коридоре упала тарелка, Евсей вздрогнул и, вспомнив, что позабыл вынуть револьвер из кармана пальто, встал на ноги.

— Саша очень на тебя зубы точит...

В глазах Евсея проплыл злой и красный диск луны, окруженный облаком пахучего лилового тумана, ему

вспомнился гнусавый, командующий голос, желтые пальцы костлявых рук.

— Он не придет сюда?

— Не знаю...

Лицо у Соловьева лоснилось, он, видимо, был чем-то очень доволен, улыбался чаще, чем всегда, в голосе его звучала небрежная ласка бариона, это было противно Евсею.

Метались, разбивая одна другую, несвязные думы:

«Все вы сволочи. Мельникова жалко. Значит, этот жирный не хотел признать Якова. Почему?»

— Вы Зарубина видели?

— Это какого? — подняв брови, спросил Соловьев.

— Знаете.

— Да, да, да... Как же! Видел...

— А почему вы не сказали там, что знаете его? — строго спросил Евсей.

Старый шпион приподнял лысую голову и с удивлением, насмешливо спросил:

— Ка-ак?

Евсей повторил вопрос, но уже мягче.

— Это дело не твое, милый мой, ты так и знай! Жалеючи твою глупость, я тебе скажу, что нам дураки не нужны, мы их не знаем, не понимаем, не узнаем. Это тебе надо помнить ныне, и присно, и на всю жизнь. Пойми и привяжи язык веревкой...

Маленькие глазки Соловьева светились холодно, как две серебряные монетки, и голос обещал злое, жестокое. Шпион грозил коротким, толстым пальцем, жадные, синеватые губы сурово надулись, но это было не страшно.

«Все равно, — думал Евсей, — все они — одна шайка, — всех надо...»

Он подскочил к своему пальто, выхватил из кармана револьвер, направил дуло на Соловьева и глухо крикнул:

— Ну...

Старик колыхнулся, сполз с кресла на пол, одной рукой он схватил ножку стола, другую протянул к Евсею и громким шопотом забормотал:

— Не... не надо!.. Милостивый государь... не троньте!

Климов нажимал пальцем курок все туже, туже, и от усилия у него холодела голова, шевелились волосы.

— Я — женюсь завтра... Никогда не буду... — шуршали в воздухе тяжелые, трусливые слова. На подбородке шпиона блеснул жир, и салфетка на груди его дрожала.

Револьвер не стрелял, Евсею было больно палец, и ужас, властно охватывая его с головы до ног, стеснял дыхание.

— Могу дать вам денег! — быстрее зашептал Соловьев, — ничего не скажу...

Климков размахнулся, бросил револьвер в лицо шпиона, схватил пальто, побежал. Его догнали два слабых крика:

— Ай, ай...

И, точно пиявки, впелись ему в затылок, окрыляя бешеной силой ужаса.

Они гнали его долго, и все время ему казалось, что сзади него собралась толпа людей, бесшумно, не касаясь погами земли, бежит за ним, протягивая к его шее десятки длинных, цепких рук, касаясь ими волос. Она играла им, издевалась, исчезая и снова являясь, он нанимал извозчиков, ехал, спрыгивал с пролетки, бежал и снова ехал, она же все время была близко, невидимая и тем более страшная.

Стало легче, когда он увидел перед собой темную узорную стену деревьев и голые сучья, протянутые встречу к нему. Он быстро нырнул в их толпу, крепко стоявшую на земле, и пошел среди нее, двигая руками сзади себя, как бы желая плотнее сдвинуть деревья за своей спиной. Спустился в овраг, сел там на холодный песок, снова встал и пошел вдоль оврага, тяжело дыша, потный и пьяный от страха. Но скоро увидел впереди просвет, осторожно прислушался, бесшумно сделал еще несколько шагов, выглянул, — перед ним тянулось плотно железной дороги, за насыпью снова стояли деревья, но они были редкие, мелкие, и сквозь их сети просвечивала серая крыша какого-то здания.

Он быстро пошел назад, вверх по руслу оврага, назад, где лес был гуще и темнее.

«Поймают... — толкала его холодная уверенность. — Они поймают...»

По лесу блуждал тихий, медленный звон, он раздавался где-то близко, шевелил тонкие ветки, задевая их, и

они качались в сумраке оврага, наполняя воздух шорохом, под ногами сухо потрескивал тонкий лед ручья, вода его вымерзла, и лед покрывал белой пленкой серые, сухие ямки.

Климков сел, нагнулся, положил в рот кусок льда и тотчас же вскочил на ноги, вскарабкался на крутой скат оврага, снял ремень, подтяжки и начал связывать их, озабоченно рассматривая сучья над головой и без жалости к себе соображая:

«Пальто не надо снимать. Тяжелее — скорее...»

Он торопился, пальцы дрожали, и плечи его невольно поднимались кверху, точно желая спрятать шею, а в голове пугливо билось:

«Не успею...»

Промчался поезд, деревья недовольно загудели, задрожала земля, между сучьев появился белый пар.

Прилетели синицы. Бойко посвистывая, они мелькали в темных сетях сучьев, их торопливая суета ускоряла движения холодных непослушных пальцев Евсея.

Закинув ремень петель за сучок, Климков потянул его вниз, было крепко. Тогда он, так же поспешно, стал делать другую петлю, скрутив подтяжки жгутом, и, когда все было готово, вздохнул...

«Теперь надо помолиться...»

Но слова молитв не приходили на память. Он задумался на несколько секунд.

«Раиса знала мою судьбу», — неожиданно вспомнил он и, сунув голову в петлю, тихо, просто и без трепета в груди сказал:

— Во имя отца и сына и святого духа...

Толкнув ногами землю, он подпрыгнул вверх и согнул ноги в коленях. Его больно дернуло за ушами, ударило в голову каким-то странным, внутренним ударом; ошеломленный, он всем телом упал на жесткую землю, перевернулся и покатился вниз, цепляясь руками за корни деревьев, стучаясь головой о стволы, теряя сознание.

А когда очнулся, то увидел, что сидит в овраге и на груди у него болтаются оборванные подтяжки, брюки лопнули, сквозь материя жалобно смотрят до крови

исцарапанные колени. Все тело полно боли, особенно болела шея, и холод точно кожу с него сдирал. Запрокинувшись назад, Евсей посмотрел на обрыв, — там, под белым сучком березы, в воздухе качался ремень тонкой змеей и манил к себе.

«Не могу!» — с отчаянием думал Евсей.

И, заплакав слезами бессилия, обиды, лег на землю спиной. Сквозь слезы видел однотонное мутное небо, исчерченное сухими узорами черных сучьев.

Лежал долго, страдая от холода и боли, кутался в пальто, перед ним, помимо его воли, проходила цепью дымно-темных колец его бессмысленная жизнь.

Несколько раз поезда, проходя мимо рощи, наполняли ее грохотом, облаками пара и лучами света; эти лучи скользили по стволам деревьев, точно ошупывая их, желая найти кого-то между ними, и торопливо исчезали, быстрые, дрожащие и холодные.

Когда они нашли Евсея, коснулись его, он с трудом поднялся на ноги и пошел в сумерках рощи вслед за ними. У опушки остановился и, прислонясь к дереву, стал ждать, слушая отдаленный, сердитый шум города. Уже был вечер, небо посинело, над городом тихо разгоралось матовое зарево.

Вдали родился воющий шум и гул, запели, зазвенели рельсы; в сумраке, моргая красными очами, бежал поезд; сумрак быстро плыл за ним, становясь все гуще и темнее. Евсей торопливо, как только мог, взошел на путь, опустился на колени, потом улегся поперек пути на бок, спиной к поезду, положил шею на рельс и крепко закутал голову полою пальто.

Несколько секунд ему было приятно ощущать жгучее прикосновение железа, оно укрощало боль в шее, но рельс дрожал и пел громче, тревожнее, он наполнял тело ноющим стоном, и земля, тоже вздрагивая мелкою дрожью, как будто стала двигаться, уплывая из-под тела, отталкивая его от себя.

Поезд катился тяжело и медленно, но уже оглушал лязгом сцеплений, равномерными ударами колес на стыках рельс, его тяжелое дыхание ревело и толкало Климкова в спину, и все вокруг Евсея и в нем тряслось, бурно волновалось, отрывая его от земли.

Он не мог более ждать, вскочил на ноги, побежал вдоль рельс и закричал высоким, визгливым голосом:

— Я все буду... я буду... буду...

По гладко отшлифованному металлу рельс скользили, обгоняя Климкова, красноватые лучи огня, они разгорались ярче, две красные полосы железа казались раскаленными и стремительно текли вдоль по бокам Евсея, направляя его бег.

— Я — буду!.. — визжал он, размахивая руками.

Что-то жесткое толкнуло его в зад, он ткнулся на шпалы между красными струнами рельс, и железный суровый грохот раздавил его слабый визг...

ИСПОВЕДЬ

ФЕДОРУ ШАЛЯПИНУ ПОСВЯЩАЮ

М. ГОРЬКИЙ

...Позвольте рассказать жизнь мою; времени повесть эта отнимет у вас немного, а знать ее — надобно вам.

Я — крапивник, подкидыш, незаконный человек; кем рожден — неизвестно, а подброшен был в экономию господина Лосева, в селе Соколем, Красноглинского уезда. Положила меня мать моя — или кто другой — в парк господский, на ступени часовенки, где схоронена была старая барыня Лосева, а найден я был Данилой Вяловым, садовником. Пришел он рано утром в парк и видит: у двери часовни дитя шевелится, в тряпки завернуто, а вокруг кот дымчатый ходит.

У Данилы прожил я до четырех лет, но он сам многодетный был, кормился я где попало, а когда пищи не найду, — попищу, попищу да голоден и засну.

Четырех лет взял меня к себе дьячок Ларион, человек одинокий и чудесный; взял он меня для скуки своей. Был он небольшого роста, круглый и лицо круглое; волосы рыжие, а голос тонкий, подобно женскому, и сердце имел тоже как бы женское — до всех ласковое. Любил вино пить и пил помногу; трезвый молчалив бывал, глаза полужакрыты всегда, и вид имел человека виноватого пред всеми, а выпивши — громко ирмосы и тропари пел, голову держал прямо и всякому улыбался.

От людей в стороне стоял, жил бедно, надел свой попу отдал, а сам, зиму и лето, рыбу ловил да — забавы ради — птиц певчих, к чему и меня приучил. Любил он птиц, и они не боялись его; умилительно вспомнить, как, бывало, бегают поползень — птица очень дикая — по рыжей голове его и путается в огневых волосах. Или сядет

на плечо и в рот ему заглядывает, наклоняя умную голову свою. А то ляжет Ларион на лавку, насыплет конопли в голову и в бороду себе, и вот слетятся чижи, щеглята, синицы, снегири — роются в волосах дьячка, по щекам лезят, уши клюют, на нос ему садятся, а он лежит и хохочет, жмуря глаза да ласково беседуя с ними. Завидовал я ему в этом — меня птицы боялись.

Нежной души человек был Ларион, и все животные понимали это; про людей того не скажу — не в осуждение им, а потому, что, знаю, — человека лаской не накормишь.

Зимою трудновато бывало ему: дров нет и купить не на что, деньги пропиты; в избенке, как в погребе, холодно, только пичужки щебечут да поют, а мы с ним, лежа на холодной печи, всем, чем можно, окутаемся и слушаем птичье пение... Ларион им подсвистывает — хорошо умел! — да и сам был похож на клёста: нос большой, крюком загнутый, и красная голова. А то, бывало, скажет мне:

— Вот, слушай, Мотька, — меня Матвеем окрестили, — слушай!

Ляжет на спину, руки под голову, зажмурит глаза и заведет своим тонким голосом что-нибудь из литургии заупокойной. Птицы замолчат, прислушаются, да потом и сами вперебой петь начнут, а Ларион пуще их, а они ярятся, особенно чижи да щеглята или дрозды и скворцы. До того он допоется, бывало, что сквозь веки из глаз у него слезы текут, щеки ему мочат и, омытое слезами, станет серым лицо его.

От такого пения иной раз жутко становилось, и однажды я сказал ему тихонько:

— Что ты, дядя, все про смерть поешь?

Перестал он, поглядел на меня и говорит, смеясь:

— А ты не бойся, глупый! Это ничего, что смерть, зато — красиво! В богослужении самое красивое — заупокойная литургия: тут ласка человеку есть, жалость к нему. У нас, кроме покойников, никого не умеют жалеть!

Слова эти — хорошо помню, как и все его речи, но понимать их в ту пору я, конечно, не мог. Детское только перед старостью понятно, в самые мудрые годы человека.

Помню тоже — спросил я его: почему бог людям мало помогает?

— Не его это дело! — объяснил он мне. — Сам себе помогай, на то тебе разум дан! Бог — для того, чтобы умирать не страшно было, а как жить — это твое дело!

Рано забыл я эти речи его, а вспомнил — поздно, и оттого много лишнего горя перенес.

Замечательный был человек! Все люди, когда удят, не кричат, не разговаривают, чтобы не пугать, — Ларион поет неумолчно, а то рассказывает мне жития разные или о божии говорит, и всегда к нему рыба шла. Птиц ловят тоже с осторожностью, а он все время свистит, дразнит их, беседы с ними ведет, и — ничего! — идет птица и в чашки и в сеть. Опять же — насчет пчел — рон отсаживать или что другое, — старые пчелы с молитвой это делают, и то не всяк раз удается им, позовут дьячка — он бьет пчел, давит их, ругается матерно, — а все сделает в лучшем виде. Не любил он пчел: они у него дочь ослепили. Забралась на пчельник девочка — три года было ей, — а пчела ее в глаз и чикнула; разболелся глазок да ослеп, за ним — другой, потом девочка померла от головной боли, а мать ее сошла с ума...

Да, все он делал не как люди, ко мне ласков был, словно мать родная; в селе меня не очень жаловали: жизнь — тесная, а я — всем чужой, лишний человек. Вдруг чей-нибудь кусок незаконно съем...

Приучил меня Ларион ко храму, стал я помогать ему по службе, шел с ним на клиросе, кадило зажигал, все делал, что понадобится; сторожу Власию помогал порядок в церкви держать и любил все это, особенно зимой. Церковь-то деревянная, топили ее хорошо, тепло было в ней.

Всенощная служба больше утренней приятна мне была; к ночи, трудом очищенные, люди отрешаются от забот своих, стоят тихо, благолепно, и теплятся души, как свечи восковые, малыми огоньками; видно тогда, что хоть лица у людей разные, а горе — одно.

Ларион любил службу во храме: закроет глаза, голову рыжую кверху закинет, кадык выпятит и — зальется, запоет. До того доходил, что и лишнее певал, — уж поп ему из алтаря знаки делает — куда, дескать, тебя зашло? И читал тоже прекрасно, нараспев, звонко, с ласкою в голосе, с трепетом и радостью. Поп не любил его, он попа — тоже и не раз, бывало, говорил мне:

— Какой это священник! Он не поп, а барабан, по которому нужда и привычка палками бьют. Был бы я попом, я бы так служил, что не токмо люди — святые иконы плакали бы!

И это верно — нехорош был поп на своем месте: лицо курносое, черное, словно порохом опалено, рот широкий, беззубый, борода трепаная, волосом — жидок, со лба — лысина, руки длинные. Голос имел хриплый и задыхался, будто не по силе ношу нес. Жаден был и всегда сердит, потому — многосемейный, а село бедное, земли у крестьян плохие, промыслов нет никаких.

Летом, когда и комар богат, мы с Ларионом днюем и ночуем в лесу, за охотой на птиц, или на реке, рыбу ловя. Случалось — вдруг треба какая-нибудь, а дьячка нет, и где найти его — неведомо. Всех мальчишек из села разгонят искать его; бегают они, как зайчата, и кричат:

— Дьячок! Ларивон! Айда домой!

Едва найдут... Поп ругается, жалобой грозит, а мужики — смеются.

Был у него один дружок, Савелка Мигун, ворище известный и пьяница заливной, не раз бит бывал за воровство и даже в остроге сидел, но, по всему прочему, — редкостный человек! Песни он пел и сказки говорил так, что невозможно вспомнить без удивления.

Множество раз я его слышал, и теперь вот он предмною жив стоит: сухонький, юркий, бороденка в три волоса, весь оборванный, рожа маленькая, клином, а лоб большой, и под ним воровские развеселые глаза часто мигают, как две темные звезды.

Бывало, притащит он бутылку водки, а то Лариона заставит купить, сядут они друг против друга за стол, и говорит Савелка:

— А ну-ко, дьяче, валяй «Покаяние»!

Выпьют... Ларион поконфузится немножко да и запоеет, а Савелка сидит, как пришитый, мигает, бороденкой трясет, слезы на глазах у него, лоб рукой поглаживает и улыбается, сгоняя пальцами слезинки со щек.

Потом подскочит, как мяч, кричит:

— Очень превосходно, Ларя! Ну, и завидую я господу богу — хорошо песни сложены ему! Человек-то, Ларя, а? Каков есть человек, сколь он добр и богат душой, а? Ему

ли уж не трудно перед богом ходить! А он — вот как — на! Ты мне, господи, — ничего, а я тебе — всю душу!

— Не кощунь! — скажет Ларион.

— Я? — кричит Савелка. — Нисколько! Даже и в помыслах нет! Где же я кощуню? Никак! Радуюсь за бога — и больше ничего! Ну, а теперь я тебе спою!

Встанет, руку вытянет и начнет колдовать. Пел он тихо, таинственно пел, глаза широко раскроет, зажгет их каким-то особенным огнем, и на вытянутой руке его сухие пальцы шевелятся всегда, словно ищут чего-то в пустоте. Ларион к стене отвалится, опираясь руками о скамью, откроет рот и смотрит удивленный; я на печи лежу, а сердце у меня замирает печально-сладостно. Потемнеет весь Савелка, только мышинные зубы его блестят, да сухой язык шевелится, как у змеи, и пот на лбу выступит крупными каплями. Голосу у него — конца нет, так и льется, так и светится, подобно ручью в поле. Кончит, покачивается, оботрет лицо ладонью, выпьют оба и долго молчат. Потом Савелка просит:

— А ну-ко, Ларя, «Волною морскою»!

И так они весь вечер друг друга утешают, пока не спянятся оба; тогда Мигун начинает похабные сказки рассказывать про попов, помещиков, царей; дьячок хохочет и я тоже, а Савелка без устали сказку за сказкой вяжет и так смешно, что впору задохнуться со смеху.

А еще лучше он по праздникам у кабака певал: встанет пред народом, зажмурится крепко, так что на висках морщины лягут, да и заведет; смотришь на него — и словно песня в грудь ему из самой земли исходит: и слова ему земля подсказывает, и силу голосу дает. Стоят и сидят вокруг мужики; кто голову опустил и соломинку грызет, иной смотрит в рот Савелке и весь светится, а бабы даже плачут, слушая.

Кончит он — просят:

— Валяй, брат, еще!

Выпить поднесут.

Был про Мигуна такой рассказ: украл чего-то в селе, поймали его мужики да и говорят:

— Ну, — кончено твое дело! Теперь мы удавим тебя, невтерпеж нам ты!

А он будто отвечает:

— Бросьте, мужики, не дело затеяли! Краденое вы у меня отняли, стало быть — ничего вами не потеряно, — имение всегда новое можно нажить, а такого человека, как я, — где вам взять? Кто вас утешит, как не будет меня?

— Ладно, — говорят, — толкуй!

Повели его в лес ~~вешать~~, а он дорогой и запел. Сначала шли — торопились, потом перестали спешить, а пришли к лесу — и готова веревка, но ждут, когда он кончит последнюю песню свою, а потом говорят друг другу:

— Пускай еще одну споет, это ему вместо отходной будет!

Спел он и еще, а тут солнышко взошло, отглянулись люди — ясный день с востока идет, Мигун среди них улыбается, ожидает смерть без страха. Сконфузились мужики.

— Ну его, ребята, ко всем псам! — говорят. — Удавишь — греха да склоки разной не оберешься.

И порешили не трогать Мигуна.

— За талан твой, — говорят, — мы те и в пояс поклонимся, а за воровство все-таки должны бока намать.

Побили его легонько да вместе с ним и пошли назад.

Все это, может быть, и выдуманно, да уж очень лестно про людей говорит и Савелку хорошо ставит. А еще и то подумайте. коли люди этак складно сказки сказывают, стало быть — не больно плохи они, а в том и вся суть!

Не только песни пели, но и о многом разговаривали Савелка с Ларионом, часто — о дьяволе. не в чести он был у них.

Помню, раз говорит дьячок:

— Дьявол есть образ злобы твоей, отражение духовной темноты...

— Глупость моя, значит? — спрашивает Савелка.

— Именно она — и больше ничего!

— Должно быть, так и есть! — смеясь, говорит Мигун. — А то, кабы он жив был, давно бы ему спаять меня надобно!

Совсем не верил Ларион в чертей; помню, на гумне, споря с мужиками-раскольниками, кричал он им:

— Не дьявольское, но — скотское! Добро и зло — в человеке суть: хотите добра — и есть добро, зла хо-

чете — и будет зло от вас и вам! Бог не понуждает вас на добро и на зло, самовластны вы созданы волею его и свободно творите как злое, так и доброе. Дьявол же ваш — нужда и темнота! Доброе суть воистину человеческое, ибо оно — божие, злое же ваше — не дьявольское, но скотское!

Они ему кричат:

— Еретик рыжий!

А он — свое.

— Оттого, — говорит, — дьявол и пишется рогат и козлоног, что он есть скотское начало в человеке.

Лучше всего о Христе Ларион говорил: я, бывало, плакал всегда, видя горькую судьбу сына божия. Весь он — от спора в храме с учеными до Голгофы — стоял предо мною, как дитя чистое и прекрасное в неизреченной любви своей к народу, с доброй улыбкой всем, с ласковым словом утешения, — везде дитя, ослепительное красотой своею!

— И с мудрецами храма, — говорил Ларион, — как дитя, беседовал Христос, оттого и показался им выше их в простой мудрости своей. Ты, Мотя, помни это и старайся сохранить в душе детское твое во всю жизнь, ибо в нем — истина!

Спрашивал я его:

— А скоро опять Христос придет?

— Скоро уже! — говорит. — Скоро, — слышно, что люди снова ищут его!

Вспоминая теперь Ларионовы слова, кажется мне, что видел он бога великим мастером прекраснейших вещей, и человека считал неумелым существом, заплутавшимся на путях земных, и жалел его, бесталанного наследника великих богатств, богом ему отказанных на сей земле.

У него и у Савелки одна вера была. Помню, икона чудесно явилась у нас на селе. Однажды рано утром по осени пришла баба до колодца за водой и — вдруг видит: во тьме на дне колодца — сияние. Собрала она народ, земский явился, поп пришел, Ларион прибежал, спустили в колодезь человека, и поднял он оттуда образ «Неопалимой купины». Тут же начали молебен служить, и решено было часовню над колодцем поставить. Поп кричит:

— Православные, жертвуйте!

Земский тоже приказывает, и сам трешницу дал. Мужики развязали кошель, бабы усердно холсты тащат и всякое жито, по селу ликование пошло, и я был рад, как в день светлого Христова воскресения.

Но еще во время молебна видел я, что лицо Ларионово грустно, и не смотрит он ни на кого, а Савелка, словно мышь шныряя в толпе, усмехается. Ночью я ходил смотреть на явленную: стояла она над колодцем, источая дыму подобное голубовато-светлое сияние, будто некто невидимый ласково дышал на нее, грея светом и теплом; было и жутко и приятно мне.

А пришел я домой, слышу — Ларион грустно говорит: — Нет такой божьей матери!

И Савелка тянет, смеясь:

— Я зна-аю! Чай, Моисей-то задолго до Христа был! Каковы жулики? Чудо, а? Ах вы, чудаки!

— В тюрьму бы за это и земского и попа! — тихо-тихо говорит Ларион. — Чтобы не убивали они, корысти своей ради, бога в людях!

Я чувствую — неприятен мне этот разговор, и спрашиваю с печи:

— Вы про что говорите, дядя Ларион?

Замолчали они, шепчутся оба, видимо, обеспокоились. Потом Савелка кричит:

— Ты — чего? Сам на людей жалуешься — дураки, и сам же, без стыда, дурака делаешь из Матвейки? Зачем?

Подскочил и говорит мне:

— Гляди, Мотька, вот — спички! Вот — я их растираю в руках... Видишь? Гаси огонь, Ларион!

Погасили лампу, и, вижу я, в темноте две Савелкины руки сияют тем же дымом голубым, как и явленная икона. Страшно и обидно было видеть это.

Савелка чего-то говорит, а я в угол печи забился и уши себе пальцами заткнул. Тогда влезли они оба ко мне — водку тоже взяли — и долго, наперебой, рассказывали мне об истинных чудесах и обманном надругательстве над верою людей. Так я и заснул под их речи.

А через два-три дня приехало множество попов и чиновников, икону арестовали, земского с должности сменили, попа тоже настращали судом. Тогда и я поверил

в обман, хоть и трудно было мне согласиться, что все это только для того сделано, чтобы у баб холсты, у мужиков пятаки вытянуть.

Еще когда минуло мне шесть лет, начал Ларион меня грамоте учить по-церковному, а через две зимы у нас школу открыли, — он меня в школу свел. Сначала я несколько откатнулся от Лариона. Учиться понравилось мне, взялся я за книжки горячо, так что он, бывало, спросит урок у меня и, прослушав, скажет:

— Славно, Мотька!

А однажды сказал:

— Хорошая кровь в тебе горит, видно, не глуп был твой отец!

Я спрашиваю:

— А где он?

— Кто ж это знает!

— А он — мужик?

— Наверное одно можно сказать — мужчина. А насчет сословия — неизвестно. Едва ли мужик однако! По лицу твоему да по коже — кроме характера — из господ, видать!

Запали эти случайные слова его в память мне и не принесли добра. Назовут меня в школе подкидышем, а я — на дыбы и кричу товарищам:

— Вы — мужичьи дети, а мой отец — барин!..

Очень я утвердился на этом — надо обороняться чем-нибудь против насмешек, а иной обороны не было на уме. Не взлюбили меня и уж начали зазорно звать, а я — драться стал. Парнишка крепкий был, дрался ловко. Пошли на меня жалобы, говорят дьячку люди, отцы и матери:

— Уйми своего приبلудного!

А иные и без жалоб, сами за уши драли, сколько хотелось.

Тогда Ларион сказал мне:

— Может ты, Матвей, даже генеральский сын, только это — не велика важность! Все родятся одинаково, стало быть, и честь одна для всякого.

Но уж опоздал он — мне в ту пору было лет двенадцать, и обиды я чувствовал крепко. Потянуло меня в сторону от людей, снова стал я ближе к дьячку, целую зиму

мы с ним по лесу лазили, птиц ловили, а учиться я хуже пошел.

Кончил я школу на тринадцатом году; задумался Ларион, что ему дальше делать со мной? Бывало, плывем мы с ним в лодке, я — на веслах, а он — на руле, и водит он меня в мыслях своих по всем тропам судьбы человеческой, рассказывает разные планы жизни.

И попом он меня видит, и солдатом, и приказчиком, а везде нехорошо для меня!

— Как же, Мотька? — спрашивает.

Потом поглядит на меня и скажет, смеясь:

— Ничего, не робей! Коли не сорвешься, так вылезешь! Только солдатства избегай, там человеку — крышка!

В августе, вскоре после успеньева дня, поехали мы с ним на Любушин омут сомат ловить, а был Ларион малость выпивши, да и с собой тоже вино имел. Глотает из бутылки понемножку, крикает и поет на всю реку.

Лодка у него плохая была, маленькая и валкая, повернулся он в ней резко, зачерпнула она бортом, — и очутились мы оба в воде. Не первый раз случилось это, и не испугался я. Вынырнул — вижу, Ларион рядом со мной плавает, трясет головой и говорит:

— Плыви на берег, а я окаянное корыто буду гнать туда!

Не далеко от берега было, течение слабое, я плыву совсем спокойно, но вдруг, словно за ноги меня дернуло или в студеную струю попал, обернулся назад: идет наша лодка вверх дном, а Лариона — нет. Нет его нигде!

Словно камнем, ударило меня страхом в сердце, перевернуло судорогой, и пошел я ко дну.

В тот час ехал полем приказчик из экономии, Егор Титов, видел он, как перевернулись мы, видел, как Ларион пропал; когда я стал тонуть — Титов уже раздевался на берегу. Он меня и вытащил, а Лариона только ночью нашли.

Погасла милая душа его, и сразу стало для меня темно и холодно. Когда его хоронили, хворый я лежал и не мог проводить на погост дорогого человека, а встал на ноги — первым делом пошел на могилу к нему, сел там — и даже плакать не мог в тоске. Звенит в памяти голос его, оживают речи, а человека, который бы ласковую руку

на голову мне положил, большие нет на земле. Все стало чужое, далекое... Закрыв глаза, сижу. Вдруг — поднимает меня кто-то. взял за руку и поднимает. Гляжу — Титов.

— Нечего, — говорит, — тебе делать тут, идем!

И повел меня. Я — иду.

Говорит он мне:

— Видно, сердце у тебя, мальчонка, хорошее, добро помнит.

А мне от этого не легче. Молчу. Дальше говорит Титов:

— Еще в то время, как подкинули тебя, думал я — не взять ли ребенка-то себе, да не успел тогда. Ну, а видно, что господь этого хочет, — вот он снова вручил жизнь твою в руки мне. Значит, будешь ты жить со мной!

Мне тогда все едино было — жить, не жить, и как жить, и с кем... Так я и встал с одной точки на другую незаметно для себя.

Через некоторое время огляделся. Титов этот — мужчина высокий, угрюмый, стриженный, как солдат, с большими усами и бритой бородой. Говорил не спеша, как бы опасаясь лишнее сказать или сам слову своему не веря. Руки всегда за спиной, а то в карманах держал, словно стыдился их. Знал я, что мужики на селе — да и во всей округе — не любят его, а года два назад, в деревеньке Малининой, даже колом ударили. Говорили — он с пистолетом ходит всегда. Жена его, Настасья Васильевна, была женщина красивая, только — болела; худая, едва ходит, лицо без кровинки, а глаза большие, горят сухо и боязливо таково. Дочь у них, Оля, на три года моложе меня, тоже хилая и бледненькая.

И все вокруг них тихо: на полу толстые половики лежат, шагов не слышать, говорят люди мало, вполголоса, — даже часы на стене осторожно постукивают. Пред иконами неугасимые лампы горят, везде картинки наклеены: страшный суд, муки апостольские, мучения святой Варвары. А в углу на лежанке старый кот лежит, толстый, дымчатый, и зелеными глазами смотрит на все — блюдет тишину. В тишине этой осторожной ни Ларионова нения, ни птиц наших долго не мог я забыть.

Свел меня Титов в контору и начал приучать к бумажному делу. Живу. Вижу — следит за мной Титов,

присматривается, молчит, словно ожидает чего-то от меня. Неловко мне.

Веселым я никогда не был, а в то время и совсем сумрачен стал; говорить — не с кем да и не хочется.

Мутно было на душе у меня, не нравились мне Титовы подозрительной тишиной жизни своей. Стал я ходить в церковь, помогать сторожу Власию да новому дьячку, — этот был молодой, красивый, из учителей какой-то; к службе лентяй, с попом подхалим, руку ему целует, собачкой бегаёт за ним по пятам. На меня кричит, а — напрасно, потому что я службу знал не хуже его и делал все как надо.

В ту пору и начал я трудную жизнь мою — бога полюбил.

Поправляя однажды перед всенощной свечи у иконы богородицы, вижу — и она и младенец смотрят на меня серьезно и задушевно таково... Заплакал я и встал на колени пред ними, молясь о чем-то — за Лариона, должно быть. Долго ли молился — не знаю, но стало мне легче — согрелся сердцем и ожил я.

Власий в алтаре трудился, бормочет там свои непонятные речи. Вошел я к нему, взглянул он на меня, спрашивает:

— Что обрадовался, али копейку нашел?

Знал я, почему он так спросил, — часто я деньги на полу находил, — но теперь неприятны показались мне слова его, как бы ушипнул он меня за сердце.

— Богу я помолился, — говорю.

— Которому? — спрашивает. — Их тут у нас больше ста, богов-то! А вот где — живой? Где — который настоящий, а не из дерева, да! Поищи-ка его!

Цена его слов известна мне была, а обидели они меня в тот час. Власий — человек древний, уже едва ноги передвигал, в коленях они у него изогнуты, ходит всегда как по жердочке, качаясь весь, зубов во рту — ни одного, лицо темное и словно тряпка старая, смотрят из нее безумные глаза. Ангел смерти Власия тоже древен был — не мог поднять руку на старца, а уже разума лишился человек: за некоторое время до смерти Ларионовой овладел им бред.

— Не церкви, — говорит, — я сторож, а скоту: пастух я, пастухом родился и так умру! Вот — скоро отойду от церкви в поле.

Известно было — скота он никогда не пас.

— Церковь, — говорит, — то же кладбище, место мертвое, а я — к живому делу хочу, скотинку пасти надобно мне, все мои деды пастухами были, и я тоже до сорока двух лет.

Ларион смеялся над ним и однажды, смеясь, спросил:

— Был в древности Велес, скотий бог, — не прашур ли твой?

Заставил его Власий рассказать про Велеса подробно, а выслушав, говорит:

— Так и есть! Я давно знаю, кто я таков, да боюсь попа! Ты погоди, дьячок, не говори ему! Придет время — я сам скажу, да...

На этом и остановился старик.

И вот, хотя знаю я безумие его, а смущает он меня.

— Смотри, — говорю, — разразит тебя бог!

А он шамкает:

— Я сам — бог! Да!

И вдруг, запнувшись за подножие, едва не упал, а я понял это как знамение.

Ревностно полюбил я церковное; со всем жаром сердца ребячьего окунулся в него, так, что все священно стало для меня, не только иконы да книги, а и подсвечники и кадило, самые угли в нем — и те дороги! Ко всему прикасаюсь с трепетом, с жуткой радостью, в алтарь войду — сердце замирает, камни пола готов целовать. Чувствую себя в луче ока всевидящего, и направляет оно шаги мои, обнимая силою нездешнюю, грея светом ярким, от которого глаза слепнут и не видит человек ничего кроме, как только себя. Стою, бывало, один во храме, тьма кругом, а на сердце — светло, ибо в нем — бог и нет места ни детским печалям, ни обидам моим и ничему, что вокруг, что есть жизнь человеческая. Близость к богу отводит далеко от людей, но в то время я, конечно, не мог этого понять.

Начал книги читать церковные — все, что были; читаю — и наполняется сердце мое звоном красоты божественного слова; жадно пьет душа сладость его, и

открылся в ней источник благодарных слез. Бывало, приду в церковь раньше всех, встану на колени перед образом Троицы и лью слезы, легко и покорно, без дум и без молитвы. нечего было просить мне у бога, бескорыстно поклонялся я ему.

Помню Ларионовы слова:

— Иже уста твоя моляся — воздуху молятся, а не богу; бог бо мыслям внимает, а не словам, яко человеки.

А у меня даже и мыслей не было: просто стою на коленях и как бы молча радостную песнь пою, радуюсь же тому, что понимаю — не один я на свете, а под охраной божией и близко ему.

Было это время хорошо для меня, время тихо-радостного праздника. Любил я один во храме быть, и чтобы ни шума, ни шелеста вокруг — тогда, в тишине, пропадал я, как бы возносился на облака, с высоты их все люди незаметны становились для меня и человеческое — невидимо.

Но Власий мешал мне: шаркает ногами по плитам пола, дрожит, как тень дерева на ветре, и бормочет беззубым ртом:

— Не к чему мне тут быть, разве это мое дело! Сам я бог, пастырь всего скота земного, да! И уйду завтра в поле! На что загнали меня сюда, в холод, в темноту? Мое ли дело?

Тревожил он меня кощунством своим, — думалось мне — нарушает он чистоту храма, и богу обидно видеть его в доме своем.

О ту пору замечено было благочестие и рвение мое, так что поп стал при встрече как-то особенно носом сопеть и благословлял меня, а я должен был руку ему целовать — была она всегда холодная, в поту. Завидовал я его близости к тайнам Божиим, но не любил и боялся.

А Титов все зорче смотрел на меня маленькими, тусклыми, как пуговицы, глазками. Все они обращались со мной осторожно, словно я стеклянный был, а Ольгунька не раз тихонько спрашивала меня:

— Ты святой?

Робела она предо мною, даже когда я ласков с нею бывал и рассказывал ей жития или что другое, церковное. Зимой по вечерам я пролог или минею вслух читал. За

окнами вьюга бесприютная по полю мечется, в стены стучит, стонет и воет, озябая. В комнате тихо, все сидят, не шелохнутся; Титов голову низко опустит, не видать его лица, Настасья неподвижными глазами смотрит на меня, Ольгунька дремлет, ударит мороз — она вздрогнет, оглянется и тихонько улыбнется мне. Иной раз, не поняв какое-нибудь слово церковное, переспросит она — прозвонит мягкий голосок ее, и снова тихо, только вьюга крылатая жалобно поет, ищет отдыха, по полю летая.

Те святые мученики, кои боролись за господа, жизнью и смертью знаменуя силу его, — эти были всех ближе душе моей; милостивцы и блаженные, кои людям отдавали любовь свою, тоже трогали меня, те же, кто бога ради уходили от мира в пустыни и пещеры, столпники и отшельники, непонятны были мне: слишком силен был для них сатана.

Ларион отвергал сатану, а надо было принять его, жития святых заставили — без сатаны непонятно падение человека. Ларион видел бога единым творцом мира, все-сильным и непобедимым, — а откуда же тогда безобразное? По житиям святых выходило, что мастер всего безобразного и есть сатана. Я и принял его в такой должности: бог создает вишню, сатана — лопух, бог — жаворонка, сатана — сову.

Но вышло как-то так, что хоть я и признал сатану, а не поверил в него и не убоился; служил он для меня объяснением бытия зла, но в то же время мешал мне, унижая величие божие. Старался я об этом не думать, но Титов постоянно наводил меня на мысли о грехе и силе дьявола.

Читаю я, а он, вдруг и не показывая глаз, спрашивает:

— Матвей, что значит — камо?

Отвечаю:

— Куда...

Помолчав, он говорит:

— Камо гряду от лица твоего и от гнева твоего камо бегу?

Жена его глубоко вздохнет и еще более испуганно смотрит на меня, чего-то ожидая. И Ольга, мигая синими глазками, предлагает:

— А — в лес?

— Гряду — значит иду? — спрашивает Титов.

— Да.

Вынул он, помню, руки из карманов и стал крутить обеими свои длинные усы, а брови на лбу у него дрожат. Потом быстро спрятал руки и говорит:

— Это царь Давид спрашивал — камо бегу! Царь, а боялся! Видно, дьявол-то много сильнее его был. Помазанник божий, а сатана одолел... Камо гряду? К чорту в лапы грядешь — и спрашивать нечего! Вот оно как! Значит — нам, холопам, нечего и вертеться, коли цари туда поспевают.

Ходил он по этой тропе часто, и хотя я речей его не понимал, — неприятны они мне были всегда. О благочестии моем всё больше говорили, и вот Титов начал внушать мне:

— Молись усердно за меня и за всю мою семью, Матвей! Очень я тебя прошу — молись! Пусть это будет платой твоей за то, что приютил я тебя в тепле и в ласке.

А мне что? Молитва моя без содержания была, вроде птичьей песни солнцу, — стал я молиться за него и за жену, а больше всего за Ольгуньку, — очень хорошая девочка росла, тихая, красивая, нежная. Обращался я к богу словами псалмов Давидовых, а также всеми другими молитвами, какие знал, и было приятно мне твердить про себя складные, певучие слова, но как только вспомню Титова, скажу: «Помилуй, господи, велиею милостию твоею раба твоего Георгия...» — и вдруг остынет сердце, и как бы иссякнет ручей молитвословия моего, замутится ясность радости, словно стыдно мне перед богом, — не могу больше! И, потупя глаза, чтобы не видеть лика на иконе, встаю на ноги, не то — огорчен, не то — сконфужен. Беспокоило это меня — почему так случается? Старался понять и не мог, а жалко было мне, когда исчезала радость моя, разбиваясь об этого человека.

Как заметили меня люди, то и я стал их замечать.

Бывало, в праздник выйду на улицу — народ смотрит на меня любопытно, здороваются со мной иные степенно, а иной — со смешком, но все видят.

— Вот, — говорят, — молитвенник наш!

— Гляди, Матвей, святым будешь, пожалуй?

— А вы не смейтесь, ребята, — он не поп, не за деньги в бога верует!

— Али мужиков во святых не было?

— От нас — всякая душа, да нам пользы ни шиша!

— Разве он мужик? Он тайный баринок!..

И лестно говорят и обидно.

Был у меня в то время особый строй души — хотелось мне со всеми тихо жить и чтобы ко мне тоже все ласковы были; старался я достигнуть этого, а насмешки мешали мне.

Особенно донимал меня Мигун: увидит, бывало, встанет на колени, кланяется и причитает:

— Вашей святости — земной поклон! Помолитесь-ко за Савелку, не будет ли ему от бога толку? Научите, как господу угодить — воровать мне погодить, али — как побольше стащу — поставить пудовую свечу?

Народ хохочет, а мне и странно и досадно слышать Савелкины издевки.

А он свое:

— Православные, кланяйтесь праведнику! Он мужика в конторе обсчитает — в церкви книгу зачитает, богу и не слышно, как мужик ревет.

Мне тогда лет шестнадцать было, и мог бы я ему рожу разбить за эти насмешки, но вместо этого стал избегать Мигуна, а он это заметил и пуще мне прохода не дает. Песню сочинил; в праздники ходит по улице и поет, наигрывая на балалайке:

Бары девок обнимают,
Девки брюхо наживают,
Да от барских от затей
Родят сукиных детей!
Их подкидывают барам,
Да — не кормят бары даром;
И сажают их в конторе
На мужицкое на горе!

Длинная песня была, всем в ней доставалось, а Титову и мне — больше всех. Доводил меня Савелка до того, что, как увижу я, бывало, его дрянную эту бороденку, шапку на ухе и лысый лоб, — начинаю весь дрожать; так бы кинулся и поломал его на куски.

Но хоть и мал юноша был я тогда, а сердце умел держать крепко; он идет за мной, тренякает, а я виду не

показываю, что тяжело мне, шагаю не спеша и будто не слышу ничего.

Молиться еще больше стал — чувствую, что, кроме молитвы, ничем мне оградить себя, но теперь явились в молитвах моих жалобы и горькие слова:

— За что, господи? Виноват ли я, что отец-мать мои отреклись от меня и, подобно котенку, в кусты бросили младенца?

А другой вины не видел за собой — люди в жизни смешанно стоят, каждый к делу своему привык, привычку возвел в закон, — где же сразу понять, против кого чужая сила направляет тебя?

Ну, а все-таки начал я присматриваться, ибо все более беспокоило и нестерпимо становилось мне.

Барин наш, Константин Николаевич Лосев, богат был и много земель имел; в нашу экономию он редко наезжал: считалась она несчастливой в их семействе, в ней баринову мать кто-то задушил, дед его с коня упал, разбился, и жена сбежала. Дважды видел я барины: человек высокий, полный, в золотых очках, в поддевке и картузе с красным околышком; говорили, что он важный царю слуга и весьма ученый — книги пишет. Титова однако он два раза матерно изругал и кулак к носу подносил ему.

В Сокольей экономии Титов был — вся власть и сила. Имение — невелико, хлеба сеяли сколько требовалось для хозяйства, а остальная земля мужикам в аренду шла; потом было приказано аренду сокращать и сеять лен, — неподалеку фабрика открылась.

Кроме меня, в уголке конторы сидел Иван Макарович Юдин, человек немой души и всегда пьяненький. Телеграфистом он был, да за пьянство прогнали его. Вел он все книги, писал письма, договоры с мужиками и молчал так много, что даже удивительно было; говорят ему, а он только головой кивает, хихикает тихонько, иной раз скажет:

— Так.

И тут — весь.

Маленький он был, худой, а лицо круглое, отечное, глаз почти не видно, голова лысая, а ходил на цыпочках, без шума и неверно, точно слепой.

В день Казанской опоили мужики Юдина вином, а как умер он, — остался я в конторе один для всего: положил мне Титов жалованья сорок рублей в год, а Ольгу заставил помогать.

И раньше видел я, что мужики ходят около конторы, как волки над капканом: им капкан видно — да есть охота, а приманка зовет, ну, они и попадают.

Когда же остался я один в конторе, раскрылись предо мною все книги, планы, то, конечно, и при малом разуме моем я сразу увидал, что все в нашей экономии — ясный грабеж, мужики кругом обложены, все в долгу и работают не на себя, а на Титова. Сказать, что удивился я или стыдно стало мне, — не могу. И хоть понял, за что Савелка лается, но не счел его правым, — ведь не я грабеж выдумал!

Вижу, что и Титов не чист перед хозяином — набивает он карман себе как можно туго. Держал я себя перед ним и раньше смело, понимая, что нужен ему для чего-то, а теперь подумал: для того и нужен, чтобы перед богом его, вора, прикрывать.

Милым сыном в то время называл он меня и жена его тоже; одевали хорошо, я им, конечно, спасибо говорю, а душа не лежит к ним, и сердцу от ласки их нисколько не тепло. А с Ольгой все крепче дружился: нравилась мне тихая улыбка ее, ласковый голос и любовь к цветам.

Титов с женой ходили перед богом опустья головы, как стреноженные лошади, и будто прятали в покорной робости своей некий грех, тяжелейший воровства. Руки Титова не нравились мне — он все прятал их и этим навел на мысли нехорошие — может, его руки человека задушили, может, в крови они?

И всегда — и он и она — просят меня:

— Молись за нас грешных, Мотя!

Однажды я, не стерпев, сказал:

— Али вы сильно грешнее других?

Настасья вздохнула и ушла, а сам отвернулся в сторону, не ответив мне.

Дома он всегда задумчив, говорит с женой и дочерью мало и только о делах. С мужиками никогда не ругался,

но был высокомерен — это хуже матерщины выходило у него. Никогда ни в чем не уступал он им: как скажет, так и стоит, словно по пояс в землю ушел.

— Уступить бы им! — сказал я ему однажды.

Ответил он:

— Никогда ни вершка не уступай людям, иначе — пропадешь!

Другой раз, — заставлял он меня неверно считать, — я ему говорю:

— Так нельзя!

— Отчего?

— Грех.

— Не ты меня заставляешь грешить, а я тебя. Пиши, как велю, с тебя не спросится, ты — только рука моя! Праведность свою не нарушишь этим, не бойся! А на десять рублей в месяц ни я, ни кто не уловится правильно жить. Это — пойми!

«Ах ты, — думаю, — дрянцо с пыльцой!»

— Довольно! — говорю. — Все это надо прекратить. А ежели вы не перестанете баловаться, то я каждый раз буду обличать дела ваши на селе.

Поднял он усы к носу, оскалил зубы и вытаращил круглые глаза свои. Меряем друг друга, кто выше.

Тихо спрашивает он:

— Верно?

— Верно!

Засмеялся Титов, словно горсть двугривенных на пол швырнул, и говорит:

— Ладно, праведник! Оно, пожалуй, так и надо мне — надоело уж около рублей копейки ловить. Стало ворам тесно — зажили честно!

- И ушел, хлопнув дверь, так что даже стекла в окнах занули.

Показалось мне, как будто сократился Титов с того дня, ко мне перестал приставать.

Был он большой скопидом, и хотя ни в чем себе не отказывал, но цену копейке знал. В пище сластолюбив и до женщин удивительно жаден, — власть у него большая, отказать ему бабы не смеют, а он и пользуется; девиц не трогал, видимо — боялся, а женщины — наверное, каждая хоть раз, да была наложницей его.

И меня к этому не раз поджигал:

— Чего ты, — говорит, — Матвей, стесняешься? Женщину поять — как милостыню подать! Здесь каждой бабе ласки хочется, а мужья — люди слабые, усталые, что от них возьмешь? Ты же парень сильный, красивый, — что тебе стоит бабу приласкать? Да и сам удовольствие получишь...

Он ко всякой подлости сбоку заходил, низкий человек.

Однажды спрашивает меня:

— Ты как, Матвей, думаешь — силен праведник у господ?

Не любил я вопросы его.

— Не знаю, — говорю.

Подумал он — и снова:

— Вот, вывел бог Лота из Содома и Ноя спас, а тысячи погибли от огня и воды. Однако сказано — не убий? Иногда мне мерещится — оттого и погибли тысячи людей, что были между ними праведники. Видел бог, что и при столь строгих законах его удается некоторым праведная жизнь. А если бы ни одного праведника не было в Содоме — видел бы господь, что, значит, никому невозможно соблюдать законы его, и, может, смягчил бы законы, не губя множество людей. Говорится про него: многомилостив, — а где же это видно?

Не понимал я в ту пору, что человек этот ищет свободы греха, но раздражали меня слова его.

— Кошунствуете вы! — говорю. — Бойтесь бога, а не любите его!

Выхватил он руки из карманов, бросил их за спину, посерел, видно, что озлобился.

— Так или нет — не знаю! — отвечает. — Только думаюется мне, что служите вы, богомолы, богу вашему для меры чужих грехов. Не будь вас — смешался бы господь в оценке греха!

Долго после того не замечал он меня, а в душе моей начала расти нестерпимая вражда к нему, — хуже Мигуна стал он для меня.

В ночь на молитве помянул я имя его — вспыхнула душа моя гневом и, может быть, в тот час сказал я первую человеческую молитву мою:

— Не хочу, господи, милости твоей для вора: кары прошу ему! Да не обкрадывает он нищие безнаказанно!

И так горячо говорил я против Титова, что даже страшно стало мне за судьбу его.

А вскоре после того столкнулся я с Мигуном — пришел он в контору лыка просить, а я один был в ней.

Спрашиваю:

— Ты, Савел, за что издеваешься надо мною?

Он показывает зубы свои, воткнув мне в лицо острые глаза.

— Мое, — говорит, — дело невелико, пришел просить лыка!

Ноги у меня дрожат и пальцы сами собой в кулак сжимаются; взявши за горло, встряхнул я его немножко.

— В чем я виноват?

Он не испугался, не обиделся, а просто взял мою руку и отвел ее от шеи своей, как будто не я его, а он меня сильнее.

— Когда, — говорит, — человека душат, ему неловко говорить. Ты меня не тронь, я уже всякие побои видал — твои для меня лишни. И драться тебе не надо, этак ты все заповеди опрокинешь.

Говорит он спокойно, шутя, легко.

Я кричу ему:

— Что тебе надо?

— Лыка.

Вижу — на словах мне его не одолеть, да и злость моя прошла, только обидно мне пред ним.

— Зверье, — говорю, — все вы! Разве можно над человеком смеяться за то, что его отец-мать бросили?

А он в меня прибаутками, словно камнями, лукает:

— Не притворяйся нищим, мы правду сыщем: ты ешь краден хлеб не потому, что слеп.

— Врешь, — мол, — я за свой кусок тружусь...

— Без труда и курицу не украдешь, это известно!

Сматривает на меня с бесовой усмешкой в глазах и говорит жалостливо:

— Эх, Матвей, хорош ты был дитя! А стал книгочей, богоед и, как все земли нашей воры, строишь божий закон на той беде, что не всем руки даны одной длины.

Вытолкая я его вон из конторы. Прибаутки его не хотел я понять, потому что, считая себя верным слугой бога, и мысли свои считал вернейшими мыслей других людей. Становилось мне одиноко и тоскливо, чувствую — слабеет душа моя.

Жаловаться на людей — не мог, не допускал себя до этого, то ли от гордости, то ли потому, что хоть и был я глуп человек, а фарисеем — не был. Встану на колени перед знаменiem Абалацкой богородицы, гляжу на лик ее и на ручки, к шебесам поднятые, — огонек в лампаде моей мелькает, тихая тень гладит икону, а на сердце мне эта тень холодом ложится, и встает между мною и богом нечто невидимое, неосязаемое, угнетая меня. Потерял я радость молитвы, опечалился и даже с Ольгой неладен стал.

А она смотрит на меня все ласковее: мне в то время восемнадцать лет минуло, парень видный и кудрявый такой. И хотел я и неловко мне было ближе к ней подойти, я тогда еще невинен перед женщиной жил; бабы на селе смеялись за это надо мной; иногда мне казалось, что и Ольга нехорошо улыбается. Не раз уже сладко думал про нее:

«Вот — жена мне!»

Сидел я с нею в конторе молча целые дни, спросит она меня что-нибудь по делу, отвечу ей — тут и вся наша беседа.

Тонкая она, белая, глаза синие, задумчивые, но была она красива и легка в тихой и неведомой мне печали своей.

И однажды спросила она:

— Что ты, Матвей, стал угрюмый?

Никогда я про себя ни с кем не говорил и не думал, не хотел говорить, а тут вдруг открылось сердце — и всё пред нею, все занозы мои повывернул. Про стыд мой за родителей и насмешки надо мной, про одиночество и обеднение души, и про отца ее — всё! Не то, чтобы жаловался я, а просто вывел думы изнутри наружу; много их было накоплено, и все — дрянь. Обидно мне, что — дрянь.

— Лучше в монастырь идти! — говорю.

Затуманилась она, опустила голову и ничем не ответила мне. Была мне приятна печаль ее, а молчание —

опечалило меня. Но дня через три — тихонько говорит она мне:

— Напрасно ты на людей столько внимания обращаешь; каждый живет сам собой — видишь? Конечно, теперь ты один на земле, а когда заведешь семью себе, и никого тебе не нужно, будешь жить, как все, за своей стеной. А папашу моего не осуждай; все его не любят, вижу я, но чем он хуже других — не знаю! Где любовь видно?

Утешают меня ее слова. Я всегда все сразу делаю — так и тут поступил:

— Ты бы, — говорю, — пошла замуж за меня?

Отвернулась она, шепчет:

— Пошла бы...

Кончено. На другой день я сказал Титову: так и так, мол.

Усмехнулся он, усы расправил и начал душу мне скрести.

— В сыновья ко мне — прямой путь для тебя, Матвей: надо думать, это богом указано, я не спорю! Парень ты серьезный, скромен и здоров, богомолец за нас, и по всем статьям — клад, без лести скажу! Но, чтобы сытно жить, надо уметь дела делать, а наклон к деловитости слаб у тебя. Это — одно. Другое — через два года в солдаты тебя позовут, и должен ты идти. Будь у тебя деньжонки накоплены, рублей пятьсот, можно бы откупиться от солдатчины, уж я бы это устроил... А без денег — уйдешь ты, тогда останется Ольга ни замужней, ни вдовой...

Пилит он мне сердце тупыми словами своими, усы у него дрожат и в глазах зеленый огонек играет. Встаег предо мною солдатство, страшно и противно душе — какой я солдат? Уже одно то, что в казарме надо жить всегда с людьми, — не для меня. А пьянство, матерщина, зуботычины? В этой службе всё против человека, знал я. Придавили меня речи Титова.

— Значит, — говорю, — в монахи уйду!..

— Теперь — опоздал! — смеется Титов. — Сразу — не постригут, а послушника — возьмут в солдаты. Нет, Матвей, кроме денег, ничем судьбу не подкупишь!

Тогда я говорю ему:

— Дайте вы денег, ведь у вас много!

— Ага! — говорит. — Это ты просто придумал. Только хорошо ли для меня этак-то? Сообрази: я мои деньги, может быть, большим грехом купил, может, я за них душу чорту продал. Пока я в грехах пачкался, — ты праведно жил, да и теперь того же хочешь, за счет моих грехов? Легко праведному в рай попасть, коли грешник его на своем хребте везет, — только я не согласен конем тебе служить! Уж ты лучше сам погреси, тебе бог простит, — чай, ты вперед у него заслужил!

Смотрю — вид у Титова такой, словно он вдруг на сажень выше меня вырос, и я где-то у ног его ползу. Понял я, что издевается он надо мной, кончил разговор, а вечером передал Ольге речи ее отца. Заблестели слезы на глазах у девушки, а около уха у нее задрожала какая-то малая синенькая жилка, и трепет этот жалостный откликнулся в сердце у меня. Говорит Ольга, улыбаясь:

— Вот и не выйдет, как мы хотим...

— Нет, — мол, — выйдет!

Сказал, не думая, но как бы слово этим дал и ей и себе, — слово, отступить от которого нельзя.

С того дня нечисто зажил я; началась для меня какая-то темная и пьяная полоса, заметался парень, как голубь на пожаре в туче дымной. И Ольгу мне жалко, и хочется ее женой иметь, люблю девушку, а главное — вижу, что Титов в чем-то крепче и устойчивей меня, а это несносно для гордости моей. Презирал я воровские дела и всю темную душу его, а вдруг открылось, что живет в этой душе некая сила и — властно смотрит она на меня!

На селе стало известно, что я сватался и отказано мне; девки усмеваются, бабы галдят, Савелка шутки шутит, и все это поднимает меня на дыбы, замутило душу до полной тьмы.

Встану я молиться, а Титов словно сзади стоит и в затылок мне дышит, оттого молюсь я несуразно, кощунственно, не о господе радуюсь, а думаю о делах своих — как мне быть?

— Помоги, — говорю, — господи, и научи мя, да не потеряю путей твоих и да не угрязнет душа моя во грехе! Силен ты и многомилостив, сохрани же раба твоего от зла и одари крепостью в борьбе с искушением, да не буду

попран хитростию врага и да не усумнюсь в силе любви твоей к рабу твоему!

Так низвел я господа с высоты неизреченных красот его на должность защитника малых делишек моих, а бога унизив, и сам опустился до ничтожества.

Ольга же день ото дня тает в печали, как восковая свеча. Думаю, как она будет жить с другим человеком, и не могу поставить рядом с ней никого, кроме себя.

Силою любви своей человек создает подобного себе, и потому думал я, что девушка понимает душу мою, видит мысли мои и нужна мне, как я сам себе. Мать ее стала еще больше унылой, смотрит на меня со слезами, молчит и вздыхает, а Титов прячет скверные руки свои и тоже молча ходит вокруг меня; вьется, как ворон над собакой издыхающей, чтоб в минуту смерти вырвать ей глаза. С месяц времени прошло, а я все на том же месте стою, будто дошел до крутого оврага и не знаю, где перейти. Тяжело было.

Однажды приходит Титов в контору и говорит мне негромко:

— Вот, Матвей, на твое счастье явился случай — хватай его, коли хочешь человеком быть!

Случай был такой, что мужики должны были много проиграть, экономия кое-что выиграла бы, а Титову могло попасть рублей около двухсот.

Рассказал мне и спрашивает:

— Что, не осмелишься?

Спроси иначе, — может, я и не пошел бы в руки к нему, а от этих слов — взорвало меня.

— Воровать не осмелюсь? — говорю. — Тут смелости не нужно, только подлость одна. Давайте, будем воровать!

Усмехается он, мерзавец, спрашивает:

— А грех?

— А грехи мои — я сам сочту.

— Ну и ладно! — говорит. — Теперь — знай: что ни день, то к свадьбе ближе!

Словно волка на козленка, ловил он меня, дурака, в капкан.

И — началось. В делах я был не глуп, а дерзость всегда большую имел. Начали мы с ним грабить народ,

словно в шашки играем, — он сделает ход, а я — еще злее. Оба молчим, только поглядываем друг на друга, он — со смешком зеленым в глазах, я — со злостью. Одолея меня этот человек, но, и проигравши ему все, даже в поганом деле не мог я ему уступить. Лен принимая, стал обвешивать, штрафы за потраву утаивал, всячески копейки щипал с мужиков, но денег не считал и в руки не брал, — все Титову шло; конечно, легче мне от этого не было, и мужикам тоже.

Словом сказать, был я в ту пору как бешеный, в груди холодно; бога вспомню — как обожжет меня. Не однажды все-таки упрекал его:

— Почто, — мол, — не поддержишь силою твоею падение мое; почто возложил на меня испытание не по разуму мне, али не видишь, господи, погибает душа моя?

Были часы, что и Ольга чужой становилась мне; глажу на нее и враждебно думаю:

«Тебя ради душой торгую, несчастная!»

А после этих слов станет мне стыдно пред нею, стану я тих и ласков с девушкой, как только могу.

Но — поймите — не от жалости к себе али к людям мучился я и зубами скрипел, а от великой той обиды, что не мог Титова одолеть и предал себя воле его. Вспомню, бывало, слова его о праведниках — оледенела весь. А он, видимо, все это понимал.

Торжествует. Говорит:

— Ну, святоша, надо тебе о келейке думать, — с нами жить тесно будет для тебя с женою, дети у вас пойдут!

Святошей назвал. Я смолчал.

И все чаще стал он так называть меня, а дочь его все милее, все ласковее со мною — понимала, как трудно мне.

Выклянчил Титов кусок земли, — управляющему Лосева поклонялся, — дали ему хорошее местечко за экономией; начал он строить избу для нас, а я — все нажимаю, жульничаю. Дело идет быстро, домик строится, блестит на солнце, как золотая коробочка для Ольги. Вот уже под крышу подвели его, надо печь ставить, к осени и жить в нем можно бы.

Только раз, под вечер, иду я из Якимовки, — скот у мужиков описывал за долги, — вышел из рощи к селу,

гляжу — а на солнечном закате горит мой дом, — как свеча горит!

Сначала я подумал, что это солнце шутит — обняло его красными лучами и поднимает вверх, в небеса к себе, однако вижу — народ суетится, слышу — огонь свистит, дерево потрескивает.

Вспыхнуло сердце у меня, вижу бога врагом себе, будь камень в руке у меня — метнул бы его в небо. Гляжу, как воровской мой труд дымом и пеплом по земле идет, сам весь пылаю вместе с ним и говорю:

— Хочешь ли ты указать мне, что ради праха и золы погубил я душу мою, — этого ли хочешь? Не верю, не хочу унижения твоего, не по твоей воле горит, а мужики это подожгли по злобе на меня и на Титова! Не потому не верю в гнев твой, что я не достоин его, а потому, что гнев такой не достоин тебя! Не хотел ты подать мне помощи твоей в нужный час, бессильному, против греха. Ты виноват, а не я! Я вошел в грех, как в темный лес, до меня он вырос, и — где мне найти свободу от него?

Не то, чтобы утешали меня эти глупые слова... И ничего не оправдывали они, но будили в душе некое злое упрямство.

Догорел мой дом раньше, чем угасло возмущение мое. Я все стою на опушке рощи, прислонясь к дереву, и веду мой спор, а белое Ольгино лицо мелькает предо мной, в слезах, в горе.

Говорю я богу дерзко, как равному:

— Коли ты силен, то и я силен, — так должно быть, по справедливости!

Погас пожар, стало тихо и темно, но во тьме еще сверкают языки огня, — точно ребенок, устав плакать, тихо всхлипывает. Ночь была облачная, блестела река, как нож кривой, среди поля потерянный, и хотелось мне поднять тот нож, размахнуться им, чтобы свистнуло над землей.

Около полуночи пришел я в село — у ворот эконсмин Ольга с отцом стоят, ждут меня.

— Где же ты был? — говорит Титов.

— На горе стоял, на пожар глядел.

— Чего же не бежал тушить?

— Чудотворец я, что ли, — плюну в огонь, а он и погаснет?..

У Ольги глаза заплаканы, вся она сажей попачкана, в дыму закоптела — смешно мне видеть это.

— Работала? — спрашиваю.

Залилась она слезами.

Титов угрюмо говорит:

— Не знаю, что и делать...

— Сначала, — мол, — надо строить!

Во мне тогда такое упорство сложилось, что я своими руками сейчас же готов был бревна катать и венцы вязать, и до конца бы всю работу сразу мог довести, потому что хоть я волю бога и оспаривал, а надо было мне правильное знать, — он это против меня или нет?

И снова началось воровство. Каких только хитростей не придумывал я! Бывало, прежде-то по ночам я, богу молясь, себя не чувствовал, а теперь лежу и думаю, как бы лишний рубль в карман загнать, весь в это ушел, и хоть знаю — многие в ту пору плакали от меня, у многих я кусок из горла вырвал, и малые дети, может быть, голодом погибли от жадности моей, — противно и пакостно мне знать это теперь, а и смешно, — уж очень я глуп и жаден был!

Лики святые смотрят на меня уже не печальными и добрыми глазами, как прежде, а — подстерегают, словно Ольгин отец. Однажды я у старосты с конторки полтинник стянул — вот до какой красоты дошел!

И раз выпало мне что-то особенное — подошла ко мне Ольга, положила руки свои легкие на плечи мои и говорит:

— Матвей, господь с тобой, люблю я тебя больше всего на свете!

Удивительно просто сказала она эти светлые слова, — так ребенок не скажет «мама». Обогател я силой, как в сказке, и стала она мне с того часа неоценимо дорога. Первый раз сказала, что любит, первый раз тогда обнял я ее и так поцеловал, что весь перестал быть, как это случилось со мной во время горячей молитвы.

К покрову дом наш был готов — пестрый вышел, некоторые бревна черные, обгорелые. Вскоре и свадьбу справили мы; тесть мой пьян нализался и все время хохотал, как чорт в удаче; теща смотрела на нас, плакала, — молчит, улыбается, а по щекам слезы текут.

Титов орет:

— Эй, не плачь! Какой у нас зять, а? Праведник!

И матерно ругается.

Гости были важные, — поп, конечно, становой, двое волостных старшин и еще разные осетры, а под окнами сельский народ собрался, и в нем Мигун — веселый человек. Балалайка его тренькает.

Я у окна сидел, тонкий голос Савелкин доходит до меня, хоть и боится он громко шутить, а, слышу я, распекает:

Напились бы вы скорее да полопались!

А наелись бы вы досталь да и треснули!

Насмешки его понравились мне тогда, хоть не до него было, — жмется ко мне Ольга и шепчет:

— Кончилось бы скорее все это, еда и питье!

Тошно было ей глядеть на жадность людскую, да и мне противно.

Как познали мы с нею друг друга, то оба заплакали, сидим на постели обнявшись, и плачем, и смеемся от великой и не чайной нами радости супружества. До утра не спали, целовались все и разговаривали, как будем жить; чтобы видеть друг друга — свечу зажгли.

Говорила она мне, обнимая теплыми руками:

— Будем жить так, чтобы все любили нас! Хорошо с тобой, Матвей!

Оба мы были как пьяные от неизреченного счастья нашего, и сказал я ей:

— Пусть меня поразит господь, если ты, Ольга, когда-нибудь по вине моей другими слезами заплачешь!

А она:

— Я, — говорит, — от тебя все приму, буду тебе мать и сестра, одинокий ты мой!

Зажили мы с ней, как в сладком бреду. Дело я делаю спустя рукава, ничего не вижу и видеть не хочу, тороплюсь всегда домой, к жене; по полю гуляем с нею, ходим в лес.

Вспомнил старину — птиц завел, дом у нас светлый, веселый, всюду на стенах клетки висят, птицы поют. Жена, тихая, полюбила их; приду, бывало, домой, она рассказывает, что синица делала, как щур пел.

По вечерам я mineю или пролог читал, а больше про детство свое рассказывал, про Лариона и Савелку, как они богу песни пели, что говорили о нем, про безумного Власия, который в ту пору скончался уже, про все говорил, что знал, — оказалось, знал я много о людях, о птицах и о рыбах.

Всей силы счастья моего словами не вычерпать, да и не умеет человек рассказать о радостях своих, не приучен к тому, — редки радости его, коротки во времени.

Ходим в церковь с женой, встанем рядом в уголок и дружно молимся. Молитвы мои благодарные обращал я к богу с похвалой ему, но и с гордостью — такое было чувство у меня, словно одолел я силу божью, против воли его заставил бога наделить меня счастьем; уступил он мне, а я его и похваляю: хорошо, мол, ты, господи, сделал, справедливо, как и следовало!

Эх, язычество нищенское!

Зиму прожил я незаметно, как один светлый день; объявила мне Ольга, что беременна она, — новая радость у нас. Тесть мой угрюмо крикает, теща смотрит на жену мою жалостливо и все что-то нашептывает ей. Затеваю я свое дело начать, думал пчельник устроить, назвать его, для счастья, Ларионовым, разбить огород и заняться птицеводством — все это дела для людей безобидные.

Как-то раз Титов говорит мне сурово таково:

— Ты, Матвей, больно рано обсахарился, гляди — скоро прокиснешь! Летом ребенок родится у тебя — али забыл?

Мне давно хотелось правду сказать ему, как я в то время понимал ее, и вот говорю:

— Сколько надо было мне греха сделать — сделал я, поравнялся с вами, чего вам хотелось, — ну, а ниже вас не буду стоять!

— Не понимаю, — говорит, — что ты хочешь мне доказать! Я тебе говорю просто: семьдесят два рубля в год для семейного не деньги, а дочернино приданое я тебе не позволю проедать! Думай! Мудрость же твоя — просто злость против меня, что я тебя умнее, и пользы в ней — ни тебе, ни мне. Всякий свят, пока черти спят!

Трудно было, а, жалеючи Ольгу, сдержался я, не избил его.

На селе известно стало, что я с тестем не в ладу живу, стал народ поласковее глядеть на меня. Сам же я от радостей моих мягче стал, да и Ольга добра сердцем была — захотелось мне расплатиться с мужиками по возможности. Начал я маленько мирволить им: тому поможешь, этого прикроешь. А в деревне — как за стеклом, каждый твой взмах руки виден всем. Злитесь Титов:

— Опять, — говорит, — хочешь бога подкупить?

Решил я бросить контору, говорю жене:

— Шесть рублей в месяц — и больше — я на птицах возьму!

Опечалилась подруга моя.

— Делай, как знаешь, только не оставайся бы нищими! Жалко, — говорит, — папашу: хочет он тебе добра и много принял греха на душу ради нас...

«Эх, думаю, милая! Село мне его добро под девятое ребро!»

И на другой день сказал тестю, что ухожу.

Усмехнулся он, спрашивает:

— В солдаты?

Ожег! Понимаю я, что напакостить мне — легко для него: знакомства он имеет большие, везде ему почет, и попаду я в солдаты, как в воду камень. Дочери своей он не пожалеет, — у него тоже большая игра с богом была.

И — петля за петлей на руки мне! Жена тайно плакать начала, глаза у нее всегда красные. Спросишь ее:

— Ты что, Оля?

А она говорит:

— Нездоровится.

Помню клятву мою перед ней, неловко, стыдно мне. Один бы шаг ступить, — и решимость есть, — жалко женщину любимую! Не будь ее, пошел бы я в солдаты, только бы Титова избежать.

В конце июня мальчик у нас родился, и снова одурел я на время. Роды были трудные, Ольга кричит, а у меня со страху сердце рвется. Титов потемнел весь, дрожит, прислонился на дворе у крыльца, руки спрятал, голову опустил и бормочет:

— Умрет — вся моя жизнь ни к чему, господи, помилуй!.. Будут дети у тебя, Матвей, может, поймешь ты горе

мое и жизнь мою, перестанешь выдумывать себя на грех людям...

Пожалел я его в те часы. Сам хожу по двору — думаю:

«Снова угрожаешь ты мне, господи, опять надо мною рука твоя! Дал бы человеку оправиться, помог бы ему отойти в сторону! Али скуп стал милостью и не в доброту сила твоя?»

Вспоминая теперь эти речи, стыжусь за глупость мою.

Родился ребенок, переменялась жена моя: и голос у нее крепче стал, и тело все будто бы выпрямилось, а ко мне она, вижу — как-то боком стоит. Не то, чтобы жадна стала, а начала куски усчитывать; уж и милостыню реже подает, вспоминает, кто из мужиков сколько должен нам. Долги — пятаки, а ей интересно. Сначала я думал — пройдет это; я тогда уже бойко птицей торговал, раза два в месяц ездил в город с клетками; бывало, рублей пять и больше за поездку возьмешь. Корова была у нас, с десятка кур — чего бы еще надо?

А у Ольги глаза блестят неприятно. Привезу ей подарок из города — жалуется:

— Зачем это? Ты бы деньги-то берег.

Скучно стало мне, и от этой скуки пристрастился я к птичьей охоте. Уйду в лес, поставлю сеть, повешу чапки, лягу на землю, посвистываю, думаю. В душе — тихо, ничего тебе не надобно. Родится мысль, заденет сердце и падет в неизвестное, точно камешек в озеро, пойдут круги в душе — волнение о бже.

В эти часы бог для меня — небо ясное, синие дали, вышитый золотом осенний лес или зимний — храм серебряный; реки, поля и холмы, звезды и цветы — все красивое божественно есть, все божественное родственно душе. А вспомнишь о людях, встрепенется сердце, как птица, во сне испуганная, и недоуменно смотришь в жизнь — не сливается воедино красота божия с темной, нищей жизнью человеческой. Светлый бог где-то далеко в силе и гордости своей, люди — тоже отдельно в нудной и прискорбной жизни. Почто преданы дети божии в жертву суете, и голодны, и унижены, и придавлены к земле, как черви в грязи, — зачем это допущено богом? Какая радость ему видеть унижение творений своих? Где есть люди, кои бога

видят и чувствуют красоту его? Ослеплена душа в человеке черной нуждой дневной. Сытость числится радостью и богатство — счастьем, ищут люди свободы греха, а свободы от греха не имеют. И где в них сила отчей любви, где божья красота? Жив бог? Где же — божеское?

Вдруг взметнется дымом некая догадка или намек, все собою покроет, все опустошит, и в душе, как в поле зимой, пусто, холодно. Тогда я не смел дотронуться словами до этой мысли, но, хотя она и не вставала предо мной одетая в слова, — силу ее чувствовал я и боялся, как малый ребенок темноты. Вскочу на ноги, затороплюсь домой, соберу снасти свои и пойду быстро да песни пою, чтобы оттолкнуть себя в сторону от немощного страха своего.

Стали люди смеяться надо мной, — птицеловов не уважают в деревнях, — да и Ольга тяжело вздыхает, видимо, и ей заторным кажется занятие мое. Тесть мне притчи читает, я помалкиваю, жду осени; кажется мне, что минует меня солдатчина, — эту яму я обойду.

Жена снова забеременела и с тем вместе начала грустить.

— Что ты, Ольга?

Сначала отнекивалась — ничего, дескать, но однажды обняла меня, заплакала.

— Умру я, — говорит, — родами умру!

Знал я, что женщины часто так говорят, но испугался. Утешаю — не слушает.

— Снова ты останешься один, — говорит, — не любимый никем. Неуживчивый ты, дерзкий во всем — прошу я тебя, ради детей: не гордись, все богу виноваты, и ты — не прав...

Часто стала она говорить мне подобные речи, и смутился я от жалости к ней, страха за нее. С тестем у меня что-то вроде мира вышло, он сейчас же воспользовался этим по-своему: тут, Матвей, подпиши, там — не пиши. Предлоги важные — солдатство на носу, второй ребенок близко.

А уже рекрута гулять начали, меня зовут; отказался — стекла побили.

Настал день, поехал я в город жребий вынимать, жена уже боялась выходить из дома. Тесть меня провожал и всю дорогу рассказывал, какие он труды понес ради меня

и сколько денег истратил и как хорошо все устроено у него.

— Может, напрасно вы старались, — говорю.

Так и вышло; жребий мой оказался из последних. Титов даже не поверил счастью моему, а потом сумрачно засмеялся:

— Видно, и вправду бог-то за тебя!

Я — молчу, а несказанно рад; для меня это свобода от всего, что тяготило душу, а главное — от дорогого тестя. Дома — радость Ольгина; плачет и смеется, милая, хвалит меня и ласкает, словно я медведя убил.

— Слава тебе, господи, — говорит, — теперь я спокойно помру!

Посмеиваюсь я над нею, а самому — жутко, ибо чувствую — верит она в смерть свою, понимаю, что вера эта пагубна, уничтожает она силу жизненную в человеке.

Дня через три начались у нее роды. Двое суток мучилась она страшными муками, а на третий скончалась, разрешившись мертвеным; скончалась, как уверила себя, милый мой друг!

Похорон ее не помню, ибо некоторое время и слеп и глух был.

Разбудил меня Титов, — было это на могиле Ольгиной. Как теперь вижу — стоит он предо мной, смотрит в лицо мне и говорит:

— Вот, Матвей, второй раз сходимся мы с тобой около мертвых; здесь родилась наша дружба, здесь и снова укрепнуть бы ей...

Оглядываюсь, как будто я впервые на землю попал: дождь накрапывает, туман вокруг, качаются в нем голые деревья, плывут и прячутся намогильные кресты, все ограблено холодом, одето тяжелой сыростью, дышать нечем, будто дождь и туман весь воздух пожрали.

Я говорю Титову:

— Что тебе надо?

— Надо мне, чтобы понял ты горе мое. Может быть, и за тебя, за то, что помешал я тебе жить по воле твоей, наказал меня господь смертью дочери...

Таает земля под ногами, обращаюсь в липкую грязь, и, чмокая, присасывает ноги мои.

Сгреб я его, бросил на землю, словно куль отрубей, кричу:

— Будь ты проклят, окаянный!

И началось для меня время безумное и бессмысленное, — не могу головы своей вверх поднять, тоже как бы брошен на землю гневной рукой и без сил распростерся на земле. Болит душа обидой на бога, взгляну на образа и отойду прочь скорее: спорить я хочу, а не каяться. Знаю, что по закону должен смиренно покаяние принести, должен сказать:

«Так, господи! Тяжела рука твоя, а справедлива, и гнев твой велик, но благостен!»

А по совести моей — не могу сказать этих слов, стою потерянный между разными мыслями и не нахожу себя.

Подумаю:

«Не за то ли мне этот удар, что я тайно сомневался в бытии твоём?»

Пугает меня это, оправдываюсь:

«Ведь не в бытии, а только в милосердии твоём сомневался я, ибо кажется мне, что все люди брошены тобою без помощи и без пути!»

И все это — не то, что тлеет в душе моей, тлеет и нестерпимо жжет ее. Спать не могу, ничего не делаю, по ночам тени какие-то душат меня, Ольгу вижу, жутко мне, и нет сил жить.

Решил удавиться.

Было это ночью, лежал я на постели одетый и маялся; в памяти жена стоит, ни в чем неповинная; синие глаза ее тихими огнями теплятся, зовут. В окна месяц смотрит, на полу светлые тропы лежат — на душе еще темнее от них. Вскочил, взял веревку от птичьей сети, вбил гвоздь в матицу, петлю сделал и стул подставил. Захотелось мне пиджак снять, снял, ворот у рубахи порвал и вдруг вижу, на стене тайно мелькнуло чье-то маленькое неясное лицо. Едва не закричал со страха, но понял, что это мое лицо в круглом Ольгином зеркале. Смотрю — вид безумный и жалостный, волосы встрепаны, щеки провалились, нос острый, рот полуоткрыт, точно задыхается человек, а глаза смотрят оттуда замученно, с великой горечью.

Жалко стало мне человеческого лица, былой его красоты, сел я на лавку и заплакал над собою, как ребенок

обиженный, а после слез петля явилась стыдным делом, насмешкой надо мной. Обозлился я, сорвал ее и швырнул в угол. Смерть — тоже загадка, а я — разрешение жизни искал.

Что же мне делать? Прошли еще какие-то дни, показалось мне, что мира я хочу и надо понудить себя к покаянию, стиснул зубы, к попу пошел.

В воскресенье, под вечер, явился я к нему. Сидит он с попадьею за столом, чай пьют, четверо ребят с ними, на черном лице попа блестит пот, как рыба чешуя. Встретил меня благодушно.

В комнате тепло и светло, все в ней чисто, аккуратно; вспомнил я, с каким небрежением поп во храме служит, и думаю:

«Вот где его храм!»

Нет нужного смирения во мне.

— Что, Матвей, тоскуешь? — спрашивает поп.

— Да, — мол, — тоскую...

— Ага!.. Сорокоуст заказать надо. Во сне не являете ли?

— Является, — мол.

— Непременно — сорокоуст!

Молчу. Не могу я при попадье говорить, не любил я ее очень; широкая она такая была, лицо большое, жирное, дышит женщина тяжело и зыблется вся, как болото. Деньги в рост давала.

— Молись усердно! — поучает поп. — И не грусти — это будет против господа, он знает, что делает...

Спрашиваю я:

— Знает ли?

— А как же? Эй, — говорит, — парень, известно мне, что ты к людям горд, но — не дерзай перенести гордость твою и на господень закон, — сто крат тяжеле поражен будешь! Уж не Ларионова ли закваска бродит в тебе? Покойник, по пьяному делу, в еретичество впадал, помни сие!

Попадья вмешалась:

— Его бы, Лариона-то, в монастырь надо сослать, да вот отец больно уж добр, не жаловался на него.

— Неправда это, — говорю, — жаловался, но — не за мнения его, а за небрежение по службе, в чем батюшка и сам виноват.

Начался у нас спор. Сначала поп в дерзости меня упрекал, говорил слова, известные мне не хуже его, да еще и перевирал их, в досаде на меня, а потом и он и попадаья просто ругаться стали:

— И ты, — говорят, — и твой тесть — оба грабители, церковь обокрали: Мокрый дол — издавна церковный покос, а вы его оттягали у нас, вот и пристукнул вас господь...

— Это верно, — говорю, — Мокрый дол неправильно отнят у вас, а вами — у мужиков!

Встал, хочу уходить.

— Стой! — кричит поп. — А деньги за сорокоуст?

— Не надо, — мол.

И ушел, думая:

«Не туда ты, Матвей, душу принес!»

Дня через три помер ребенок мой, Саша; принял мышьяк за сахар, полизал его и скончался. Это даже и не удивило меня, охладел я как-то ко всему, отупел.

Надумал идти в город. Был там протопоп, благочестивой жизни и весьма ученый, — с раскольниками ревностно состязался о делах веры и славу прозорливца имел. Объявил тестю, что ухажу, дом и все, принадлежащее мне, оставляю ему, а он пусть даст мне за все сто рублей.

— Так, — говорит, — нельзя! Напиши мне вексель на полгода в триста рублей.

Написал, выправил паспорт, ушел. Нарочно пешком иду, не уляжется ли дорогой-то смятение души. Но хотя каяться иду, а о боге не думаю — не то боюсь, не то обидно мне — искривились все мысли мои, расплзаются, как гнилая дерюга, темны и неясны небеса для меня.

Дошел до протопопа с большим трудом, не пускают. Какой-то служащий принимал посетителей, молодой и щупленький красавчик, раза четыре он меня отводил:

— Я, — говорит, — секретарь, мне надо три рубля дать.

— Я, — мол, — тебе трех копеек не дам.

— А я тебя не пущу!

— Сам пройду!

Увидал он, что не уступаю.

— Идем, — говорит, — это я шучу, уж очень ты смешной.

И привел меня в маленькую комнатку, сидит там на диване в углу седой старичок в зеленой рясе, кашляет, лицо изможденное, глаза строгие и посажены глубоко под лоб.

«Ну, — думаю, — этот мне что-нибудь скажет!»

— С чем пришел? — спрашивает он.

— Смутился, — мол, — душой я, батюшка.

А секретарь этот, стоя сзади меня, шепчет:

— Говори: ваше преподобие!

— Велите, — говорю, — уйти служащему, мне при нем стеснительно...

Взглянул на меня протопоп, пожевал губами, призывает:

— Выдь за дверь, Алексей! Ну, говори, что сделал?

— Сомневаюсь, — мол, — в милосердии господнем.

Он руку ко лбу приложил, поглядел на меня и нараспев шепчет:

— Что? Что-о такое, а? Ах ты, дубина!

Обижаться мне не время было, да и не обидна привычка властей наших ругать людей, они ведь не так со зла, как по глупости.

Говорю ему:

— Послушайте меня, ваше преподобие!

Да и присел было на стул — но замахал старичок руками, кричит:

— Встань! Встань! На колени должен пасть предомной, окаянный!

— Зачем же, — говорю, — на колени-то? Ежели я виноват, то не перед вами, а перед богом!

Он — пуще сердится:

— А я кто? Кто я тебе? Кто я богу?

Из-за пустяка мне с ним стыдно спорить. Опустился на колени — на вот! А он, пальцем мне грозя, шипит:

— Я тебя научу священство уважать!

Пропадает у меня охота беседовать с ним, и покамест совсем не пропала — начал я говорить; начал, да скоро и забыл про него — первый раз вслух-то говорю мысли мои, удивляюсь словам своим и весь — как в огне.

Вдруг слышу — кричит старичок:

— Молчи, несчастный!

Я — как об стену с разбега ударился. Стоит он надомной и шепчет, потрясая руками:

— Понимаешь ли ты, безумное животное, слова твои? Чувствуешь ли велие окаянство твое, безобразный? Лжешь, еретик, не на покаяние пришел ты, а ради искушения моего послан дьяволом!

Вижу я — не гнев, а страх на лице у него. Трясется борода, и руки, простертые ко мне, мелко дрожат.

Я тоже испугался.

— Что вы, — говорю, — ваше преподобие, я в бога верую!

— Лжешь, собака заблудшая!

И начал он мне угрожать гневом Божиим и мезтью его, — начал говорить тихим голосом; говорит и весь вздрагивает, ряса словно ручьями течет с него и дымом зеленым вьется. Встает господь предо мною грозен и суров, ликом — темен, сердцем — гневен, милосердием скуп и жестокостью подобен негове, богу древлему.

Я и говорю протопопу:

— Сами вы в ересь впадаете, — разве это христианский бог? Куда же вы Христа прячете? На что вместо друга и помощника людям только судию над ними ставите?..

Тут он меня за волосы ухватил, дергает и шепчет, всхлипывая.

— Проклятый, ты кто такой, кто? Тебя надо в полицию представить, в острог, в монастырь, в Сибирь...

Тогда я опомнился. Ясно, что коли человек полицию зовет бога своего поддержать, стало быть, ни сам он, ни бог его никакой силы не имеют, а тем паче — красоты.

Поднимаюсь с колен и говорю:

— Пустите-ка меня...

Отшатнулся старик, задыхается:

— Что хочешь делать?

— Уходить хочу! Научигься, — мол, — мне у вас нечему, речи ваши мертвы, да и бога ими умерщвляете вы!

Он снова начал говорить о полиции, ну, мне это все равно: полиция больше того не отнимет, сколько он хотел.

— Славе Божией, — говорю ему, — служат ангелы, а не полиция, но ежели вы иначе веруете — поступайте по вере вашей.

Наскакивает он на меня, зеленый.

— Алексей, — кричит, — гони его вон!

Алексей этот с большим усердием вытолкал меня на улицу.

Вечер был, часа два беседовал я с протопопом. Сумрачно на улице, скверно. Народ везде гуляет, говор и смех — о ту пору праздники были, святки. Иду расслабленно, гляжу на всех, обидно мне и хочется кричать:

«Эй, народ! Чему радуешься? Бога у тебя искажают, гляди!»

Иду — как пьяный, тоска мне, куда идти — не знаю. К себе, на постоянный, — не хочется: шум там и пьянство. Пришел куда-то на окраину города, стоят домики маленькие, желтыми окнами в поле глядят; ветер снегом поигрывает, заметаает их, посвистывает. Пить мне хочется, напиться бы пьяному, только — без людей. Чужой я всем и перед всеми виноват.

«А что, — думаю, — пойду вдоль по полю, куда приду?»

Вдруг из ворот женщина выскочила, в одном платье, едва шалью покрыта; взглянула в лицо мне, спрашивает:

— Как зовут?

Понял, что гадает она, говорю:

— Не скажу, потому — несчастлив человек.

Она смеется.

— На праздниках-то?

Мне веселье не в пору.

— А что, — спрашиваю, — есть здесь близко трактир какой-нибудь, посидел бы я там, а то — холодно!

Смотрит она на меня пристально и говорит ласково так:

— Вон там трактир, а хочешь — иди ко мне, чаем напою!

Не подумал и — без воли — пошел за нею. Вот я в комнате; на стене лампа горит, в углу, под образами, толстая старуха сидит, жует что-то, на столе — самовар. Уютно, тепло. Усадила меня эта женщина за стол; молодая, румяная она, грудь высокая. Старуха из угла смотрит на меня и сопит. Лицо у нее большое, дряблое и словно без глаз. Неловко мне — зачем пришел? Кто такие?

Спрашиваю молодку:

— Чем занимаетесь?

— Кружева плетем.

Верно: с полки гроздьями коклюшки висят.

А она вдруг заодно улыбнулась и говорит прямо в глаза мне:

— А еще — гуляю я!

Старуха засмеялась жирновато:

— Экая ты, Танька, бесстыдница!

Не скажи старуха этого — я бы не понял Татьянинных слов, а понял — сконфузился. Первый раз в жизни гуляющую девицу столь близко вижу, а конечно, скверно думаю про них.

Татьяна смеется.

— Гляди-ка, Петровна, покраснел он!

А меня уже и зло берет: вот так попал! Прямо с чокания да в окаянное!

Говорю девушке:

— Разве таким делом хвастаются?

Она дерзко отвечает:

— Я вот — хвастаюсь!

Старуха опять сопит:

— Эх ты, Татьяна, Татьяна!

А я — не знаю, что сказать и как уйти от них, — на ум не идет! Сижу — молчу. Ветер в окна постукивает, самовар пищит, а Татьяна уж и дразнит меня:

— Ой, жарко мне!

И кофту свою у ворота расстегнула. Лицо у нее хорошее, и хоть глаза дерзкие — привлекают они меня. Подала старуха вина на стол, простого бутылку да наливки.

«Вот, думаю, выпью я рюмку, денег дам и — уйду!»

Татьяна бойко спрашивает:

— О чем тоскуешь?

Не успел я удержаться и ответил:

— Жена померла.

Тогда, уже тихонько, спросила она:

— Давно ли?

— Пять недель только.

Застегнула девица кофточку свою и вся как-то подобралась. Очень это понравилось мне; взглянул в лицо ей молча, а про себя говорю: спасибо! Как ни тяжело было

мне, а ведь молод я, и уже привычка к женщине есть, — два года в супружестве жил.

Старуха, задыхаясь, говорит:

— Жена умерла — ничего! Ты молодой, а от нашей сестры все улицы пестры.

Тогда Татьяна строго приказала ей:

— Иди-ка ты, Петровна, ложись да и спи! Я сама провожу гостя и ворота запру. — А когда старуха ушла, спрашивает меня серьезно и ласково:

— Родные есть у вас?

— Никого нет.

— А товарищи?

— И товарищей нет.

— Что же вы хотите делать?

— А не знаю.

Подумала, встала.

— Вот что, — говорит, — видно, что вы очень расстроены душой, и одному вам идти не советую. Вы на первое слово ко мне зашли, этак-то можно туда попасть, что не выдерешься: здесь ведь город! Ночуйте-ка у меня, вот — постель, ложитесь с богом! Коли даром неловко вам, заплатите Петровне, сколько не жаль. А коли я вам тяжела, скажите не стесняясь — я уйду...

Понравилась мне и речь ее и глаза, и не сдержал я некоей странной радости, усмехнулся, да и говорю:

— Эх, протопоп!

Удивилась Татьяна:

— Какой протопоп?

Совсем беда мне — опять сконфузился.

— Это, — мол, — поговорка у меня такая... То есть — не поговорка, а во сне иногда протопопа я вижу...

— Ну, — говорит, — прощайте!

— Нет уж, — мол, — пожалуйста, не уходите вы, посидите, если вам не трудно, со мной!

Села, улыбается.

— Очень рада; какой же труд?

Просит меня выпить наливки или чаю, спрашивает, не хочу ли есть. У меня после ее серьезной ласки слезы на глазах, радо мое сердце, как ранняя птица весеннему солнцу.

— За прямое слово — простите, — говорю, — но хочется мне знать: правду ль вы сказали про себя, или так подразнить хотелось вам меня?

Нахмурила она брови, отвечает:

— Верно. Я — из таких. А что?

— Первый раз в жизни вижу такую девуцу — со-
вестно мне.

— Чего же вам совеститься? Я ведь не голая сижу!

И тихонько, ласково смеется.

— Мне, — мол, — не за вас совестно, за себя, за глупость мою!

Рассказал ей без утайки мои мысли насчет гулящих девиц.

Слушает она внимательно, спокойно.

— Между нами, — говорит, — разные есть, найдутся и хуже ваших слов. Уж очень вы легко людям верите!

. Странно мне помириться с тем, что такая девица —
продажная. Снова спрашиваю ее:

— Что же вы это — по нужде?

— Сначала, — говорит, — один красавец обманул, я же на зло ему другого завела, да так и заигралась...
А теперь, иногда, и из-за хлеба приходится мужчину
принять.

Говорит просто, и жалости к себе не слышно в ее словах.

— А в церковь ходите?

Тут она вздрогнула, зарделась вся.

— В церковь, — говорит, — дорога никому не заказана.

Понимаю, что задел я ее, и скорей говорю:

— Вы не так меня поняли! Я евангелие знаю и Марию Магдалину помню и грешницу, которой фарисеи искушали Христа. Я спросить вас хотел, не имеете ли вы обиды на бога за жизнь свою, нет ли сомнения в доброты его?

Она наморщила бровки, подумала и удивленно спрашивает:

— Не вижу я, при чем тут бог?

— Как же, — мол, — он наш пастырь и отец, в его властной руке судьба человеческая!

А она говорит:

— Да ведь я людям зла не делаю, в чем же я виновата? А от того, что я себя нечисто держу, — кому горе? Только мне!

Чувствую — говорит она что-то добротное, сердечное, а понять не могу.

— За свои грехи — я ответчица! — говорит она, наклонясь ко мне, и вся улыбается. — Да не кажется мне велик грех-то мой... Может, это и нехорошо говорю я, а — правду! В церковь я люблю ходить; она, у нас недавно построена, светлая такая, очень милая! Певчие замечательно поют. Иногда так тронут сердце, что даже заплачешь. В церкви отдыхаешь душой от всякой суеты...

Помолчала и добавила:

— Конечно, и другой интерес есть — мужчины видят.

Удивляет она до того, что у меня даже пот на висках выступил, не понимаю я, как это у нее все плотно и дружно складывается.

— Вы, — спрашивает она, — очень любили жену?

— Очень, — говорю. И все больше нравится мне ее хорошая простота.

И начал я рассказывать ей о своем душевном деле — про обиду мою на бога, за то, что допустил он меня до греха и несправедливо наказал потом смертью Ольги. То бледнеет она и хмурится, то вдруг загорятся щеки ее румянцем и глаза огнем, возбуждает это меня.

Первый раз в жизни обернул я мысль свою о весь круг жизни человеческой, как видел ее, — встала она предомной нескладная и разрушенная, постыдная, грязью забрызганная, в злобе и немощи своей, в криках, столах и жалобах.

— Где здесь божеское? — говорю. — Люди друг на друге сидят, друг у друга кровь сосут, всюду зверская свалка за кусок — где тут божеское? Где доброе и любовь, сила и красота? Пусть молод я, но я не слеп родился, — где Христос, дитя божие? Кто поправил цветы, посеянные чистым сердцем его, кем украдена мудрость его любви?

И рассказал ей о протопопе, как он меня черным богом пугал, как в помощь богу своему хотел полицию кричать. Засмеялась Татьяна, да и мне смешон стал протопоп, подобный сверчку зеленому, — трещит сверчок да

прыгает, будто дело двигает, а кажись, и сам не крепко верит в правду дела своего!

А посмеявшись, затуманилась хорошая девица.

— Всего я не поняла, — говорит, — а иное даже страшно слушать: о боге дерзко вы думаете!

Я говорю:

— Не видя бога — жить нельзя!

— Да, — говорит, — да ведь вы с ним точно на кулачки драться собрались, разве это можно? А что жизнь тяжела людям — верно! Я тоже иногда думаю — почему? Знаете, что я скажу вам? Здесь недалеко монастырь женский, и в нем отшельница, очень мудрая старушка! Хорошо она о боге говорит — сходили бы вы к ней!

— Что ж, я пойду! Я теперь везде пойду, по всем праведникам, нужно мне успокоиться!

— А я теперь спать, да и вы ложитесь, — говорит она, протянув руку мне.

Схватил я ее, трясущую от души высказывающую:

— Спасибо вам! Сколько вы мне дали, не знаю я, и как это дорого — не ценю в сей час, но чувствую — хорош вы человек, спасибо вам!

— Что вы, — говорит, — бог с вами!

Смутилась, покраснела.

— Я так рада, если легче вам!

И вижу я, что, действительно, рада она. Что я ей? А она — рада тому, что человека успокоила немного.

Погасил я свет, лег и думаю:

«Вот, на праздник нечаянно попал!»

Потому что хоть и нелегко на сердце, а все-таки есть в нем что-то новое, хорошее. Вижу Татьянины глаза: то задорные, то серьезные, человеческого в них больше, чем женского; думаю о ней с чистой радостью, а ведь так подумать о человеке — разве не праздник?

Решил, что завтра подарю ей кольцо с голубым камнем. А потом — забыл, не купил... Тринадцать лет прошло с той поры, а вот вспомню эту девушку — и всегда жаль, что не купил ей кольца.

Утром стучит она в дверь.

— Вставать пора!

Встретились с нею, как старые друзья, сели пить чай, а она все уговаривает, чтобы я к отшельнице сходил,

слово взяла с меня. Душевно распрощались, проводила она меня за ворота.

В городе я, как в степи, — один. До монастыря тридцать три версты было, я сейчас же махнул туда, а на другой день уже за службой стоял.

Вокруг монахини черной толпой — словно гора рассыпалась и обломками во храме легла. Монастырь богатый, сестер много, и всё грузные такие, лица толстые, мягкие, белые, как из теста слеплены. Поп служит истово, а сокращенно, и тоже хорошо кормлен, крупный, басистый. Клирошанки на подбор — красавицы, поют дивно. Свечи плачут белыми слезами, дрожат их огни, жалеючи людей.

«Дух мой ко храму, ко храму святому твоему...» — покорно возглашают молодые голоса.

А я по привычке повторяю про себя слова богослужения, оглядываюсь, хочу понять, которая здесь отшельница, и нет во мне благоговения. Понял это — смутился... Ведь не играть пришел, а в душе — пусто. И никак не могу собрать себя, все во мне разрознено, мысли одна через другую скачут. Вижу несколько изможденных лиц — древние, полумертвые старухи, смотрят на иконы, шевелят губами, а шопота не слышно.

Отстоял службу, хожу вокруг церкви. День ясный, по снегу солнце искрами рассыпалось, на деревьях синицы тенькают, иней с веток отряхая. Подошел к ограде и гляжу в глубокие дали земные; на горе стоит монастырь, и перед ним размахнулась, раскинулась мать-земля, богато одетая в голубое серебро снегов. Деревеньки пригорюнились; лес, рекою прорезанный; дороги лежат, как ленты потерянные, и надо всем — солнце сеет зимние косые лучи. Тишина, покой, красота...

А через некоторое время был я в келейке матери Февронии. Вижу: маленькая старушка, глаза без бровей, на лице во всех его морщинах добрая улыбка бессменно дрожит. Речь она ведет тихо, почти шопотом и певуче.

— Не ешь, — говорит, — молодец, яблочко до спасова дня, погоди, когда господь миленький его вырастит, когда зернышки почернеют в нем!

Думаю — к чему это она?

— Чти, — говорит, — отца и мать твою...

- Нет, — мол, — их у меня!
- Молись за упокой их душенок...
- А может, они живы?

Смотрит она на меня и жалостно улыбается. Потом опять качает головою и поет:

— Господь-от наш добренький, до всех справедлив, всех оделяет щедротой своей!

- А я, — мол, — усомнился в этом...

Смотрю — испугалась она, руки опустила и молчит, часто мигая глазами. Собралась с духом — снова тихонько запела:

— Помни, что молитва крылата и быстрее всех птиц, и всегда она достигнет до престола господня! На коне в царство небесное никто не въезжал...

Понимаю, что бог для нее барином стоит — добренький да миленький, а закона у старушки нет для него. И все она сбивается на притчи, а я не понимаю их, досадно мне это.

Поклонился ей и ушел.

«Вот, — думаю, — разобрали люди бога по частям, каждый по нужде своей, — у одного — добренький, у другого — страшный, попы его в работники наняли себе и кадильным дымом платят ему за то, что он сытно кормит их. Только Ларион необъятного бога имел».

Монашенки снег на санях возят, проехали мимо, хихикают, а мне тяжело и не знаю, что делать. Вышел за ворота — тишина. Снега блестят, инеем одетые деревья не шелохнутся, все задумалось. И небо и земля смотрят ласково на тихий монастырь. Мне же боязно, что вот я нарушу эту тишину некоторым криком.

К вечерне заблаговестили... Славный колокол! Мягко и внятно зовет, а мне в церковь идти не хочется. В голове будто мелкие гвозди насыпаны.

И как-то вдруг решил я: пойду жить в монастырь, где устав построже, поживу-ка один, в келье, подумаю, книг почитаю... Не соберу ли в одиночестве разрушенную душу мою в крепкую силу?

Через неделю в Савватеевской пустыни пред игуменом стою, — нравится он мне. Человек благообразный, седоватый и лысый, краснощек и крепок, но лицо серьезное и глаза обещающие.

— Почему, — спрашивает он, — сын мой, мира бежишь?

Объясняю, что расстроен душой по случаю смерти жены, а больше ничего не могу сказать, что-то мне мешает.

Он, бороду пощипывая, зорко смотрит на меня и снова говорит:

— Вклад сделать можешь?

— Есть, — мол, — у меня около ста рублей.

— Давай! Иди в странноприимную, завтра после обедни я еще потолкую с тобой.

Странниками отец Нифонт заведовал, он тоже понравился мне.

— У нас, — говорит, — обитель простая, воистину братская, все равно на бога работают, не как в других местах! Есть, положим, баринок один, да он ни к чему не касается и не мешает никому. Здесь ты отдых и покой душе найдешь, здесь — обрящешь!

За день я уже осмотрел обитель. Раньше, видимо, она в лесу стояла, да — вырубилась, кое-где пред воротами и теперь пни торчат, а с боков ограда лес заходит, двумя черными крыльями обнимая голубоглавую церковь и белые корпуса строений. Напротив Синь-озеро во льду лежит полумесяцем, — девять верст из конца в конец да четыре ширина, — и заозерье видать: три церкви Кудеярова, золотую главу Николы в Толоконцеве, а по эту сторону, у монастыря, Кудеяровские выселки прикурнули, двадцать три двора. Кругом — могучий лес.

Хорошо. Умиление тихо пало на душу. Вот где я побеседую с господом, разверну пред ним сокровенное души моей и со смиренной настойчивостью попрошу указать мне пути к знанию законов его!

Вечером всенощную стоял; служат строго по чину, истово, пение однако несогласное, хороших голосов нет.

Молюсь я:

— Господи, прости, если дерзко мыслил о тебе, не от неверия это, но от любви и жажды, как ты знаешь, всеведущий!

Вдруг впереди стоявший монах оглянулся на меня и улыбается. Видно, громко прошептал я покаянные слова мои! Улыбается он — и сколь прекрасное лицо вижу я!..

Даже опустил голову и зажмурился — ни до той поры, ни после — такого красавца не видал. Подвинулся вперед, встал рядом с ним и заглядываю в его дивное лицо — белое, словно кипень, в черной бороде с редкой проседью. Глаза у него большие, гордые, строен он и высок. Нос немного загнут, словно у кобчика, и во всей фигуре видно нечто благородное. Так он поразил меня, что даже во сне той ночью видел я его.

Рано утром разбудил меня Нифонт.

— Назначено, — говорит, — тебе послушание отцом игуменом; иди в пекарню, вот сей смиренный монашек отведет тебя, он же начальство твое! На-ко тебе одежду казенную!

Одеваюсь я в монастырское, наряд оказался впору, но все ношеное и грязное, а у сапога подметка отстала.

Гляжу на своего начальника: широкоплеч, неуклюж, лоб и щеки в бородавках и угрях, из них кустики серых волос растут, и все лицо как бы овечьей шерстью закидано. Был бы он смешноват — но лоб его огромный, глубокими морщинами покрыт, губы сурово сжаты, маленькие глаза угрюмы.

— А ты живее! — приказывает он.

Голос грубый, но надорванный, точно колокол с трещиной.

Нифонт, улыбаясь, говорит:

— Зовут его — брат Миха! С богом!

Вышли на двор, темно; Миха запнулся за что-то — по-матерному ругается. Потом спрашивает:

— Тесто месить умеешь?

— Видел, — говорю, — как бабы месят.

Ворчит:

— Бабы! Вам всё бабы, везде бабы! Через них мир проклят, надо помнить!

— Богородица, — мол, — женщина была.

— Ну?

— И много есть святых угодниц.

— Поговори! К чорту в ад и угодишь!

«Однако, — думаю, — это серьезный человек!»

Пришли в пекарню, зажег он огонь. Стоят два больших чана, мешками покрыты, и длинный ларь; лежит куле ржаной муки, пшеничная в мешках. Сорно и грязно,

всюду паутина и серая пыль осела. Сорвал Миха с одного чана мешки, бросил на пол, командует:

— Учись! Вот — подбойка! Пузыри — видишь? Значит — готова, взошла!

Взял куль муки, как трехлетнего ребенка, взвалил на край чана, вспорол ножом, кричит, как на пожаре:

— Лей воды четыре ведра! Меси!

И уже весь белый, как в инее.

Сбросил ряску, засучил рукава.

Он говорит.

— Это — никуда! Снимай штаны... Ногами!

— Я, — мол, — в бане давно не был...

— А тебя об этом спрашивают?

— Как же грязными-то ногами?

Как он заорет:

— Ты мне под начал дан али я тебе?

Рот у него большой, зубы крупные, руки длинные, и он ими неласково махает.

«Ну, — думаю, — пес с тобой!»

Вытер ноги мокрой тряпкой, залез в чан, топчусь, а начальник мой катается по пекарне и рычит:

— Я те согну, матушкин сынок!.. Я те научу смиренномудрию!

Вымесил я один чан — другой готов; этот замесил — пшеничное поспело; его уже руками надо было месить. Крепок был я парень, а к работе не привык: мука мне налезла и в нос, и в рот, и в уши, и в глаза, оглох, ничего не вижу, потом обливаюсь, а он в тесто капает.

— Тряпки, — говорю, — нет ли, пот вытирать?

Сердится Миха:

— Бархатные полотенца заведем для тебя. Двести тридцать два года обитель стояла — все твоих порядков ждала!

Мне — смешно.

— Да ведь я, — мол, — не для себя! Люди хлеб-то будут есть!

Подошел он ко мне, ошетинился, как еж, и дрожит весь и мычит.

— Мешком отирайся, коли брезглив! А о дерзости твоей я игумену доложу!

Удивляет меня этот человек до того, что я и обижаться не могу. Работает он, не покладая рук, мешки-пятирики, как подушки, в руках у него, весь мукой обсыпался, урчит, ругается и все подгоняет меня:

— Живей возись!

Стараюсь так, что голова кружится.

Трудно дались мне первые дни послушания. Пекарня под трапезной была, в подвале, потолок в ней сводчатый, низкий, окно — одно только и наглухо закрыто; воздуха мало, туманом густым мучная пыль стоит, мечется в ней Миха, как медведь на цепи, мутно сверкает огонь в печи. И все время только двое нас, — редко кого накажут послушанием, велят нам помогать. За службы в церковь некогда ходить. Миха каждый день поучает меня — словно крепкой веревкой туго вяжет; горит он весь, дымит злобой против мира, а я дышу его речами и уже весь изнутри густо сажей покрыт.

— Люди для тебя кончились, — говорит, — они там в миру грех плодят, а ты от мира отошел. А если телом откачулся его — должен и мыслью уйти, забыть о нем. Станешь о людях думать, не минуя вспомнишь женщину, ею же мир повергнут во тьму греха и навеки связан!

Я, бывало, едва рот открою, а он уже кричит:

— Молчи! Слушай опытного внимательно, старшего тебя с уважением! Знаю я — ты все о богородице бормочешь! Но потому и принял Христос крестную смерть, что женщиной был рожден, а не свято и чисто с небес сошел, да и во дни жизни своей мирволил им, паскудам этим, бабенкам! Ему бы самарянку-то в колодезь кинуть, а не разговаривать с ней, а распутницу эту камнем в лоб, — вот, глядишь, и спасен мир!

— Ведь это же не церковная мысль!

— И еще говорю — молчи! Что ты знаешь — церковное, нецерковное? Церковь вся в руках белого духовенства, в плену блудников, щеголей; они вон сами в шелковых рясах ходят, на манер бабьих юбок! Еретики они поголовно, им кадрили плясать, а не уставы писать! Разве женатый мужик может чисто мыслить о господних делах? Не в силе он — ибо продолжает великий грех прелюбодеяния, за него же люди изгнаны господом из садов райских! Тем грехом все мы презренно брошены во скорбь вечную

и осуждены на скрежет зубовный и на судороги дьявольские и ослеплены, да не видим лица божия вовеки и век века! Священство — кое само сеть греха плетет, рождая детей от женщины, — укрепляет этим мир на стезе гибели и, чтобы оправдать отступничество свое от закона, изолгало все законы!

Все теснее сдвигает человек этот вокруг меня камни стен, опускает он свод здания на голову мою; тесно мне и тяжело в пыли его слов.

— Как же, — мол, — господь сказал: плодитесь, множьтесь?

Даже посинел мой наставник, ногами топает, ревет:

— Сказал, сказал!.. А ты знаешь, как он сказал, ты, дурак? Сказал он: плодитесь, множьтесь и населяйте землю, предаю вас во власть дьявола, и будь вы прокляты ныне и присно и во веки веков, — вот что он сказал! А блудники проклятие божие обратили в закон его! Понял, мерзость и ложь?

Обрушится он на меня, подобно горе, и задавит; потемнеет все вокруг меня. Верить не могу я, но и опровергнуть изуверство его не в силах — растерялся под напором страсти его. Приведу ему текст из писания, а он мне — три, и обезоружит мысль мою. Писание — пестрый луг цветов; хочешь красных — есть красные, белых хочешь — и они цветуг. Убито молчу пред ним, а он торжествует, горят его глаза, как у волка. И все время вертимся мы в работе: я мешу, он хлебы раскатывает, в печь сажает; испекутся — вынимать их начнет, а я на полки кладу, руки себе обжигая. Тестом я оклеен, мукой посыпан, слеп и глух, плохо понимаю от усталости.

Приходяг к нам разные монахи, говорят о чем-то намеками, смеются; Миха злобно лает на всех, гонит вон из пекарни, а я — как вареный: и угрюм стал и тяжко мне с Михайлом, не люблю я его, боюсь.

Несколько раз он спрашивал меня:

— Голых баб видишь во сне?

— Нет, — мол, — никогда.

— Врешь ты! Зачем врешь?

Сердится, зубы оскалил, кулаком мне грозит, кричит:

— Лжец и пакостник!

Я только удивляюсь ему. Какие там бабы голые? Человек с трех утра до десяти часов вечера работает, ляжешь спать, так кости ноют, подобно нищим зимой, а он — бабы!

Однажды пошел я в кладовую за дрожжами — тут же в подвале против пекарни темная кладовая была — вижу, дверь не заперта, и фонарь там горит. Открыл дверь, а Миха ползает на животе по полу и рычит:

— Отжени, молю тя, господи! Отжени... Освободи.

Я, конечно, тотчас же ушел, но не догадался, в чем дело.

Ненавистно говорил он о женщинах и всегда похабно, называя все женское грубо, по-мужичьи, плевался при этом, а пальцы скрючивал и водил ими по воздуху, как бы мысленно рвал и щипал женское тело. Нестерпимо мне слышать это, задыхаюсь. Вспомню жену свою и счастливые слезы наши в первую ночь супружества, смущенное и тихое удивление друг перед другом, великую радость...

«Разве это не твой сладкий дар человеку, господи?»

Вспомню доброе сердце Татьяны, простоту ее, — обидно мне за женщину до слез. Думаю:

«Когда игумен позовет меня для разговора, все ему скажу!»

А он не зовет. Дни идут, как слепые лесом по тесной тропе, натываясь друг на друга, а игумен не зовет меня. Темно мне.

В то время — в двадцать два года от роду — первые седые волосы явились у меня.

Хочется с прекрасным монахом поговорить, но вижу я его редко и мельком — проплывет где-нибудь гордое лицо его, и повлечется вслед за ним тоска моя невидимой тенью.

Спрашивал я Михайлу про него.

— Ага-а!.. — кричит Миха. — Этот? Да, этот праведной жизни скот, как же! За игру в карты из военных выгнан, за скандалы с бабами — из духовной академии! Из офицеров в академию попал! В Чудовом монастыре всех монахов обыграл, сюда явился — семь с половиной тысяч вклад сделал, землю пожертвовал и этим велик почет себе купил, да! Здесь тоже в карты играет — игу-

мен, келарь, казначей да он с ними. Девка к нему ездит... О, сволочи! Келья-то у него отдельная, ну, он там и живет как ему хочется! О, великая пакость!

Не верил я этому, не мог.

Как-то раз прошу келаря, отца Исидора, допустить меня до игумена для беседы.

— О чем беседа?

— О вере, — мол.

— Что такое — о вере?

— Разные вопросы имею.

Смотрит на меня сверху вниз; был он на голову выше меня, худой, костлявый, глаза умные, насмешливые, нос кривой и длинная острая борода.

— Прямо говори — плоть одолевает?

Далась им эта плоть!

Неохота мне, но все-таки сказал я ему кратко некоторые сомнения мои. Нахмурился, улыбается.

— Против этого, сын мой, молитва — средство, молитвою да излечишь недуг души твоей! Но — во внимание к трудолюбию твоему, а также по необычности просьбы твоей — я игумену доложу. Ожидай!

Слово «необычность» удивило меня, почувствовал я в нем пустоту, враждебную мне.

И вот зовут меня к отцу игумену, смотрит он зорко, как я поклоны быю, и властно говорит:

— Передал мне отец Исидор желание твое состояться о вере со мной...

— Я, — мол, — не спорить хочу...

— А — не перебивай речь старшего! Всякое рассуждение двоих об одном предмете есть уже спор, и всякий вопрос — соблазн мысли, — если, конечно, предмет не касается ежедневной жизни братской, дела текущего! Здесь у нас рабочее содружество, трудимся мы для поддержания плоти, дабы временно пребывающая в ней душа могла воспарять ко господу, молясь и представляя милости его о грехах мира. У нас суть не училище мудрствования, а работа; и не мудрость нужна нам, но простота души. Споры твои с братом Михайлой известны мне, одобрить их не могу! Дерзость мысли твоей умеряй, дабы не впасть во искушение, ибо разнузданная, не связанная верою мысль есть острейшее оружие

дьявола. Разум — от плоти, а сия — от дьявола, сила же души — частицы духа божьего; откровение даруется праведному через созерцание. Брат Михайла, начальник твой, — суровый монах, но истинный подвижник и брат, всеми здесь любимый за труды свои. Налагается мною на тебя эпитимия — по окончании дневного труда твоего будешь ты в левом приделе пред распятием акафист Иисусу читать трижды в ночь и десять ночей. Засим, назначаются тебе также беседы со схимонахом Мардарием, — время будет указано и число оных. Ты ведь в экономии приказчиком был? Иди с миром, я о тебе подумаю! Родных, кажись, не имеешь в миру? Ступай, я помолюсь о тебе! Надейся на лучшее!

Воротился я к себе в пекарню, стал эту речь взвешивать в уме — легко весит!

Может, разум и заблуждается в исканиях своих, но бараном жить едва ли достойно и праведно для человека. Созерцание же молитвенное я в ту пору понимал как углубление в недра духа моего, где все корни заложены и откуда мысль стремится расти кверху, подобно дереву плодovому. Враждебного себе и непонятного в душе моей я ничего не находил, а чувствовал непонятное в бoге и враждебное в мире, значит — вне себя. А что братия Михайлу любит — это прямая неправда была; я хотя в стороне от всех стоял, в разговоры не вмешивался, но — ко всему присматриваясь — видел, что и рясофорные и послушники презирают Михайлу, боятся его и брезгуют им.

Вижу также, что обитель хозяйственно поставлена: лесом торгует, земли в аренду мужикам сдает, рыбную ловлю на озере; мельницу имеет, огороды, большой плодовый сад; яблоки, ягоды, капусту продает. На конюшнях восемнадцать лошадей, братии более полуста, и все — народ крепкий, рабочий, стариков немного, — для парада, для богомольцев едва хватает. Монахи и вино пьют и с женщинами усердно путаются; кои помоложе, те на выселки ночами бегают, к старшим женщины ходят в кельи, якобы полы мыть; ну, конечно, богомолками тоже пользуются. Все это дело не мое, и осуждать я не могу, греха в этом не вижу, но ложь противна. Послушников много, послушания тяжелые, и не держится народ — бежит. При

мне, за два года жизни в обители, одиннадцать человек сбежало; с месяц-два проживут и — давай бог ноги! Трудно!

Конечно, и для богомольцев приманки имелись: вериги схимонаха Иосафа, уже усопшего, от ломоты в коленях помогали; скуфейка его, будучи на голову возложена, от боли головной исцеляла; в лесу ключ был очень студёный, — его вода, если облиться ею, против всех болезней действовала. Образ успения божьей матери ради верующих чудеса творил; схимонах Мардарий прорицал будущее и утешал горе людское. Все было как следует, и весной, в мае, народ валом к нам валил.

После разговора с игуменом и мне захотелось в другой монастырь идти, где бы победнее, попроще и не так много работы; где монахи ближе к делу своему — познанию грехов мира — стоят, но захлестнули меня разные события.

Сошелся я вдруг с одним послушником, Гришей, — в конторе монастырской занимался он. Замечал я его давно: ходит между братией всегда поспешно и бесшумно юноша в дымчатых очках, незаметное лицо, сутуловатый, ходит, наклоня голову, как бы не желая видеть ничего иного, кроме пути своего.

На другой день после разговора моего с игуменом явился этот Гриша в пекарню, — Михайла на доклад к отцу казначею пошел, — явился, тихо поздоровался, спрашивает:

— Были, братец, у игумена?

— Был.

— Беседовали?

— Нет.

— Прогнал?

— За что?

Поправил он очки, смутился, говорит:

— Простите, Христа ради!

— А вас разве прогонял?

Кивает головой утвердительно.

Присел на ларь, согнулся весь, сухо покашливает, стучит пятками по стенке ларя, а я ему рассказываю речи игумена. И вдруг он вскочил на ноги, выпрямился весь, как пружина, и заговорил звонко, горячо:

— Почему же называют это место — местом спасения души, если и здесь все на деньгах построено, для денег живем, как и в миру? Я сюда от греха торговли, а она здесь против меня, — куда бегу теперь?

Дрожит весь и спешно рассказывает про себя: сын купца, булочника, коммерческое училище кончил и был уже приставлен отцом к торговле.

— Пустыками какими-нибудь, — говорит, — я бы стал торговать, а хлебом — стыдно и неловко! Хлеб есть необходимое всем, нельзя забирать его в одни руки, чтоб выжимать барыш из нужды людской! Отец сломил бы меня, да его самого жадность сломила. Была у меня сестра, гимназистка, веселая, бойкая, со студентами знакомилась, книжки читала, и вдруг отец говорит ей: «Брось учиться, Лизавета, я тебе жениха нашел». Плачет она, бьется, кричит: «Не хочу!» А он ее — за косу, и довел до того, что покорила сестренка ему. Жених — сын богатейшего чайного торговца, косой, огромный парень, грубиян, и все кичится богатством своим. Лиза против его — как мышь против собаки; противен он ей! А отец говорит: «Дура, у него торговля во многих городах по Волге!» Ну, и обвенчали ее, а во время парадного обеда вышла она в свою комнату и выстрелила из пистолета в грудь себе. Я еще живой застал ее, говорит мне: «Прощай, Гриша, очень хочется жить, а нельзя — страшно, не могу, не могу!»

Помню, говорил он быстро-быстро, как бы убегая от прошлого, а я слушаю и гляжу в печь. Чело ее предомной — словно некое древнее и слепое лицо, черная пасть полна злых языков ликующего пламени, жует она, дрова свистят, шипят. Вижу в огне Гришину сестру и думаю: чего ради насилуют и губят люди друг друга?

И сыплются, как осенние сухие листья, частые Гришины слова:

— ...Отец обезумел, топает ногами, кричит: «Опозорила родителя, погубила душу!» И только после похорон, как увидал, что вся Казань пришла провожать Лизу и венками гроб осыпали, опамятовался он. «Если, говорит, весь народ за нее встал, значит, подлец я перед дочерью!»

Плачет Гриша, вытирает свои очки, а руки у него трясутся.

— А у меня еще до этой беды мечта была уйти в монастырь, тут я говорю отцу: «Отпустите меня!» Он и ругался и бил меня, но я твердо сказал: «Не буду торговать, отпустите!» Будучи напуган Лизой, дал он мне свободу, и — вот, за четыре года в третьей обители живу, а — везде торговля, нет душе моей места! Землею и словом божьим торгуют, медом и чудесами... Не могу видеть этого!

Разбудила его история душу мою, мало думал я, живя в монастыре, утомил меня труд, задремали мятежные мысли — и вдруг все снова вспыхнуло.

Спрашиваю Гришу:

— Где же наш господь? Нет вокруг нас ничего, кроме своевольной и безумной глупости человеческой, кроме мелкого плутовства, великие несчастья порождающего, — где же бог?

Но тут явился Михайла и разогнал нас.

С того дня начал Гриша часто бегать ко мне, я ему свои мысли говорю, а он ужасается и советует смирение. Говорю я:

— Зачем столько горя людям?

— За грехи, — отвечает. И всё у него от руки божией — голод, пожары, несчастные смерти, губительные разливы рек — всё!

— Разве, — мол, — бог есть сеятель несчастий на земле?

— Вспомни Иова, безумный! — шепчет он мне.

— Иов, — говорю, — меня не касается! Я на его месте сказал бы господу: не пугай, но ответь ясно — где пути к тебе? Ибо аз есмь сын силы твоя и создан тобою по подобию твоему, — не унижай себя, отталкивая дитя твое!

Плачет, бывало, Гришуха от дерзостей моих, обнимает меня.

— Милый брат мой, — шепчет, — боюсь я за тебя до ужаса! Речи и суждения твои от дьявола!

— В дьявола не верую — коли бог всесилен...

Он еще больше взволнуется; чистый был и нежный человек, полюбил я его.

Я тогда эпитимию отбывал. Кончу работать — иду в церковь. Брат Никодим откроет двери мне и запрет меня, наполнив тишину храма гулким шумом железа. По дождю я у двери, покуда не ляжет этот гул на каменные

плиты пола, подойду тихонько к распятию и сяду на полу пред ним — нет у меня силы стоять, кости и тело болят от работы, и акафист читать не хочется мне. Сажу, обняв колени, и смотрю вокруг сонными глазами, думая о Грише, о себе. Лето было тогда, ночи жаркие, а здесь — прохладный сумрак, кое-где лампы мелькают, перемигиваются; синеватые огоньки тянутся кверху, словно хотят взлететь в купол и выше — в небо, к летним звездам. Слышен тихий треск свечей, звучит он разное, сквозь дрему мне кажется, что во храме кто-то невидимо живет, тайно беседуя робким мельканием лампад. В теплой тишине и тьме вдумчиво колеблются лики святых, словно и пред ними встало что-то нерешенное. Призрачные тени, тихо коснувшись лица моего, овевают сладким дыханием масла, кипариса и ладана. Золото и медь стали мягче, скромнее, серебро блестит тепло, ласково, и все тает, плавится, сливаясь в широкий поток великой о чем-то мечты. Храм, как густое душистое облако, колеблется и плывет в тихом шопоте неясной мне молитвы. Закружусь я в хороводе теней, и поднимет меня с пола ласковый сон.

А перед тем, как ударить к заутрене, подойдет ко мне молчаливый брат Никодим, разбудит, тихонько коснувшись головы, и скажет:

— Иди с богом!

— Прости, — мол, — меня, я опять заснул!

Иду и шатаюсь на ногах, а Никодим, поддерживая меня, чуть слышно говорит:

— Бог тебя простит, кормилец мой!

Был Никодим незаметный старичок, ото всех прятывший лицо свое, и всякого человека он называл «кормилец».

Однажды спросил я его:

— Ты, Никодимушка, по обету молчишь?

— Нет, — говорит, — так, просто.

И вздохнул:

— Кабы знал, что сказать, — говорил бы!

— А отчего из мира ушел?

— Оттого и ушел.

Начнешь его дальше спрашивать — не отвечает, иногда взглянет в лицо тебе виноватыми глазами и тихонько скажет:

— Не знаю я, кормилец!

Бывало, подумаешь:

«Может, этот человек тоже ответов искал...»

И захочется бежать из монастыря.

А тут явился еще один сударь — вдруг, точно мяч через ограду перескочил — крепкий такой попрыгун, бойкий, маленький. Глаза круглые, как у совы, нос горбом, кудри светлые, борода пушистая, зубы блестят в постоянной улыбке. Веселит всех монахов шутками, про женщин похабно рассказывает, по ночам водит их в обитель, водки без меры достает и во всем удивительно ловок.

Посмотрел я на него и говорю:

— Ты чего в монастыре ищешь?

— Я? Жратвы!

— Хлеб работой добывают!

— Это, — говорит, — на мужиков богом возложено, а я — мещанин, да еще в казенной палате два года служил, так что вроде начальства числю себя!

Я и этого забавника начал раскрывать — надо мне видсть все пружины, какие людьми двигают. Как привык я к работе моей, Михайла лениться стал, все убегает куда-то, а мне хоть и трудно одному, но приятнее: народ в пекарню свободно ходит, беседуем.

Чаще всего сходились мы трое: Гриша, я и веселый Серафим. Гриша волнуется, машет руками на меня, Серафим свистит, потряхивая кудрями, улыбается.

Как-то раз спросил я его:

— Серафим, а ты, бродяга, в господа веруешь?

— Потом, — говорит, — скажу, подожди лет тридцать. Ударит мне под шестьдесят, я, наверное, буду знать, верую ли, а сейчас я этого не понимаю; врать же — охоты нет!

И начнет рассказывать про море. Говорил он о нем, как о великом чуде, удивительными словами, тихо и громко, со страхом и любовью, горит весь от радости и становится подобен звезде. Слушаем мы его, молчим, и даже грустно от рассказов его об этой величавой живой красоте.

— Море, — жгуче говорил он, — синее око земли, устремленное в дали небес, созерцает оно надмирные странства, и во влаге его, живой и чуткой, как душа,

отражаются игры звезд — тайный бег светил. И если долго смотреть на волнение моря, то и небеса кажутся отдаленным океаном, звезды же — золотые острова в нем.

Гриша, бледный, слушает его и, улыбаясь тихой, как бы лунной, улыбкой, печально шепчет:

— И пред лицом сих тайн и красот мы — только торгуем! Ничего более... О, господи!

Или начинает Серафим о Кавказе говорить — представит нам страну мрачную и прекрасную, место, сказке подобное, где ад и рай обнялись, помирились и красуются, братски равные, гордые величием своим.

— Видеть Кавказ, — внушает Серафим, — значит видеть истинное лицо земли, на коем — не противореча — сливаются в одну улыбку и снежная чистота души ребенка и гордая усмешка мудрости дьявольской. Кавказ — проба сил человека: слабый дух подавляется там и трепещет в страхе пред силами земли, сильный же, насыщаясь еще большей крепостью, становится высок и остр, подобно горе, возносящей алмазную вершину свою во глубину небесных пустынь, а вершина эта — престол молний.

Вздыхает Гриша и тихо спрашивает:

— Кто укажет душе путь ее? К миру или прочь от него идти надо? Что признать и что отринуть?

Серафим рассеянно и светло усмехается.

— Не убавится и не прибудет силы солнца от того, как ты, Гришуха, в небо поглядишь; не беспокойся об этом, милый!

Понимаю я Серафима — и нет. Спрашиваю с досадой:

— Ну, а люди как, по-твоему? К чему они?

Пожимает он плечами, улыбается.

— Что же — люди? Люди, как травы, все разные. Для слепого и солнце черно. Кто сам себе не рад, тот и богу враг. А впрочем, молоды люди — трех лет Ивана по отчеству звать рано!

Прибауток у него, как у Савелки, полон рот был, сыпал он ими, как яблоня цветами. Как только поставишь ему серьезный вопрос, он сейчас же набросает на него слов своих, как трав на гроб младенца. Задевает меня его уклончивость, сержусь, а он, чорт, хохочет.

Бывало, в досаде скажешь ему:

— Зря ты шляешься, лентяй! Даром чужой хлеб ешь!

— У нас, — говорит, — кто ест свой хлеб, тот и голоден. Вон мужики весь век хлеб сеют, а есть его — не смеют. А что я работать не люблю — верно! Но ведь я вижу: от работы устанешь, а богат не станешь, но кто много спит, слава богу — сыт! Ты бы, Матвей, принимал вора за брата, ведь и тобой чужое взято!

Засмеешься. Прост он был и этим привлекал, никак не притворялся, а прямо говорил:

— Я насекомое малое и вред людям не велик приношу тем, что кусок хлеба попрошу да съем.

Вижу я, у этого человека Савелкин строй души — и удивляюсь: как могут подобные люди сохранять среди кипения жизни ясность духа своего и веселие ума?

Серафим против Гриши — как ясный день весны против вечера осени, а сошлись они друг с другом ближе, чем со мной. Это было немножко обидно мне. Вскоре и ушли они вместе, Гриша решил в Олонецк идти, а Серафим говорит:

— Провожу его, отдохну там с неделю, да опять на Кавказ! И тебе, Матвей, с нами бы шагать — в движении скорее найдешь, что тебе надо. Или потеряешь... и то хорошо! Из земли бога не выкопать!

Но я с ними не мог идти — в ту пору на беседы к Мардарию ходил, и очень любопытен был для меня схимник.

С великой грустью проводил я их, — тихий вечер мой и веселый день!

Схимонах Мардарий жил в землянке у церковной стены сзади алтаря; встарину эта яма тайником была — монастырские сокровища от разбойников прятали в ней, и прямо из алтаря был в нее подземный ход. Разобрали над этой ямой каменный свод, покрыли ее толстыми досками и поставили над нею легкую келейку с окошком в потолке. А в полу сделана была решетка, огражденная перилами, сквозь ее богомольцы разглядывали схимника. В углу кельи — подъемная дверь, и лестница винтом опускалась вниз к Мардарию, — у сходящего по ней кружилась голова. Яма — глубокая, двенадцать ступенек до дна, света в ней только один луч, да и тот не доходил

до пола, таял, расплываясь в сырой тьме подземного жилища.

Долго и пристально надо смотреть сквозь решетку, куда увидишь в глубине темноты нечто темнее ее, как бы камень большой или бугор земли, — это и есть схимник, недвижим сидит.

Спустишься к нему, охватит тебя тепловатой пахучей сыростью, и первые минуты не видишь ничего. Потом выплывает во тьме аналой и черный гроб, а в нем согбенно поместился маленький старичок в темном саване с белыми крестами, черепами, тростью и копьём, — все это смято и поломано на иссохшем теле его. В углу спряталась железная круглая печка, от нее, как толстый червь, труба вверх ползет, а на кирпиче стен плесень выросла зеленой чешуей. Луч света вонзился во тьму, как меч белый, и проржавел и рассыпался в ней.

На примятых стружках беззвучно, словно тень, качается схимник, руки у него на коленях лежат, перебирая четки, голова на грудь опущена, спина выгнута подобно коромыслу.

Помню, пришел я к нему, опустился на колени и молчу. И он тоже долго молчал, и все вокруг было насыщено мертвым молчанием. Лица его не видно мне, только темный конец острого носа вижу.

Шепчет он чуть слышно:

— Ну...

А я не могу говорить, охватила меня и давит жалость к человеку, живым во гроб положенному.

Подождав, он снова спрашивает:

— Что же... говори...

И повернул ко мне свое лицо — темное оно, а глаз я не вижу на нем, только белые брови, бородка да усы, как плесень на жутком, стертом тьмою и неподвижном лице. Слышу шелест его голоса:

— Ты там споришь... Зачем же спорить... Богу надо покорно служить. Что с ним спорить, с богом-то, бога надо просто любить.

— Я, — мол, — люблю его.

— Ну, вот. Он тебя наказывает, а ты будто не видишь, и говори: слава тебе, господи, слава тебе! И всегда это говори. Больше ничего.

Видимо, трудно ему от слабости или разучился он говорить, — слова его чуть живы, и голос подобен трепету крыльев умирающей птицы.

Не могу я ни о чем спросить старика, жалко мне нарушить покой его ожидания смерти и боюсь я, как бы не спугнуть чего-то... Стою не шевелясь. Сверху звон колокольный просачивается, колеблет волосы на голове моей, и нестерпимо хочется мне, подняв голову, в небеса взглянуть, но тьма тяжело сгибает выю мне, — не шевелюсь.

— Ты помолись-ка, — говорит он мне. — И я помоюсь за тебя.

Замер. Тихо. И струится жуткий страх по коже моей, обливая грудь снежным холодом.

А через некоторое время шепчет он:

— Ты еще тут?

— Да.

— Не вижу я. Ну, иди с богом! Ты — не спорь.

Ушел я тихонько. Как поднялся на землю и вздохнул чистым воздухом, опьянел от радости, голова закружилась. Сырой весь, как в погребке был. А он, Мардарий, четвертый год там сидит!

Пять бесед назначено было мне, но я все молчал. Не могу. Спущусь к нему, прислушается он и нездешним голосом спросит:

— Пришел. Вчерашний ли?

— Да, это я.

Тут он начинает шептать с перерывами:

— Ты бога не обижай... Чего тебе надо?.. Ничего не надо... Кусочек хлебца разве. А бога обижать грех. Это от беса. Беси — они всяко ногу подставляют. Знаю я их. Обижены они, беси-то. Злые. Обижены, оттого и злы. Вот и не надо обижаться, а то уподобишься бесу. Тебя обидят, а ты им скажи: спаси вас Христос! И уйди прочь. Ну их! Тленность они все. Главное-то — твое. Душу-то не отнимут. Спрячь ее, и не отнимут.

Сеет он потихоньку слова свои, осыпаются они на меня, как пепел дальнего пожара, и не нужны мне, не трогают души. Как будто черный сон вижу, непонятный, тягостно-скупный.

— Молчишь ты, — раздумчиво говорит он, — это хорошо. Пусть их как хотят, а ты молчи. Другие ходят ко мне, те — говорят. Многие говорят. Нельзя понять, о чем они. Про женщин каких-то. А мне что? Про все говорят — а про что про все? Непонятно. Ты знай молчи. Я бы тоже не говорил, да игумен тут — утешай, — надо утешать! Ну, ладно. А сам я очень бы молчал. Ну их всех к богу! У меня все отнято. Молитва только осталась. Что тебя мучают — ты не замечай. Беси мучают. Мучили и меня. Брат родной. Бил. А то — жена. Мышьяком меня травила. Был я для нее как мышь, видно. Обокрали всего. Сказали — будто я деревню-то поджег. В огонь бросить хотели. И в тюрьме сидел. Все было. Судили — еще сидел. Бог с ними! Я всех простил. Не виноват — а простил. Это — для себя. Лежала на мне гора обид. Дышать не мог. А как простил, — ничего! Нет горы. Беси обиделись и отошли. Вот и ты — прости всем... Мне — ничего не надо. И тебе то же будет.

На четвертой беседе просит он меня:

— Принеси-ка ты мне хлебца корочку. Я бы пососал... Немошен я — прости ты меня, Христа ради!

Жалко мне его стало до боли в сердце. Слушаю бред его и думаю:

«Зачем это надо, о господи? Зачем же?»

А он шелестит иссохшим языком:

— Кости у меня болят. Ноют день и ночь. Корочку-то пососу — легче будет, может. А то зудят кости, мешают. Надо ведь молиться все минуты. И во сне — надо. А то сейчас и напомнит бес. Имя твоё напомнит, и где ты жил, все. Он вот тут на печке сидит. Ему — ничего, что иной раз горячая она, красная. Он — привык. Сядет серенький против меня и сидит. Я его закрепшу, да уж и не гляжу на него. Надоел он. Ну его! А то по стене ползает, пауком. Ино тряпицей серой болтается в воздухе. Он — разное может, мой-то. Скучно со стариком. А приставили — надо стеречь. Тоже и ему не сладко, со стариком-то. Я уж и не обижаюсь на него. И бес подневолен. Привык я к нему. Ну тебя, говорю, надоел ты! И не гляжу. Он — ничего, не озорник. Только все напоминает, как меня звали.

Поднял старичок голову и довольно громко сказал:

— А звали-то меня Михайло Петров Вяхирев!

И снова осел весь в гроб свой, шепчет:

— Таки толкнул бес... Ах ты, бес! Ты здесь, брат? Иди-ко с господом!

Плакать я готов был в тот день со зла... Ну, зачем старик этот? Какая красота в подвиге его? Ничего не понимаю! Весь день и долго спустя вспомню я про него — как будто и меня дразнит некий бес, насмешливые рожи строя.

Когда последний раз пошел я к нему, то набил карманы мягким хлебом — с досадой и злостью на людей понес этот хлеб. И когда отдал ему — он зашептал:

— Ого-го! Теплый. Ого-то-го...

Возится во гробе, стружки под ним скрипят, прячет хлеб и все шепчет:

— Ого-го...

И тьма и плесень стен — все вокруг шевелится, повторяя тихим стоном шопот схимника!

— О-о-о.

Четыре раза в неделю пищу он принимал; конечно, голодно было ему.

В тот последний раз он уж ничего не говорил со мной, а только чмокал, посасывая хлеб, — видимо, зубов у него совсем уже не было.

Постояв несколько времени, говорю ему:

— Ну, прости меня, Христа ради, отец Мардарий, ухожу я и больше не приду! Спасибо мое прими!

— Да, да, — торопливо отвечает он, — спасибо тебе, спасибо! Ты монахам-то не говори. Про хлеб-то. Отнимут еще. Они завистливы, монахи-то. Их ведь беси тоже знают. Беси всё знают. Ты молчи!

После этого вскоре захворал и помер он. Хоронили торжественно — владыка из города со священством приезжал и соборне литургию служил. Потом слышал я, что над могилой старичка по ночам синий огонек сам собою загорается.

Сколь жалостно все это! И сколь постыдно людям!

Вскоре после этого жизнь моя круто повернулась.

Еще при Грише был со мною подлый случай: вхожу я однажды в кладовую, а Михайла на мешках лежит и онановым грехом занимается. Невыразимо противно стало мне; вспомнил я пакости, кои он про женщин

говорил, вспомнил ненависть его, плюнул, выскочил в пекарню, дрожу весь со зла, и стыдно мне и горестно. Он за мной... Пал на колени, умоляет меня, чтобы я молчал, рычит:

— Ведь и тебя она смущает по ночам, знаю я! Сильна власть дьявола...

— Врешь, — говорю, — пойдешь ты ко всем чертям! сгинь! Ведь ты — хлеб печешь, собака!

Ругаюсь, не могу удержаться. Если бы он женщин не пачкал грязными словами своими, так пес с ним!

А он все ползает, просит, чтобы я молчал.

— Да разве, — говорю, — об этом скажешь? Ведь стыдно же! Но — работать с тобой не хочу! И ты скажи, чтобы перевели меня на другое послушание...

На том я и встал.

О ту пору люди-то все еще не были живы и видны для меня, и старался я только об одном — себя бы в сторону отодвинуть.

Михайла захворал и лег в лечебницу, работаю я за старшего, дали мне в подмогу двух помощников; прошло недели три, и вдруг зовет меня келарь и говорит, что Михайла выздоровел, но работать со мной не желает из-за моего строптивого характера, и потому назначен я, пока что, в лес пни корчевать. Это считалось наказанием.

— За что? — спрашиваю.

И вдруг в контору входит красавец-монах, отец Антоний, становится скромно к сторонке и слушает.

Келарь же объясняет мне:

— А именно за стропливость характера твоего и за дерзостные суждения о братии; это в твои годы и в положении твоём глупо, нетерпимо и должно быть наказано! Вот отец настоятель, по добросердечию своему, говорил, что надо тебя в контору перевести, на более легкое послушание, а выходит — вон оно что...

Говорил он долго, гнусаво и бесчувственно; вижу я, что не по совести, а по должности путает человек слова одно с другим. А отец Антоний, прислонясь к лежанке, смотрит на меня и, поглаживая бороду, улыбается прекрасными глазами, словно поддразнивает меня чем-то. Захотелось мне показать ему мой характер, и говорю я келарю:

— Возвышения — не ищу, унижения — не желаю принять, ибо — не заслужил, как вы знаете это, но хочу справедливости!

Покраснел келарь, посохом стучит.

— Цыц, дерзновенный!

Отец Антоний наклонился к уху его и что-то сказал.

— Сие — невозможно! — говорит келарь. — Должен он принять кару без ропота!

Пожал Антоний плечами и обратился ко мне, — голос у него басовитый, теплый:

— Подчинись, Матвей!

Победил он меня двумя словами и ласковым взглядом своим. Положив келарю земной поклон, поклонился я и ему, а потом спрашиваю келаря — когда мне идти в лес?

— Через три дня, — говорит, — а эти три дня ты во узилище посидишь! Так-то!

Не будь тут Антония, я бы, наверное, кости келарю переломал. Но его слова были приняты мною за некий намек на возможность приблизиться к нему, а ради этого я тогда готов был руку себе отрубить и — на все.

И повели меня в карцер — в ямку под конторой; ни встать там, ни лечь, только сидеть можно. На полу солома брошена, мокра от сырости. Тихо, как в могиле, даже мышей нет, и такая тьма, что руки тонут в ней: протянешь руку пред лицом, и — нет ее.

Сижу — молчу. И все во мне молчит, как свинцом облитое, тяжел я, подобно камню, и холоден, словно лед. Сжал зубы, будто этим хотел мысли свои сдержать, а мысли разгораются, как угли, жгут меня. Кусаться рад бы, да некого кусать. Схватился руками за волосы свои, качаю себя, как язык колокола, и внутренне кричу, реву, беснуюсь.

«Где же правда твоя, господи? Не ею ли играют беззаконники, не ею ли попирают сильные в злобном опьянении власть своей? Кто я пред тобой? Беззаконию жертва или страж красоты и правды твоей?»

Вспоминаю уклад жизни монастырской — неприглядно и глумливо встает она предо мной. Почему монахи — слуги божии? Чем они святее мирян? Знаю я тяжелую мужицкую жизнь в деревнях: сурово живут мужики!

Далеко они от бога: пьют, дерутся, воруют и всяко грешат, но ведь им неведомы пути его, и двигаться к правде нет сил, нет времени у них, — каждый привязан к земле своей и прикован к дому своему крепкой цепью страха перед голодом; что спросить с них? А здесь люди свободно и сыто живут; здесь открыты пред ними мудрые книги, — а кто из них богу служит? Только слабые и бескровные, вроде Гриши, остальным же бог — только защита во грехе и источник лжи.

Вспоминаю злую жадность монахов до женщины и все пакости плоти их, коя и скотом не брезгует, лень их и обжорство, и ссоры при дележе братской кружки, когда они злобно каркают друг на друга, словно вороны на кладбище. Рассказывал мне Гриша, что как ни много работают мужики на монастырь этот, а долги их все растут и растут.

О себе думаю: вот уже давно я маюсь здесь, а что приобрел душе? Только раны и ссадины. Чем обогатил разум? Только знанием пакости всякой и отвращением к человеку.

А вокруг — тишина. Даже звон колокольный не доходит ко мне, нечем время мерить, нет для меня ни дня, ни ночи, — кто же смеет свет солнца у человека отнимать?

Промозглая темнота давит меня, сгорает в ней душа моя, не освещая мне путей, и плавится, тает дорогая сердцу вера в справедливость, во всеведение божие. Но яркой звездой сверкает предо мной лицо отца Антония, и все мысли, все чувства мои — около него, словно бабочки ночные вокруг огня. С ним беседую, ему творю жалобы, его спрашиваю и вижу во тьме два луча ласковых глаз. Дорогоньки были мне эти три дня: вышел я из ямы — глаза слепнут, голова — как чужая, ноги дрожат. А братия смеется:

— Что, удостоился баньки духовной?

Вечером игумен позвал меня, поставил на колени и долго речь говорил.

— Сказано: зубы грешника сокрушу и выю его согну долу...

Молчу, держу сердце в руке. Умиротворяющий Антоний предо мной стоит и запечатывает злые уста мои ласковым взглядом.

И вдруг — смягчился игумен.

— Тебя, дурак, ценят, — говорит, — о тебе думают, ревность твою к работе заметили, разуму твоему хотяг воздать должное. И вот ныне я предлагаю тебе даже на выбор два послушания: хочешь ли ты в конторе сидеть, или — в келейники к отцу Антонию?

Точно теплой водой облил он меня, задохнулся я от радости и едва выговорил:

— Благословите в келейники...

Сморщил он лицо, задумался, пытливо смотрит на меня.

— Ежели, — говорит, — в контору идешь, я сложу с тебя корчеванье, а в келейники — прибавлю работы в лесу.

— Благословите в келейники...

Он строго спрашивает:

— Почему, глупый? Ведь в конторе легче и почетнее!

Стою на своем.

Склонил он голову, подумал.

— Благословляю, — говорит. — Чудной ты парень од-нако — надо следить за тобою... Иди с миром!

Пошел я в лес.

Весна была тогда, апрель холодный.

Работа трудная, лес — вековой, коренья редькой глубоко ушло, боковое — толстое, — роешь-роешь, рубишь-рубишь — начнешь пень лошадей тянуть, старается она во всю силу, а только сбрую рвет. Уже к полудню кости трещат, и лошадь дрожит и в мыле вся, глядит на меня круглым глазом и словно хочет сказать:

«Не могу, брат, трудно!»

Поглажу ее, похлопаю по шее.

— Вижу! — И снова рыть да рубить, а лошадь смотрит, встряхивая шкурой и качая головой. Лошади — умные; я полагаю, что бессмысленные деяния человеческих им видимо.

В это время была у меня встреча с Михайлой; чуть-чуть она худо не кончилась для нас. Иду я однажды после трапезы полуденной на работу, уже в лес вошел, вдруг догоняет он меня, в руках — палка, лицо озверевшее, зубы оскалил, сопит, как медведь... Что такое?

Остановился, жду. А он, ни слова не говоря, как размахнется палкой на меня! Я во-время согнулся, да в живот ему головой; сшиб с ног, сел на груди, палку вырвал, спрашиваю:

— Ты что это? За что?

Он возится подо мной, хрипит:

— Уходи прочь из обители...

— Почему?

— Не могу тебя видеть, убью... Уходи!

Глаза у него красные, и слезы выступают из них тоже будто красные, а на губах пена кипит. Рвет он мне одежду, щиплет тело, царапается, все хочет лицо достать. Я его тиснул легонько, слез с груди и говорю:

— На тебе же чин монашеский лежит, а ты, скот, такую злобу носишь в себе! И — за что?

Сидит он в грязи и настойчиво требует:

— Уйди! Не губи мою душу...

Ничего не понимаю. Потом — догадался, спрашиваю его тихонько:

— Может, ты, Миха, думаешь, что я сказал кому-нибудь о пороке твоём? Напрасно; никому я не говорил, ей-ей!

Встал он, пошатнулся, обнял дерево, глядит на меня из-за ствола дикими глазами и рычит:

— Пусть бы ты всему миру сказал — легче мне! Пред людьми покаюсь, и они простят, а ты, сволочь, хуже всех, — не хочу быть обязан тебе, гордец ты и еретик! Сгинь, да не введешь меня в кровавый грех!

— Ну, уж это, — мол, — ты сам уходи, коли тебе надо, я — не уйду, так и знай!

А он снова бросился на меня, и упали мы оба в грязь, выпачкались, как лягушки. Оказался я много сильнее его, встал, а он лежит, плачет, несчастный.

— Слушай, Михайла, — говорю. — Я уйду немного погоды, а теперь — не могу! Не из упрямства это, а нужда у меня, надо мне здесь быть!

— Иди к дьяволу, отцу твоему! — стонет он и зубами скрипит.

Отошел я от него, а через мало дней велено было ему ехать в город на подворье монастырское, и больше не видал я его.

Кончил я послушание и вот — стою одет во все новое у Антония. С первого дня до последнего помню эту полосу жизни, всю, до слова, как будто она и внутри выжжена и на коже моей вырезана.

Водит он меня по келье своей и спокойно, подробно учит — как, когда и чем должен я служить ему. Одна комната вся шкафами уставлена, и они полны светских и духовных книг.

— Это, — говорит он, — молельня моя!

Посреди комнаты стол большой, у окна кресло мягкое, с одной стороны стола — диван, дорогим ковром покрытый, а перед столом стул с высокой спинкой, кожей обит. Другая комната — спальня его: кровать широкая, шкаф с рясами и бельем, умывальник с большим зеркалом, много щеточек, гребеночек, пузырьков разноцветных, а в стенах третьей комнаты — неприглядной и пустой — два потайные шкафа вделаны: в одном вина стоят и закуски, в другом чайная посуда, печенье, варенье и всякие сладости.

Кончили мы этот обзор, вывел он меня в библиотеку и говорит:

— Садись! Вот как я живу. Не по-монашески, а?

— Да, — мол, — не по уставу.

— Вот ты, — говорит, — осуждаешь все, будешь и меня осуждать.

И улыбается, точно с колокольни, высокомерно. Очень я его любил за красоту лица, но улыбка эта не нравилась мне.

— Осуждать вас буду ли — не знаю, — мол, — а понять непременно хочу!

Он засмеялся тихо, басовито и обидно.

— Ты ведь незаконнорожденный?

— Да.

— Есть в тебе, — говорит, — хорошая кровь!

— Что такое хорошая кровь? — спрашиваю.

Смеется и внятно отвечает:

— Хорошая кровь — вещество, из коего образуется гордая душа!

День ясный, в окно солнце смотрит, и сидит Антоний весь в его лучах. Вдруг одна неожиданная мною мысль подняла голову, как змея, и ужалила сердце мое — взныл

я весь; словно обожженный, вскочил со стула, смотрю на монаха. Он тоже привстал; вижу — берет со стола нож, играет им и спрашивает:

— Что с тобой?

Спрашиваю я его:

— Не вы ли мой отец?

Испортилось лицо у него, стало неподвижно-синева-
тое, словно изо льда иссечено; полуприкрыл он глаза, и
погасли они. Тихо говорит:

— Едва ли! Где родился? Когда? Сколько лет? Кто
мать?

И когда рассказал я ему, как бросили на землю меня,
улыбнулся он, положил нож на стол.

— В то время и в тех местах не бывал я, — говорит.

Стало мне неловко, тяжело: будто милостыню попро-
сил я, и — не подали.

— Ну, а если бы, — спрашивает, — был я твой отец —
что тогда?

— Ничего, — говорю.

— И я так же думаю. Мы с тобою живем, где нет от-
цов и детей по плоти, но только по духу. А с другой сто-
роны, все мы на земле подкидыши и, значит, братья по
несчастью, именуемому — жизнь! Человек есть случай-
ность на земле, знаешь ли ты это?

По глазам его вижу — смеется он надо мной. Смущен
и подавлен я непонятным мне вопросом моим, хочется мне
как-то оправдать его или забыть. Но спрашиваю еще
хуже:

— А зачем это вы взяли в руку нож?

Посмотрел на меня Антоний и тихонько смеется.

— Смелый ты вопросник! — говорит. — Взял и взял, а
зачем — не знаю! Люблю его, красив очень.

И подал нож мне. Нож кривой и острый, по стали зо-
лотом узор положен, рукоять серебряная, и красный ка-
мень врезан в нее.

— Арабский нож, — объясняет мне он. — Я им книги
разрезаю, а на ночь под подушку себе кладу. Есть про
меня слух, что богат я, а люди вокруг бедно живут,
келья же моя в стороне стоит.

От ножа и от руки Антония исходит некий пряный за-
пах, — пьянит он меня, и кружится моя голова.

— Поговорим далее, — продолжает Антоний вечерним, темным и мягким басом своим. — Знаешь ты, что женщина бывает у меня?

— Слышал.

— Неправда, что она сестра мне. Я с нею сплю.

Спрашиваю я его:

— Чего ради вы говорите все это мне?

— А чтобы ты удивился сразу — и перестал удивляться навсегда! Ты книги светские любишь?

— Не читал.

Взял он из шкафа маленькую книжку в красной коже, подал мне и приказал:

— Иди, ставь самовар и читай вот это!

Развернул я книжку, а на первой странице картинка: женщина выше колен оголенная и мужчина пред нею тоже оголяется.

— Я, — говорю, — этого читать не буду.

Тогда он подвинулся ко мне и строго говорит:

— А если твой наставник духовный приказывает тебе? Ты знаешь, зачем это нужно?.. Иди!

В пристройке, где он дал мне место, сел я на кровать свою и застыл в страхе и тоске. Чувствую себя как бы отравленным, ослаб весь и дрожу. Не знаю, что думать; не могу понять, откуда явилась эта мысль, что он — отец мой, — чужая мне мысль, ненужная. Вспоминаю его слова о душе — душа из крови возникает; о человеке — случайность он на земле. Все это явное еретичество! Вижу его искаженное лицо при вопросе моем. Развернул книгу, рассказывается в ней о каком-то французском кавалере, о дамах... Зачем это мне?

Звонит он, зовет. Прихожу — встречает ласково.

— Что же самовар?

— Зачем вы мне дали книгу эту?

— Чтобы ты знал, каков есть грех!

Обрадовался я — показалось мне, что понял намерение его — испытать он хочет меня. Низко поклонясь, ушел, живо вскипятил самовар, внес в комнату, а уже Антоний все приготовил для чая своей рукой и, когда я хотел уйти, сказал:

— Останься, будешь чай пить со мной...

Благодарен я ему, ибо нестерпимо хочется мне понять что-нибудь.

— Расскажи мне, — говорит, — как ты жил и зачем пришел сюда?

И стал я рассказывать о себе, не скрывая ни одного тайного помысла, ни единой мысли, памятной мне; он же, полуприкрыв глаза, слушает меня так внимательно, что даже чай не пьет. Сзади его в окно вечер смотрит, на красном небе черные сучья деревьев чертят свою повесть, а я свою говорю. А когда я кончил — налил он мне рюмку темного и сладкого вина.

— Пей! Я, — говорит, — тебя еще тогда заметил, как ты в церкви молился вслух. Не помогает монастырь?

— Нет. На вас имею крепкую надежду, помогите мне! Вы — ученый человек, вам все должно быть известно.

Он тихо говорит, не глядя на меня:

— Мне одно известно: на гору идешь — до вершины иди, падаешь — падай до дна пропасти. Но сам я этому закону не следуя, ибо — я ленив. Ничтожен человек, Матвей, и непонятно, почему он ничтожен? Ибо жизнь прекрасна и мир обольстителен! Сколько удовольствий дано, а — ничтожен человек! Почему? Сия загадка не разгадана.

Ударили к вечерне, вздрогнул он и говорит мне:

— С богом, иди!

Будь я умнее — в тот же день и надо бы мне уйти от него: сохранился бы он для меня как хорошее воспоминание. Но не понял я смысла его слов.

Пришел к себе, лег — под боком книжка эта оказалась. Засветил огонь, начал читать из благодарности к наставнику. Читаю, что некий кавалер все мужей обманывает, по ночам лазит в окна к женам их; мужья ловят его, хотят шпагами приколоть, а он бегаёт. И все это очень скучно и непонятно мне. То есть я, конечно, понимаю — балуется молодой человек, но не вижу, зачем об этом написано, и не соображу — почему должен я читать подобное пустословие?

И снова думаю: отчего я вдруг заподозрил, что Антоний — отец мне? Разъедает эта мысль душу мою, как ржа железо. Потом заснул я. Во сне чувствую, толкают меня; вскочил, а он стоит надо мной.

— Я, — говорит, — звонил-звонил!

— Простите, — мол, — Христа ради, очень тяжело работал я!

— Знаю.

А «бог простит» — не сказал.

— Я, — говорит, — иду к отцу игумену, приготовь мне все, как указано. Ага! Ты книгу эту читал? Жаль, что начал; это не для тебя, ты прав был! Тебе другое нужно.

Готовлю я постель: белье тонкое, одеяло мягкое, все богато и не видано мной, все пропитано душистым приторным запахом.

Начал я жить в этом пьяном тумане, как во сне, — ничего, кроме Антония, не вижу, но он сам для меня — весь в тени и двоится в ней. Говорит ласково, а глаза — насмешливы. Имя божие редко произносит, — вместо «бог» говорит «дух», вместо «дьявол» — «природа», но для меня смысл словами не меняется. Монахов и обряды церковные полегоньку вышучивает.

Много он пил вина, но не бывало, чтобы шатался на ногах, — только лоб у него становился синеват, да глаза над прозрачными щеками разгораются темным огнем, а красные губы потемнеют и высохнут. Часто, бывало, придет он от игумена около полуночи и позднее, разбудит меня, велит подать вина. Сидит, пьет и глубоким своим голосом говорит непрерывно и долго, — иной раз вплоть до заутрени.

Трудно мне было понимать речи его, и многое позабыл я, но помню — сначала пугали они меня, как будто раскрывали некую пропасть и толкали в нее с лица земли все сущее.

Иногда от таких его речей становилось мне пусто и жутко, и готов я был спросить его:

«А вы не дьявол будете?»

Черный он, говорил властно, а когда выпивал, то глаза его становились еще более двойственны, западая под лоб. Бледное лицо подергивалось улыбкой; пальцы, тонкие и длинные, все время быстро щиплют черную досиня бороду, сгибаются, разгибаются, и веет от него холодом. Боязно.

Но, как сказано, во дьявола не верил я, да и знал по писанию, что дьявол силен гордостью своей; он — всегда

борется, страсть у него есть и умение соблазнять людей, а отец-то Антоний ничем не соблазняет меня. Жизнь одевал он в серое, показывал мне ее бессмысленной; люди для него — стадо бешеных свиней, с разной быстротой бегущих к пропасти.

— Вы, — мол, — говорили, что жизнь-то прекрасна!

— Да, если она признает меня, она прекрасна, — отвечает он и усмехается.

Только эта усмешка и оставалась у меня от его речей. Точно он на все из-за угла смотрел, кем-то изгнанный отовсюду и даже не очень обижаясь, что изгнали. Остра и догадлива была его мысль, гибка, как змея, но бессильна покорить меня, — не верил я ей, хотя иной раз восхищался ловкостью ее, высокими прыжками разума человеческого.

Впрочем, порою — хоть и редко — сердился он.

— Я, — кричит, — дворянин, потомок великого рода людей; деды и прадеды мои Русь строили, исторические лица, а этот хам обрывает слова мои, этот вшивый хам, а?!

Такие речи не интересны были мне — я, может, и сам тоже знаменитейшей фамилии, да ведь не в прадеде сила, а в правде, и вчера — уже не воротится, тогда как завтра — наверное — будет!

А то сидит в кресле своем, без крови на лице, и рассказывает:

— Опять, Матвей, обыграли меня эти монахи. Что есть монах? Человек, который хочет спрятать от людей мерзость свою, боясь силы ее. Или же человек, удрученный слабостью своей и в страхе бегущий мира, дабы мир не пожрал его. Это суть лучшие монахи, интереснейшие, все же другие — просто бесприютные люди, прах земли, мертворожденные дети ее.

— А вы, — говорю, — кто среди них?

Может быть, я его десять раз и больше так вот в упор спрашивал, но он отвечал мне всегда в таком роде:

— А ты — случайный человек и здесь, и везде, и всегда!

И бог его был для меня тайной. Старался я допросить его о боге, когда он трезвый был, но он, усмехаясь, отвечал мне знакомыми словами писания, — бог же для меня

был выше писания. Тогда стал я спрашивать у пьяного, как он видит бога?

Но и пьяный Антоний крепок был.

— А хитер ты, Матвей! — говорит. — Хитер и упрям! Жаль мне тебя!

И я тоже стал жалеть его, ибо видел его одиночество, ценил обилие всяких мыслей в нем, и жалко было, что зря пропадают они в келье.

Но, жалея, все упорнее наседаю на него, и однажды он нехотя сказал:

— Но я, как и ты, Матвей, — не вижу бога!

— Я, — мол, — хоть не вижу, но чувствую, и не о бытии его спрашиваю, а — как понять законы, по коим строятся им жизнь?

— Законы, — говорит, — в номоканоне смотри! А если чувствуешь бога, то — поздравляю тебя!

Налил стакан вина мне, чокнулся со мной и выпил; вижу я, что хотя лицо у него серьезное, как у мертвого, но глаза красивого барина смеются надо мной.

То, что он барин, стало покрывать собою мое влечение к нему, ибо он уже несколько раз так развертывал барство, что кровно обижал меня.

Пьяненький любил он про женщин говорить.

— Природа, дескать, берет нас в злой и тяжкий плен через женщину, сладчайшую приманку свою, и не будь плотского влечения, кое поглощает собою лучшие силы духа человеческого, — может, человек и бессмертия достиг бы!

Но так как брат Миха гораздо гуще об этом деле говорил, то я уже был насыщен отвращением к таким мыслям; притом же Михайла отрицал женщину со злобой, поносил ее яростно, а отец Антоний рассуждал бесчувственно и скучно.

— Помнишь, — говорит, — я тебе книжку давал? Читая ее, должен был ты видеть, сколь женщина хитра и лжива и развратна в существе своем!

Странно и противно слышать, когда человек, рожденный женщиной и соками ее вскормленный, грязнит, попирает мать свою, отрицая за нею все, кроме похоти, низводит ее до скотины бессмысленной.

Однажды я сказал ему нечто в этом смысле, только — глаже, не столь прямо. Освирепел он, закричал:

— Идиот! Разве я о матери говорю!

— Всякая, — мол, — женщина есть мать.

— Иная, — кричит, — только распутница всю жизнь!

— Некоторые люди горбаты живут, но для всех горб — не закон.

— Ступай вон, дурак!

Офицер-то не помер в нем.

Несколько раз сшибался я с ним голова в голову, спрашивая о господе; стали меня злить увертливые смешки его, и как-то в ночь пустил я себя на него со всей силой.

Характер у меня скверный сделался тогда; большую тоску я испытывал; хожу вокруг Антония, как голодный около чулана запертого, — хлебом пахнет за дверью, — и от этого звереть я стал, а в ту ночь сильно он разжег недомолвками своими.

Взял я нож со стола и говорю:

— Расскажите мне все, как думаете, а то вот — полсну себя по горлу, скандал сделаю вам!

Встревожился он, цапнул меня за руку, вырвал нож и засуетился — не похоже на себя.

— Нужно, — говорит, — наказать тебя за это, но фанатику и наказание не впрок!

А потом говорит, точно гвозди в голову мне бьет:

— Я тебе вот что скажу: существует только человек, все же прочее есть мнение. Бог же твой — сон твоей души. Знать ты можешь только себя, да и то — не наверное.

Покачивают слова его, как ветром, и опустошают меня. Говорил он долго, понятно и нет, и чувствую я: нет в этом человеке ни скорби, ни радости, ни страха, ни обиды, ни гордости. Точно старый кладбищенский поп панихиду поет над могилой: все слова хорошо знает, но души его не трогают они. Сначала-то страшной показалась мне его речь, но потом догадался я, что неподвижны сомнения его, ибо мертвы они...

Май, окно открыто... ночь в саду тепло цветами дышит... яблони — как девушки к причастию идут, голубые в серебре луны. Сторож часы бьет, и кричит в тишине

медь, обиженная ударами, а человек предо мной сидит с ледяным лицом и спокойно плетет бескровную речь; выютя серые, как пепел, слова, обидно и грустно мне — вижу фольгу вместо золота.

— Уходи! — говорит мне Антоний.

Вышел я в сад, а к заутрене ударили; пошел в церковь, выбрал темный уголок, стою и думаю:

«Да и зачем полумертвому бог?»

Сходится братия, — словно лунный свет изломал на куски тьму ночи, и с тихим шорохом прячутся они во храме.

С той поры началось что-то, непонятное мне: говорит со мной Антоний барином, сухо, хмурится и к себе не зовет. Книги, которые дал мне читать, все отобрал. Одна из книг была русская история — очень удивляла она меня, но дочитать ее не успел я. Соображаю, чем бы я мог обидеть барина моего, — не вижу.

А начало его речи осело в памяти моей и тихонько живет там поверх всего, ничему не мешая.

«Бог есть сон твоей души», — повторяю я про себя, но спорить с этим нужды не чувствую — легкая мысль.

Вскоре явилась и дама его; было это поздно ночью. Слышу, звонит Антоний и кричит:

— Живо, самовар!

А когда я подал самовар, вижу, сидит на диване женщина в розовом широком платье, белокурые волосы по плечам распущены; маленькая, точно кукла, лицо тоже розовое, глаза голубые; скромной и грустной показалась мне она.

Ставлю я посуду на стол, Антоний торопит:

— Скорей возись, скорей!

«Ишь ты, — думаю, — вспылал!»

Дело это любовное понравилось мне; то есть приятно было видеть Антония хоть на любовь — дело немудрое — способным. Сам-то я в ту пору холоден к этому был, да и монашеское распутство отвращало в сторону, ну, а отец Антоний — какой же монах?.. Женщина его, по-своему, красива — свеженькая такая, словно новая игрушка.

Наутро прихожу комнаты убирать, его нет, к игумену пошел, а она сидит на диване с книжкой в руках, ноги

поджав, нечесаная, полуодетая. Спросила, как зовут, — сказал; давно ли в монастыре, — сказал.

— Не скучно?

— Нет, — мол.

— Странно, если правда!

— Почему, — говорю, — не правда?

— Такой ты молодой, красивый!

— А разве монастырь — для уродов?

Засмеялась она и голую ногу одну спустила с дивана. Разглядывает меня и немножко неладно ведет себя: руки голыми до плеч показывает, платье на груди не застегнуто.

«Это ты напрасно делаешь, — думаю, — наготу надо для милого беречь!»

А она, дурочка, спрашивает:

— Неужели тебя женщины не смущают?

— Я, — мол, — их не вижу, да и чем же они могут смущать?

— Как — чем? — и хохочет, — Как это — чем?

А в двери Антоний стоит и сердито спрашивает:

— Что такое, Зоя? А?

— Ах, — кричит она, — он такой забавный, этот!

И защебетала, защебетала, рассказывая, какой я забавный. Но Антоний, не слушая ее, сурово приказывает мне:

— Ступай, разбери там кульки и ящики, потом нужно часть игумену снести!

Еще за обедом в тот день оба они довольно выпили, а вечером после чаю женщина эта уж совсем пьяная была, да и Антоний, видимо, опьянел больше, чем всегда. Гоняет меня из угла в угол — то подай, это принеси, вино согрей да остуди. Бегаю, как лакей в трактире, а они все меньше стесняются со мной, — барышне-то жарко, и она понемногу раздевается, а барин вдруг спрашивает меня:

— Матвей, она красивая?

— Ничего, — мол.

— Нет, ты погляди хорошенько!

А она хохочет, пьяненькая.

Я хочу уйти, но Антоний свирепо кричит:

— Куда? Стой! Зойка, покажись ему голая...

Думал я, что ослышался, но она сорвала с себя какой-то халатик и встала на ноги, покачиваясь. Смотрю на Антония; он — на меня... Сердце мое нехорошо стучит, и барина этого несколько жаль: свинство как будто не к лицу ему, и за женщину стыдно.

И вот он кричит:

— Ступай вон, ты, хам!

Я ему откликнулся:

— Ты сам!

Вскочил он, бутылки со стола повалились, посуда дребезжит, и что-то полилось торопливо, печальным ручьем. Вышел я в сад, лег. Ноет сердце мое, как простуженная кость. Тихо, и слышу я крики Антония:

— Вон!

А женщина визгливо отвечает:

— Не смей, дурак!

Потом лошадей на дворе запрягали, и они, недовольно фыркая, гулко били копытами о сухую землю. Хлопали двери, шуршали колеса коляски, и скрипели ворота ограды. Ходил по саду Антоний и негромко зывал:

— Матвей! Ты где?

Вот его высокое тело в черном движется между яблонями, хватаясь руками за ветви, и бормочет:

— Ду-урак... эй!

И тащится, вьется по земле густая тяжелая тень за ним.

Пролежал я в саду до утра, а утром явился к отцу Исидору.

— Отдайте-ка паспорт мой, ухожу я!

Удивился, даже подпрыгнул.

— Почему? Куда?

— По земле, но не знаю — куда, — говорю.

Он допрашивает.

— Я, — мол, — ничего не буду объяснять.

Вышел из кельи его, сел около нее на скамью под старой сосной — нарочно тут сел, ибо на этой скамье выгоняемые и уходившие из обители как бы для объявления торчали. Ходит мимо братия, косится на меня, иные отплевываются: забыл я сказать, что был пущен слух, якобы Антоний-то в любовники взял меня; послушники

мне завидовали, а монаси барину моему, — ну и клеветали на обоих.

Ходит братия, поговаривает:

— Ага, выгнали и этого, слава тебе, господи!

Отец Асаф, хитренький и злобенький старичок, шпион игумена, должность Христа ради юродивого исполнявший в обители, начал поносить меня гнуснейшими словами, так что я даже сказал ему:

— Уйди, старик, а то я тебя за ухо возьму и сам прочь отведу!

Он хотя и блажен муж был, но слова мои понял.

Потребовал меня глава обители и ласково говорит:

— Намекал я тебе, Матвей, сыне мой, что было бы лучше, если б ты в контору пошел, и — был я прав! И так всегда старшие! Разве, при строптивости твоей, можно выдержать послушание келейника? Вот ты скверно изругал почтенного отца Антония...

— Это он вам сказал?

— А кто же? Ты еще не говорил.

— А сказал он, как показывал мне голую женщину?

Отец игумен с благочестивым страхом перекрестил меня и говорит, махая руками:

— Что ты, что ты, господь с тобой! Какая женщина? Это, не иначе, видение твое, плотью, дьяволом искушаемой, созданное! Ай-ай-ай! Ты подумал бы — откуда в мужском-то монастыре женщина?

Захотелось мне успокоить его.

— А кто же, — говорю, — портвейн, сыр да икру вчера вам привез?

Еще больше удивляется он:

— Что ты, спаси тебя Христос! Как это выдумал столь неподобающее?

Противно. И можно с ума сойти.

Около полудня переехал я через озеро, сел на берегу, смотрю на монастырь, где с лишком два года трудовую лямку тер.

Размахнул лес зеленые крылья и показывает обитель на груди своей. На пышной зелени ярко вытканы зубчатые белые стены, синие главы старой церкви, золотой купол нового храма, полосы красных крыш; лучисто и призывно горят кресты, а над ними — голубой колокол

небес, звонит радостным гомоном весны, и солнце ликует победы свои.

В этой красоте, волнующей душу восторгом живым, спрятались черные люди в длинных одеждах и гниют там, проживая пустые дни без любви, без радостей, в бессмысленном труде и в грязи.

Жалко мне стало всех и себя тоже — едва не заплакал. Встал и пошел.

Дышит ароматами, поет вся земля и все живое ее; солнце растит цветы на полях, поднимаются они к небу, кланяясь солнцу; молодая зелень деревьев шепчет и колыхнется; птицы щебечут, любовь везде горит — тучна земля и пьяна силою своей!

Встречу мужика — здороваюсь, а он мне едва головой кивнет, бабу встречу — сторонится. А мне охота говорить с людьми, и говорил бы я с ними ласково.

Первую ночь свободы моей в лесу ночевал; долго лежал, глядя в небо, пел тихонько — и заснул. Утром рано проснулся от холода и снова иду, как на крыльях, встречу всей жизни. Каждый шаг все дальше тянет, и готов бегом бежать вдаль.

А народ при встрече косится на меня: обрыдла, противна и враждебна мужикам черная одежда захребетников. А снять мне ее нельзя: паспорт мой просрочен, но игумен надпись сделал на нем, удостоверил, что я послушник Савватеевской обители и ушел для посещения святых мест.

И вот направился я по сим местам, вместе с тем самым бродячим народом, который и нашу обитель сотнями наполнял по праздникам. Братия относилась к нему безучастно или враждебно — дескать, дармоеды — старалась обобрать у них все пятаки, загоняла на монастырские работы и, всячески выжимая сок из этих людей, пренебрегала ими. Я же, занятый своим делом, мало встречался с пришлыми людьми, да и не искал встреч, считая себя человеком особенным в намерениях своих и внутренне ставя свой превыше всех.

Вижу: по всем дорогам и тропам тянутся, качаясь, серые фигуры с котомками за спиной, с посохами в руках; идут не торопясь, но споро, низко наклоня головы;

идут кроткие, задумчивые и доверчиво открытые сердцем. Стекаются в одно место, посмотрят, молча помолются, поработают; есть какой-нибудь праведник, — поговорят с ним тихонько о чем-то и снова растекутся по дорогам, бодро шагая до другого места.

Идут, — идут старые и молодые, женщины и дети, словно всех один голос позвал, и чувствую я в этом прохождении земли насквозь по всем ее путям некую силу, — захватывает она меня, тревожит, словно обещает что-то открыть душе. Странно мне это беспокойное и покорное хождение после неподвижной жизни моей.

Как будто сама земля отрывает человека от груди своей и, отталкивая, повелительно внушает ему:

— Иди, спроси, узнай!

Послушно ходит человек; ищет, смотрит, чутко прислушивается и снова идет, идет. Гудит под ногами искателей земля и толкает их дальше — через реки, горы, леса и моря, — еще дальше, всюду, где уединенно обители стоят, обещая чудеса, всюду, где дышит надежда на что-то иное, чем эта горькая, трудная, тесная жизнь.

Поразило меня тихое смятение одиноких душ и очеловечило; начал я вникать — чего ищут люди? И стало мне казаться все вокруг потревоженным, пошатнувшимся, как сам я.

Многие, — как и я, — ищут бога и не знают уже, куда идти; рассеяли всю душу на путях исканий своих и уже ходят только потому, что не имеют сил остановить себя; носятся, как перья луковиц по ветру, легкие и бесполезные.

Эти — лени своей побороть не могут и носят ее на плечах своих, унижаясь и живя ложью; те же — охвачены желанием всё видеть, но нет у них сил что-либо полюбить.

Вижу еще много пустого народа и грязных жуликов, бесстыдных дармоедов, жадных, как воши, — много вижу, — но все это только пыль позади толпы людей, охваченных тревогой богоискания.

И неудержимо влечет меня за собой эта толпа.

А вокруг ее, словно чайки над рекой, крикливо и жадно мечутся разнообразно окрыленные человеки, поражая уродством своим.

Однажды на Белоозере вижу человечка средних лет, весьма бойкого; должно быть — зажиточен, одет чисто.

Расположился в тени под деревьями; около него тряпки, банка мази какой-то, таз медный, — и покрикивает он, этот человек:

— Православные! У кого ноги до язв натружены — подходи: вылечу! Даром лечу, по обету, принятому на себя, ради господа!

Храмовой праздник в Белоозере, богомолы со всех сторон дождем идут; подходят к нему, садятся, развязывают ночки, он им ноги моет, смазывает раны, поучает:

— Эх, брат, а и неразумен ты! У тебя лапоть не по ноге велик — разве можно в таком ходить!

Человек в большом лапте тихо отвечает:

— Мне и этот Христа ради подали!

— Тот, кто подал, — он богу угодил, а что ты в таком лапте шел, это глупость твоя, не подвиг, и господом не зачтется тебе!

«Вот, — думаю, — хорошо знает человек божьи оброты!»

Подходит к нему женщина, прихрамывая.

— Ай, молодка! — кричит он. — Это не мозоль у тебя, а пожалуй, французская болезнь! Это, православные, заразная болезнь, целые семьи погибают от нее, прилипчива она!

Бабенка сконфузилась, встала, идет прочь, опустив глаза, а он зазывает:

— Подходи, православные, во имя святого Кирилла!

Подходят люди, разуваются, покряхтывая, он им моет ноги, а они говорят ему:

— Спаси тебя Христос!

Но вижу я, что его благообразное лицо судороги подергивают и руки человека трясутся. Скоро он прикрыл лавочку благочестия своего, быстро убежав куда-то.

На ночь отвел меня монашек в сарай, вижу — и этот человек там же; лег я рядом с ним и начал тихий разговор:

— Что это вы, почтенный, вместе с черными людьми ночуете? Судя по одежде вашей, место ваше — в гостинице.

— А мною, — отвечает, — обет такой дан: быть среди последних — последним на три месяца целых! Желая

подвиг богомольческий совершить вполне, — пусть вместе со всеми и вошь меня ест! Еще то ли я делаю! Я вот ран видеть не могу, тошнит меня, а — сколь ни противно — каждый день ноги странникам мою! Трудна служба господу, велика надежда на милость его!

Потерял я охоту разговаривать с ним, притворился, будто заснул, лежу и думаю:

«Не тучна его жертва богу своему!»

Зашуршало сено под соседом, встал он осторожно на колени и молится, сначала безмолвно, а потом слышу я шопот:

— Ты же, святителю Кирилле, предстань господу за грешника, да уврачует господь язвы и вереды мои, яко же и я врачую язвы людей! Господи всевидящий, оцени труды мои и помилуй меня! Жизнь моя — в руке твоей; знаю — неистов быша аз во страстех, но уже довольно наказан тобою; не отринь, яко пса, и да не отженут мя люди твои, молю тя, и да исправится молитва моя, яко кадило пред тобою!

Тут — человек бога с лекарем спутал, — нестерпимо противно мне. Зажал уши пальцами.

А когда отмолился он, то вынул из сумы своей еду и долго чавкал, подобно борову.

Множество я видел таких людей. Ночами они ползают перед богом своим, а днем безжалостно ходят по грудям людей. Низвели бога на должность укрывателя мерзостей своих, подкупают его и торгуются с ним:

— Не забудь, господи, сколько дал я тебе!

Слепые рабы жадности своей, возносят они ее выше себя, поклоняются безобразному идолу темной и трусливой души своей и молятся ему:

— Господи! да не яростию твоею обличиши мене, ниже гневом твоим накажеша мене!

Ходят, ходят по земле, как шпионы бога своего и судьи людей; зорко видят все нарушения правил церковных, sueтятся и мечутся, обличают и жалуются:

— Гаснет вера в людях, увы нам!

Один мужчина особенно смешил меня ревностью своей. Шли мы с ним из Переяславля в Ростов, и всю дорогу он кричал на меня:

— Где святой устав Федора Студита?

Человек он был сытый, здоровый, чернобород и румян, деньжонки имел и на ночлегах с бабами путался.

— Я, — говорит, — видя разрушение закона и разврат людской, душевного покоя лишился; дело мое — кирпичный завод — бросил на руки сыновьям, и вот уже четыре года хожу, наблюдая везде, — ужас обуревает душу мне! Завелись мыши в ризнице духовной, и распадаются под зубами их крепкие ризы закона, — озлобляется народ против церкви, отпадает от груди ее в мерзостные ереси и секты, — а что против этого делает церковь, бога ради воинствующая? Приумножает имущество и растит врагов! Церковь должна жить в нищете, яко бедный Лазарь, дабы народишко-то видел, что воистину священна есть нищета, заповеданная Христом; видел бы он это и не рыпался, не лез бы на чужое-то имущество! Какая иная задача у церкви? Держи народишко в крепкой узде — эко!

Мыслей своих законники эти, видя непрочность закона, скрывать не умеют и бесстыдно выдают тайное свое.

На Святых горах купец один — знаменитый путешественник, описывающий хождения свои по святым местам в духовных журналах, — проповедовал народу странному смирение, терпение и кротость.

Горячо говорил, даже до слез. И умоляет и грозит, народ же слушает его молча, опустив головы.

Ввязался я в речь его, спрашиваю:

— А ежели явное беззаконие — тоже терпеть его?

— Терпи, милый! — кричит он. — Обязательно терпи! Сам Исус Христос терпел, нас и нашего спасения ради!

— А как же, — мол, — мученики и отцы церкви, Ивану Златоусту подобные, — не стеснялись они, но обличали даже царей?

Ошалел он, просто неестественно загорелся, ногами топает на меня.

— Что болтаешь, смутьян! Кого обличали-то? Язычников!

— Разве, — мол, — царица-то Евдоксия — язычница? А Иван Грозный?

— Не про то речь! — кричит он и машет руками, как доброволец на пожаре. — Не о царях говори, а о народе! Народ — главное! Суемудрствует, страха в нем нет! Зверь он, церковь укрощать его должна — вот ее дело!

Но хотя и просто говорил он, а — не понимал я в то время этой заботы о народе, хотя ясно чувствовал в ней некий страх; не понимал, ибо — духовно слеп — народа не видел.

После спора с этим писателем подошло ко мне несколько человек и говорят, как бы ничего доброго не ожидая от меня:

— Есть тут один паренек, — не желаешь ли с ним по-толковать?

И во время вечерни устроили мне на озере в лесу собеседование с неким юношей. Был он темный какой-то, словно молнией опаленный; волосы коротко острижены, сухи и жестки; лицо — одни кости, и между ними жарко горят карие глаза: кашляет парень непрерывно и весь трепещет. Смотрит он на меня явно враждебно и, задыхаясь, говорит:

— Сказали мне про тебя люди сии, что отрицаешь ты терпение и кротость. Чего ради, объясни?

Не помню, что я тогда говорил и как спорил с ним; помню только его измученное лицо и умирающий голос, когда он кричал мне:

— Не для сей жизни мы, но — для будущей! Небо наша родина, ты это слышал?

Выдвинулся против него солдат хромой, потерявший ногу в текинской войне, и говорит сурово:

— Мое слово, православные люди, таково: где меньше страха, там и больше правды!

И, обращаясь к юноше, сказал:

— Коли тебе страшно перед смертью — это твое дело, но других — не пугай! Мы и без тебя напуганы довольно! А ты, рыжеватый, говори!

Он скоро исчез, юноша этот, а народ же — человек с полсотни — остался, слушают меня. Не знаю, чем я мог в ту пору внимание к себе привлечь, но было мне приятно, что слушают меня, и говорил я долго, в сумраке, среди высоких сосен и серьезных людей.

И тогда, помню, слились для меня все лица в одно большое грустное лицо; задумчиво оно и упрямо показалось мне, на словах — немотно, но в тайных мыслях — дерзко, и в сотне глаз его — видел я — неугасимо горит огонь, как бы родной душе моей.

Но потом стерлось это единое лицо многих из памяти моей, и только долгое время спустя понял я, что именно сосредоточенная на одной мысли воля народа возбуждает в хранителях закона заботы о нем и страх пред ним. Пусть еще не народилась эта мысль и неуловима она, но уже оплодотворен дух сомнением в незыблемости враждебного закона — вот откуда тревога законников! Видят они этот упрямо спрашивающий взгляд; видят — ходит народ по земле тих и нем, — и уже чувствуют незримые лучи мысли его, понимают, что тайный огонь безмолвных дум превращает в пепел законы их и что возможен — возможен! — иной закон!

Чувствуют они это тонко, как воры сторожкое движение просыпающегося хозяина, дом которого грабили в ночи, и знают они, что, если народ откроет глаза, перевернется жизнь вверх лицом к небесам.

Нет бога у людей, пока они живут рассеянно и во вражде. Да и зачем он, бог живой, сытому? Сытый ищет только оправдания полноты желудка своего в общем голоде людей. Смешна и жалка его жизнь, одинокая и отовсюду окруженная веянием ужасов.

Вот — замечаю я: наблюдает за мною некий старичок — седенький, маленький и чистый, как голая кость. Глаза у него углубленные, словно чего-то уstraшились; сух он весь, но крепок, подобно козленку, и быстр на ногах. Всегда жметя к людям, залезает в толпу, — бочком живет, — и заглядывает в лица людей, точно ищет знакомого. Хочется ему чего-то от меня, а не смеет спросить, и жалка мне стала эта робость его.

Иду я в Лубны, к Афанасию Сидящему, а он, белой палочкой шаг размеривая, бесшумно стелется по дороге вслед за мной.

Спрашиваю:

— Давно странствуешь, дедушка?

Обрадовался он, вскинул голову, хихикает.

— Девять лет уж, милый, девять лет!

— Али, — мол, — велик грех несешь?
— Где, — говорит, — вес-мера греху установлена?
Один господь знает мои грехи!

— А все-таки что наделал?

Смеюсь я, и он улыбается.

— Да будто ничего! Жил вообще, как все. Сибирский я, из-под Тобольска, ямщиком в молодости был, а после двор постоянный держал, трактир тоже... лавка была...

— Ограбил, что ли, кого?

Испугался дед.

— Зачем? От этого бог спас... что ты!

— Я, — мол, — шучу. Вижу — идет маленький человек, думаю — куда ему большой грех сделать!

Приосанился старичок, тряхнул головкой.

— Душа-то, чай, у всех одной величины, — говорит, — и одинаково дьяволу любезна! А скажи мне, как ты о смерти думаешь? Вот ты на ночлеге говорил все: «жизнь, жизнь», а где же смерть?

— Тут, — мол, — где-нибудь!

Погрозил он мне пальцем смешно таково и говорит:

— То-то и есть! Всегда она тут, да!

— Ну, так что?

— А — то!

И, поднимаясь на цыпочки, почти шепчет мне в ухо:

— Она — всеильна ведь! Сам Иисус Христос не избег. Пронеси, говорит, мимо чашу эту, а отец его небесный — не пронес, не мог однако! Сказано: смертушка придет — и солнышко умрет, да!

Разговорился мой старичок, словно ручей с горы побежал:

— Надо всем она веет, а человек вроде как по жердочке над пропастью идет; она крылом мах! — и человека нет нигде! О, господи! «Силою твоею да укрепится мир», — а как ему укрепиться, ежели смерть поставлена превыше всего? Ты и разумом смел, и книг много съел, а живешь, пока цел, да!

Смеется он, а на глазах у него — слезы!

Что я ему объясню? Никогда я о смерти не думал, да и теперь мне некогда.

А он подпрыгивает, заглядывая в лицо мое побелевшими глазами, боро денка у него трясется, левую руку за

пазуху спрятал, и все оглядывается, словно ждет, что смерть из-за куста схватит за руку его, да и метнет во ад.

Вокруг — жизнь кипит: земля покрыта изумрудной пеной трав, невидимые жаворонки поют, и все растет к солнцу в разноцветных ярких криках радости.

— Как, — мол, — ты дошел до таких мыслей? — спрашиваю попутчика. — Хворал, что ли, сильно?

— Нет, — говорит, — я до сорока семи лет спокойно и довольно жил! А тут у меня жена померла и сноха удавилась, — обе в один год пропали!

— А ты не сам ли, — мол, — сноху-то в петлю загнал?

— Нет, — говорит, — это она от распутства! Я ее не трогал, нет! Да ежели бы и жил я с ней — это вдовому прощается: я — не поп, а она — не чужая мне! А я и при жене как вдовый жил: четыре года хворала жена-то у меня, с печи не слезая; умерла — так я даже перекрестился... слава богу — свободен! Еще раз жениться хотел и вдруг задумался: живу — хорошо, всем доволен, а надо умирать; это зачем же? Смутился! Сдал все сыну и — пошел вот! На ходу-то, думаю, не так заметно, что к могиле идешь, — пестро все, мелькает и как будто в сторону манит от кладбища. Однако — все равно!

Спрашиваю я его:

— Тяжело тебе, дед?

— Ой, милый, так-то ли страшно — и сказать не могу! Днем стараюсь на людях держаться, — все как будто и загородишься ими, смерть — слепа, авось не разглядит меня или ошибется, другого возьмет! А вот ночью, когда всякий остается ничем не скрыт, жутко безо сна лежать! Так тебе и кажется — всет над тобою черная рука, касается груди, ищет — тут ли ты? Играет сердцем, как кошка мышью, а оно боится, а оно трепыхается... ой! Приподнимешься, оглянешься — вокруг люди лежат, а встали ли — неизвестно! Это бывает, она и гуртом берет: у нас в селе целое семейство — муж, жена и две девоньки — в бане от угара померли!

Губы у него трясутся, будто он улыбается, а из глаз мелкие слезы текут.

— Еще кабы в одночасье скончаться али — во сне, а как нападет болезнь, да и начнет понемножку грызть!

Сморщился он, съежился, стал на плесень похож; бежит, подпрыгивает, глаза погасли, и тихонько бормочет не то мне, не то себе:

— Господи! Хоть бы комариком пожить на земле! Не убий, господи! Хоть бы клопиком али малым паучком!

«Эх ты, жалость!» — думаю.

А на привале, на людях, — ожил и сейчас же опять о своей хозяйке — о смерти — заговорил, бойко таково. Убеждает людей: умрете, дескать, исчезнете в неизвестный вам день, в неведомый час, — может быть, через три версты от этого места громом убьет.

На иных — тоску наводит, другие — сердятся, ругают его, а одна бабочка молодая заметила:

— Туга мошна, вот и смерть тошна!

И так зло сказала она это, что заметил я ее, а старичок, смерти преданный, осекся.

Всю дорогу до Лубен утешал он меня и, воистину, до смерти надоел! Много видел я таких, кои от смерти бегают, глупо играя в прятки с ней. Удрученные страхом и среди молодых есть — эти еще гаже стариков, и все они, конечно, безбожники. В душе у них, как в печной трубе, черно, и всегда страх там посвистывает, — даже и в тихую погоду свистит. Мысли их подобны старым богомолкам: топчутся по земле, идут, не зная куда, попирают слепо живое на пути, имя божие помнят, но любви к нему не имеют и ничего не могут хотеть. Только разве одно их занимает: внушить бы свой страх людям, чтобы люди приняли и приласкали их, нищих.

Но они подходят к людям не затем, что жаждут вкушать меда, а чтобы излить в чужую душу гнилой яд тления своего. Самолюбы они и великие бесстыдники в ничтожестве своем; подобны они тем нищим уродам, кои во время крестных ходов по краям дорог сидят, обнажая пред людьми раны и язвы и уродства свои, чтобы, возбудив жалость, медную копейку получить.

Ходят они, пытаются всюду посеять темные семена смутения, стонут и желают услышать ответный стон, а вокруг их вздымаются могучий вал скромных богоискателей и разноцветно пылает горе человеческое.

Вот хоть бы молодка эта, хохлушка, что заметила старику насчет тугой мошны. Молчит, зубы сжаты, темное

от загара лицо ее сердито и в глазах острый гнев. Спросишь ее о чем-нибудь — отвечает резко, точно ножом ткнет.

— Ты бы, милая, — говорю, — не чуралась меня, а сказала бы горе-то... Может, легче будет тебе!

— Что вы хотите от меня?

— Да ничего не хочу, не бойся!

Вспыхнула она:

— Я и не боюсь, а противно мне!

— Чем же я противен?

— А что пристаете? Я народ покричу!

И так она всех брыкает — старых, молодых и женщин тоже.

— Ты мне не нужна, — говорю, — а нужно мне горе твое, хочу я знать все, чем люди мучаются.

Сбоку поглядела на меня и отвечает:

— До других идите! Все бедуют, будь они прокляты!

— За что же проклинять?

— А так я хочу!

Кажется она мне похожей на кликушу.

— За кого же ты молиться идешь? — говорю.

Усмехнулась она всем лицом, пошла тише и говорит, как будто не мне:

— Прошлой весной муж на Днепр ушел, дрова сплавлять, и — пропал! Может — утонул, может — другую жену нашел, кто знает? Свекор и свекровь — люди бедные, злые. Двое деток у меня — мальчик да девочка, — чем мне их кормить? Я же работала, переломиться готова была, а нет работы, да и что баба может выработать? Свекор ругает: «Ты нам с детьми твоими камень на шею, объела ты нас, опила!» А свекровь уговаривает: «Ты же молодая, иди по монастырям, монахи до баб жадные, много денег наберешь». Не могу я терпеть голода деток, — вот, хожу! Утопить их, что ли? Вот и хожу!

Говорит, как во сне, сквозь зубы, невнятно, а глаза у нее кричат болью материнской.

— Сыночку уже четвертый год. Осипом зовут, а дочь Ганкой. Била я их, когда они хлеба просили, била! Я месяц хожу — четыре рубля набрала. Монахи — жадные. Честно — больше заработала бы! О, дьяволы, дьяволы! Какою водой отмою себя?

Надо что-нибудь сказать ей, я и говорю:

— Ради детей — бог тебя простит!

Как она взвывает!

— А что мне в том? Не виновата я богу! Не простит — не надо; простит — сама не забуду, да! В аду — не хуже! Там детей не будет со мной!

«Эх, — думаю, — напрасно я ее растравил!»

А она уже и остановиться не может.

— Да и нет его — бога для бедных — нет! Когда мы за Зеленый Клин, на Амур-реку, собирались — как молебны служили, и просили, и плакали о помощи, — помог он нам? Маялись там три года, и которые не погибли от лихорадки, воротились нищие. И батенька мой помер, а матери по дороге туда колесом ногу сломало, братья оба в Сибири потерялись...

И лицо у нее окаменело. Хотя и суровая она, а такая серьезная, красивая, глаза темные, волосы густые. Всю ночь до утра говорили мы с ней, сидя на опушке леса сзади железнодорожной будки, и вижу я — все сердце у человека выгорело, даже и плакать не может; только когда детские годы свои вспоминала, то улыбнулась неохотно раза два, и глаза ее мягче стали.

Думаю под речь ее:

«Зарежет она, убьет кого-нибудь! Или жестокой блудницей станет — нет ей оборота никуда!»

— Бога не вижу и людей не люблю! — говорит. — Какие это люди, если друг другу помочь не могут? Люди! Против сильного — овцы, против слабого — волки! Но и волки стаями живут, а люди — все врозь и друг другу враги! Ой, много я видела и вижу, погибнуть бы всем! Родят деток, а растить не могут — хорошо это? Я вот — била своих, когда они хлеба просили, била!

А наутро пошла она в сторону от меня — продавать свое тело монахам — и, уходя, молвила злобно:

— Что же ты, — вместе спали и сильнее ты меня, что же не попользовался даровым-то мясцом? Эх ты!

Точно по щекам хлещет!

Я говорю ей:

— Напрасно ты обидела меня!

Потупилась она, а потом сказала:

— Хочется обидеть человека, хочется даже и невино-

ватога! Вон ты молодой еще, а высох весь, и уже седые виски, — понимаю, что и ты горе носишь... А мне — все равно! Никого не жалко. Прощай!

Ушла,

За шесть лет странствований моих много видел я людей, озлобленных горем: тлеет в них неугасимая ненависть ко всему, и, кроме зла, ничего не могут они видеть. Видят злое и, словно в жаркой бане, парятся в нем; как пьяницы вино — пьют желчь и хохочут, торжествуют:

— Наша правда: всюду зло, везде несчастье, нет места человеку вне его!

Впадают в дикое отчаяние и, воспаленные им, развратничают и всячески грязнят землю, как бы мстя ей за то, что родила она их и должны они, рабы слабости своей, до дня смерти ползать бессильно по дорогам земли.

Возносят они горе до высоты бога своего и поклоняются ему, не желая видеть ничего, кроме язв своих, и не слышать иного, кроме стонов отчаяния.

Жалко их, ибо они уже как безумные, но и противно душе с ними, когда видишь, что во всякое лицо готовы они метнуть желчный свой плевок и солнце поганили бы плевками, если б могли.

Другие же задавлены горем, запуганы им, молчат, прячутся жизни, маленькие и робкие, но не могут укрыться и служат глиной в руке сильного — ими он замазывает щели в стенах крепости своей.

Много лиц и слов врезалось в память мою, великие слезы пролиты были предо мной, и не раз бывал я оглушен страшным смехом отчаяния; все яды отведаны мною, пил я воды сотен рек. И не однажды сам проливал горькие слезы бессилия.

Встала жизнь передо мной, как страшный бред, как снежный вихрь тревожных слов и горячий дождь слез, неустанный крик отчаяния и мучительная судорога всей земли, болящей недоступным разуму и сердцу моему стремлением.

Стонет душа моя:

— Не то!

Мутно текут потоки горя по всем дорогам земли, и с великим ужасом вижу я, что нет места богу в этом хаосе разобщения всех со всеми; негде проявиться силе его, не

на что опереться стопам, — изъеденная червями горя и страха, злобы и отчаяния, жадности и бесстыдства — рассыпается жизнь во прах, разрушаются люди, отъединенные друг от друга и обессиленные одиночеством.

Спрашиваю:

— Неужели ты действительно — только сон души человеческой и надежда, созданная отчаянием в темный час бессилия?

Вижу — у каждого свой бог, и каждый бог не многим выше и красивее слуги и носителя своего. Давит это меня. Не бога ищет человек, а забвения скорби своей. Вытесняет горе отовсюду человека, и уходит он от себя самого, хочет избежать деяния, боится участия своего в жизни и все ищет тихий угол, где бы скрыть себя. И уже чувствую в людях не святую тревогу богоискания, но лишь страх пред лицом жизни, не стремление к радости о госпoде, а заботу — как izbыть печаль?

Кричит душа моя:

— Не то!

Бывало, видишь человека: он серьезно задумался, и хорошо, чисто горят его глаза... Встретишь его раз и два — все тот же, а на третий или четвертый раз, смотришь, — он озлоблен или пьян, и уже не скромн, а нахален, груб, богохульствует.

И не понимаешь, отчего разорился человек, обо что разбил себя? Все как бы слепы и легко спотыкаются на пути; редко слышишь живое, одухотворенное слово, слишком часто люди говорят по привычке чужие слова, не понимая ни пользы, ни вреда мысли, заключенной в них.

Подбирают речи блаженных монахов, проризания отшельников и схимников, делятся ими друг с другом, как дети черепками битой посуды в играх своих. Наконец, вижу не людей, а обломки жизни разрушенной, — грязная пыль человеческая носится по земле, и сметает ее разными ветрами к папертям церквей.

Бесчисленно кружится народ около мощей, чудотворных икон, купается в источниках — и всюду ищет только самозабвения.

Подавляли меня крестные ходы, — чудотворные иконы еще в детстве погибли для меня, жизнь в монастыре окон-

чательно разбила их. Гляжу, бывало, как люди огромным серым червем ползут в пыли дорожной, гонимые неведомой мне силой, и возбужденно кричат друг другу:

— Прибавь шагу! Шагу!

А над ними, пригибая головы их к земле, плывет желтой птицей икона, и кажется, что тяжесть ее непомерно велика для всех.

В пыль и грязь, под ноги толпы, комьями падают кликуши, бьются, как рыбы; слышен дикий визг — льются люди через трепетное тело, топчут, пинают его и кричат образу матери бога:

— Радуйся, пресвятая!

Лица у всех искаженные, одичалые от напряжения, мокрые от пота, черные от грязи, — и весь этот ход толпы, безрадостное пение усталых голосов, глухой топот ног — обижает землю, омрачает небеса.

А по краям дороги, под деревьями, как две пестрые ленты, тянутся нищие — сидят и лежат больные, увечные, покрытые гнойными язвами, безрукие, безногие, слепые... Извиваются по земле истощенные тела, дрожат в воздухе уродливые руки и ноги, простираясь к людям, чтобы разбудить их жалость. Стонут, воют нищие, горят на солнце их раны; просят они и требуют именем Божиим копейки себе; много лиц без глаз, на иных глаза горят, как угли; неустанно грызет боль тела и кости, — они подобны страшным цветам.

Видишь некое гонение людей, и враждебна мне сила, коя влачит их в пыли и грязи, — куда?

— Не то!

Был в дивном городе Киеве, поражался красотой и величием древнего гнезда русского.

Пробовал беседовать с одним монахом, — считался он умницей.

Говорю ему: так, мол, и так, не могу понять законов, по которым строится жизнь людей.

— Кто таков?

— Крестьянин.

— Грамотен?

— Немного.

— Не по башке шапка — грамота для вас! — строго говорит он.

Вижу — действительно — умник.

— Штундист? — спрашивает он.

— Нет.

— Ага! Духобор?

— Почему?

— По мыслям.

Лицо у него розоватое, как ветчина, а глаза маленькие.

— Ежели, — говорит, — бога ищешь, то, конечно, затем, чтобы низвергнуть его!

И грозит мне пальцем:

— Знаю я вас! А вот не желаешь ли прочитать сто раз «Верую»? Вот — прочитай-ко! И все глупости твои исчезнут, яко дым. А вообще вас бы, еретиков, в Абиссинию надо ссылать, в Африку, ко эфиопам, да! Там бы вы живо от жары передохли!

Спрашиваю я его:

— А вы были там, в Абиссинии этой?

— Был, — говорит.

— А вот не издохли?

Рассердился монах.

Встретил я над Днепром человека: сидит он на берегу против Лавры и камешки в воду бросает; лет пятьдесят ему, бородатый, лысый, лицо морщинами исчерчено, голова большая; я в то время по глазам уже видел серьезных людей, — подошел к нему, сел рядом.

Вечер был. Торопливо катит воды свои мутный Днепр, а за ним вся гора расцвела храмами: трепещет на солнце кичливое золото церковных глав, сияют кресты, даже стекла окон как драгоценные камни горят, — кажется, что земля разверзла недра и с гордой щедростью показывает солнцу сокровища свои.

А человек рядом со мною говорит негромко и печально:

— Закрыть бы всю Лавру стеклом, монахов выгнать вон, и никого не пускать туда, — нет уже людей, достойных ходить среди этой красоты!

Словно сказка, кем-то мудрым и великим рассказанная, застыла там за рекой; прибегают издалека волны Днепра и радостно плещут, видя ее, но не гаснет в удивленном пении реки тихий голос человека.

— Как сильно было начато, как могуче строено!

Как старый сон, вспоминаю я князя Владимира, Антония, Феодосия, богатырей русских — и жалко мне чего-то.

Громко и радостно звонят многочисленные колокола на том берегу, но слышнее для меня грустные думы о жизни.

— Не помним мы никто родства своего. Я вот пошел истинной веры поискать, а теперь думаю: где человек? Не вижу человека. Казаки, крестьяне, чиновники, попы, купцы, — а просто человека, не причастного к обыкновенным делам, — не нахожу. Каждый кому-нибудь служит, каждому кто-нибудь приказывает. Над начальником еще начальник, и уходит все это из глаз в недостижимую высоту. А там скрыт бог.

Ночь идет; посинела вода в реке, и кресты на церквях потеряли лучи. Человек бросает в реку камешки, а я уже не вижу кругов от них.

— В третьем году, — говорит он, — у нас в Майкопе бунт был по случаю чумы на скоте. Вызваны были драгуны против нас, и христиане убивали христиан. Из-за скота! Много народу погублено было. Задумался я — какой же веры мы, русские, если из-за волов смерти друг друга предаем, когда богом нашим сказано: «не убий»?

Уплывает Лавра во тьму, точно в гору уходит, как видение. Шарит казак руками по земле вокруг себя — ищет камней, находит и мечет их в реку. Звенит вода.

— Так-то, человек! — говорит казак, опустив голову. — Господень закон — духовное млеко, а до нас доходит только сыворотка. Сказано: «чистии сердцем бога узрят» — а разве оно, сердце твое, может чисто быть, если ты не своей волей живешь? А коли нет у тебя свободной воли, стало быть, нет и веры истинной, а только одна выдумка.

Встал он, отряхнулся, посмотрел вокруг, коренастый такой.

— Не свободны мы для бога, вот что, думаю я!

Приподнял картуз и пошел, а я остался, как пришит к земле. Хочу овладеть словами казака — не умею, а чувствую — есть в них правда.

Ласкает меня южная темная ночь, а я думаю:

«Неужели только в тоске красота души человеческой? Где тот стержень, вокруг которого вьется вихрь человека? Где смысл суеты этой?»

К зиме я всегда старался продвинуться на юг, где теплей, а если меня на севере снег и холод заставлял, тогда я ходил по монастырям. Сначала, конечно, косятся монахи, но покажешь себя в работе — и они станут ласковее, — приятно им, когда человек хорошо работает, а денег не берет. Ноги отдыхают, а руки да голова работают. Вспоминаешь все, что видел за лето, хочешь выжать из этого бремени чистую пищу душе, — взвешиваешь, разбираешь, хочешь понять, что к чему, и запутаешься, бывало, во всем этом до слез.

Чувствую — пресытился я стонами и скорбью земли, и блекнет дерзость духа моего; становлюсь я угрюм, молчалив, растет во мне озлобление на все и на всех. Временами охватывало меня темное уныние: по неделям жил я, как сонный или слепой, — ничего не хочется, ничего не вижу. Стал думать: а не бросить ли мне это хождение, да и жить, как все, не загадывая загадок себе, смиренно подчиняясь не мною установленному? День для меня темен, как и ночь, и одинок я на земле, словно месяц в небе, а осветить ничего не могу. Иной раз как будто отойдешь в сторону от себя и видишь: вот стоит на распутье здоровый парень, и всем он чужой, ничто ему не нравится, никому он не верит. Зачем он живет? Почему он отколот от мира?

И охладела душа...

Заходил я также в женские монастыри — на неделю, на две — и в одном из них, на Волге, порубил себе ногу топором, когда колол дрова. Лечит меня мать Феоктиста, добрая такая старушка; монастырек небольшой, но богатый; сестры все такие сытые, важные. Злят они меня слащавостью своей, паточными улыбочками, жирными зобами.

Стою однажды за всенощной и слышу — клирошанка одна дивно поет. Девушка высокая, лицо разгорелось, глаза черные, строгие, губы яркие, голос большой и смелый — поет она, точно спрашивает, и чудится мне в этом голосе злая слеза.

Подживала нога у меня, собирался я уходить и уже мог работать. Вот однажды чищу дорожки, отгребая снег,

идет эта клирошанка, тихо идет и — как застывшая. В правой руке, ко груди прижатой, четки, левая плетью вдоль тела повисла; губы закушены, брови нахмурены, лицо бледное. Поклонился я ей, дернула головой кверху и взглянула на меня так, словно я ей великое зло однажды сделал.

Раззадорила она этим меня, да и не уважал я этих молодых монахинь.

— Что, — говорю, — девица, нелегко, видно, жить?

Приостановилась, вспыхнула.

— Как ты сказал? — говорит.

— Трудно, — мол, — себя одолеть?

А она мне на это вдруг и скажи, тихонько и со злобой:

— У, дьявол!

И быстро ушла, черная, как обрывок тучи в ветреный день.

Объяснить, зачем я это ей сказал, не умею: в ту пору все чаще вспыхивали у меня такие мысли, — вспыхнет да и вылетит искрой в глаз кому-нибудь. Казалось мне, что все люди лгут, притворяются.

Через некоторое время на другой дорожке снова вижу ее. И еще больше взяло меня зло — чего она тут закуталась в черное, от чего прячется? Поравнялась она со мной, а я и говорю:

— Хочешь бежать отсюда?

Вздрогнула девица, голову вскинула, вытянулась вся, как стрела; я думал, она закричит.

Но идет мимо, и слышу я неожиданный ответ:

— Вечером скажу.

Меня оторопь взяла; подумал бы, что ослышался, да она хоть и тихо сказала, но — как в колокол ударила. И хотя смешно мне, а смутился я, но потом успокоил себя, подумав, что озорничает, дерзкая.

Когда я разрубил ногу, отвели меня в гостиницу, положили в маленькой комнатке под лестницей, да так и остался я в ней жить.

Вечером того дня лежу я на койке и думаю, что надо мне кончить бродяжью жизнь, — пойду в какой-нибудь город и буду работать в хлебопекарне. О девице не хотелось думать.

Вдруг тихонько стучат... Вскочил, отпер — монахиня-старушка кланяется и говорит:

— Пожалуйте!

Понял — куда; ничего не спрашиваю, иду и грожусь: «Вот как? Так я ж тебе, милая, душу-то встряхну!»

Переходами да коридорами дошли мы до места, открыла старуха дверь, толкнула меня вперед и шепчет:

— Я потом провожу...

Вспыхнула спичка, в темноте осветила знакомое лицо, слышу голос:

— Запри дверь.

Запер. Нашупал печь, прислонился к ней, спрашиваю.

— Огня — не будет?

Хихикнула девица тихонько.

— Какого огня? — говорит.

«Ах ты, — думаю, — дрянь!»

И молчу. Девицу едва вижу, — во тьме она — как темная туча ночью на облачном небе.

— Что же вы молчите? — спрашивает она. Голос хозыйский.

«Видно, богатая», — соображаю, и говорю:

— За вами слово!

— Вы это серьезно говорили, чтобы бежать?

Подумал я, как язвительнее ответить ей, и не сразу, спокойно отвечаю, подлец:

— Нет, — мол, — я это благочестие ваше пытал.

Снова она спичку зажгла, вспыхнуло ее лицо, черные глаза смотрят дерзко. Жутко немного стало мне. Присмотрелся к темноте, увидел, что стоит она, высокая и черная, среди комнаты и — странно прямо стоит.

— Благочестие мое, — шепчет горячо, — пытаться незачем, не для этого вы сюда позваны, а коли не понимаете — уходите вон...

Груб ее шопот, и не баловство слышу я в нем, а что-то серьезное. В стене предо мною окно, как бы во глубину ночи ход прорублен, — неприятно видеть его. Нехорошо мне, чувствую, что в чем-то ошибся, и все больше жутко, даже и ноги дрожат у меня. А она говорит:

— Бежать мне некуда, я сюда дядей насильно отдана, — жить здесь нет у меня терпения, удавлюсь...

И замолчала, как в яму сорвалась.

Совсем потерялся я, а она подвигается все ближе ко мне и дышит тяжело.

— Чего же вы хотите? — говорю.

Вот она вплотную подошла; рука ее у меня на плече — дрожит рука, и я тоже вздрагиваю, гнущся колени, и тьма в горло мне лезет, душит меня.

«Может, кликуша?» — думаю.

А она начала уже всхлипывать и шепчет, горячо дышит мне в лицо:

— Родила я сыночка — отняли его у меня, а меня загнали сюда, и не могу я здесь быть! Они говорят — помер ребеночек мой; дядя-то с теткой говорят, опекуны мои. Может, они убили, подкинули его, ты подумай-ка, добрый мой! Мне еще два года во власти у них быть до законного возраста, а здесь я не могу!

Так ее всю сподымя и бьет; чувствую я — виноват пред ней, жалко ее, но и боязно — похожа она на полоумную, — верю ей и нет.

А она шепчет, захлебываясь:

— Ребеночка хочу... Как беременна-то буду, выгонят меня! Нужно мне младенца; если первый помер — другого хочу родить, и уж не позволю отнять его, ограбить душу мою! Милости и помощи прошу я, добрый человек, помоги силой твоей, вороти мне отнятое у меня... Поверь, Христа ради, — мать я, а не блудница, не греха хочу, а сына; не забавы — рождения!

Был я как во сне. Поверил ей, — нельзя не поверить, коли женщина так встает за право свое, что призывает незнакомого ей и прямо говорит:

— Запрещают мне человека родить — помоги!

И вспомнил я неведомую мне мать мою: может, и она вот так же силой своей женской брошена была во власть отца моего? Обнял я ее, говорю:

— Прости меня, скверно я подумал о тебе... Ради божьей матери — прости!

Но когда, в самозабвении оба, совершили мы с нею святое брачное таинство, снова смутила меня лукавая мысль:

«А как обманула она и не с первым со мною это творит?»

Рассказывает она мне жизнь свою: дочь слесаря, дядя у нее помощник машиниста, пьяный и суровый человек. Летом он на пароходе, зимою в затоне, а ей — негде жить. Отец с матерью потонули во время пожара на пароходе; тринадцати лет осталась сиротой, а в семнадцать родила от какого-то барчонка. Льет ее тихий голос в душу мне, рука ее теплая на шее у меня, голова на плече моем лежит; слушаю я, а сердце сосет подлый червяк — сомневаюсь.

Забыли мы, что женщина Христа родила и на Голгофу покорно проводила его; забыли, что она мать всех святых и прекрасных людей прошлого, и в подлой жадности нашей потеряли цену женщине, обращаем ее в утеху для себя да в домашнее животное для работы; оттого она и не родит больше спасителей жизни, а только уродцев сеет в ней, плодя слабость нашу.

Рассказывает про монастырь, слышу: не одна она сильно в нем живет. И вдруг говорит, ласкаясь ко мне:

— У меня здесь подружка — хорошая девица, чистая, богатой семьи... ой, как трудно ей, знал бы ты! Вот и ей бы тоже забеременеть: когда ее выгонят за это — она бы к матери крестной ушла.

«Господи! — думаю я. — Вот несчастные...»

И еще раз хрустнула вера моя во всеведение божие и в справедливость законов, — разве можно так ставить человека ради торжества закона?

А Христина тихонько шепчет на ухо мне:

— Кабы ты и с нею так же мог...

Убила она меня этими словами, хоть ноги ей целуй! Ибо — понимаю я, что так может сказать только женщина чистая, цену материнства чувствующая. Сознался я в сомнениях своих пред нею; оттолкнула она меня и тихонько заплакала во тьме, а я уже и утешать ее не смею.

— Думаешь, не стыдно мне было позвать тебя? — говорит она, упрекая. — Этакой красивой и здоровой — легко мне у мужчины ласку, как милостыню, просить? Почему я подошла к тебе? Вижу, человек строгий, глаза серьезные, говорит мало и к молодым монахиням не лезет. На висках у тебя волос седой. А еще — не знаю почему — показался ты мне добрым, хорошим. И когда ты мне злобно так первое слово сказал — плакала я; ошиб-

лась, думаю. А потом все-таки решила — господи, благослови! — и позвала.

— Прости меня, — говорю.

Поцеловала.

— Бог простит!

Тут старушка стучит в дверь, шепчет:

— Расходитесь, к заутрене ударят сейчас.

И, когда провожала меня переходами, говорит:

— Вы бы дали рублик мне!

Едва я не зашиб ее.

Дён пять прожил я с Христей, а больше невозможно было: стали клирошанки и послушницы сильно приставать, да и хотелось мне побыть одному, одумать этот случай. Как можно запрещать женщине родить детей, если такова воля ее и если дети всегда были, есть и будут началом новой жизни, носителями новых сил?

Было и еще одно, чего должен я был избежать; показала мне Христя подругу свою: тоненькая девочка, белокурая и голубоглазая, похожа на Ольгу мою. Личико чистое, и с великой грустью смотрит она на все. Потянуло меня к ней, а Христя все уговаривает. Для меня же тут дело иначе стояло: ведь Христина не девушка, а Юлия невинна, стало быть, и муж ее должен быть таков. И не имел я веры в себя, не знал, кто я такой; с Христей это мне не мешало, а с той — могло помешать; почему — не знаю, но могло.

Простился я с Христей; всплакнула она немного, просила писать ей, хотела известить, когда забеременеет, и тайный адресок дала. Вскоре после разлуки написал я ей — ответила хорошим письмом; еще написал — молчит. И уже года через полтора, в Задонье, получил я ее письмо — долго оно лежало на почте. В том письме извещала она, что родился у нее ребенок, сын, Матвей, весел и здоров, и что живет она у тетки, а дядя помер, опился. Теперь, пишет, я сама себе госпожа, и коли ты придешь — был бы принят с радостью. Захотелось мне сына увидеть и случайную жену мою, но в то время выходил я на верную дорогу и — отказал ей: не могу, — мол, — после приду.

А после она замуж за торговца книгами и картинами вышла и в Рыбинск уехала жить.

Первый раз в Христине увидел я человека, который не носит страха в своей душе и готов бороться за себя всей силой. Но тогда не оценил этой черты по великой цене ее.

После случая с Христиной пробовал я работать в городе, да не по недугу оказалось это мне — тесно и душно. Народ мастеровой не нравится наготово души своей и открытой манерой отдавать себя во власть хозяину: каждый всем своим поведением как бы кричит:

«Нате вот, жрите тело мое, пейте кровь, некуда мне деваться на земле!»

Тоскливо с ними: пьют они, ругаются между собою зря, поют заунывные песни, горят в работе день и ночь, а хозяева греют свой жир около них. В пекарне тесно, грязно, спят люди, как собаки; водка да разврат — вся радость для них. Заговорю я о неустройстве жизни — ничего, слушают, грустят, соглашаются; скажу: бога, — мол, — надо нам искать! — вздыхают они, но — непрочно пристают к ним мои слова. Иногда вдруг начнут издеваться надо мной, непонятно почему. А издеваются зло.

Городов я не любил. Жадный шум их и эта бесшабашная торговля всем — несносны были мне; обалдевшие от суеты люди города — чужды. Кабаков — избыток, церкви — лишние, построены горы домов, а жить тесно; людей много и все — не для себя: каждый привязан к делу и всю жизнь бежит по одной линии, как пес на цепи.

Во всех звуках — утомление слышу; даже звон колокольный безнадежно звучит, и всей душой моей чувствую я — не так все сделано, не то!

Иной раз сам над собой смеюсь: ишь, какой уставщик живет! Но хоть и смешно, да не радостно: вижу я только ошибку во всем, недоступна она разуму моему и тем больше тяготит. Иду ко дну.

По ночам вспоминаю свою вольную жизнь и особенно четко — ночлеги в полях.

В полях земля кругла, понятна, любезна сердцу. Лежишь, бывало, на ней, как на ладони, мал и прост, словно ребенок, теплым сумраком одетый, звездным небом покрыт, и плывешь, вместе с ней, мимо звезд.

Насыщается усталое тело крепким дыханием трав и цветов; кажется тебе, что ты в люльке лежишь и невидимая рука тихо качает ее, усыпляя тебя...

Тени плавают, задевают стебли трав; шорох и шопот вокруг; где-то суслик вылез из норы и тихо свистит. Далеко на краю земли кто-то темный встанет — может, лошадь в ночном — постоит и растает в море теплой тьмы. И снова возникает, уже в ином месте, иной формы... Так всю ночь бесшумно двигаются по полям немые сторожа земного сна, ласковые тени летних ночей. Чувствуешь, что около тебя, на всем круге земном, притаилась жизнь, отдыхая в чутком полусне, и совестно, что телом твоим ты примял траву.

Ночная птица бесшумно летит — ожил, оторвался кусок земли и, окрылен своим желанием, несется исполнить его.

Мыши шуршат... Иной раз по руке у тебя быстро перекатится маленький мягкий комочек, — вздрогнешь и еще глубже чувствуешь обилие живого, и сама земля оживет под тобой, сочная, близкая, родная тебе.

И слышишь, как она дышит, хочешь догадаться, какой сон видится ей и какие силы тайно зреют в глубине ее, как она завтра взглянет на солнце, чем обрадует его, красавица, любимая им.

Словно таешь, прислонясь ко груди ее, и растет твоё тело, питаюсь теплым и пахучим соком милой матери твоей; видишь себя неотрывно, навеки земным и благодарно думаешь:

«Родная моя!»

Струится от земли невидимый поток добрых сил, текут по воздуху ручьи пряных запахов — земля подобна кадилу в небесах, а ты — уголь и ладан кадила.

Торопливо горят звезды, чтобы до восхода солнца показать всю красоту свою; опьяняет, ласкает тебя любовь и сон, и сквозь душу твою жарко проходит светлый луч надежды: где-то есть прекрасный бог!

«Ищите и обрящите» — хорошо это сказано, и не надо забывать этих слов, ибо это слова, поистине достойные разума человеческого.

Как только заглянула в город весна, ушел я, решив сходить в Сибирь — хвалили мне этот край, — а по дороге

туда остановил меня человек, на всю жизнь окрыливший душу мою, указав мне верный к богу путь.

Встретил я его на пути из Перми в Верхотурье.

Лежу у опушки лесной, костер развел, чай кипячу. Полдень, жара, воздух, смолами древесными напоенный, маслянист и густ — дышать тяжело. Даже птицам жарко — забились в глубь леса и поют там, весело строя жизнь свою. На опушке тихо. Кажется, что скоро растает все под солнцем и разноцветно потекут по земле густыми потоками деревья, камни, обомлевшее тело мое.

Вдруг с пермской стороны идет человек и поет высоким дрожащим голосом. Приподнял я голову, слушаю, и вижу: странник шагает, маленький, в белом подряснике, чайник у пояса, за спиною ранец из телячьей кожи и котелок. Идет бойко, еще издали кивает мне головой, ухмыляется. Самый обыкновенный странник, много таких, и вредный это народ: странничество для них сытое ремесло, невежды они, невегласы, врут всегда свирепую, пьяницы и украсть не прочь. Не любил я их во всю силу души.

Подошел, снял скуфейку, потрянул головой, косичка у него смешно подпрыгнула — и заболтал, как скворец:

— Мир ти, человек! Вот так жара — на двадцать два градуса жарче, чем в аду!

— Давно ли оттуда? — спрашиваю.

— Шестьсот лет прошло!

Голос у него бодрый, веселый, головка маленькая, лоб высокий; лицо, как паутиной, тонкими морщинами покрыто; борода чистая такая, седенькая, а карие глазки, словно у молодого, золотом сверкают.

«Вот, — думаю, — забавная жулябия!»

А он все говорит:

— Ну, Урал!.. Эка красота! Велик мастер господь по украшению земли: леса, реки, горы — хорошо положил!

Снимает с себя дорожный прибор, вертится живо, козловато; увидел, что мой чайник вскипел, сейчас снял его и спрашивает, как старый товарищ:

— Своего чаю засыпать али твой будем пить?

Я не успел ответить, а он уже решил:

— Давай моего поьем, — хороший чай у меня, купчиха одна подарила, дорогой чай!

Усмехнулся я:

— А и козловат же, — мол, — ты!

— Это что! — говорит. — Меня жарой разморило, а вот погоди, отдохну, так я те морщины-то выплажу!

Есть в нем что-то, напоминающее Савелку, и хочется мне с ним шутить.

Но, может быть, уже через пять минут я слушал, разиня рот, его речь, странно знакомую и не слышанную мной; слушаю — и как будто не он, а сердце мое радости солнечных дней поет.

— Гляди... Это ли не праздник и не рай? Торжественно вздымаются горы к солнцу и восходят леса на вершины гор; малая былинка из-под ног твоих окрыленно возносится к свету жизни, и все поет псалмы радости, а ты, человек, ты — хозяин земли, чего угрюм сидишь?

«Что за неведомая птица?» — спрашиваю я себя и говорю ему испытующе:

— А если думы одолели нерадостные?

Указывает он на землю:

— Это что?

— Земля.

— Нет! Выше гляди!

— Трава, что ли?

— Еще выше!

— Ну, тень моя!

— Тень тела твоего, — говорит, — а думы — тень твоей души! Чего боишься?

— Я ничего не боюсь.

— Врешь! Кабы не боялся, были бы думы твои бодры. Печаль рождается страхом, а страх от маловерия. Так-то!

Наливает чай по кружкам и непрерывно говорит:

— Будто видел я тебя уже, а? Ты на Валааме был?

— Был.

— Когда? Значит — не там. А мне показалось, что там видел я тебя, рыжего. Приметное лицо. Да!.. Это я в Соловках видел тебя!

— А в Соловках не был я.

— Не был? Напрасно! Древен монастырь и великой красоты. Сходи!

— Значит, не видал ты меня! — говорю, и почему-то обидно мне, что это так.

— Эка важность! — восклицает он. — Раньше не видал — теперь вижу! А тогда, значит, был другой, похож на тебя. Не все ли равно?

Засмеялся я.

— Как же, — мол, — все равно?

— А почему нет?

— Да ведь я — это я, а другой — другой!

— А ты его лучше?

— Не знаю.

— И я не знаю!

Смотрю я на него, и овладевает мною нетерпение: хочется, чтобы он говорил. Он же, прихлебывая чай, торопливо вспоминает:

— Да, — ведь тот был кривой, чем и смущался весьма. Все эти кривые, хромые — снаружи и внутри — самолюбые неестественные! Я, дескать, крив — али там — я-де хром, но вы, люди, не смейте замечать это за мной! Вот и этот таков. Говорит он мне: «Все люди сволочи; видят они, что у меня один глаз, и говорят мне: ты кривой. А потому они — мерзавцы!» Я ему говорю: «Ты, миленький, сам сволочь и мерзавец, коли не дурак, — выбирай, что слаще! Ты, мол, пойми: не то важно, как люди на тебя смотрят, а то, как ты сам видишь их. Оттого мы, друг, и кривы и слепы, что всё на людей смотрим, темного в них ищем, да в чужой тьме и гасим свой свет. А ты своим светом освети чужую тьму — и все тебе будет приятно. Не видит человек добра ни в ком, кроме себя, и потому весь мир — горестная пустыня для него».

Слушаю его, точно заплутавшийся, ночью, в лесу, дальний благовест, и боюсь ошибиться — не сова ли кричит? Понимаю, что много он видел, многое помирил в себе, но кажется мне, отрицает он меня, непонятно шутя надо мною, смеются его молодые глаза. После встречи с Антоном трудно было верить улыбке человека.

Спросил я его, кто он.

— Зовут, — говорит, — Иегудиил, людям веселый скоморох, а себе самому — милый друг!

— Из духовных?

— Был попом недолго, да расстригли и в Суздаль-монастыре шесть лет сидел! За что, спрашиваешь? Говорил я в церкви народушке проповеди, он же, по простоте

души, круто понял меня. Его за это пороть, меня — судить, тем дело и кончилось. О чем проповеди? Уж не помню. Было это давненько, восемнадцать лет тому назад — можно и забыть. Разными мыслями я жил, и все они не ко двору приходились.

Смеется — в каждой морщине лица его смех играет, а смотрит он вокруг так, словно все горы и леса им устроены.

Когда посвежело, пошли мы с ним дальше, и дорогой спрашивает он меня:

— А ты — из каких?

Снова, как тогда пред Антонием, захотелось мне поставить все прошлые дни в ряд пред глазами моими и посмотреть еще раз на пестрые лица их. Говорю я о детстве своем, о Ларионе и Савелии, — хохочет старик и кричит:

— Ах, милые люди! Ай, шуты божии, а? Это, милый, настоящие, это — русской земли цветы! Ах, боголюбый!

Не понимаю я этих похвал, и странно мне видеть радость его, а он — от смеха даже идти не может; остановится, голову вверх закинет и звенит, покрикивает прямо в небо, словно у него там добрый друг живет и он делится с ним радостью своей.

Ласково говорю:

— Ты несколько похож на Савелку.

— Похож? — кричит. — Это, брат, весьма хорошо, коли похож! Эх, милый, кабы нашего брата, живого человека, да не извела в давнее время православная церковь — не то бы теперь было в русской земле!

Темна его речь.

Про Титова говорю, а он как будто видит тестя моего, издевается над ним.

— Ишь ты! Видал я таких, видал! Жаден клопик, глуп и труслив...

А когда выслушал мой рассказ об Антонии, задумался немного, потом говорит:

— Та-ак! Фома. Ну — не всяк Фома от большого ума, иной Фома просто — глупость сама!

И, отмахиваясь от шмеля, убеждает его:

— Пошел, пошел прочь! Экий неуклюжий — лезет прямо в глаза... ну тебя!

Ловлю я его слова внимательно, ничего не пропуская: кажется мне, что все они большой мысли дети. Говорю, как на исповеди; только иногда, бога коснувшись, запнусь: страшновато мне да и жалко чего-то. Потускнел за это время лик божий в душе моей, хочу я очистить его от копоти дней, но вижу, что стираю до пустого места, и сердце жутко вздрагивает.

А старик, кивая головой, ободряет:

— Ничего, не бойся! Умолчишь — себе солжешь, а не мне. Говори, говори! Своего не жалея: изломаешь — новое сделаешь!

На все мои речи откликается он чутким эхом, и все легче мне с ним.

Застигла нас ночь.

— Стой! — говорит он. — Давай место искать для отдыха.

Нашли приют под большим камнем, оторванным от родной горы; кусты на нем раскинулись, свешиваясь вниз темным пологом, и легли мы в теплой их тени. Костер зажгли, чай кипятим.

Спрашиваю я:

— Что же ты мне скажешь, отец?

Улыбается.

— А что знаю — все скажу! Только ты не ищи в словах моих утверждения: я не учить хочу, а рассказывать. Утверждают те, для кого ход жизни опасен, рост правды вреден. Видят они, что правда все ярче горит — потому все больше людей зажигают пламя ее в сердце своем, — видят они это и пугаются! Наскоро схватят правды, сколько им выгодно, стиснут ее в малый колобок и кричат на весь мир: вот истина, чистая духовная пища, вот — это так! и — навеки незыблемо! И садятся, окаянные, на лицо истины и душат ее, за горло взяв, и мешают росту силы ее всячески, враги наши и всего сущего! А я могу сказать одно: на сей день — это так, а как будет завтра — не ведаю! Ибо, видишь ли, в жизни нет настоящего, законного хозяина; не пришел еще он, и неизвестно мне, как распорядится, когда придет, — какие планы утвердит, какие порушит и какие храмы станет возводить? Павел-апостол однажды сказал: «все содействует ко благу» — многие утвердились на сих словах, и все утвердившиеся

обессилели, ибо встали на месте! Камень сей бессилен — почему? — по неподвижности своей, брате! И нельзя говорить человеку: стой на сем! но — отсюда иди далее!

Первый раз слышу такую речь, и чуждо мне звучит она, — ею отрицает человек сам себя, а я ищу самоутверждения.

— Кто же, — мол, — этот хозяин — господь?

Улыбается старик:

— Нет, — говорит, — ближе к нам! Не хочется мне назвать его — лучше бы ты сам догадался! Ибо во Христа прежде и крепче всех те уверовали, кто до встречи с ним знал уже его в сердце своем, и это силою их веры поднят он был на высоту божества.

Как перед дверью держит он меня, а не отворяет ее, не показывает, что за нею спрятано им. Растет во мне нетерпение и некая досада. Речи старика кажутся темными, и хотя порой сверкают жуткие искры в словах его, но они только ослепляют меня, не освещая тьму души. Ночь — лунная, окружают нас черные тени, лес над нами молча в гору идет, и над вершиною гор — меж ветвей — звезды блещут, точно птицы огненные. Где-то близко ручей журчит, в лесу изредка филин гукает, и надо всем в ночи тихо живет старикова речь. Чужден старик! Вот снял он со щеки какую-то букашку, держит на ладони и спрашивает ее:

— Ты куда, баловень? А? Беги-ка в траву, существо!

Это нравится мне: я тоже буканов всяких очень люблю, и всегда мне занята их тайная жизнь среди трав и цветов.

Ставлю я разные вопросы старику; хочется мне, чтоб он проще и короче говорил, но замечаю, что обходит он задачи мои, словно прыгая через них. Приятно это живое лицо — ласково гладят его красные отсветы огня в костре, и все оно трепещет мирной радостью, желанной мне. Завидно: вдвое и более, чем я, прожил этот человек, но душа его, видимо, ясна.

Говорю:

— Один человек сказал мне, что вера — выдумка, а ты что скажешь?

— Скажу, — отвечает, — что не знал человек, о чем говорит, ибо вера — великое чувство и созидательное!

А родится она от избытка в человеке жизненной силы его; сила эта — огромна суть и всегда тревожит юный разум человеческий, побуждая его к деянию. Но связан и стеснен человек в деяниях своих, извне препятствуют ему всячески, — всё хотят, чтобы он хлеб и железо добывал, а не живые сокровища из недр духа своего. И не привык еще, не умеет он пользоваться силами своими, пугается мятежей духа своего, создает чудовищ и боится отражений нестройной души своей — не понимая сущности ее; поклоняется формам веры своей — тени своей, говорю!

Не скажу, чтоб в ту минуту понял я его, но почему-то сильно рассердился и думаю:

«Ну, теперь с этого места я тебя никуда не пушу, доколе ты не ответишь мне на коренной вопрос!»

И строго спрашиваю:

— А почему ты бога обходишь?

Смотрит он на меня, подняв брови, и говорит:

— Да я, милый, все время о нем толкую! Разве ты не чувствуешь?

Встал на колени и, освещенный огнем, протянул руку мне, говоря тихо и внушительно:

— Кто есть бог, творящий чудеса? Отец ли наш или же — сын духа нашего?

Вздвинул, помню, и оглянулся я, ибо — жутко мне стало: вижу в старике нечто безумное. И эти черные тени лежат вокруг, прислушиваясь; шорохи лесные отовсюду ползут, заглушая слабый треск углей, тихий звон ручья. Мне тоже захотелось на колени встать. Он уже громко говорит, как бы споря:

— Не бессилием людей создан бог, нет, но — от избытка сил. И не вне нас живет он, брате, но — внутри! Извлекли же его изнутри нас в испуге пред вопросами духа и наставили над нами, желая умерить гордость нашу, несогласную с ограничениями волю нашу. Говорю: силу обратили в слабость, задержав насильно рост ее! Образы совершенства — поспешно делаются; это — вред нам и горе. Но люди делятся на два племени: одни — вечные богостроители, другие — навсегда рабы пленного стремления ко власти над первыми и надо всей землей. Захватили они эту власть и ею утверждают бытие бога вне человека, бога — врага людей, судию и господина

земли. Исказили они лицо души Христа, отвергли его заповеди, ибо Христос живой — против их, против власти человека над ближним своим!

Говорит он — и словно больной зуб в душе моей пошатывается, хочет выдернуть; больно мне и хочется кричать:

«Не то!»

А у него — лицо праздничное, весь он пьян и буен радостью; вижу я безумие речи его, но люблюсь стариком сквозь боль и тоску души, жадно слушаю речь его:

— Но живы и бессмертны богостроители; ныне они снова тайно и усердно творят бога нового, того именно, о котором ты мыслишь, — бога красоты и разума, справедливости и любви!

Потрясает он меня речью своей, поднимает на ноги и как бы оружие в руки дает, трепещет вокруг меня легкая тень, задевая крыльями лицо мое, — страшно мне, кружится земля подо мной, и думаю я:

«А если верно, что дьявол искушает людей прелестными речами и это его хитрые петли плетет старик, дабы запутать меня в сеть величайшего греха?»

— Слушай, — говорю, — кто — богостроители? Кто — хозяин, коего ждешь?

Засмеялся он ласково, как женщина, и ответил:

— Богостроитель — это суть народушко! Неисчислимый мировой народ! Великомученик великий, чем все, церковью прославленные, — сей бо еси бог, творяй чудеса! Народушко бессмертный, его же духу верую, его силу исповедую; он есть начало жизни единое и несомненное; он отец всех богов бывших и будущих!

«Безумен старик», — думаю я.

До сей поры казалось мне, что хотя и медленно, но иду я в гору; не однажды слова его касались души моей огненным перстом и чувствовал я жгучие, но целебные ожоги и уколы, а теперь вдруг отяжелело сердце, и остановился я на пути, горько удивленный. Горят в груди моей разные огни — тоскливо мне и непонятно радостно, боюсь обмана и смущен.

— Неужели ты, — спрашиваю, — про мужиков говоришь?

Он громко и с важностью отвечает:

— Да, про весь рабочий народ земли, про всю ее силу, вечный источник боготворчества! Вот просыпается воля народа, соединяется великое, насильно разобщенное, уже многие ищут возможности, как слить все силы земные в единую, из нее же образуется, светел и прекрасен, всеобъемлющий бог земли!

Говорит он так громко, словно не один я, — но и горы, и леса, и все живое, бодрствующее в ночи, должно слышать его; говорит и трепещет, как птица, готовая улететь, а мне кажется, что все это — сон, и сон этот унижает меня.

Вызываю в памяти моей образ бога моего, ставлю перед его лицом темные ряды робких, растерянных людей — эти бога творят? Вспоминаю мелкую злобу их, трусливую жадность, тела, согбенные унижением и трудом, тусклые от печалей глаза, духовное косноязычие и немоту мысли и всяческие суеверия их — эти насекомые могут бога нового создать?

Гнев и горький смех возникает в сердце моем. Понимаю, что старик нечто уже отнял у меня. И говорю ему:

— Эх, отец! Наблудил ты в душе у меня, словно козел в огороде, вот и вся суть твоих речей! Но неужели со всеми решаешься ты так говорить? Великий это грех, по-моему, и нет в тебе жалости к людям! Ведь утешений, а не сомнений ищут они, а ты сомнения сеешь!

Он — улыбается.

— Быть, — говорит, — тебе на пути моем!

Обидна мне эта улыбка.

— Врешь! — мол. — Никогда не поставлю человека рядом с богом!

— И не надо, — говорит, — и не ставь, а то господина поставишь над собой! Я тебе не о человеке говорю, а о всей силе духа земли, о народе!

Разозлился я; противен мне стал боготворец в лаптях, вшивый весь, всегда пьяный, битый и поротый.

— Ну, молчи! — говорю. — Старый богохульник и безумец ты! Что такое — народ? Грязен телом и мыслями, нищ умом и хлебом, за копейку душу продаст...

Тут случилось удивительное. Вскочил он на ноги и закричал:

— Цыц!

Руками машет, ногами топает, того гляди в лицо пнет меня. Когда было в нем пророческое — стоял он дальше от меня, появилось смешное — и снова приблизился ко мне человек.

— Цыц! — кричит, — мышь амбарная! И впрямь, видно, есть в тебе гнилая эта барская кровь. Подкидывай ты народный! Понимаешь ли — о ком говоришь? Вот вы все так, гордионы, дармоеды и грабители земли, не знаете, на кого лааете, паршивые псы! Обожрали, ограбили людей, сели на них верхом, да и ругаете: не прытко вас везут!

Прыгает он надо мной, падает тень его на меня, холодно хлещет по лицу, и я отодвигаюсь удивленно, боюсь — ударит он меня. Ростом я вдвое выше его, силы — на десяток таких, а остановить человека — нет у меня воли. Видимо, забыл он, что ночь кругом и пусто везде и что если я ушибу его — останется он на этом месте лежать до могилы. Вспоминаю я, как ругал меня когда-то испуганный зеленый протопоп, дикий Михаил и другие люди старой веры. Вот и этот ругается, но — другим огнем горит его гнев. Те были сильнее меня, но в словах их я слышал одно — страх, этот же — слаб, а — бесстрашен. И кричит на меня, как ребенок, и словно мать: странно ласков его гнев, подобный первому грому весны. Смущен я непонятной храбростью старика, и хотя забавен гнев его, а неловко мне, что я так разозлил человека. Обидно ругается — не любил я, когда меня подкидышем звали, но — приятен мне гнев его, ибо понимаю — гневается искренно верующий в правду свою, и такой гнев хорошо падает на душу — много в нем любви, сладкой пищи сердца.

Ворочаюсь я под ногами у него, а он кричит сверху:

— Что ты знаешь о народе? Ты, слепой дурак, историю знаешь? Ты вот почитай-ка это житие, иже — выше всех! — во святых отца нашего великомученика-народа! Тогда, может, на счастье свое, поймешь, кто пред тобой, какая сила растет вокруг тебя, бесприютного нищего на чужой земле! Знаешь ты, что такое Русь? И что есть Греция, сиречь Эллада, а также — Рим? Знаешь, чьею волею и духом все государства строились? На чьих костях храмы стоят? Чьим языком говорят все мудрецы? Все,

что есть на земле и в памяти твоёй, все народом создано, а белая эта кость только *шлифовала* работу его...

Я молчу. Мне приятно видеть человека, который не боится защищать правду свою.

Сел он, запыхался, потный и красный весь, и вижу я — слезы на глазах его. Поражает это меня, ибо, когда я обижал тех, прежних учителей моих, — они не показывали мне слез. Кричит он:

— Слушай, бродяга, я тебе буду о русском народе говорить!

— Ты, — мол, — отдохнул бы...

— Молчи! — говорит, грозя мне рукой. — Молчи, а то я тебя побью!

Захохотал я — не мог удержаться.

— Дед, милый! Невыразимо ты чуден! Прости Христа ради, коли обидел я тебя!

— Глупый, чем тебе меня обидеть? Но ты о великом народе нехорошо сказал, несчастная душа... Барам допустимо народ поносить, им надо совесть погасить, они — чужие на земле, а ты — кто?

Хорошо было смотреть на него в тот час, — стал он важен и даже суров, голос его осел, углубился, говорит он плавно и певуче, точно апостол читает, лицо к небу обратился, и глаза у него округлились. Стоит он на коленях, но ростом словно больше стал. Начал я слушать речь его с улыбкой и недоверием, но вскоре вспомнил книгу Антония — русскую историю — и как бы снова раскрылась она предо мною. Он мне свою сказку чудесную поет, а я за этой сказкой по книге слежу — все идет верно, только смысл другой.

Дошел он до распада Киевской Руси, спрашивает:

— Слышал?

— Спасибо, — говорю.

— Ну, так знай теперь: таких богатырей не было, это народ свои подвиги в лицах воплощал, так запоминал он великую работу построения русской земли!

И продолжает о Суздальской земле.

Помню, где-то за горою уже солнце всходило; ночь пряталась в лесах и будила птиц; розовыми стаями облака над нами, а мы прижались у камня на росистой траве, и один воскрешает старину, а другой удивленно исчисляет

несчетные труды людей и не верит сказке о завоевании враждебной лесной земли.

Старик будто сам все видел: стучат тяжелые топоры в крепких руках, сушат люди болота, возводят города, монастыри, идут все дальше, по течениям холодных рек, во глубины густых лесов, одолевают дикую землю, становится она благообразна. А князья, владыки народа, режут, крошат ее на малые куски, дерутся друг с другом кулаками народа и грабят его. И вот со степи татары подошли, но не нашлось в князьях воителей за свободу народную, не нашлось ни чести, ни силы, ни ума; предали они народ орде, торговали им с ханами, как скотом, покупая за мужичью кровь княжью власть над ним же, мужиком. А потом, как научились у татар царствовать, начали и друг друга ханам на зарез посылать.

Ночь вокруг ласкова, как умная, старшая наша сестра.

От усталости осекается голос у старика, уже солнце видит его, а он все ходит в прошлых былях, освещая мне истину пламенными словами.

— Видишь ли, — спрашивает, — что сделано народом и как измывались над ним до поры, пока ты не явился обругать его глупыми словами? Это я сказывал больше о том, что он по чужой воле делал, а отдохну — расскажу, чем душа его жила, как он бога искал!

Свернулся в комок и заснул, как малое дитя.

А я — спать не могу и сижу, как угольями обложен. Да и утро уже — солнце высоко, распелась птица на все голоса, умылся лес росой и шумит, ласково зеленый, встречу дню.

По дороге люди пошли — люди самые ежедневные; идут, опустья головы, нового я в них не вижу ничего, никак они не выросли в моих глазах.

Спит мой учитель, похрапывает, я — около его замер в думе моей; люди проходят один за другим, искоса взглянут на нас — и головой не кивнут в ответ на поклон.

«Неужто, — думаю, — это дети тех праведников, строителей земли, о которых я слышал сейчас?»

Спутались в усталой голове сон и явь, понимаю я, что эта встреча — роковой для меня поворот. Стариковы слова

о бoге, сыне духа народного, беспокоят меня, не могу помириться с ними, не знаю духа иного, кроме живущего во мне. И обыскиваю в памяти моей всех людей, кого знал; ошариваю их, вспоминая речи их: поговорок много, а мыслями бедно. А с другой стороны вижу темную каторгу жизни — неизбывный труд хлеба ради, голодные зимы, безысходную тоску пустых дней и всякое унижение человека, оплевание его души.

«Где бог в этой жизни, где ему место в ней?»

Спит старик. Хочется мне тряхнуть его, закричать:

«Говори!»

Скоро он сам проснулся, щурит глаза, улыбается.

— Эге, — говорит, — солнце-то к полудню идет! Надо бы и мне идти!

— Куда, — мол, — по жаре такой? Хлеб, чай, сахар есть у нас. Да и не могу я отпустить тебя — отдай обещанное!

Смеется:

— Я от тебя, злыдень, сам не отстану!

Потом задумчиво говорит:

— Ты, Матвей, брось-ка шляться; это и поздно и рано тебе! Учиться надо; вот это — в пору!

— А не поздно?

— Гляди на меня, — говорит, — пятьдесят три года имею, а у ребят грамоте учусь и по сей день!

— У каких это ребят? — спрашиваю.

— Есть такие! Вот бы тебе с ними и пожить годок-другой. Иди-ка ты на завод один, недалеко, верст за сто отсюда, там у меня есть добрые дружки!

— Ты, — мол, — сначала расскажи-ка, что хотел, а потом я подумаю, куда идти.

Шагаем мы с ним по тропе вдоль дороги, и снова я слышу звонкий голос его, странные слова:

— Христос, первый истинно народный бог, возник из духа народа, яко птица феникс из пламени.

И тотчас же сам вспыхнул весь, помахивает маленькой рукою пред лицом своим, точно ловит в воздухе новые слова, и поет:

— Долго поднимал народ на плечах своих отдельных людей, бессчетно давал им труд свой и волю свою; возвышал их над собою и покорно ждал, что увидят они

с высот земных пути справедливости. Но избранники народа, восходя на вершины доступного, пьянели и, развращаясь видом власти своей, оставались на верхах, забывая о том, кто их возвел, становясь не радостным облегчением, но тяжким гнетом земли. Когда видел народ, что дети, вспоенные кровью его, — враги ему, терял он веру в них, то есть — не питал их волею своею, оставлял владык одинокими, и падали они, разрушалось величие и сила их царств. Понял народ, что закон жизни не в том, чтобы возвысить одного из семьи и, питая его волею своей, — его разумом жить, но в том истинный закон, чтобы всем подняться к высоте, каждому своими глазами осмотреть пути жизни, — день сознания народом необходимости равенства людей и был днем рождения Христова! Многие народы разнo пытались воплотить свои мечты о справедливости в живое лицо, создать господа для всех равного, и не однажды отдельные люди, подчиняясь напору мысли народной, старались оковать ее крепкими словами, дабы жила она вечно. И когда все эти мысли были сплочены — возник из них живой бог, любезное дитя народа — Иисус Христос!

То, что он говорил о Христе, юном бoге, было близко мне, но народа, Христа рождающего, — не могу понять.

Говорю это ему, а он отвечает:

— Хочешь знать — поймешь, хочешь верить — будешь знать!

Трое суток шагали мы с ним не торопясь, и все время поучал он меня, показывая прошлое.

Рассказал всю историю жизни народа вплоть до того дня; говорил о Смутном времени и о том, как церковь воздвигнула гонения на скоморохов, веселых людей, которые будили память народа и шутками своими сеяли правду в нем.

— Понимаешь, — говорит, — кто Савелка твой?

— Вижу, — мол.

— То-то! Помни: маленькое — от великого, а великое сложено из малых частей!

Дошли мы до Стефана Верхотурского, сказал мне старик:

— Отсюда я — в сторону, а тебе со мной нет пути.

Не хочется отходить от него, а вижу — надо, ибо — одолевают меня мысли его, разбудил он меня до глубины и как плугом вспахал душу мне.

— Что задумался? — спрашивает. — Иди-ка на завод да работай там и с дружками моими толкуй; не проиграешь, поверь! Народ — ясный, вот я у них учился и, видишь, — не глуп, а?

Написал какую-то записку, сунул мне.

— Ей-ей — иди туда! Не худа желаю тебе, увидишь! Народ новорожденный и живой! Не веришь?

— Много, — мол, — видят небольшие глаза, да есть ли то, что им кажется?

— Ты, — кричит, — всем составом гляди! Сердцем, духом! Разве я тебе говорю — верь? Я говорю — узнавай!

Поцеловались мы, и пошел он. Легко идет, точно двадцать лет ему и впереди ждут одни радости. Скучно мне стало глядеть вслед этой птице, улетающей от меня неизвестно куда, чтобы снова петь там свою песнь. В голове у меня — неладно, возятся там мысли, как хохлы ранним утром на ярмарке: сонно, неуклюже, медленно — и никак не могут разложиться в порядке. Все странно спуталось: у моей мысли чужой конец, у чужой — мое начало. И досадно мне и смешно — весь я точно измят внутри.

Еще как вышел я из Верхотурья и спросил, куда дорога, мне ответили:

— На Исетский завод.

Туда и посылал меня старик, а потому я сейчас же свернул в сторону. Не хочу туда.

Хожу по деревням, посматриваю. Угрюм и дерзок народ, не хочется ни с кем говорить. Смотрят все подозрительно, видимо, опасаются, не украл бы чего.

«Богостроители, — думаю я, поглядывая на корявых мужичков. — Спрошу: куда дорога?»

— На Исетский завод.

«Что тут — все дороги на этот завод?» — думаю и кружусь по деревням, по лесам, ползаю, словно жук в траве, вижу издали эти заводы. Дымят они, но не манят меня. Кажется, что потерял я половину себя, и не могу понять — чего хочу? Плохо мне. Серая, ленивая досада

колеблется в душе, искрами вспыхивает злой смешок, и хочется мне обижать всех людей и себя самого.

И вдруг незаметно для себя решил: пойду на завод, чорт с ним!

Вот пришел я в некий грязный ад: в ложине, между гор, покрытых изрубленным лесом, припали на земле корпуса; над крышами у них пламя кверху рвется, высунулись в небо длинные трубы, отовсюду сочится пар и дым, земля сажей испачкана, молот гулко ухает; грохот, визг и дикий скрип сотрясают дымный воздух. Всюду железо, дрова, кирпич, дым, пар, вонь, и в этой ямине, полной всякой тяжелой всячины, мелькают люди, черные, как головни.

«Спасибо, старичок! — думаю. — Направил ты меня хорошо!»

Первый раз близко вижу завод, гложу с непривычки, и дышать тяжело.

Хожу по улицам, ищу слесаря Петра Ягих. Кого ни спрошу — огрызаются, точно утром все передрались между собой и еще не успели успокоиться.

Восклицаю про себя:

«Богостроители!»

Идет встречу мужчина, подобный медведю, чумазый весь с ног до головы; блестит на солнце жирной грязью своей одежды; спрашиваю я, не знает ли он слесаря Петра Ягих.

— Чего?

— Петр Ягих.

— На что?

— Нужно.

— Это я!

— Здравствуйте!

— Ну, здравствуй! А еще что?

— Записка вам.

Мужчина ростом выше меня, широкобродый, плечистый, тяжелый, лицо — в саже, маленькие, серые глазки едва видны из-под густых бровей, шапка на затылке, волосы гладко острижены. Похож и не похож на мужика.

Читает, видимо, с трудом, лицо у него все сморщилось, усы дрожат. И вдруг — растаяло лицо, блеснули белые зубы, открылись добрые детские глаза, кожа на щеках лоснится.

— Ага, — кричит, — жив, божий петушок! Добро. Иди, малый, в конец улицы, свороти налево к лесу, под горой дом с зелеными ставнями, спроси учителя, зовут — Михаила, мой племян. Покажи ему записку; я скоро приду, айда!

Говорит, как солдат на трубе сигнал играет, сказал, махнул рукой и пошел прочь.

«На первый раз, — думаю я, — и это забавно!»

Дома встретил меня угловатый парень в ситцевой рубашке и фартуке, рукава засучены, руки — белые и тонкие. Прочитав записку, спрашивает:

— Как здоров отец Иона?

— Слава богу.

— Не обещал ли к нам зайти?

— Не говорил. А разве его Ионой зовут?

Парень подозрительно взглянул на меня, еще раз прочитал записку.

— А как же? — говорит.

— Он себя Иегудиилом назвал.

Улыбается парень.

— Это — прозвище, это я его так зову.

«Ишь ты», — думаю.

Волосы у него прямые, длинные, как у дьякона, лицо бледное, глаза водянисто-голубые, и весь он какой-то нездешний, видно, не этого грязного куса земли. Ходит по комнате и меряет меня глазами, как сукно; мне это не нравится.

— Вы, — говорит, — давно знаете Иону?

— Четверо суток.

— Четверо суток? — повторяет он. — Это — хорошо.

— Почему хорошо? — спрашиваю.

— Так уж! — говорит, пожимая плечами.

— А почему вы в фартуке?

— Книжки, — говорит, — переплетал! — Скоро дядя придет, будем ужинать; может быть, вы с дороги поможетесь?

Хочется мне дерзить ему, — больно он солиден, не по летам это.

— Разве, — мол, — здесь умываются?

Поднял брови.

— А как же?

— Не видал я умытых-то! — говорю.

Он прищурил глаза, поглядел на меня и спокойно таково говорит:

— Здесь люди не бездельничают, а работают; часто умываться времени нет.

Вижу — налетел я с ковшом на брагу, хочу ему ответить, а он повернулся и ушел. Сижу я в дураках, смотрю. Комната — большая, чистая, в углу стол для ужина накрыт, на стенах — полки с книгами, книги — светские, но есть библия, евангелие и старый славянский псалтирь. Вышел на двор, моюсь. Дядя идет, картуз еще больше на затылке, руками махает и голову держит вперед, как бык.

— Ну-ка, я помоюсь, — говорит, — плесни-ка мне воды!

Голосище — труба, пригоршни — с добрую чашку для щей. Смыл он несколько сажки — оказалось под нею скуластое медно-красное лицо.

Сели ужинать, едят, разговаривая о своих делах, не спрашивая, ни кто я такой, ни зачем пришел. Но угощают меня заботливо, смотрят ласково.

Много в них чего-то солидного, видно, что земля под ними твердо стоит. А мне хочется, чтобы вздрогнула, — чем они лучше меня?

— Вы — раскольники, что ли? — спрашиваю.

— Мы? — говорит дядя. — Нет.

— Значит — православные?

Племянник нахмурил брови, а дядя повел плечами, усмехается.

— Может, надо нам, Михайла, паспорта наши показать ему?

Понимаю я, что глупо себя держу, а перестать — не хочется.

— Я, — мол, — не паспорта ваши, а мысли видеть пришел!

Дядя — орет:

— Мысли? Сейчас, ваше превосходительство! Мысли, — стройся!

И хохочет, как три добрых жеребца.

А Михайла, заваривая чай, спокойно рассуждает:

— Я так и понимаю ваш приход. Вы не первый к нам Иной посланы; он людей знает и пустого человека не пришлет.

А дядя толкнул меня в лоб ладонью и все орет:

— Гляди веселей! Да не ходи с козырей — проиграешься!

Видимо, считают они себя людьми зажиточной души, а я для них подобен нищему, — и вот, не торопясь, готовятся напоить от мудрости своей жаждущую душу мою. Ссориться, спорить с ними хочу, а к чему привязаться — не умею, не вижу, и это еще больше разжигает меня. Спрашиваю зря:

— Что такое — пустой человек?

Дядя отвечает:

— А которого всем, чем хочешь, набить можно!

Вдруг Михайла тихонько подвинулся ко мне и мягким голосом осведомляется:

— Вы в бога веруете?

— Верую.

Но сконфузился я после ответа своего: не то! Разве я — верую?

Михайла снова спрашивает:

— А людей — уважаете?

— Нет, — отвечаю.

— Разве, — говорит, — не кажется вам, что они созданы по образу и подобию бога?

Дядя, чорт его возьми, ухмыляется, как медный таз на солнце.

«Нет, — думаю, — с этими надо бороться искренностью; развалюсь перед ними весь на куски, пусть-ка складывают!»

И говорю:

— Глядя на людей, усомнился я в силе господа...

Снова не то: усомнился я в боге раньше, чем увидал людей. Михайла, округлив глаза, задумчиво смотрит мне в лицо, а дядя тяжело шагает по комнате, гладит бороду и тихонько мычит. Нехорошо мне пред ними, что принижаю себя ложью. В душе у меня бестолково и тревожно; как испуганный рой пчел, кружатся мысли, и стал я раздраженно изгонять их — хочу опустошить себя. Долго говорил, не заботясь о связности речи, и, пожалуй, на-

рочно путал ее: коли они умники, то должны все разоб-
брать. Устал и задорно спрашиваю:

— Чем же и как полечите вы больную душу?

Михайла, тихо и не глядя на меня, говорит:

— Не считаю я вас больным...

Дядя опять хохочет — гремит, словно чорт с полатей
свалился.

— Болезнь, — продолжает Михайла, — это когда че-
ловек не чувствует себя, а знает только свою боль да ею
и живет! Но вы, как видно, себя не потеряли: вот вы
ищете радостей жизни, — это доступно только здо-
ровому.

— А отчего же у меня душа так ноет?

— Оттого, — говорит, — что вам это приятно!

Я даже зубами скрипнул — невыносимо для меня его
спокойствие.

— Наверно, — мол, — знаете, что приятно?

Смотрит он прямо в глаза и, не торопясь, заколачивает
гвозди в грудь мою.

— Как искренний человек, вы, — говорит, — должны
сознаться, что эта боль вашей души необходима вам —
она вас ставит выше людей; вы и бережете ее как некото-
рое отличие ваше от других; не так ли?

Постное лицо его высохло, вытянулось, глаза потем-
нели, гладит он щеку свою рукой и чистит меня, как медь
песком.

— Видимо, боитесь вы смешать себя с людьми и по-
тому — может быть, безотчетно — думаете: хоть болячки,
да мои! И таких болячек — ни у кого нет, кроме меня!

Хочу возражать ему — не нахожу слов. Моложе он
меня, — не верится мне, что я глупей его. Дядя гогочет,
как поп в бане на полке.

— Но это вас от людей не отличает, вы ошибаетесь, —
говорит Михайла. — Все так думают. Оттого и бессильна,
оттого и уродлива жизнь. Каждый старается отойти от
жизни вбок, выкопать в земле свою норку и из нее оди-
ноко рассматривать мир; из норы жизнь кажется низкой,
ничтожной; видеть ее такую — выгодно уединенному! Это
я говорю про тех людей, которые почему-нибудь не в си-
лах сесть верхом на ближнего и подъехать на спине его
туда, где вкуснее кормят.

Злят меня его речи и обидны они.

— Началась, — говорит, — эта дрянная и недостойная разума человеческого жизнь с того дня, как первая человеческая личность оторвалась от чудотворной силы народа, от массы, матери своей, и сжалась со страха перед одиночеством и бессилием своим в ничтожный и злой комок мелких желаний, комок, который наречен был — «я». Вот это самое «я» и есть злейший враг человека! На дело самозащиты своей и утверждения своего среди земли оно бесполезно убило все силы духа, все великие способности к созданию духовных благ.

Кажется мне, слышу я речь уже знакомую, слова, которых давно и тайно ждал.

— Нищее духом, оно бессильно в творчестве. Глухо оно к жизни, слепо и немотно, цель его — самозащита, покой и уют. Все новос, истинно человеческое, создается им по необходимости, после множества толчков извне, с величайшим трудом, и не только не ценится другими «я», но и ненавистно им и гонимо. Враждебно потому, что, памятуя свое родство с целым, отколотое от него «я» стремится объединить разбитое и разрозненное снова в целое и величественное.

Слушаю и удивляюсь: все это понятно мне и не только понятно, но кажется близким, верным. Как будто я и сам давно уже думал так, но — без слов, а теперь нашлись слова и стройно ложатся предо мною, как ступени лестницы вдаль и вверх. Вспоминаю Ионины речи, оживают они для меня ярко и красочно. Но в то же время беспокойно и неловко мне, как будто стою на рыхлой льдине реки весной. Дядя незаметно ушел, мы вдвоем сидим, огня в комнате нет, ночь лунная, в душе у меня тоже лунная мгла.

О полночь кончил Михайла свои речи, повел меня спать на двор, в сарай; легли мы там на сене, и скоро он заснул, а я вышел за ворота, сел на какие-то бревна, смотрю...

Две звезды большие сторожами в небесах идут. Над горой в синем небе четко видно зубчатую стену леса, а на горе весь лес изрублен, изрезан, земля изранена черными ямами. Внизу — завод жадно оскалил красные зубы: гудит, дымит, по-над крышами его мечется огонь, рвется

кверху, не может оторваться, растекается дымом. Пахнет гарью, душно мне.

Размышляю о горестном одиночестве человека. Интересно говорит Михайла, мыслям своим верует, вижу я их правду, но — почему холодно мне? Не сливается моя душа с душою этого человека, стоит она одиноко, как среди пустыни...

И вдруг вижу, что я думаю словами Ионы и Михайлы, и что их мысли уже властно живут во мне, — хотя и сверх всего, хотя и шевелится в глубине враждебное им и наблюдающее.

Где же — я, и что — мое? Кружусь в недоумениях моих, как волчок, и все быстрее, так, что в ушах у меня шум, тихий вихрь.

На заводе свисток заныл — сначала тонко и жалобно, потом разревелись густо и повелительно. С гор — утро сонно смотрит; ночь, спускаясь вниз, тихо снимает с деревьев тонкое покрывало свое, свертывает его, прячет в лощинах и ямах. Обнажается ограбленная земля — выщипано все вокруг и обглодано, точно по ложине некий великан-озорник прыгал, вырывая полосы леса, нанося земле глубокие раны. В котловине развалился завод этот — грязный, жирный, окутан дымом — и сопит. Тянутся к нему со всех сторон темные люди, он их глотает одного за другим.

«Богостроители! — думаю. — Настроили!»

Дядя вышел за ворота, растрепанный, чешется, зевает, скулы у него хрустят, улыбается мне.

— Ага, — кричит, — ты встал?

Но тотчас же ласково спрашивает:

— Али не ложился? Ну, ничего, днем поспишь! Айда-ка, выпьем чаю!

За чаем он говорит:

— И я, браток, ночей не спал, было время, и всех по рожам бить хотел! Я еще до солдатчины был духом смущен, а там оглушили меня — ударил ротный по уху — не слышу на правое-то. Мне фершал один помог, дай ему...

Хотел, видимо, помянуть имя божие, но остановился, подергал себя за бороду, ухмыляется. Показалось мне в этом нечто ребячье, да и глаза его по-детски светят — просто, доверчиво.

— Очень хороший человек! Углядел он меня — что такое? Я говорю: «Разве же это человеческая жизнь?» — «Верно, отвечает, — все надо переделать! Давай-ка, говорит, Петр Васильев, я тебя буду политической экономии учить!» И — начал. Сначала я не понимал ничего, а потом — сразу уразумел все это безобразии ежедневное и вечное. Так почти с ума сошел от радости, — ах вы, сволочь, кричу! Это ведь сразу открывается, наука-то: сначала слышишь одни только новые слова, потом придет минута такая — все вдруг сложится и обратится в свет! И эта минута — настоящее рождение человека — удивительна!

Лицо у него стало радостным, глаза мягко улыбаются, кивает стриженной головой и говорит:

— Это тебя ждет!

Приятно смотреть на него — увеличивается в нем детское. И немножко завидно.

— Две трети жизни прожил я, как лошадь, — обидно! Ну, ничего, нагоню сколько можно! Только не прыток я умом. Ум, как рука, тоже требует упражнения. А у меня руки умнее головы.

Смотрю я на него и думаю:

«Почему эти люди не боятся говорить обо всем?»

— Зато, — продолжает он, — у Мишки на двоих разума! Начетчик! Ты погоди — он себя развернет! Его заводский поп ересиархом назвал. Жаль, с богом у него путаница в голове! Это — от матери. Сестра моя знаменитая была женщина по божественной части, из православия в раскол ушла, а из раскола ее — вышибли.

Говоря, собирается он на работу, суется из угла в угол, и все вокруг его трещит, стулья падают, пол ходуном ходит. Смешно мне и мило видеть его таким.

«Что это за люди?» — думаю.

— Мне дня три можно у вас прожить?

— Валяй, — говорит, — хоть три месяца! Чудак! Мы — не стесняемся, слава богу!

Почесал голову и, ухмыляясь, объявил:

— Нет-нет, а все бога вспомняешь! Привычка!

Снова загудел завод, и дядя ушел. А я направился в сарай. Лежит там Михайла, брови строго нахмурил,

руки на груди, лицо румяное. Безбородый, безусый, скуластый, весь — одна кость крепкая.

«Что это за люди?..»

С этим я и уснул.

А проснулся — шум, свист, гам, как на соборе всех чертей. Смотрю в дверь — полон двор мальчишек, а Михайла в белой рубаше среди них, как парусная лодка между малых челноков. Стоит и хохочет. Голову закинул, рот раскрыт, глаза прищурены, и совсем не похож на вчерашнего, постного человека. Ребята в синем, красном, в розовом — горят на солнце, прыгают, орут. Потянуло меня к ним, вылез из сарая, один увидал меня и кричит:

— Гляди, братцы, мона-ах!

И словно стружки сухие поджег — вспыхнули дети, запертелись, галдят, сверкают...

— Ка-кой рыжай!

— Волосищи-то!

— Он те даст тютю!

— Эх, язви его, здоров же!

— Не монах, а колокольня!

— Михайл Иваныч — это кто?

Учитель несколько сконфузился, а они хохочут, черти. Уж не знаю, чем я был смешон им, но и меня заразили — смеюсь и кричу:

— Брысь, мыши!

А тут солнце, цветной шум в воздухе — и точно все вокруг, вздрагивая радостно и буйно, мчится куда-то пестрым вихрем и несет меня с собой, ослепляя светом, кутая теплом. Михайла здоровается, руку жмет.

— Мы, — говорит, — в лес идем, не хотите ли с нами?

Очень хорошо все: какой-то пузатый чертенок поддел мою скуфейку, напялил на голову себе и мотыльком летает по двору.

Пошел я с этой ватагой безумных в лес; день тот был для меня весьма памятен.

Высыпались ребята на улицу и легко, как перья по ветру, несутся в гору, а я иду рядом с их пастырем, и кажется мне, что впервые вижу таких приятных детей. Мы с Михайлой идем сзади их, он командует, покрикивает, детишки не слушают его — толкаются, борются, лукают друг в друга сосновыми шишками, спорят. А когда устали,

около нас, вертятся под ногами, как жуки, дергают за руки учителя своего, спрашивают что-то о травах и цветах. Всем он говорит дружески, как равный им, и возвышается над ними, словно белый парус. Все детишки бойкие, но иные из них — не по возрасту солидны и задумчивы, держатся около учителя и молчат.

Потом дети снова несколько рассеялись, и Михайла тихо сказал мне:

— Разве они созданы только для работы и пьянства? Каждый из них — вместилище духа живого, и могли бы они ускорить рост мысли, освобождающей нас из плена недоумений наших. А войдут они в то же темное и тесное русло, в котором мутно протекают дни жизни их отцов. Прикажут им работать и запретят думать. Многие из них — а может быть, и все — подчинятся мертвой силе и послужат ей. Вот источник горя земли: нет свободы росту духа человеческого!

Он говорит, а рядом идут несколько мальчишек и слушают его; забавно это внимание! Что могут понять юные ростки жизни в его речах? Вспоминаю я своего учителя, — бил он детей линейкой по головам и часто бывал выпивши.

— Жизнь наполнена страхом, — говорит Михайла, — силы духа человеческого поедает взаимная ненависть. Безобразна жизнь! Но — дайте детям время расти свободно, не превращайте их в рабочий скот, и — свободные, бодрые — они осветят всю жизнь внутри и вне вас прекрасным огнем юной дерзости духа своего, великой красотой непрерывного деяния!

Вокруг везде — желтые головки, голубые глаза, румяные лица, как живые цветы в темной зелени хвои. Смех и звонкие голоса веселых птиц, вестников новой жизни.

И вся эта живая красота будет потоптана жадностью. Какой тут смысл? Рождается милый ребенок; радуясь, растет прекрасное дитя, и вот — пакостно ругается и горько стонет человек, бьет жену свою, гасит тоску водкой.

И, как бы отвечая думам моим, говорит Михайла:

— Разрушают народ, едино истинный храм бога живого, и сами разрушители гибнут в хаосе обломков, видят подлую работу свою и говорят: страшно! Мечутся и воют: где бог? А сами умертвили его.

Я вспоминаю речи Ионы о дроблении русского народа, и думы мои легко и славно тонут в словах Михайлы. Но не понимаю я, почему он говорит тихо, без гнева, как будто вся эта тяжкая жизнь — уже прошлое для него?

Тепло и ласково дышит земля пьяными запахами смол и цветов. Звоня, порхают птицы.

Вьются дети, победители тишины лесной, и мне все более ясно, что до этого дня не понимал я их силы, не видел красоты.

Хорош этот Михайла среди них, со спокойной улыбкой на лице!

Говорю ему, улыбаясь:

— Уйду от вас в сторонку, надо мне подумать!

Смотрит он на меня — глаза его лучатся, ресницы дрожат, и сердце мое ответно вздрагивает.

Ласку я редко видел, ценить ее умею и говорю ему:

— Хороший вы человек!

Сконфузился он, опустил глаза и этим очень смутил меня. Постояли мы друг против друга молча, разошлись. Потом он кричит мне:

— Не заходите далеко, заплутаетесь!

— Спасибо!

Свернул я в лес, выбрал место, сел. Удаляются голоса детей, тонет смех в густой зелени леса, вздыхает лес. Белки скрипят надо мной, шур поет. Хочу обнять душой все, что знаю и слышал за последние дни, а оно слилось в радугу, обнимает меня и влечет в свое тихое волнение, наполняет душу; безгранично растет она, и забыл я, потерял себя в легком облаке безгласных дум.

К ночи пришел домой и сказал Михайле, что мне надо пожить с ними до поры, пока я не узнаю их веру, и чтобы дядя Петр искал мне работы на заводе.

— Вы бы, — говорит, — не торопились; отдохните, и надо вам книги почитать!

У меня к нему доверие.

— Давайте ваши книги!

— Берите.

— Я, — мол, — светских не читывал, дайте сами, что нужно для меня, например — историю русскую?

— Человеку — все нужно знать! — говорит он и смотрит на книги так же ласково, как на детей.

И вот — углубился я в чтение; целыми днями читал. Трудно мне и досадно: книги со мной не спорят, они просто знать меня не хотят. Одна книга — замучила: говорилось в ней о развитии мира и человеческой жизни, — против библии было написано. Все очень просто, понятно и необходимо, но нет мне места в этой простоте, встает во круг меня ряд разных сил, а я среди них — как мышь в западне. Читал я ее раза два; читаю и молчу, желая сам найти в ней прореху, через которую мог бы я вылезти на свободу. Но не нахожу.

Спрашиваю учителя моего:

— Как же так? Где же — человек?

— Мне, — говорит он, — тоже кажется, что это неверно, а в чем ошибка — объяснить не могу! Однако, как догадка о плане мира, это очень красиво!

Правилось мне, когда он отвечал «не знаю», «не могу сказать», и сильно приближало это меня к нему — видна была тут его честность. Коли учитель разрешает себе сознаваться в незнании — стало быть, он знает нечто! Много он знал неизвестного мне и обо всем рассказывал удивительно просто. Говорит, бывало, о том, как создались солнце, звезды и земля — и точно сам он видел огненную работу неведомой и мудрой руки!

Бога не понимал я у него; но это меня не беспокоило: главной силой мира он называл некое вещество, а я мысленно ставил на место вещества бога — и все шло хорошо.

— Бог еще не создан! — говорил он, улыбаясь.

Вопрос о боге был постоянною причиной споров Михайлы с дядей своим. Как только Михаила скажет «бог» — дядя Петр сердится.

— Начал! Ты в это не верь, Матвей! Это он от матери заразился!

— Погоди, дядя! Бог для Матвея — коренной вопрос!

— Не ври, Мишка! Ты пошли его к чорту, Матвей! Никаких богов! Это — темный лес: религия, церковь и все подобное; темный лес, и в нем — разбойники наши! Обман!

Михайла упорно твердит:

— Бог, о котором я говорю, был, когда люди единодушно творили его из вещества своей мысли, дабы осве-

тить тьму бытия; но когда народ разбился на рабов и владык, на части и куски, когда он разорвал свою мысль и волю, — бог погиб, бог — разрушился!

— Слышишь, Матвей? — кричит дядя Петр радостно. — Вечная память!

А племянник смотрит прямо в лицо ему и, понижая голос, продолжает:

— Главное преступление владык жизни в том, что они разрушили творческую силу народа. Будет время — вся воля народа вновь сольется в одной точке; тогда в ней должна возникнуть необоримая и чудесная сила, и — воскреснет бог! Он-то и есть тот, которого вы, Матвей, ищете!

Дядя Петр махает руками, как дровосек.

— Не верь ему, Матвей, врет он!

И, обращаясь к племяннику, громит его:

— Ты, Мишка, нахватался церковных мыслей, как огурцов с чужого огорода наворовал, и смущаешь людей! Коли говоришь, что рабочий народ вызван жизнью обновлять, — обновляй, а не подбирай то, что попами до дыр заносено да и брошено!

Интересно мне слушать этих людей, и удивляют они меня равенством уважения своего друг ко другу; спорят горячо, но не обижают себя ни злобой, ни руганью. Дядя Петр, бывало, кровью весь нальется и дрожит, а Михайла понижает голос свой и точно к земле гнет большого мужика. Состязаются предо мной два человека, и оба они, отрицая бога, полны искренней веры.

«А какова моя вера?» — спрашиваю я себя — и не умею ответить.

Во время жизни с Михайлой думы мои о месте господи среди людей завяли, лишились силы, выпало из них бывшее упрямство, вытесненное множеством других дум. И на место вопроса: где бог? — встал другой: кто я и зачем? Для того, чтобы бога искать?

Понимаю, что это бессмысленно.

По вечерам к Михайле рабочие приходили, и тогда заводился интересный разговор: учитель говорил им о жизни, обнажая ее злые законы, — удивительно хорошо знал он их и показывал ясно. Рабочие — народ молодой, огнем высушенный, в кожу им копать въелась, лица у всех темные, глаза — озабоченные. Все до серьезного жадны,

слушают молча, хмуро; сначала они казались мне невеселыми и робкими, но потом увидел я, что в жизни эти люди и попеть, и поплясать, и с девицами пошутить горазды.

Разговоры Михайлы и дяди его всегда касались одних предметов: власть денег, унижение рабочих, жадность хозяев, необходимость уничтожить разделение людей на сословия. Но я не рабочий, не хозяин, денег не имею и не ищу — мне эти разговоры душу не задевали. Казалось мне, что слишком большую силу придают люди капиталам и этим унижают себя. Начал я вступать в споры с Михайлой, — доказываю, что сначала человек должен найти духовную родину, тогда он и увидит место свое на земле, тогда найдет свободу. Говорил я помногу и горячо, рабочие слушали речь мою добродушно и внимательно, как честные судьи, а которые постарше, те даже соглашались со мной.

Но кончу я, — заговорит Михайла со своей спокойной улыбкой — и сотрет мои слова.

— Прав ты, когда говоришь, что в тайнах живет человек и не знает, друг или враг ему бог, дух его, но — неправ, утверждая, что, невольники, окованные тяжкими цепями повседневного труда, можем мы освободиться из плена жадности, не разрушив вещественной тюрьмы... Прежде всего должны мы узнать силу ближайшего врага, изучить его хитрости. Для этого необходимо нам найти друг друга, открыть в каждом единое со всеми, и это единое — наша неодолимая, скажу — чудотворная сила! У рабов никогда не было бога, они обоготворяли человеческий закон, извне внушенный им, и вовеки не будет бога у рабов, ибо он возникает в пламени сладкого сознания духовного родства каждого со всеми! Не из дресвы и обломков строятся храмы, но из крепких, цельных камней. Одиночество — суть отломленность твоя от родного целого, знак бессилия духа и слепота его; в целом ты найдешь бессмертие, в одиночестве же — неизбежное рабство и тьма, безутешная тоска и смерть.

И когда он так говорит, то мне кажется, что глаза его видят вдали великий свет, вовлекает он меня в свой круг, и все забывают обо мне, а на него смотрят радостно.

На первых порах это обижало меня; думал я, что плохо принимаюг мои мысли и никто не хочет углубиться. в них так охотно, как в мысли Михайлы.

Бывало, уйду незаметно от них, сяду где-нибудь в угол и тихонько беседую с гордостью своей.

Подружился я со школьниками; по праздникам окружали они меня и дядю Петра, как воробьи снопы хлеба, он им что-нибудь мастерит, а меня дети расспрашивают о Киеве, Москве, обо всем, что видел. Но часто, бывало, вдруг кто-нибудь из них такое спросит, что я только глазами хлопаю, удивленный.

Был там Федя Сачков — тихий и серьезный ребенок. Однажды иду я с ним лесом, говорю ему о Христе, и вдруг он высказывает, солидно таково:

— Не догадался Христос на всю жизнь маленьким остаться, в моих, примерно, летах! Остался бы так да и жил, обличал бы богатых, помогал бедным — и не распяли бы его, потому — маленький! Пожалели бы! А так, как он сделал, — будто и не было его...

Лет одиннадцать Феде, личико у него было бледное и прозрачное, а глаза недоверчивые.

Другой — Марк Лобов, старшего класса ученик, худой, вихрастый и острый парнишка, был великий озорник и всеобщий гонитель: насвистывает тихонько и щиплет, колотит, толкает ребят, словно молодой подпасок овец. Как-то, вижу я, донимает он одного смирного мальчика, и уже скоро заплачет мальчик.

— Марк, — говорю я, — а если он тебе сдачи даст?

Взглянул на меня этот Марк и, усмехаясь, отвечает:

— Не даст! Он смирный, добрый он.

— Так зачем же ты его обижаешь?

— Да так, — говорит.

И, посвистев, прибавил:

— Смирный он!

— Ну, так что? — спрашиваю.

— А для чего же смирные-то живут?

Сказал он это удивительно спокойно — видимо, человек уже в двенадцать лет уверен был, что смирные люди даны для обид.

Каждый из детей по-своему мудрец, все больше они занимают меня, все чаще я думаю о их судьбе. Чем

заслужили дети тяжелую обидную жизнь, которая их ждет?

Вспоминаю Христа и сына моего, вспоминаю — и возникает в душе мысль:

«Не потому ли запрещаете вы женщине свободно родить детей, что боитесь, как бы не родился некто опасный и враждебный вам? Не потому ли насилуется вами воля женщины, что страшен вам свободный сын ее, не связанный с вами никакими узами? Воспитывая и обучая делу жизни своих детей, вы имеете время и право ослеплять их, но боитесь, что ничей ребенок, растущий в стороне от надзора вашего, — вырастет непримиримым вам врагом!»

Был на заводе и такой ничей человек — звали его Степа, — черный, как жук, рябой, без бровей, с прищуренными глазами, ловкий на все руки, веселый паренек.

Знакомство наше началось с того, что однажды в праздник подошел он ко мне и спрашивает:

— Монах! Ты, слышь, незаконный? Ну вот, и я тоже!

И пошел со мной рядом. Было ему лет пятнадцать, уже школу кончил и на заводе работал. Идет, прищурив глаза, и расспрашивает:

— Велика земля-то?

Объяснил, как умел.

— А тебе, — мол, — на что?

— Надо! Чего я на одном месте буду торчать? Не дерево. Вот как научусь слесарить — пойду в Россию, в Москву и — еще куда там? — везде пойду!

Говорит он так, как будто грозитя кому-то:

«Я — приду!»

Стал я после этой встречи наблюдать за ним; вижу — мальчишка тянет к серьезному: где Михайловы товарищи ведут свой разговор, там и он трется, слушает и шурит глаза, как бы прицеливаясь, куда себя направить.

И озорничает особенно: старается что-нибудь испортить тем людям, которые к начальству стоят ближе, — инструмент спрячет, сломает что-нибудь, песку подсыпает в станки.

Однажды, во время обеда, говорит мне:

— Скучно, монах, здесь!

— Почему?

— Не знаю. Жидковато люди живут! Работа да забота! Скорее бы научиться мне — отчалил бы я отсюда прочь!

И когда он говорил о будущем походе своем, то глаза его, открываясь, смело глядели вперед, а вид он имел завоевателя, который ни во что, кроме своей силы, не верит. Правилось мне это существо, и в речах его чувствовал я зрелость.

«Этот — не пропадет!» — думаю, бывало, поглядывая на него. И душа заносит о сынишке моем: каков он, чем будет на земле?

Стал я замечать в себе тихий трепет новых чувств, как будто от каждого человека исходит ко мне острый и тонкий луч, невидимо касается меня, неощутимо трогает сердце, и все более чутко принимаю я эти тайные лучи. Иногда соберутся у Михайлы рабочие и как бы надышат горячее облако мысли, окутает оно меня и странно приподнимет. Вдруг все начнут с полуслова понимать меня, стою в кругу людей, и они как бы тело мое, а я их душа и воля, на этот час. И речь моя — их голос. Бывало, что сам живешь как часть чьего-то тела, слышишь крик души своей из других уст, и пока слышишь его — хорошо тебе, а минет время, замолкнет он, и — снова ты один, для себя.

Вспоминаю бывшее единение с богом в молитвах моих: хорошо было, когда я исчезал из памяти своей, переставал быть! Но в слиянии с людьми не уходил я от себя, но как бы вырастал, возвышался над собою, и увеличивалась сила духа моего во много раз. И тут было самозабвение, но оно не уничтожало меня, а лишь гасило горькие мысли мои и тревогу за мое одиночество.

Догадка эта пришла ко мне бесплотной и неясной: чувствую, что растет в душе новое зерно, но понять его не могу; только замечаю, что влечет меня к людям все более настойчиво.

В те дни работал я на заводе за сорок копеек поденно, таскал на плечах и возил тачкой разные тяжести — чугун, шлак, кирпич — и ненавидел это адово место со всей его грязью, ревом, гомоном и мучительной телу жарой.

Вцепился завод в землю, придавил ее и, ненасытно алчный, сосет дни и ночи, задыхаясь от жадности, вост,

выплывая из раскаленных пастей огненную кровь земли. Остынет она, почернеет, — он снова плавит, гудит, гремит, расплющивая красное железо, брызжет искрами и, весь вздрагивая, тянет длинные живые полосы, словно жилы из тела земного.

Вижу в этой дикой работе нечто страшное, доведенное до безумия. Воющее чудовище, опустошая недра земли, копает пропасть под собой и, зная, что когда-то провалится в нее, озлобленно визжит тысячью голосов:

— Скорей, скорей, скорей!

В огне и громе, в дожде огненных искр работают почерневшие люди, — кажется, что нет им места здесь, ибо все вокруг грозит испепелить пламенной смертью, задавить тяжким железом; все оглушает и слепит, сушит кровь нестерпимая жара, а они спокойно делают свое дело, берутся хозяйски уверенно, как черти в аду, ничего не боясь, все зная.

Ворочают крепкими руками малые рычаги, и всюду — вокруг людей, над головами у них — покорно и страшно двигаются челюсти и лапы огромных машин, пережевывая железо... Трудно понять, чей ум, чья воля главенствуют здесь! Иной раз кажется, что человек взнуздывает завод и правит им, как желает, а иногда видишь, что и люди и весь завод повинуются дьяволу, а он — торжественно и пакостно хохочет, видя бессмыслицу тяжелой возни, руководимой жадностью.

Говорят рабочие друг другу:

— Пора на работу вставать, эй!

Но люди на ней стоят или она их гнетет и давит — не понимаю! Тяжела работа и властна, но остер и ловок человеческий разум!

Порою в этом адском шуме и возне машин вдруг победительно и беззаботно вспыхнет веселая песня, — улыбаюсь я в душе, вспоминая Иванушку-дурачка на ките по дороге в небеса за чудесной жар-птицей.

Народ на заводе — по недугу мне: всё этикие резкие люди, смелые, и хотя матерщинники, похабники и часто пьяницы, но свободный, бесстрашный народ. Не похож он на странников и холопов земли, которые обижали меня своей робостью, растерянной душой, безнадежной пе-

чалью, мелкой жуликоватостью в делах с богом и промеж себя.

Эти люди в мыслях дерзкие, и хотя озлоблены каторжным трудом — ссорятся, даже дерутся друг с другом, — но ежели начальство нарушает справедливость, все они встают против его, почти как один.

А те парни, которые к Михайле ходят, всегда впереди, говорят громче всех и совершенно ничего не боятся. Раньше, когда я о народе не думал, то и людей не замечал, а теперь смотрю на них и все хочу разнообразие открыть, чтобы каждый предо мной отдельно стоял. И добиваюсь этого и — нет: речи разные, и у каждого свое лицо, но вера у всех одна и намерение едино, — не торопясь, но дружно и усердно строят они нечто.

Каждый из них среди людей — светел и приятен, как поляна в густом лесу для заплутавшегося; каждый тянет к себе рабочих, которые посмышленнее, и все Михайловы ребята в одном плане держатся, образуя на заводе некий духовный круг и костер светло горящих мыслей.

Сначала — неласково приняли меня, покрикивают, посмеиваются:

— Эй ты, рыжая муха! Священный клоп! Дармояд! Захребетник!

Иной раз и толкнет кто-нибудь, но этого я терпеть не мог и в таких случаях кулака не жалел. Но хотя людям сила и нравится, а кулаком ни уважения, ни внимания к себе не выколотишь, и быть бы мне сильно бигому, если б в одну из моих ссор не вмешался Михайлов дружок Гаврила Костин, молодой литейщик, весьма красивый парень и очень заметный на заводе.

Лезло на меня человек шесть и не добром они грозили бокам моим, но он встал рядом со мной и говорит:

— Зачем же, товарищи, дразнить человека? Разве он не такой же рабочий, как и все мы? Несправедливо действуете, товарищи, и против себя! Наша сила — в тесной дружбе...

Сказал он немного, но как-то особенно хорошо и просто, точно детям говорил: все дружки Михайлы каждым случаем пользовались, чтобы посеять его мысли. Смутил Костин противников моих, да и меня за сердце задел, — начал я тоже речь говорить:

— Я, — мол, — не потому в монахи пошел, что сытно есть хотел, а потому, что душа голодна! Жил и вижу: везде работа вечная и голод ежедневный, жульничество и разбой, горе и слезы, зверство и всякая тьма души. Кем же все это установлено, где наш справедливый и мудрый бог, видит ли он изначальную, бесконечную муку людей своих?

Собралось довольно много народа, слушают серьезно; кончил я — молчат. Потом старый модельщик Крюков говорит Костину:

— Монах-то, пожалуй, глубже видит, чем ты с товарищами! Он — с корня берет; видал?

Мне приятно слышать такие слова, а Крюков хлопнул меня по плечу и сказал:

— Ты, брат, говори, — это хорошо! А волосищи-то все-таки срежь хоть на аршин: грязно с этакой копной, да и людям смешно.

Кто-то, веселый, кричит:

— И в драке неловко, гляди!

Шутят — значит, злоба погасла. Где смех, там человек; скотина не смеется.

Костин в сторону отвел меня.

— Ты, — говорит, — Матвей, с такими словами острожно, за них в острог сажают, случается!

Удивился я.

— Чего?

— В острог... Знаешь? — Смеется.

— За что?

— Да вот — за осуждение!

— Шутить?

— Спроси, — говорит, — Михайлу, а мне надо на работу вставать.

Ушел. Остался я очень удивлен его словами, не верится мне, но вечером Михайла все подтвердил. Целый вечер рассказывал он мне о жестоких гонениях людей; оказалось, что за такие речи, как я говорил, и смертью казнили, и тысячи народа костями легли в Сибири, в ка-торге, но Иродово избиение не прекращается, и верующие тайно растут.

Тогда в душе моей все возвысилось и осветилось иначе, все речи Михайловы и товарищей его приняли иной

смысл. Прежде всего — если человек за веру свою готов потерять свободу и жизнь, значит — он верует искренно и подобен первомученикам за Христов закон.

Все слова Михайловы соприкоснулись друг другу, расцвели и приобщились душе моей в тот час.

Не хочу сказать, что сразу принял я их и тогда же понял до глубины, но впервые тем вечером почувствовал я их родственную близость моей душе, и показалась мне тогда вся земля Вифлеемом, детской кровью насыщенной. Понятно стало горячее желание богородицы, коя, видя ад, просила Михаила архангела:

— Архангеле! Допусти меня помучиться в огне! Пусть и я разделю великие муки эти!

Только здесь не грешных, а праведников видел я: желают они разрушить ад на земле, чего ради и готовы спокойно принять все муки.

— Может быть, — говорю я Михайле, — потому и нет теперь святых отшельников, что не от мира, а в мир пошел человек?

— Истинная вера, — отвечает он, — необходимо является источником деяния!

— Приобщите, — прошу, — и меня к этому делу! Горит во мне все.

— Нет, — отвечает. — Подождите и подумайте, рано вам! Если вы, с вашим характером, попадете теперь же в петлю врага, то надолго и бесполезно затянете ее. Напротив — после этой вашей речи надо вам уйти отсюда. Есть у вас много нерешенного, и для нашей работы — не свободны вы! Охватила, увлекает вас красота и величие ее, но — перед вами развернулась она во всей силе — вы теперь как бы на площади стоите, и виден вам посреди ее весь создаваемый храм во всей необъятности и красоте, но он строится тихой и тайной будничной работой, и если вы теперь же, плохо зная общий план, возьметесь за нее — исчезнут для вас очертания храма, рассеется видение, не укрепленное в душе, и труд покажется вам ниже ваших сил.

— Зачем, — с тоской спрашиваю его, — вы меня гасите? Я себе место нашел, я — рад видеть себя силой нужной...

А он спокойно и печально говорит:

— Не считаю вас способным жить по плану, не ясному вам; вижу, что еще не возникло в духе вашем сознание связи его с духом рабочего народа. Вы для меня уже и теперь отточенная трением жизни, выдвинутая вперед мысль народа, но сами вы не так смотрите на себя; вам еще кажется, что вы — герой, готовый милостиво подать, от избытка сил, помощь бессильному. Вы нечто особенное, для самого себя существующее; вы для себя — начало и конец, а не продолжение прекрасного и великого бесконечного!

Начинаю я понимать, зачем он пригибает меня к земле, чувственную неясную мне правду в словах его.

— Вам снова, — говорит, — надо тронуться в путь, чтобы новыми глазами видеть жизнь народа. Книгу вы не принимаете, чтение мало вам дает, вы все еще не верите, что в книгах не человеческий разум заключен, а бесконечно разнообразно выражается единое стремление духа народного к свободе; книга не ищет власти над вами, но дает вам оружие к самоосвобождению, а вы — еще не умеете взять в руки это оружие!

Верно он говорит: чужда мне была книга в то время. Привыкший к церковному писанию, светскую мысль понимал я с великим трудом, — живое слово давало мне больше, чем печатное. Те же мысли, которые я понимал из книг, — ложились поверх души и быстро исчезали, таяли в огне ее. Не отвечали они на главный мой вопрос: каким законам подчиняется бог, чего ради, создав по образу и подобию своему, унижает меня вопреки воле моей, коя есть его же воля?

И рядом с этим — не борясь — другой вопрос живет: с неба ли на землю нисшел господь или с земли на небеса вознесен силою людей? И тут же горит мысль о богостроительстве, как вечном деле всего народа.

Разрывается душа моя надвое: хочу оставаться с этими людьми, тянет меня идти проверять новые мысли мои, искать неизвестного, который похитил свободу мою и смутил дух мой.

Дядя Петр тоже уговаривает:

— Надо тебе, Матвей, уйти на время, а то о речах твоих пошел опасный разговор...

И скоро все решилось как бы помимо моей воли: откуда-то с другого завода прискакал ночью верховой и объявил, что у них на заводе жандармы обыски делают и что намерены они сюда явиться.

— Эх, рано! — говорит Михайла, огорченный.

Началась некоторая суматоха, а дядя Петр кричит мне:

— Айда, Матвей, айда! Нечего тебе делать здесь, не ты кашу заварил, не присаживайся!

И Михайла настойчиво советует, глядя прямо в лицо мне:

— Лучше вам уйти. Пользы от вашего присутствия мало, а вред может быть!

Понимаю я, что хочется им спровадить меня, и это — обидно. Но в то же время чувствую я, что боюсь жандармов, еще не вижу, а уже боюсь! Знаю, что нехорошо уходить от людей в час беды, и подчиняюсь их воле.

Вытурили меня. Иду в гору к лесу по зарослям между пней, спотыкаюсь, словно меня за пятки хватают, а сзади молчаливый паренек Иван Быков спешит, с большой поноской на спине — послан прятать в лесу книги.

Добежали мы с ним до опушки, нашел он свой тайник, укладывает в него ношу свою. Спокоен. А мне жутко. Спрашиваю его:

— А они сюда не придут?

— Кто их знает! — говорит. — Может, и сюда придут. Надо — скорее!

Парень он неуклюжий, как из дубовой колоды топором вырублен, голова — большая, одно плечо выше другого, руки непомерно длинные, и голос угрюм.

— Ты — боишься? — говорю.

— Чего?

— А что придут и заберут?

— Лишь бы спрятанного не нашли, а то — пускай!

Аккуратно уложил все в яму, зарыл, заровнял ее, набросал сверху хвороста, сел на землю и говорит, видя, что я собираюсь идти:

— Сейчас тебе записку принесут, погоди.

— Какую?

— Не знаю я.

Поглядываю я из-за деревьев в лощину — хрипит завод, словно сильного человека душит кто-то. Кажется, что по улицам поселка во тьме люди друг за другом гонятся, борются, храпят со зла, один другому кости ломают. А Иван, не торопясь, спускается вниз.

— Ты куда?

— Домой!

— А схватят?

— Я недавно в деле, меня, наверно, не знают, а и схватят — не беда. Из тюрьмы люди умнее выходят.

Вдруг кто-то громко и ясно спросил меня:

— Как же это ты, Матвей, бога не боишься, а жандармов боишься?

Гляжу я на Ивана — стоит он и задумчиво смотрит вниз.

— Ты, — мол, — что сказал?

— В тюрьме — много читают книг...

— Больше ничего?

— А разве этого мало?

Тлеет внутри меня некая ложь, и колючими искрами вспыхивают стыдные вопросы. Ночь прохладная, а мне жарко.

— Я тоже с тобой пойду!

— Не велено тебе! — строго говорит Иван. — Тебя же обязательно заберут, — ведь из-за твоих речей суматоха-то начата!

— Как?

— Поп донес в Верхотурье.

Сел я на землю, а сам говорю:

— Тогда — надо мне идти!

Но страх мой держит меня.

— Бежит кто-то сюда! — тихо шепчет Иван.

Смотрю под гору — вверх по ней тени густо ползут, небо облачно, месяц на ущербе то появится, то исчезнет в облаках, вся земля вокруг движется, и от этого бесшумного движения еще более тошно и боязно мне. Слежу, как льются по земле потоки теней, покрывая заросли и душу мою черными покровами. Мелькает в кустах чья-то голова, прыгая между ветвей, как мяч.

Иван тихонько посвистывает и говорит:

— Это — Костя!

Знаю Костю, — мальчик лет пятнадцати, голубоглазый и беловолосый, слабосильный. Два года тому назад кончил в школе учиться. Михайла готовит его в помощники себе, тоже в учителя.

И понимаю, что нарочно думаю об этом: хочу посторонними мыслями свой стыд и страх заглушить.

Выскочил Костя, запыхался, голос рвется.

— Приехали! Тебя спрашивают, монах! На... Дядя Петр велел мне проводить тебя в Лобановский скит, идем!

Встал я, говорю Ивану:

— Прощай, брат, кланяйся всем; скажи, чтобы простили меня!

А Костя толкает и строго командует:

— Ты — иди! Кому кланяться? Всех, наверно, забегрут, как курят на базар!

Пошли. Костя впереди идет, тихонько рассказывая, что он видел там, внизу; я шагаю за ним, и со всех сторон меня дергает за полы, за рукава, словно спрашивает кто-то:

«Куда? Запутал людей, а сам уходишь?»

Рассуждаю вслух, как бы сам с собой:

— Значит — это за меня люди попали...

Мальчик отвечает:

— Не за тебя, а за правду! Ты разве правда? Ишь, какой хват!

Забавны его слова, и сам он мал, но чем-то задевает меня. Хочется мне оправдать себя пред ним, и начал было я выкладывать мысли мои, как нищий кусочки из сумы.

— Да, — мол, — видно, что великая неправда живет во мне...

А он ворчит, возражая на каждое слово мое, как совесть:

— Ну уж и великая! Все бы тебе больше других!

«Это — чужие слова», — думаю я.

— Недаром, — говорит, — Костин тебя колокольной назвал; не такой, которая в свое время к обедне зовет, а которая звонит сама себе, оттого, что криво строена и колокола на ней плохо привязаны...

Помолчал и вдруг объявляет:

— Не люблю я тебя, монах!

— За что?

— Не знаю... Не русский, что ли, ты? Нехороший...

В другое время я рассердился бы на него, а тут — молчу. И как-то обессилел вдруг, устал до смерти.

Ночь вокруг и лес. Между деревьев густо налилась сырая тьма и застыла, и не видно, что — дерево, что — ночь. Блеснет сверху лунный луч, переломится во плоти тьмы — и исчезнет. Тихо. Только под ногами ветки хрустят и поскрипывают сухая хвоя.

Не боится мальчик правду сказать. Все люди этой линии, начиная с Ионы, не носят страха в себе. У одних много гнева, другие — всегда веселы; больше всего среди них скромно-спокойных людей, которые как бы стыдятся показать доброе свое.

А Костя шагает по тропе, тихо светит мне его белая голова. Вспоминаю житие отрока Варфоломея, Алексея божия человека и других. Не то... Думы мои, словно кулики по болоту, с кочки на кочку прыгают.

Спрашиваю мальчика:

— Ты читал жития святых?

— Маленький был — читал. Мать заставляла. А что?

— Нравятся тебе божии угодники?

— Не знаю... Пантелеймон — нравится, Егорий тоже. Со змием дрался. Не знаю я — какая людям радость, коли десятеро из них святые стали?

Растет Костя на моих глазах.

— Ежели, — говорит, — царская или богатого дочь во Христа поверит, да замучают ее — ведь ни царь, ни богач добрее к людям от этого не бывали. В житиях не сказано, что исправлялись цари-то, мучители!

Потом, помолчав, говорит:

— Не знаю тоже, на что Христу муки нужны были. Пришел он горе победить, а вышло...

Подумал и добавил:

— Ничего и не вышло!

Обнять захотелось мне его: жалко Костю, и Христа жалко, и тех людей, что остались в поселке, — весь человеческий мир. И себя. Где мое место? Куда иду?

Редает тьма короткой летней ночи, сквозь ветви сосен ручьями льется сверху тихий свет.

— Ты не устал, Костя?

— Я? — говорит мальчик бодро. — Нет. Я люблю ночью ходить, будто сквозь ее проходишь, как особенную страну.

На рассвете мы с ним легли спать. Костя в сон, как в речку, нырнул, а я в мыслях моих хожу, как нищий татарин вокруг церкви зимой. На улице — व्यожно и холодно, а во храм войти — Магомет не велит.

К утру что-то надумал и, когда мальчик проснулся, говорю ему:

— Ты прости, что зря шагал со мной, — не пойду я в скит, не хочу прятаться!

Он же серьезно взглянул и замечает:

— Да ты уж спрятался!

И, помахивая веткой, не смотрит на меня.

— Ну, прощай, голубь!

Кивнул головой:

— Прощай!

Пошел я прочь. Оглянулся — стоит он меж деревьев, провожает меня.

— Эй! — кричит. — Прощай!

И мне стало приятно, что повторил он слово это ласковее.

Много дней шел я, как больной, полон скуки тяжелой. В душе моей — тихий поземок-пожар, выгорает душа, как лесная поляна, и думы вместе с тенью моей то впереди меня ползут, то сзади тащатся едким дымом. стыдно ли было мне или что другое — не помню и не могу сказать. Родилась одна черная мысль и где-то, снаружи, вьется вокруг меня, как летучая мышь:

«Безбожники, а не богостроители...»

Но тяжелее и шире всех дум была во мне, помню, некая глухая тишина, ленивый и глубокий, как мутный омут, покой, и в нем, в густой его глубине, тяжело и трудно плавают немые мысли, подобные боязливым рыбам, извиваются и не могут вынырнуть из душевной глубины к свету, наверх.

Извне мало доходило до меня; как сквозь сон, помню встречи с людьми.

Где-то около Омска на сельскую ярмарку попал и там проснулся...

Сидит у дороги в пыли слепой и тянет песню, а поводырь, стоя на коленях около него, на гармонии подыгрывает. Старик смотрит в небо пустыми глазами и ржавым голосом выводит певучие слова, воскрешая старину:

— При царе ли Иване Васильеве...

А гармония глуховато подтягивает:

— У-у-у...

Опустился я на землю рядом со слепым, протянул он мне руку, подержал, опустил и, не переставая, поет:

— А и жил-был Ермак, Тимофеев сын...

— А-а-а... — вторит гармония, и вокруг песни потихоньку собирается задумчивый народ и серьезно слушает старину, наклоняя головы к земле.

Веет на меня сухим теплом, вижу лучи любопытных глаз, и кто-то спрашивает:

— А этот не поет?

— Он после, погоди!

Разбойные песни я часто слышал, но не знал, из чьих слов они сложены, чья душа светит в них, а на сей раз понял это: говорит мне песня тысячами уст древнего народа:

— Я тебе, человек, и за малую твою услугу велик грех против меня прощу!

Народ все любопытнее глядит на меня, поджигая мне душу.

Кончил старик песню, встал я и говорю:

— Православные! Вот, жил разбойник, обижал народ, грабил его... Смутился совестью, пошел душу спасать, — захотел послужить народу буйной силою своей и — послужил! И ныне вы среди разбойников живете, грабят они вас усердно, а чем служат вашей нужде? Какое добро от них видите?

Сгустились люди вокруг меня, точно обняли, растит их внимание силу слова моего, дает ему звук и красоту, тону я в своей речи и — все забыл; чувствую только, что укрепляюсь на земле и в людях, — поднимают они меня над собой, молча внушая:

«Говори! Говори всю правду, как видишь!»

Конечно, явился полицейский, кричит: «разойдись!», спрашивает, о чем крик, требует паспорт. Народ тихонько тает, как облако на солнце; полицейский интересуется, что я говорил. Иные отвечают:

- Про бога...
- Так себе, разное...
- Про бога больше...

А какой-то чернорабочий человек стоит в стороне у телеги, пристально смотрит на меня и ласково улыбается. Полицейский однако за шиворот меня схватил; хочется мне стряхнуть его, но, вижу, люди смотрят на меня искоса, впологлаза, словно спрашивают:

«А теперь что ты скажешь?»

И от их недоверия беднею я.

Однако во-время справился, отвел руку начальства, говорю ему:

— Хочешь знать, что я сказал?

И снова начал рассказывать о несправедливой жизни, — снова сгрудился базарный народ большой толпой, полицейский теряется в ней, затирают его. Вспоминаю Костю и заводских ребят, чувствую гордость в себе и великую радость — снова я силен и как во сне... Свистит полицейский, мелькают разные лица, горит множество глаз, качаются люди жаркой волной, подталкивают меня, и легко я среди них. Кто-то за плечо схватил, шепчет мне в ухо:

— Иди, иди!

И толкают, толкают меня... Вот счутился я уже на каком-то дворе, чернобородый мужчина со мной рядом и один молодец без шапки на голове. Черный говорит:

— Лезь через плетень!

Лезу, потом — через другой; забавно и приятно мне.

«Ага! — думаю, — вот вы как?»

А чернобородый торопит:

— Живо, товарищ, живо!

На ходу спрашиваю его:

— Вы — из каких?

— Из этаких! — говорит.

Парень без шапки следом идет и молчит. Прошли огороды, опустились в овраг, — по дну его ручей бежит, в кустах тропы вьется. Взял меня черный за руку, смотрит в глаза и, смеясь, говорит:

— Ну, благополучного пути! Вот Федюк тебя проводит до хорошей дороги, иди!

Парень говорит ему:

— А ты сам скорей уходи — хватятся!

Черный согнулся и полез в гору, а я и Федюк пошли вдоль ручья.

— Что это за человек? — спрашиваю.

— Ссылный, кузнец. Тоже за политику.

— Этаких, — мол, — я знаю!

Весело мне. А он — молчит.

Взглянул я на парня: лицо круглое, курносое, точно из камня высечено, а серые глаза далеко вперед ушли. Говорит — глухо, идет без шума и вытянулся весь, словно прислушивается или большая сила кверху тянет его. Руки за спиной держит, как, бывало, мой тесть.

— Ты сам — здешний?

— Попов батрак.

— А где у тебя шапка-то?

Пощупал голову, поглядел на меня и спрашивает:

— Тебе она на что?

— Так. Вечер, холодно будет...

Помолчал он, потом неохотно ворчит:

— Пес с ней, с шапкой, — была бы голова!

Овраг все глубже, ручей звенит слышнее, вечер встает из кустов.

В душе у меня неясно, а приятно, и хочется мне говорить с человеком.

— Один, — спрашиваю, — ссыльный-то у вас?

Тут парень, точно шубу распахнул, весь открылся и медленно, глухо забубнил:

— Четверо. Барин из Москвы, трое рабочих с Дона. Двое — смирные, даже водку пьют, а барин и этот, Ратьков, они — говорят! Тайно. Кое с кем. А при всем народе — не решались покамест. Их тут много. Они — кругом. Сам я — бирский, Митьков Федор. Пятый год здесь. За это время их тут было одиннадцать. В Олехином — восемь, в Шишковой — трое...

Считал он долго — десятков до шести дошел; кончив — подумал и снова говорит, шевеля пальцами:

— Даже некоторые мужики между ними. Все говорят одно: не годится такая жизнь! Стесняет. Покуда я этого не слышал — жил спокойно. А теперь — вижу, ростом я не высок, а приходится голову нагибать, значит, верно, стесняет!

Беседует парень трудно, выдергивает каждое слово точно из-под ног. Идет впереди, на меня не оглядывается, широкий, крепкий. Спрашиваю:

— Грамотен?

— Знал, да позабыл. Теперь сначала обучаюсь. Ничего, могу. Надо, ну и можешь. А — надо... Ежели бы только господа говорили о стеснении жизни, так и пес с ними, у них всегда другая вера была! Но если свой брат, бедный рабочий человек, начал, то уж, значит, верно! И потом — стало так, что иной человек из простых уже дальше барина прозревает. Значит, это общее, человечье началось. Они так и говорят: общее, человечье. А я — человек. Стало быть, и мне дорога с ними. Вот я и думаю...

Слушаю я его и говорю сам себе:

«Учись, Матвей»...

А потом говорю ему:

— Что же, — мол, — думать? Это дело — божье!

Он встал — колом воткнулся в землю, так что я его в спину толкнул, — повернул ко мне лицо и строго спрашивает:

— То-то, божье ли? Вот я и думаю. Потому что указано — чтить отца! И власти — они тоже, сказано, от бога. Это подтверждено знамениями. Значит, ежели старый закон изменяется, — тоже должны быть даны знамения! А где они? В сторону новых законов — нет чудес! Никаких. Все по-старому. Вон в Нижнем мощи открыли — и даны чудеса; говорят: не те мощи, борода, дескать, у Серафима седая была, а показывают — рыжую. Да дело-то не в бороде, а в чуде. Были чудеса? Были! Они этого не признают. Считают обманом все признаки. Или говорят — это вера творит чудеса. И бывает так, что хочется мне перебить их, чтобы не смущали.

Снова стоит он, и вокруг его — ночь поднимается с земли. Круче падает тропинка, торопливее бежит ручей, и, тихо качаясь, шелестят кусты.

Я тихонько говорю человеку:

— Иди, брат!

Пошел он. И во тьме не спотыкался, а я то и дело тыкаюсь в спину ему.

Катится он вниз, подобно камню, и в тишине гудят жуткие слова:

— Ведь ежели я поверю — тогда шабаш! Я — немилостив, нет! У меня брат в солдатах был — удавился; сестра у кумысников под Бирском в прислугах жила — ребенок у нее от них кривоногий: четыре года, а не ходит. Значит — пропала девка из-за баловства. Куда ее теперь? Отец — пьяница, а старшой брат всю землю захватил. Весь я тут...

Вертимся мы с ним среди кустов в сырой тьме; ручей то уходит от нас в глубину, то снова под ноги подкатится. Над головами — бесшумно пролетают ночные птицы, выше их — звезды. Хочется мне скорее идти, а человек впереди меня не спешит и непрерывно бормочет, как бы считая мысли свои, взвешивая их тяжесть.

— Этот, черный, Ратьков, хороший человек! Живет уже по новому закону. За обиженного — вступается. Меня урядник палкой бил — сейчас он урядника об землю. Посадили его на пятнадцать дён. Первое наше знакомство. Вышел он, я его спрашиваю: «Ты как это можешь выступать против начальства?» Он мне сейчас рассказал свой закон. Я к попу. А поп говорит: «Ага! ты вот какие мысли крутишь!» Ратькова в город отвезли в тюрьму, три месяца сидел, а я — девятнадцать дён. Спрашивают там меня: «Он что говорил?» — «Ничего». — «Чему учил?» — «Ничему не учил». Я, тоже, не дурак! Воротился Ратьков. Я говорю: «Прости меня, дурак я был». Он — только смеется. «Ерунда», — говорит.

Помолчал мой путеводитель и тише, новым голосом, продолжает:

— У него — все ерунда! Кровью харкает — ерунда! Есть нечего — ерунда!

Вдруг выругался по-матерному, обернулся грудью ко мне и сквозь зубы свистит:

— Я все могу понять. Брат пропал — это бывает в солдатах. И сестрино дело — не редкое. А зачем этого человека до крови замучили, этого не могу понять. Я за ним, как собака, побегу, куда велит. Он меня зовет «земля»... «Земля», — говорит, — и смеется. И что его всегда мучают, это мне — нож!

И снова похабно выругался, точно пьяный монах.

Раскрылся овраг, развернул свои стены по полю и, наклонив их, слил с темнотой.

— Ну, — говорит мне провожатый, — прощай теперь! Рассказал дорогу, повернул назад и скрылся во тьме. Без шапки.

Как погасли в тишине его тяжелые шаги, сел я, не хочу дальше идти!

Плотно легла на землю ночь и спит, свежая, густая, как масло. В небе ни звезд, ни луны, и ни одного огня вокруг, но тепло и светло мне. Гудят в моей памяти тяжелые слова провожатого, и похож он на колокол, который долго в земле лежал, весь покрыт сию, изъеден ржавчиной, и хотя глухо звонит, а по-новому.

Стоит предо мною сельский народ, серьезно и чутко слушая мою речь, мелькают озабоченные лица, оттирая меня в сторону от начальства.

«Вот как?» — удивленно думаю я, и трудно поверить, что это было.

И снова думаю:

«Парень этот ищет знамений, — он сам чудо, коли мог сохранить, в ужасах жизни, любовь к человеку! И толпа, которая слушала меня, — чудо, ибо вот — не оглохла она и не ослепла, хотя долго и усердно оглушали, ослепляли ее. И еще большее чудо — Михайла с товарищами!»

Спокойно и плавно текут мои мысли, необычно это для меня и неожиданно. Осторожно разглядываю себя, тихонько обыскиваю сердце — хочу найти в нем тревоги и спорные недоумения. Улыбаюсь в безгласной темноте и боюсь пошевелиться, чтобы не расплескать незнакомую радость, коей сердце по края полно. Верю и не верю этой удивительной полноте души, неожиданной находке для меня.

Словно некая белая птица, давно уже рожденная, дремала в сумраке души моей, а я этого не знал и не чувствовал. Но вот нечаянно коснулся ее, пробудилась она и тихо поет на утре — трепещут в сердце легкие крылья, и от горячей песни тает лед моего неверия, превращаясь в благодарные слезы. Хочется мне говорить какие-то слова, встать, идти и петь песню да человека встретить бы и жадно обнять его!

Вижу пред собой лучистое лицо Ионы, милые глаза Михайлы, строгую усмешку Кости: все знакомые, милые и новые люди ожили, сошлись в моей груди и расширяют ее — до боли хорошо!

Так я, бывало, в заутреню на пасху бога, себя и людей любил. Сижу и, вздрагивая, думаю:

«Господи, не ты ли это? Не ты ли это, красота красот, радость моя и счастье?»

Кругом — тьма, и в ней светлые лица верующих, тихо кругом, только мое сердце немолчно поет.

И глажу я землю руками, глупо похлопываю ладонями по ней, точно она конь мой и чувствует ласку.

Не могу сидеть, встал и пошел, сквозь ночь, вспоминая Костины слова, видя пред собою детскую строгость его глаз, — пошел и, опьяненный радостью, до поздней осени ходил по миру, собирая душой щедрые и новые даяния его.

В Омске на вокзале переселенцев видел, хохлов; много земли покрыли они телом своим — великая дружина трудовой силы! Ходил между ними, слушая их мягкую речь, спрашивал:

— Не боитесь так далеко забросить себя?

Один из них, седой и согнутый работой, ответил:

— Лишь бы была под ногами земля, а на ней — все недалеко! Тесно на земле, человек, тому, кто своим трудом должен жить; тесно, эх!

Раньше слова горя и печали пеплом ложились на сердце мне, а теперь, как острая искра, зажигают его, ибо всякое горе ныне — мое горе и недостаток свободы народу утесняет меня.

Нет людям места и времени духовно расти — и это горько, это опасно опередившему их, ибо остается он один впереди, не видят люди его, не могут подкрепить силою своей, и, одинокий, бесполезно истлевают он в огне желаний своих.

Говорю я хохлам, зная их ласковый язык:

— Века ходит народ по земле туда и сюда, ищет места, где бы мог свободно приложить силу свою для строения справедливой жизни; века ходите по земле вы, законные хозяева ее, — отчего? Кто не дает места народу, царю земли, на троне его, кто развенчал народ, согнал его с престола и гонит из края в край, творца всех трудов, прекрасного садовника, возрастившего все красоты земли?

Разгораются очи людей, светит из них пробудившаяся человеческая душа, и мое зрение тоже становится широко

и чутко: видишь на лице человека вопрос и тотчас отвечаешь на него; видишь недоверие — борешься с ним. Черпаешь силу из открытых перед тобою сердец и этой же силою объединяешь их в одно сердце.

Если, говоря людям, заденешь словом своим общее всем, тайно и глубоко погруженное в душе каждого истинно человеческое, то из глаз людей истекает лучистая сила, насыщает тебя и возносит выше их. Но не думай, что это твоя воля подняла тебя: окрылен ты скрещением в душе твоей всех сил, извне обнявших тебя, крепок силою, кою люди воплотили в тебе на сей час; разойдутся они, разрушится их дух, и снова ты — равен каждому.

Так начал я скромный свой благовест, призывая людей к новой службе, во имя новой жизни, но еще не зная бога нового моего.

В Златоусте, в день какого-то праздника, на площади говорил, и опять полиция вмешалась, ловили меня, а народ — снова скрыл.

Познакомился я там с великолепными людьми; один из них, Яша Владыкин, студент из духовного звания, и теперь мой крепкий друг и на всю жизнь таким будет! В бога не веруя, церковную музыку любит он до слез: играет на фисгармонии псалмы и плачет, милейший чудак.

Я его спрашиваю, смеясь:

— Отчего же ты ревешь, еретик, афеист?

Кричит мне, потрясая руками:

— От радости, от предчувствия великих красот, кои будут сотворены! Ибо — если даже в такой суетной и грязной жизни ничтожными силами единиц уже создана столь велия красота, — что же будет содеяно на земле, когда весь духовно освобожденный мир начнет выражать горение своей великой души в псалмах и в музыке?

Начнет он говорить о будущем, ослепительно ясном для него, и сам удивляется видениям своим! Многим я обязан этому другу своему, равно как и Михайле.

Десятки видел я удивительных людей — один до другого посылали они меня из города в город, — иду я, как по огненным вехам, — и все они зажжены пламенем одной веры. Невозможно исчислить разнообразие людей и выразить радость при виде духовного единства всех их.

Велик народ русский, и неописуемо прекрасна жизнь!

В Казанской губернии пережил я последний удар в сердце, тот удар, который завершает строение храма.

Было это в Седьмиозерной пустыни, за крестным ходом с чудотворной иконой божией матери: в тот день ждали возвращения иконы в обитель из города, — день торжественный.

Стоял я на пригорке над озером и смотрел: все вокруг залито народом, и течет темными волнами тело народное к воротам обители, бьется, плещется о стены ее. Нисходит солнце, и ярко красны его осенние лучи. Колокола трепещут, как птицы, готовые лететь вслед за песнью своей, и везде — обнаженные головы людей краснеют в лучах солнца, подобно махровым макам.

У ворот обители — чуда ждут: в небольшой тележке молодая девица лежит неподвижно; лицо ее застыло, как белый воск, серые глаза полуоткрыты, и вся жизнь ее — в тихом трепете длинных ресниц.

Рядом с нею отец, высокий мужчина, лысый и седобородый, с большим носом, и мать — полная, круглолицая; подняла она брови, открыла широко глаза, смотрит вперед, шевеля пальцами, и кажется, что сейчас закричит пронзительно и страстно.

Подходят люди, смотрят больной в лицо, а отец мерным голосом говорит, тряся бородой:

— Пожалейте, православные, помолитесь за несчастную, без рук, без ног лежит четвертый год; попросите богородицу о помощи, возместится вам господом за святые молитвы ваши, помогите отцу-матери горе избыть!

Видимо, давно возит он дочь свою по монастырям и уже потерял надежду на излечение; выпевает неустанно одни и те же слова, а звучат они в его устах мертво. Люди слушают прошение его, вздыхая, крестятся, а ресницы девушки все дрожат, окрыляя тоскливые глаза.

Может быть, двадцать расслабленных девиц видел я, десятки кликуш и других немощных, и всегда мне было совестно, обидно за них, — жалко бедные, лишенные силы тела, жалко их бесплодного ожидания чуда. Но никогда еще не чувствовал я жалость с такой силой, как в этот раз.

Великая немая жалоба застыла на белом, полумертвом лице дочери, и безгласная тоска туго охватила мать. Тяжело стало мне, отошел я, а забыть не могу.

Тысячи глаз смотрят вдаль, и вокруг меня плывет, точно облако, теплый и густой шопот:

— Несут, несут!

Тяжело и медленно поднимается в гору народ, словно темный вал морской, красной пеной горит над ним золото хоругвей, брызгая снопами ярких искр, и плавно качается, реет, подобно огненной птице, осиянная лучами солнца икона богоматери.

Из тела народа поднимается его могучий вздох — тысячеголосое пение:

— Заступница усердная, мати господа вышнего!

Рубят пение глухие крики:

— Шагу! Прибавь шагу! Шагу!

В раме синего леса светло улыбается озеро, тает красное солнце, утопая в лесу, весел медный гул колоколов. А вокруг — скорбные лица, тихий и печальный шопот молитвы, отуманенные слезами глаза, и мелькают руки, творя крестное знамение.

Одиноко мне. Все это для меня — заблуждение безрадостное, полное бессильного отчаяния, усталого ожидания милости.

Подходят снизу люди; лица их покрыты пылью, ручьи пота текут по щекам; дышат тяжело, смотрят странно, как бы не видя ничего, и толкаются, пошатываясь на ногах. Жалко их, жалко силу веры, распыленную в воздухе.

Нет конца течению народа!

Возбужденно, но мрачно и как бы укоряя, несется по воздуху мощный крик:

— Радуйся, всеблагая, радуйся!

И снова:

— Шагу! Шагу!

В целом облаке пыли сотни черных лиц, тысячи глаз, точно звезды Млечного пути. Вижу я: все эти очи — как огненные искры одной души, жадно ожидающей неведомой радости.

Идут люди, как одно тело, плотно прижались друг к другу, взялись за руки и идут так быстро, как будто страшно далек их путь, но готовы они сейчас же неустанно идти до конца его.

Душа моя дрожит великой дрожью непонятной тревоги: как молния, вспыхнуло в памяти великое слово Ионино:

«Богостроитель народ?!»

Рванулся я, опрокинулся встречу народу, бросился в него с горы и пошел с ним, и запел во всю грудь:

— Радуйся, благодатная сила всех сил!

Схватили меня, обняли — и поплыл человек, тая во множестве горячих дыханий. Не было земли под ногами моими, и не было меня, и времени не было тогда, но только — радость, необъятная, как небеса. Был я раскаленным углем пламенной веры, был незаметен и велик, подобно всем, окружавшим меня во время общего полета нашего.

— Шагу!

И неудержимо летит над землею народ, готовый перешагнуть все преграды и пропасти, все недоумения и темные страхи свои.

Помню — остановилось все около меня, возникло смятение, очутился я около тележки с больной, помню крики и ропот:

— Молебен, молебен!

Было великое возбуждение: толкали тележку, и голова девицы немощно, бессильно качалась, большие глаза ее смотрели со страхом. Десятки очей обливали больную лучами, на расслабленном теле ее скрестились сотни сил, вызванных к жизни повелительным желанием видеть больную восставшей с одра, и я тоже смотрел в глубину ее взгляда, и невыразимо хотелось мне вместе со всеми, чтобы встала она, — не себя ради и не для нее, но для чего-то иного, пред чем и она и я — только перья птицы в огне пожара.

Как дождь землю влагою живой, насыщал народ иссохшее тело девицы этой силою своей, шептал он и кричал ей:

— Ты — встань, милая, вставай! Подними руки-то, не бойся! Ты вставай, вставай без страха! Болезная, вставай! Милая! Подними ручки-то!

Розовые тени загорелись на мертвом лице ее, еще больше раскрылись удивленные и радостные глаза, и, медленно шевеля плечами, она покорно подняла дрожащие руки и послушно протянула их вперед — уста ее были открыты, и была она подобна птенцу, впервые вылетающему из гнезда своего.

Тогда все вокруг охнуло, — словно земля — медный колокол и некий Святогор ударил в него со всей силою

своей, — вздрогнул, пошатнулся народ и смешанно закричал:

— На ноги! Помогай ей! Вставай, девушка, на ноги! Поднимайте ее!

Мы схватили девицу, приподняли ее, поставили на землю и держим легонько, а она сгибается, как колос на ветру, и вскрикивает:

— Милые! Господи! О, владычица! Милые!

— Иди, — кричит народ, — иди!

Помню пыльное лицо в поту и слезах, а сквозь влагу слез повелительно сверкает чудотворная сила — вера во власть свою творить чудеса.

Тихо идет среди нас исцеленная, доверчиво жмется ожившим телом своим к телу народа, улыбается, белая вся, как цветок, и говорит:

— Пустите, я — одна!

Остановилась, покачнулась — идет. Идет, точно по ногам, разрезающим пальцы ног ее, но идет одна, боится и смеется, как малое дитя, и народ вокруг ее тоже радостен и ласков, подобно ребенку. Волнуется, трепещет тело ее, а руки она простерла вперед, опираясь ими о воздух, насыщенный силою народа, и отовсюду поддерживают ее сотни светлых лучей.

У ворот обители перестал я видеть ее и немного опаматовался, смотрю вокруг: всюду праздник и праздничный гул, звон колокольный и властный говор народа, в небе ярко пылает заря, и озеро оделось багрянцем ее отражений.

Идет мимо меня некий человек, улыбается и спрашивает:

— Видел?

Обнял я его и поцеловал, как брата после долгой разлуки, и больше ни слова не нашлось у нас сказать друг другу; улыбаясь, молча разошлись.

... Ночью я сидел в лесу над озером, снова один, но уже навсегда и неразрывно связанный душою с народом, владыкой и чудотворцем земли.

Сидел и слушал, как все, что видел и познал я, растет во мне и горит единым огнем, я же отражаю этот свет снова в мир, и все в нем пламенеет великой значительностью, одевается в чудесное, окрыляет дух мой стремлением поглотить мир, как он поглотил меня.

Нет у меня слов, чтобы передать восторг этой ночи, когда один во тьме я обнял всю землю любовью моею, встал на вершину пережитого мной и увидел мир подобным огненному потоку живых сил, бурно текущих к слиянию во единую силу, — цель ее — недоступна мне.

Но я радостно понял, что недоступность цели есть источник бесконечного роста духа моего и великих красот мирских, а в бесконечности этой — бесчисленность восторгов для живой души человеческой.

Наутро и солнце явилось для меня с другим лицом: видел я, как лучи его осторожно и ласково плавили тьму, сожгли ее, обнажили землю от покровов ночи, и вот встала она предо мной в цветном и пышном уборе осени — изумрудное поле великих игр людей и боя за свободу игр, святое место крестного хода к празднику красоты и правды.

Видел я ее, мать мою, в пространстве между звезд, и как гордо смотрит она очами океанов своих в дали и глубины; видел ее, как полную чашу яркокрасной, неустанно кипящей, живой крови человеческой, и видел владыку ее — всеильный, бессмертный народ.

Окрыляет он жизнь ее величием деяний и чаяний ее, и я молился:

— Ты еси мой бог и творец всех богов, соткавший их из красот духа своего в труде и мятеже исканий твоих!

— Да не будут миру бози инии разве тебе, ибо ты един бог, творяй чудеса!

— Тако верую и исповедую!

... И — по сем возвращаюсь туда, где люди освобождают души ближних своих из плена тьмы и суеверий, собирают народ воедино, освещают пред ним тайное лицо его, помогают ему осознать силу воли своей, указывают людям единый и верный путь ко всеобщему слиянию ради великого дела — всемирного богостроительства ради!

ЛЕТО

... Гляжу в окно — под горою буйно качается нарядный лес, косматый ветер мнет и треплет яркие вершины пламенно раскрашенного клена и осин, сорваны желтые, серые, красные листья, кружатся, падают в синюю воду реки, пишут на ней пеструю сказку о прожитом лете, — вот такими же цветными словами, так же просто и славно я хотел бы рассказать то, что пережил этим летом.

В тихий и лесной Тумановский уезд, в деревню Высокие Гнезда я был направлен одним знакомым. Явился туда под видом дачника, имея паспорт на имя Егора Петровича Трофимова, третьей гильдии купца. Прошрое мое было таково: жил в Москве, имел бакалейную лавочку; когда — после переворота — начались эти экспроприации, я со страха в уме помешался, год с лишком в больнице лежал, а теперь ишу для отдыха уединенной жизни. Вдов, одинок на земле и душевно расстроен. Эта история сразу хорошо поставила меня среди мужиков, — человек разоренный, да еще и полоумный — что тут интересного для них?

Снял я келью у старой девы, бобылки, за девять рублей до покрова. Несколькo дён кряду походил по деревне, чтобы все видели, познакомился с урядником, напоил его чаем, попросил о защите, о внимании. Все идет хорошо, он меня покровительственно одобряет.

— Ничего, Егор Петрович, живите, а мы тихим людям рады! — говорит он, поглаживая рябые щеки неверными, дрожащими руками. И речь у него — тоже неверная, вся пересечена оговорками и поправками.

— Места у нас для таких людей очень приспособленные — никаких заводов, фабрик в округе нет, то есть тут, верстах в двенадцати, некоторые химики деготь гонят и еще что-то, человек с тридцать рабочих, но — они всё больше здешние, пришлых немного, и волнений каких-нибудь теперь нет.

Маленький он, сухой, личико костлявое, щеки глубоко вспаханы оспой, а лоб почти не тронут ею, и на нем чутко, как мышиные уши, вздрагивают брови, похожие на вопросительные знаки. Глаза маленькие, мутные и беспокойные.

— Народ здесь больше раскольники, хотя, конечно, молодежь, она уж ни богу, ни чорту, а все для самой себя, — рассказывает он. — Положим, я здесь недавно, с осени, а раньше в Займище служил, знаете — затон там, стоянка пароходов? — очень трудно! Особенно — зимой. Приходилось стрелять в людей, в меня тоже палили, лошадь пострадала, ногу вывихнул, а у меня — жена, трое ребят, — попросился, чтобы перевели. Конечно, и здесь — не на печке, бывают разные волнения, а все-таки спокойнее — мужик еще не отчаялся и жизнь свою ценит, а уж этот рабочий народ — вы, городской житель, сами знаете, каков он... Хотя они, фабричные, проникают во все щели, как бы ветер, примерно, однако — мы их замечаем...

Похож он на комара, начальник сей, а в голове у него, видимо, заплуталась какая-то непонятная ему мыслишка и шумит там, тихонько беспокоя господина Клеонова.

Много теперь надорванных людей, живущих прошлыми страхами, в ожидании будущего ужаса.

Деревенька маленькая, уютная, и хоть бедная, но урядливая. Стоит в широком кольце лесов, на холме, обегает этот холм полукругом бойкая и светлая речка Вага. Везде, куда ни глянешь, увалы и холмы, на них, словно ковры, пашни лежат; всюду, замыкая дали, стоят леса, и только в северном углу распахнулись они, выпуская на поляну сплавную реку Косулю, но она, приняв Вагу в берега свои, круто изогнулась и уходит снова в темноту лесов.

Уже на второй день своей жизни в Гнездах, гуляя по деревне, я заметил человека, который был мне указан, да и он чутьем понял, кто я.

Новый мой знакомец — сын старосты, Егор Досекин, человек крепкий и круглый, словно булыжник, с большой головой, серое скуластое лицо его точно из камня вырезано, и весь он похож на черемиса. На подбородке и скулах растет тонкий и кудрявый желтоватый волос, узкие глаза косоваты и прищурены, смотрят недоверчиво и строго.

Он первый подошел ко мне за деревней у мельниц, ткнул рукой в свою шапку, заложил пальцы за пояс и спрашивает:

— Любуетесь?

— Да. А вы здешний?

— Егор Досекин, ежели интересно.

— Очень, — мол, — рад. Записочка у меня к вам.

— Так.

Оглянувшись, взял записку, прочитал, аккуратно и мелко разорвал ее и, скатывая обрывки маленькими шариками, говорит:

— Все в порядке. Недели две ждем вас. Вечерком я приду — хорошо будет?

Вот и познакомились.

Вечером он сидел в келье моей, пил чай и рассказывал, в упор глядя на меня карими и словно кремневыми глазами:

— Всего нас четверо: я, Авдей Никин, Ваня Малышев, а четвертый недавно явился — вашей хозяйки двоюродный племянш, Шипигусев Алексей, пролетарий, он в городе на фабрике чернорабочим был, надорвался и живет здесь впроголодь — потому на работу не способен, да и нет ее.

Голос у него сочный, в книжных словах слышен насмешливый звон, будто человек сам над собой подтрунивает.

— Что мы делаем, спрашиваете? А вот соберемся и говорим друг другу: хорошо бы, если бы кабы, вот бы... и другие умные и новые слова. Книг у нас почти нет, а которые брошюрочки имеем — их назубок вытвердили. Самый бойкий у нас Алексей — он тут подростками занят, беседы с ними ведет, читает им, а мы и до этого не дошли.

Он мне сразу понравился: говорит веско, слушает чутко, понимает быстро, никогда не торопится, а, должно

быть, все делает скоро. Книг читал маловато, но из тех, которые прочел, выгрыз все ценное, как мышонок мякиш из краюхи хлеба.

Понижая голос, он говорит быстрее и все пристальнее смотрит на меня цепкими глазами.

— Теперь вот первое дело закон о выделе надо знать — могучий закон придуман, об него деревня вдребезги разбиться должна — с этого бы нам и начать. Как полагаете?

— С него и начнем, — отвечаю.

— Во-от! Вы его нам объясните во всей тонкости, а мы уж дальше расскажем. Вы сами-то как насчет этого закона?

Ну, думаю, огорчу я тебя сейчас и, зайдя издалека, доказываю необходимость для человека порвать все цепи свои.

— Обняла, — говорю, — земля человека черными лапами своими и выжимает из него живую свободную душу, и вот видим мы пред собою жадного раба...

У него вспухли жилы на висках, покраснели скулы, пальцы дробно стучат по столу, и большая лохматая голова согласно кивает мне.

— Верно! — восклицает он, вскочил, оперся руками о стол, наклонился ко мне. — Я иначе думать учился и в книжках иное читал, но верно ваше слово, товарищ! Мне двадцать шесть годов, и лет пять я в душе моей всякий древний бурьян без успеха полोल. А после переворота — третий год уже пошел — вижу, надобно мне все с начала передумать. Невозможно новую жизнь строить из гнилых обломков, на старой этой нашей земле. Сказать вам думы мои не умею складно — скажу просто: человек должен быть освобожден из плена земли своей. Силу плена этого видел я. Вот, погодите, расскажу о временах перед первой Думой — ну и поганые же дни были! До того исказились люди от жадности, так опьянели все — никто ничего не видит, ничего не хочет понять, одно кричат: земля, земли! Бит был я за мои речи в те дни, хотя и сам не понимаю теперь, что говорил, о чем? Видел одно — не туда народ повернул силу свою... были же силы, были! Но увязли ноги по колена в земле, и — все встало, рассеялось, всосалось обратно в нее.

Он топнул ногой об пол и ткнул пальцем вниз, отирая покрытое потом, возбужденное лицо.

— Прямо сказать — не на земле люди живут, а в самой земле, вплоть по маковку. Алексей верные слова говорит: сожрал мужичок Великую Революцию во Франции! Я про это ничего не знаю, не читывал, ну а верю, я могу это понять — он сожрет!

Смотрю я на него и радостно думаю: «А ты, милый, видать, птица редкая и новая — пусть скажется в добрый час!» Нравится мне его возбуждение, это не тот красивый хмель, который охватит городского интеллигента на краткий час, а потом ведет за собою окисляющее душу стыдное похмелье, это настоящий огонь жизни, он должен спокойно и неугасимо жечь душу человека до дня, пока она вся не выгорит.

До полуночи просидели мы с ним, и неохотно проводил я его за ворота, да и он ушел тоже нехотя. Стоя у ворот, смотрю я, как твердо и споро шагает он вниз посреди улицы между темных изб, сонно и молча прижавшихся к земле. Уже отогретая солнцем весны, спит она и сладко дышит во сне запахами свежих трав. Хорошо было у меня на душе в тот час — люблю я чувствовать себя на месте и у дела.

Густо оросилось темное небо звездами — иную едва видно, а без нее небеса беднее будут.

Товарищи Егора тоже оказались интересными людьми: Авдей Никин похож на ямщика со старой картины — кудрявый, большебровый, голубоглазый молодец высокого роста и силач, но лицо у него хмурое, над переносицей глубокая не по летам складка; молчалив он, а если говорит, то — кратко и всегда как-то в сторону. Ему двадцать три года, один сын у матери, земли имеет двадцать две сажени, лошади нет, поэтому землю он сдает, а сам ходит батрачить у богатых мужиков и по экономиям. А мать у него пьяница, и если сын не даст ей на водку, она выкрадет у него заработок ночью и пропьет, а когда нет у него работы, она в кусочки ходит, — от этого, должно быть, и хмур парень. До книг он жаден, однако о прочитанном не любит беседовать; отдавая мне книгу, тихо и задушевно молвит: «Хорошо!» — или: «Очень хорошо!»

И в такую минуту глаза у него светятся ласковой, умной улыбкой.

Не один раз пробовал я расспросить его — что же именно хорошо? Но вижу — смущается он, отвечает нехотя, и я оставил расспросы до времени.

На общих чтениях, немедленно устроенных нами, он ставит вопросы редко и почти всегда в таком роде:

— Вот указывается, что христианство объединило и бедных и богатых, а социализм — может?

— Значит — всегда это учение снизу, от народа шло? Отчего же рабочий, говорите, скорее нас принимает этот путь?

Ответы мои, видимо, удовлетворяют его; заметно у Авдея спешное стремление все округлить, завершить и прочно поставить в душе. Мне это не очень нравится в нем. Вот тёзка мой, Досекин, он любит разворачивать каждый вопрос, словно кочан капусты, всегда добываясь до стержня. А Ваня Малышев — паренек из старой раскольничьей семьи, дядя у него известный в крае начетчик, грамоте Иван учился по-церковному, прочитал бесконечно много книг славянской печати, а теперь сидит над библией, ставя ее выше гражданских книг.

— Оттого и прославили ее книгой для ума трудной и опасной, что это книга народная, — тихо и упрямо доказывает он. — Вот видите, опять являются пророки правды народной, и хотя иначе, острее отточена она теперь, а все та же древняя правда, самим народом одуманная.

Наружность у него невидная, пятаковая, трудно его отличить в горсти деревенских парней — все как у всех! И только присмотрясь внимательно, замечаешь в серых глазах мягкое, спокойное упрямство, чувствуешь в его теле тугую пружину гибкой, но не ломкой воли.

Таких тихого характера людей наблюдал я, будучи солдатом; являются они перед начальством и говорят, почерные своей вере:

— Военное дело считаю грехом — ружья в руки не возьму!

Быют их нещадно, страшают всеми страхами, держат в строжайших карцерах по месяцу и более, сажают в сумасшедшие дома, в тюрьмы и, не сломив, засылают людей куда-то на край земли, если не убьют.

Алеша Шипигусев — человек нервный, тоскующий, резкий сердцем и словом, угловатый, но крепкий, словно хрящ. Ума бойкого, но хочет объять все сразу, спешит, хватается широко и рвется, как старый бредень; видит юное бессилие свое, колотит себя кулаком по лбу, ругает, впадая в тоску, а потом дня на три уткнется в книжку и снова бодр, горд, криклив — все понял, все узнал. Тут его надо вспрыснуть холодными словами, он рассердится, поспорит, потом посмеется над собой и снова сядет за книжку. Знает для своих двадцати лет многонько, но в голове у него — как в новой квартире: привезено почти все уже, а все не на своем месте, ходит человек между вещей и стучается об них то лбом, то коленкой.

Спелись мы все быстро и дружно, только Авдей смущал меня: торопливое его желание поскорее свести концы с концами в душе своей не сливалось со сдержанным характером и недоверчивым блеском голубых глаз.

Вскоре после приезда моего в деревню у Никина разыгрался настоящий роман: оказалось, что на святках он сошелся с младшей дочерью богача Астахова, Настей, и теперь она была непраздной от него, а отец начал истязать ее, допытываясь, кто соблазнил. О ту пору Авдея не было в деревне, но узнав, что дело открылось, бросил он работу, явился к старику Астахову.

— Это я Настин муж.

Богатей обезумел, кричит:

— Нищий! Еретик!

Бросился на него с топором, но Авдей во-время схватил тестя, говорит:

— Выдай Настю за меня. Что тебе делать, кроме этого?

Тут Астахов согласился, понимая, что если отказать парню, так он сейчас изломает ветхие стариковские кости, а сам в ту же ночь отправил Настасью куда-то в скиты и принялся травить Никина: то и дело таскают парня к земскому, к становому, в волость, и никто в округе не берет его на работу.

Тогда Авдей, спокойствия обычного не теряя, пожелтел весь, глаза прищурил и сквозь зубы рычит:

— Сожгу! Убью!

Уговариваем:

— Что ты! Каторги захотел?

— Нельзя им уступать, ни в чем нельзя! — кричит парень и мечется, как волк в западне. — За пуговицу буду драться до смерти! И не быть тому, чтобы он командовал Настей, — она мне по чести жена, я ее найду, выкраду, сам от него спрячу...

Дело совсем неисполнимое. Найти девицу и украсть — не велик труд, так! Но куда же он ее спрячет по этим местам, где даже число горшков в каждой избе известно на пятьдесят верст кругом? Жизнь прозрачная, — кроме тараканов — всё на счету.

Досекина в те дни не было с нами, его земский на неделю под арест посадил. Алексей и Ваня решили помогать Никину, пришлось тогда вступить в дело мне; достал я девице паспорт, указал в губернии людей, которые не откажут приютить ее до родов. Никин ее выкрал, а Алеша отвез в город; там ее после родов пристроили кормилицей к хорошим людям.

Авдей тоскует, жалуется:

— Не могу бросить несчастную мать мою, — говорит он, скорбно понуря голову, — а то бы и я ушел в город.

— Тяжело вам с матерью? — спрашиваю. Он сидел у меня в тот час, пришел благодарить за помощь, чудак. У него брови прыгают, губы дрожат.

— Легко ли! — говорит он, словно задыхаясь. — Горько и стыдно — чем поможешь? Болен человек, лишен ума. Судите сами, каково это видеть, когда родимая твоя под окном милостыню кланчит, а то, пьяная, в грязи лежит середь улицы, как свинья. Иной раз думаешь — умерла бы скорей, замерзла бы или разбилась насмерть, чем так-то, на позор людям жить! Бывает тоже, что совсем лишаюсь терпенья, тогда уж бегу прочь от нее — боязно, что пришибу или задушу всерьдцах.

Сидит, согнулся, охватил голову ладонями, и кажется, что курчавые волосы его дыбом встали. И вдруг, помолчав минуту, он исподлобья смотрит на меня, ласково усмехаясь.

— А вспомню, — новым голосом тихо и благодарно говорит он, — каково ей было со мной — и уж не знаю, что сделать для нее, сам за водкой бегу — на, пей, отдыхай! Отец у меня зверь был, старшего брата в могилу

побоями свел, сестра сбежала в город и пропала там без вести, может, в гулящие пошла... Она, мать-то, всегда вступалась за меня, оттого, может, и жив я остался... зато отец бил ее так, что даже вспомнить жутко! И, бывало, приползет она ко мне, избитая, в крови вся, а сама спрашивает, едва шевеля языком: «Что, Авдеюшка, больно он тебя?» Можно ли это забыть!

Голос его звучит глухо, как у больного, и слышу, что в горле у парня слезы кипят.

Странно и неловко видеть богатыря такого плачущим, однако — я эти слезы понимаю: и у меня отец не ласков был, и мою мать колотил он не жалеючи, а ей, милой старушке, я обязан тем, что захотел правду искать и нашел.

— Больно ей, стонет она, — тихо рассказывает Авдей, — а сама меня учит: «Ты-де не сердись на него, он сам-то добрый, да люди злы, жизнь-то тяжела ему, очень уж жизнь наша окаянная!» И плачем, бывало, оба. Знаете, она мне и по сю пору сказки рассказывает, коли еще в памяти и на ногах держится. Подойдет ко мне, сядет и бормочет про Иванушку-дурачка, про то, как Иисус Христос с Николаем и Юрием по земле ходили...

Он тихо и конфузливо засмеялся.

— Смешно мне, конечно, а слушаю, ничего!

Никогда потом не видал я его таким хорошим, как в этот удачный час.

Астахов, конечно, разъярился, забегал по начальству, начал искать чадое свое, но, пошумев недели с две, предал дочь анафеме и бросил поиски. Да и Авдея перестал доносить, потому что однажды на сходе мирском тот сказал ему:

— Эй, Кузьма, ты меня больше не трогай, слышал?

Старик закричал миру:

— Смотрите, будьте свидетели мне, грозитя он! Спросите-ка его, чем он грозитя, а?

Мир молчит, смотрит, ждет — кто окажется сильнее.

— Я одно говорю тебе, Кузьма, — повторил Никин, — ты меня не тронь!

Видел я это: стоит он на аршин выше старика ростом, стоит прямо, голова без шапки, брови сдвинуты, лицо

открытое, спокойное. А спокойствие — сила; топор спокоен, а рубит дуб под корень.

Обрадовался я, что прошла эта история быстро, — мешала она, отводя от дела в сторону.

Когда воротился из-под ареста Досекин, был у меня с ним значительный разговор; зашел он ко мне и, посидев немного, спрашивает:

— Правду Ваня мне сказал, что Алексей с Никиным пошли Настасью Астахову красть, а вы будто одобряете их?

— Одобрять не одобряю, а помочь пришлось, — говорю. — Тяжело Авдею-то.

Он, аккуратно свертывая папиросу, заметил:

— На тяжелом силу и пробуют.

Окутался сизыми дымами и молчит. Чувствую — что-то ему не нравится.

— Разве, — мол, — вам не жалко товарища?

Он прищурил глаза и, глядя на окурок папиросы своей, спокойно говорит:

— Жалко. Человек полезный. Только это — его дело, и нам оно ни к чему. Я так смотрю: или пни корчевать, или горох воровать — что-нибудь одно.

И снова усиленно задымил. Курит он какую-то ядовитейшую махорку, дым от нее столь жестокий, что комары и мухи, влетая в зеленоватые струи его, кувырком падают на землю. А он хвастается:

— Замечательный табак! Стекло разъест может...

Помолчав, Егор спрашивает:

— А как вы, товарищ, думаете — вот теперь мы тут кое-что прочитали, привели мозги в движение — не начать ли нам полегоньку пробовать наши силы и пригодность к делу? Вы, конечно, оставайтесь в стороне, а нам бы, здешним, думаю, пора. Для проверки больше — сколько знаем, и что нужно знать, и какие вопросы будут ставить нам.

Подумав, я говорю:

— Соблюдая осторожность, пожалуй, можно.

Он отбросил окурок и просиял.

— Вот и хорошо! Дело, видите, в том, что все ж таки мы здесь народ замеченный: одни на нас косятся, другие как бы ожидают чего-то. Тут есть такие задетые за

сердце люди... Заметили вы — мимо вас старик один все прихрамывает? Малышеву Ивану двоюродный дядя, начетчик, Петр Васильевич Кузин — слышали? Он уже что-то понимает, как видать, и племянника выспрашивал про вас, и ко мне подъезжал не однажды. Человек внимательный.

Чувствую, что Досекин хочет что-то сказать и не решается. В словах у него явилось нечто вычурное и несбычно для него церемонное.

— Считаете опасным его? — спрашиваю.

— Остерегусь сказать, — ответил Егор, пристально глядя на меня кремневыми глазами, — думается мне, что он к вам придет. Я вам расскажу про него, что знаю, а вы, поговорив с ним, сами увидите, каков человек.

И рассказал: начетчик Кузин имеет славу человека, знающего писание, но дерзкого и неуживчивого. Всю жизнь кормился около богатых, на выборах в первую и вторую Думу тянул их руку и по сей день числится в черной сотне. Года полтора тому назад в губернском городе был арестован его зять, сидел в тюрьме, теперь осужден и сослан на поселение. Кузин ездил хлопотать за него, но без успеха, а хлопоты эти были поставлены ему в вину; лесовладелец Скорняков, окружной богатей и воротила, отобрал у него за долги избу и пчельник. Кузьма Астахов говорит на деревне и по округе, что старик заразился, дескать, крамолой, и теперь старый этот человек бродит где день, где ночь, осторожно поругивая бывших своих дружок и заводя себе новых средь деревенской бедноты.

Рассказав мне эту историю, перечислив новые знакомства Кузина, Досекин, усмехаясь, намекнул:

— Кажется мне, что старик, будучи обижен, затевает что-то на свой страх.

— А что?

— Да так... вообще, бубнит, бормочет, — неопределенно сказал Егор и, вспомнив какое-то дело, поспешно ушел, а я остался размышлять — зачем все это рассказал мне и чего желает мой тёзка?

В Гнездах всего тридцать два двора, я прожил здесь уже два месяца с лишком, знаю всех хозяев, все истории, связи, степени родства, знаю и перечисленных Досекиным друзей старого начетчика.

Нил Митрич Милов — зовется в деревне Мил Милычем за свой тихий нрав. Мужичок маленький, задумчивый, даже и в красной рубаше он серый, как зола, ходит сторонкой, держится вдали от людей, и линючие его глаза смотрят грустно, устало. И жена у него такая же, как он, — молчаливая, скромная; две дочери у них, семи и девяти лет. Перед пасхой у Милова за недоимки корову свели со двора.

Савелий Кузнецов — человек изувеченный, едва ходит: работал прошлой весной в городе на пивном заводе, и там ему пьяный казак плетью ребра перебил. Встречался я с ним часто — он любит на бугре у мельниц лежать, греясь на солнышке. Мужчина мне неизвестный: он не столько говорит, сколько кашляет.

Затем идет Михайло Гнедой — до войны был мужик зажиточный, но за время войны и плена старший брат его Яков попал в беспорядки — жгли усадьбу князя Касаткина — был поранен и скончался в тюрьме. Жена его тотчас вышла замуж за Корнея Мозжухина. Корней прибрал к рукам долю Михаила, а жену его выжил из дому, ушла она в город и пропала там. Возвратясь из плена, Гнедой оглянулся вокруг и начал пить, пропил все, что мог, да к тому же Мозжухину и нанялся в батраки. Каждый праздник ходит по улице пьяный, ругает своего хозяина и всех богачей, а они на него жалобы подают, и то волостной, то земский начальник сажают солдата в холодную.

«Что ищет и находит старый Кузин у этих порушенных жизнью людей?» — думаю я, сидя под окном.

Душно. Висят над деревней тучные облака, пробегает вдоль улицы суетливый ветер, взметывая пыль, где-то над лесами гулко гудит гром, и черная ночь лениво вздрагивает в синих отблесках далеких молний. Слышу мерный и тяжкий топот коня — это едет по деревне стражник Семен, отставной гренادر; деревня боится его, считая полумным. Человек ночной, угрюмый, крупный, он сух лицом, черен, не улыбнется, не мигнет — точно идол чувашский, резанный из дерева. Ночи напролет шагает по деревне и вокруг нее тяжелый серый конь, а стражник, чернобородый и прямой, качается в седле с винтовкой на коленях, темными глазами смотрит вперед и поверх головы старого коня, как бы выслеживая кого-то вдали.

Властью своею над людьми он почти не кичится, мужиков не задевает, и днем его не видно — спит. Только когда подерутся мужики и жены их позовут его — выйдет, тяжелый, сонный, остановится около драчунов, долго смотрит на них туманными глазами и, если они упадут на землю, молча пинает их толстою ногой в тяжелом сапоге.

Весь он какой-то темный, всегда угнетен угрюмым молчанием, и никому не хочется спросить его — о чем он молчит?

Досекин рассказал мне все, что известно о нем: служил он в Москве, и когда разгорелось там восстание, видимо, оно ударило солдата. Весной после переворота явился он в деревню и тогда был совсем не в себе: трезвый прячется ото всех, ходит согнув шею и уставя глаза в землю, а напьется — встанет середь улицы на коленки и, земно кланяясь во все стороны, просит у людей прощения, за что — не говорит. Тогда мужики еще не сократились, злоба против солдат жива была, и они издевались над пьяным.

— Что, сволочь? Напакостил, а теперь самого с души рвет?

И нет-нет да кто-нибудь и ударит его, а мальчишки камнями в спину лукают.

Даже брат его, злой и кляузный мужик Никита Лядов, стал советовать:

— Тебе бы, Семен, в город уйти, а здесь ты ни к чему, как зуб вырванный!

Тогда гренадер покорно ушел из деревни, и ушел ночью, никем не замеченный, никому не сказав, куда идет, так что Лядова семья испугалась, думая, не порешил ли он себя, и двое суток Лядовы ходили вокруг деревни, искали его. Явился он здесь в прошлом году в страдное время — хлеб бабы жали и видят: по дороге из города идет большой серый конь, а на нем сидит, опустя голову, воин, за спиной ружье, на боку плеть и сабля. Едет мимо людей — не кланяется, здороваются с ним — не отвечает, сразу всех напугал, да вот с той поры и качается в деревне, никому не понятен.

Против моего окна встал. В темноте он словно облако, опустившееся в пыль земли. Мне чудится, что стражник смотрит в мою сторону, и это — жутко.

Но вот раздается глухой окрик:

— Н-но, бр-ревно!

И снова тяжелые копыта четко топают по сухой земле.

Когда я лег спать — мне подумалось:

«А может быть, он хотел поговорить со мной?»

Наступало деловое летнее время, товарищи мои целыми днями живут в работе, собираемся мы редко, читать им некогда, мне приходится выслеживать каждый свободный их час. Хожу с ними в ночное и там ведем устные беседы, по праздникам устраиваем чтения в лесу — готовимся к осени.

Алеша свободен от трудов, занятия свои с подростками ему пришлось сократить — и у них нет времени. Он живет со мною, на дворе в сарайчике, как бы под видом работника моего, самовары ставит, комнату метет, ревностно гложет книжки и, нагуливая здоровье, становится более спокоен, менее резок. Ходит в уездный городок — тридцать две версты места, — книги, газеты приносит от указанных мною людей, и глаза у него смотрят на мир всё веселее.

Обед нам стряпает чернобровая дама, солдатка Варвара Кирилловна, женщина лет двадцати двух, статная, здоровая — очень интересный человек: разговаривает она больше улыбками красных и сочных губ да темных, насмешливых глаз, держится строго — попробовал было Алеха шутки с нею шутить, но быстро отстал и начал относиться почтительно, именуя ее по отчеству.

Я его спросил:

— Что, Алеша, как будто ожегся ты?

Сконфуженный немножко, он серьезно отвечает:

— Было, Петрович, хоть и не очень, ну как раз в пору однако! Знаешь, женщина неглупая и немного грамотная, надо бы и ею заняться!

Я предупреждаю:

— Ты все-таки не весьма откровенно беседуй с нею.

— Это бы тебе побеседовать, — усмехаясь, говорит он, — а меня она высмеивает.

Попробовал я, но, кроме ласковых улыбок, никаких ответов не получил. Присматриваюсь.

Узнал, что вдовеет она уже второй год — муж у нее чем-то проштрафился, и осудили его в дисциплинарный

на два с половиной года без зачета, так что увидит она его — коли увидит — не раньше как лет через пять. Дурных слухов про нее нет, хотя парни вьются около нее, как шмели, и Егор Досекин, заметно, всех упорнее. Из мужнего дома, от свекра, она ушла и живет со своей матерью, полуслепой старушкой, великой мастерицей пояски ткать и лестовки делать. Сама Варвара на все руки мастерица: и платья невестам шьет, и бисером ризы нижет на иконы, и ткать ловка, но — этим не проживешь, приходится ей заниматься поденщиной. Есть у нее брат, работает на лесопилке верстах в сорока, пьет горькую и в деревне почти не бывает.

Однажды, перед каким-то праздником, пришла она мыть пол, осмотрела комнату и, неодобрительно качая головою, говорит:

— Эко книг-то накопили!

И верно, многовато их набралось. Натаскал Алеша из города и такого, что не нужно нам пока, да и небезопасно держать.

— Да, — говорю, — действительно!

А она, подтыкая подол и не глядя на меня, вполголоса замечает:

— В деревне не очень любят книги.

— Не все, — мол, — не любят.

Она значительно и как бы намекая ворчит:

— Вот газет мужики не боятся, а книги — считают опасными.

Тогда я спрашиваю ее прямо:

— Разве говорят что-нибудь про мои книги?

— Не слыхала, — отвечает. — Ну, уходи — я примусь.

И наклонилась над ведром. А когда я вышел в сенцы, говорит:

— Все-таки, которые лишние — не держать бы дома-то.

Обернулся я, встал в двери — странно мне. Согнувшись, она уже плещет водой и скользит по мокрому полу, сверкая белыми икрами. Смущенно отошел прочь, и с того дня легла она мне на душу.

Уж доведу до конца эту историйку, перескочив через многие события дней. Вскоре после сего разговора гулял я в праздник по лесу, готовясь к очередной беседе

с товарищами, вышел на поляну и вижу: сидит она под деревом, шьет что-то, а тут же ее корова с телянком пасется — недавно отелилась, и Варвара еще не пускала ее в стадо.

День жаркий, поляна до краев солнцем налита, в густой траве дремлют пахучие цветы, и всё вокруг — как светлый сон. И она, в тени, тоже как большой цветок — кофта красная, юбка синяя, и темные брови на смуглом лице. Смотрит на меня и ласково улыбается, сощулив зеленоватые глаза.

— Гуляешь? — спрашивает.

— Да, — мол.

— По годам-то тебе, — говорит, посмеиваясь, — с женой давно пора бы гулять, а ты все с книгами. Это о чем книга?

— О крестьянстве. Так и называется: «Крестьяне на Руси».

— Ишь, — говорит, — сколько написано!

Неловок я с женщинами, хоть и солдат и в городе жил, а нет у меня легкости в обращении с ними — может быть, это потому, что до той поры самой близкой и дорогой мне женщиной была мать моя.

Стою я против Варвары, а она, глядя на меня снизу вверх, спрашивает:

— А колдунских книг нет у тебя?

— Это о чем?

— О чем! О колдовстве! Как приворотные зелья варить.

— На что тебе, — говорю, — зелья эти? Вон ты какая хорошая!

Почему-то грустно мне и неловко перед ней, а она — смеется тихонько.

— Разве хороша?

— Приворожишь и без колдовства.

— Да ну?

— Будто не знаешь?

— Ей-богу, не пробовала!

— Оттого, что нужды нет, сами парни льнут.

Весело и тихо смеется.

— Видно, оттого! — говорит.

В лесу человек упрощается: все вокруг него просто, все живет открыто — и цветы, и птицы, и разное дерево.

Спрашиваю:

— Скучно тебе без мужа-то?

— А еще бы!

Прищурила глаза. Взгляд у нее острый, щекочет он мне губы и манит сесть рядом с нею. Сел.

Она меня толкнула плечом и тихонько, ласково спрашивает:

— Али поцеловать меня захотелось?

Вздрыгнул я.

— Да, — говорю.

— Так ты бы, — говорит, — поцеловал!

А потом, лежа у меня на коленях, смотрит она в лицо мне и мило говорит:

— По душе ты мне, Егор Петрович!

— Спасибо, мол, Варя!

— Смотрю я на тебя: такой ты простой со всеми и такой скромный, будто и не мужчина. Хороший, видно, ты человек!

Смущают меня ее похвалы, а приятно слышать их.

— Не очень я красив, — говорю, глядя ее голову.

— Это ничего! — отвечает. — Красоту дает любовь. Опять же сказано: красна птица перьем, человек ученьем.

Все больше нравится мне она в речах ее, и так хорошо на душе у меня, словно с покойной матерью встретился.

Встали, вышли на солнышко, ходим плечо с плечом, смотрит на нас корова круглым глазом и ласково мычит, кланяются золотые метелки зверобоя, пряным запахом дышит буквица и любимая пчелами синь. Поют веселые птицы, гудят невидимые струны, сочный воздух леса весь дрожит, полон ласковой музыки, и небо над нами — синий, звучный колокол из хрусталя и серебра.

С того дня мы и зажили потихоньку в крепкой дружбе и горячей любви.

Сначала я думал, что она не серьезно затеяла это, а так, ради удовольствия, но вижу — чем дальше, тем более внимательна она ко мне, а однажды, ласкаясь, говорит:

— До тебя я людей-то словно половинками видела, право! А теперь все круглее стало.

— Ну, — говорю, — я рад этому. Больше видишь — больше любишь.

Смеется.

— Тебя?

— Все житье.

— То-то!

А в другой раз, озабоченная, молвила:

— По округе пошли про тебя слушки разные, пожалуй — вредные тебе. Полола я огород на скорняковской мельнице, был там Астахов, и говорили они со Скорняковым и Якимом-арендатором, что ты молодых парней не добру учишь, запрещенными книгами смущаешь и что надо бы обыск сделать у тебя.

— Вот как!

— Да.

— А тебе боязно за меня?

— Еще бы! Теперь вон какое время — то и дело в тюрьму таскают людей.

— С этим покуда ничего не поделаешь. Будут таскать.

Она вздохнула и, помолчав, предлагает:

— А ты бы, коли у тебя опасные книжки есть, дал бы их мне. Уж я так спрячу — вода не найдет!

Избенка ее стоит на отлете, у самой околицы, и за огородом, саженья в двадцати, — лес.

Объясняю ей, что, конечно, хорошо бы спрятать кое-что у нее, но — нельзя: нельзя вовлекать человека в дела, опасного смысла которых он не понимает и может за них жестоко потерпеть.

Опустив глаза, она тихо говорит:

— А ты бы смысл-от объяснил мне, попробовал, может, и я поняла бы чего-нибудь.

И, укоризненно посмотрев на меня, продолжала:

— Думаешь, не догадываюсь я, зачем ты здесь?

— А зачем?

— Парней обучать, конечно!

Мне стало стыдно пред нею, и после этого разговора я начал приучать ее к чтению, давая разные простые книжки. Сначала пошло туго, и долго она стеснялась сказать, что не понимает прочитанного, а потом как-то сразу вошла во вкус, полюбила книжки и, бывало, горько плачет над судьбою прикрашенных писателями книжных людей.

Теперь — о Кузине.

Действительно, дня через три после разговора с Егором явился он ко мне вечером, на закате солнца. Сидел

я один и пил чай — вдруг под окном высокий голос спрашивает:

— Дома ли хозяин-то?

— Милости прошу, пожалуйста!

И вот, согнувшись в три погибели, он ныряет в мою горенку, удобно усаживается за стол и сразу заводит бойкую, развязную беседу.

— Глядел я, глядел на тебя — и надумал: дай-ка пойду, познакомлюсь, какой там дачник-задачник живет-то у нас?

Старичище большой и нескладный: худой, сутулый, руки длинные, хромает — на левой ноге плюсна обрублена по тому случаю, что, будучи молодым, шел он ночевать к мужней жене и попал в капкан волчий, приготовленный мужем для него.

— Человек я, — говорит, — сызмала любопытный и всю жизнь любопытством живу, а про тебя идет слух, будто ты хорошо начитан, — как же мне такой случай упустить-то?

Голова у него большая, лысая, лицо строгое, желтое и глаза россыпью — то колют тонкими, как иголки, хитрыми лучами, то вдруг округлятся и зелено горят, злые и насмешливые, рыжеватая с проседью борода растет клочьями, буйно.

Отпил чай, уперся длинными руками о скамью и, освещенный красными лучами вечернего солнца, надломленно подался вперед.

— Вот и пришел послушать — как о делах деревенских думает городской человек!

Я говорю:

— Лучше вы мне расскажите, что вы думаете, — вы меня старше, вам больше знать!

— Знатье-то, — говорит, — у меня есть, да не кругло, концы с концами не сходятся! Мы, деревенские, против вас — люди малого ведения, и нам ваше слово, как зерно весной, дорого.

С час времени занимались мы тем, что осторожно охаживали друг друга церемонными словами, ожидая, кто первый откроет настоящее свое лицо, и вижу я — старик ловкий; в пот его не однажды ударяло, а он все пытается меня: то начальство осудит за излишние строгости и за

невнимание к нужде мужика, то мужиков ругает — ничего-де понимать не могут, то похвалит деревенскую молодежь за стремление к грамоте и тут же сокрушается о безбожии ее и о том, что перестала она стариков слушать, хочет своим разумом жить. С одного бока пощупает и с другого, и сзади заходит, и всяко, а напрямки — не решается.

Я, где можно без ущерба, поддакиваю, а больше молчу, следя за игрой его глаз и морщин на живом лице.

В открытое окно жарко дышит летняя ночь, слышен тихий лай собаки, и гулко ухаает богало на реке.

Чувствую — сердится старик на меня, думаю, жалеючи его:

«Говорил бы ты сразу — чего надо тебе!»

А он крепко трет лысину и уже несколько устало, с досадой говорит:

— Главная беда — боязлив народ, все друг друга опасаются, мысли свои скрывают. И живут в разброде.

— Разговаривать-то, — мол, — запрещается, да и строго.

— А коли жизнь стала строже — человек будь сильней, — твердо выговорил он. — Ты как думаешь, буря эта по земле прошла — не задела она мужика-то? Только опамтоваться ему не дали, скоро больно рот заткнули кулаком, размять кости не успел — связали и снова командуют: лежи плашмя вниз носом-то! Он лежит — как ему иначе? Чуть приподнял голову — бьют. Он лежит смиренно, а о чем он думает — никому это неизвестно. Однако сообщать, можно ль ему не думать, когда случилось эдакое странное дело — вдруг говорят ласковым голосом: помоги, мужичок, пришли своих-то людей для управления делами, мы больше не можем, и все у нас останавливается. Он — послал. Прогнали: нет, эти не годятся, ты других собери. Других! Это, брат, было очень интересно, когда других потребовали; наша деревня, Малинки, Василево, Фомино — в один голос решили: Якова Гнедого выборщиком-то. А Яков-то этот — самый дерзновенный мужик на всю округу, на дерзости и жизнь потерял — знаешь?

Старик понизил голос, заглянул в окно и снова нагнулся ко мне, крепко держась руками за край скамьи.

— Шел общий наказ — партионных выбирай, которые решительно говорят, чтобы всю землю и всю волю народу,

ничего там валандаться-то! Ну, выбрали. Нашего депутата уж и назад не вернули, а прямо в Сибирь. И опять: не годятся, другик! Ты полагаешь — не задумался мужик над этим? А как стали выбирать третий раз, и повалил мироед, богатей-то...

Он остановился, замолчал и уставился на меня круглыми глазами, пряча в бороде нехорошую усмешку.

— Я в Думу эту верил, — медленно и как бы поверяя себя, продолжал старик, — я и третий раз голос подавал, за богатых, конечно, ну да! В то время я еще был с миром связан, избу имел, землю, пчельник, а теперь вот сбывался с глузду и — как перо на ветру. Ведь в деревне-то и богатым жизнь — одна маета, я полагал, что они насчет правов — насчет воли то есть — не забудут, а они... да ну их в болото и с Думой! Дело лежит глубже, это ясно всякому, кто не слеп... Я тебе говорю: мужик думает, и надо ему в этом помочь.

Он встал, посопел носом и предлагает:

— Ты прикрой-ка окошко-то!

Я прикрыл. В сумраке вижу его озабоченное лицо, смешно мне немного и приятно, что, наконец, человек выходит на прямой путь.

— Вот что: я — человек открытый и люблю прямоту; это правда, спроси кого хошь. Я пришел с честной душой, ты верь, я тебе объясню это. Чего я добивался в жизни — ей-богу, не знаю! Мог быть богат, и не один раз, через баб — ну пропустил все сроки однако. Стукнуло полсотни годов — думаю: «Давай, буду жить спокойно на пчельнике своем, пора! И пусть меня никто не трогает». Выдал дочь замуж за хорошего парня, отдал им некоторые деньжонки, сот пяток — все хорошо! Вдруг начался этот всеобщий переворот жизни — Думы, выборы, споры... тут зять мой ухнул в тюрьму, дочонка за ним в ссылку пошла, все это одно на другое — с головой завалило меня-то. Оглянулся, гляжу — исчезоша, яко дым, надежды моя на спокойный конец дней, ничего у меня нету, все отобрано, и дружки мои, солидные люди, отрицаются меня, яко еретика и крамольника, попрекая за хлопоты о зяте — таковский-де, и не должен был я заступаться за него, да! А он, зять-то, умница и... ну ладно, это дело домашнее! И вот

я, значит, остался ныне, яко вран nocturnal на нырище, брожу с места на место, думаю...

Закрыв он глаза и, качая голым черепом, молчит. Мне его жалко: видимо, не глупая и живая душа, а зря пропала.

— Как же, — мол, — Петр Васильевич, учительство ваше? Говорят — вы известный начетчик?

Усмехнулся он.

— Ныне, — говорит, — этим сыт не будешь. Теперь иной родися бог: раньше молились — отче наш, иже еси на небеси, а теперь — ваше вашество, иже еси в городе, сохрани и избави нас от злаго мужика!

И, снова жутко посмеиваясь, шепчет в темноте:

— Был начетчик, да, видно, вылинял, как старая собака на купцовом дворе. Ты, Егор Петрович, пойми — какво это полсотни-то лет отшагать, чтобы дураком-то себя встретить, — это, милый, очень горько! Был, был я начетчиком, учил людей, не думая, как скворец, бормотал чужое, да вот и разболтал душу свою в мирской суете, да! И верно некоторые говорят — еретиком становлюсь на склоне дней-то! Мне бы, говорю, время душа спасать, а я будто совсем обезумел.

Замолчал. Треплет бороду свою черными пальцами, и рука у него дрожит. Смотрю на его тусклый череп, и хочется сказать ему бодрое, ласковое слово, обидно мне за него и грустно, и все больше жалко пятидесяти лет бесполезной траты человеческого сердца и ума.

Начал говорить ему о причинах унижения человека, о злой борьбе за кусок хлеба, о невозможности сохранить себя в стороне от этой свалки, о справедливости жизни, нещадно карающей того, кто только берет у нее и ничего не хочет отдать из души своей. И о новых путях жизни говорил, как соединить народ, собрать разбитого одиночеством человека. Говорю осторожно и мягко, как могу, ибо понимаю, что предо мной разум вдвое старше меня, много опытнее. Он, прислонясь к стене, слушает меня, не прерывая, ни о чем не спрашивая, а когда кончил я — долго и тягостно молчал.

Потом, как бы вдруг проснувшись, встряхнулся, начал потирать руки свои так, что скрипела кожа, и заговорил, вздыхая:

— Да, милый человек, это ты сказал хорошо. Хо-о-рошо! Ну и я теперь прямо скажу — я ведь догадался, что партийщик ты, я, брат, это понял! Тут не один я разрушился душой — есть такие люди, взыскующие града-то. И до тебя были — Егор Досекин, примерно, Ванюшка; племянник мой, Алеха... Конечно, они молодежь, нам с ними не рука идти... то есть опасны они кажутся по молодости своей, и мы их с пеленок видим, ну — и как-то доверия нет. Но, когда прибыл ты и они сейчас же встали около тебя, — тут я догадался! Молчу, все-таки присматриваюсь, и другие тоже следят. Я им говорю: вы, братцы, и виду не подавайте, все это — дело тонкое, и можно испортить, — значит, не испугать бы тебя-то. Видим, что твердо и без страха ходите вы по земле. И вот Савел Кузнецов подал совет: видно, опять начинается, нам бы пойти к ним-то да спросить — в чем дело? Ну, вот я и пришел.

Он тихонько засмеялся, взмахнув длинными руками.

— Знаешь, как ребятишки: одни играют, а другие подошли да и просят — примите и нас!

Мне нравится его торопливая речь, бодрый голос, шутка и частое крепкое токанье. И я думаю:

«Как-то вспыхнут в нашем костре трухлявые пенья и коренья деревни? Сколько могут дать они света людям и тепла?»

— Ничего иного не остается живому человеку, как то, что ты говоришь, — задумчиво размышляет старик, стоя среди комнаты и поглаживая бороду.

— Значит, — шутиливо спрашиваю я, — в социалисты поступаете, Петр Васильич?

— Эх, родимый! — вздохнув, сказал он. — Как придется к гузну узлом — и в социалисты пойдешь! Мне-то что — я один, по многим путям хаживал, пока на этот набрел; видно, и впрямь — коли смолоду не добесишься, так на старости с ума сойдешь, — мне что, говорю, а вот некоторых жалко! Не пойдут они по новому-то пути, а на старом месте нельзя стоять — согнаны! Ты гляди, как дело-то идет: раньше резал деревню крестьянский банк, а теперь вот — выдел вдосталь крошит. Что же будет, куда деваться народу-то? Закачалась Русь родимая! Ну, как будто поумнела тоже — уж не туда клонит, куда враг гнет, а туда, куда правда ведет.

И после этих слов он стал спокойнее и солиднее.

Уже светало, когда он, прихрамывая, ушел от меня.

Радостно встревоженный этой беседой, вспоминая сказанное нами друг другу, я открыл окно и долго смотрел, как за темной гривой леса ласково разгорается заря. Тлеют черные покровы душной ночи, наливается утренний воздух свежим запахом смол. Травы и цветы, разбуженные росой и омытые ею, сладко дышат встречу заре, а звезды, сверкая, уходят с востока на запад. Яростно споря друг с другом, поют кочета, звонкие голоса выются в воздухе свежо и задорно, точно ребячий гомон.

Воскресенье, деревня еще спит, но уже порою раздается сонное мычание скота — звук густой, мягкий и добрый. Проснулись воробьи и прыгают по дороге, брызгая пылью, торопливо пролетает сорока, а потом, вдали, слышен ее трескучий крик. Скоро в Малинках ударят к обедне.

К вечеру собрались мы пятеро в скорняковском лесу. Я подробно рассказал товарищам о беседе с Кузиным.

Алексей сейчас же на дыбы встал.

— К чертям! — кричит. — Еще наплетут на нас, чего нет, да и выдадут всех! Разве можно верить Кузину? Что вы! У него стражник Семен — первый друг!

Ваня робко возражает:

— Дядя Петр — человек крепко обиженный и вообще он — хороший старик, ей-богу! А что со стражником дружит — так он же его с малых лет знает, грамоте учил. Нет, Алеша, ты вот что пойми — это и есть начало...

Никин задумчиво говорит:

— Да! Вот оно как, и стариков схватывает! Знать, правда, что всякая жива душа калачика хочет.

Алексей ему кукиш к носу сует.

— Вот им калачик!

— Не о том говорите вы! — вступился Егор. — Тут прежде всего надо сообразить, чем они могут быть полезны нам.

Алексей твердит свое:

— Будут полезны, как цепи железны. Вот и всё!

Начался шум и спор. Алексей с Иваном схватились так, что тихий Ваня даже покраснел весь. Никин хочет их помирить, но, видимо, сам не знает, что сказать. гово-

рит на два и тоже сердится. Я — молчу, это не мне решать. А Егор непрестанно курит, слушает всех и тоже молчит.

Сидели мы у опушки леса над рекой. Поздно было, из-за Малинкиной колокольни смотрело на нас большое, медно-красное лицо луны, и уже сторож отбил в колокол десять четких ударов. Всколыхнули они тишину, и в ночи мягко откликнулись им разные голоса тайных сил земли.

Устали спорить, а ничего не решено. Ваня грустно говорит:

— Ежели подышать на человека теплом нашей веры — должен он ожить!

— Какой ты Иван! — кричит Алеша. — Ты Марья, Агафья!

А Никин бормочет:

— Ежели на совесть взять их...

Егор Досекин встал на колени, отбросил папиросу и, глядя на всех сразу, решительно заговорил:

— Горазды мы спорить, а все-таки пора кончать, вечер-то убили. Взвесьте вот что: Кузин человек известный, полиция его уважает, он свободен, всюду ходит — разве мы в таком ходатае не нуждаемся? Это раз. А что он со стражником дружит — чем плохо? Вот и пускай он прежде всего скажет этому стражнику, чтобы его благородие не замечало нас, чтобы осень и зиму не пришлось нам, как в прошлом году, прятаться по оврагам да ови-нам, мерзнуть и мокнуть.

— Вот это верно! — сказал Авдей усталым голосом.

— Уж коли они догадались о нас, — продолжает Досекин с усмешкой, — прятаться нам поздно и говорить тут не о чем. О других я ничего не скажу, а Кузин — полезный человек.

— Вот увидите, какой он! — радостно воскликнул Ваня и, обняв Алексея, уверяет его: — Ты не бойся! Мы их живо обратим.

— А ну вас к чертям! — свалив его на землю, весело говорит Алеха. — Разве я боюсь чего? Не из страха говорю, а — время жалко — когда мы их обломаем? Нам самим некогда учиться-то!

Свертывая папироску, Досекин четко сказал, не глядя на меня:

— А учить их не наше дело. Это уж Егор Петров учитель.

Порешили на том, чтобы Кузин свел нас со своей компанией в ближайший свободный день, местом выбрали пустую летом землянку лесорубов в скорняковском лесу.

Ваня сияет, катаясь по песку и выкрикивая:

— Ей-богу — хорошо это, братцы! Будут они нам помощники!

Вдруг зоркий Алексей приложил руку ко лбу, поглядел вдаль и ворчит:

— Стражник...

Видим — из-за мельниц вышел толстоногий и мохнатый серый конь. Мы все в лунном свете, и, должно быть, нас ясно видно на желтой полосе песка.

— Разойдемся? — не то советуя, не то спрашивая, молвил Егор.

Никто не шевельнулся, хотя разойтись нам легко: лес вплоть, а верхом по лесу без дороги далеко не ускачешь.

— Ничего! — шепчет Ваня.

— По-моему, он — дурак! — неожиданно сказал Авдей.

Ждем. Все более гулко топает конь, покачивается в седле большое стражниково тело, и земля словно отталкивает его черную тень. Нам жутко. Сдвинулись теснее, молчим, а где-то заунывно воет собака, и плеск реки стал ясно звонок.

Блестит медный знак на шапке стражника и ствол ружья в руках у него, видно его чернобородое лицо, бессонные глаза, слышен запах лошадиного пота. Лениво фыркая, конь прядает ушами и, наезжая на нас, нехотя влачит по земле тяжкую тень всадника.

Плывет хриплый Семенов голос:

— Что за люди?

Ваня, выдвинувшись вперед, ответил:

— Мы.

Конь остановился, мотая головой.

— Чего делаете?

— Гуляем.

— Беседуем, — добавил Алексей.

Семен, подняв ружье дулом в небо, наклонился вперед, поглядел.

— Чужие есть?

Тёзка мой ответил:

— Все свои.

Помолчав, стражник дремотно говорит:

— Шли бы спать. Полуночники! Разве без девок гуляют?

И дернул повод.

— Н-но!

Как бы прощаясь с нами, конь круто наклонил голову, тяжко ударил копытом в землю, а не тронулся.

— Н-но! — крикнул стражник, широко разинув рот, толкнул лошадь прикладом в шею и поехал вдоль реки, косясь на нее.

А мы пошли по домам.

— Стара у него лошаденка, — тихо сказал Авдей.

Все молчат, идя тесной кучкой.

— Ишь хребет-то провис как...

Егор Досекин обернулся назад, поглядел и говорит:

— Видно, на мельницу поедет, пьянствовать...

У меня вдруг вспыхнуло желание догнать стражника и поговорить с ним один на один. Задел он меня чем-то.

— Я еще погуляю, братцы.

Алексей молча двинулся за мной.

— Нет, — говорю, — я один.

И пошел прочь от них, а они, стоя на дороге, замахали руками, вполголоса споря о чем-то. Понимаю, что беспокоятся они, и это мне приятно.

— До завтра! — кричит Ваня.

Снял шапку, отмахнулся им и, выйдя на реку, шагаю берегом, против течения. Река вся в луне, точно серебряным молотом кована; течет и треплет, полощет отражение мое, наполняя душу миром, приводя ее в ласковый, грустный строй. Из-за леса облака плывут, верхний ветер режет их своими крыльями, гонит на юг, а на земле еще тихо, только вершины деревьев чуть шелестят, сбрасывая высохшие листья в светлый блеск воды. Плавают в ночной тишине отдаленные звуки сторожевых колоколов, проводя отошедшие часы; трепетно сверкают в прозрачной высоте одинокие крупные звезды лунной ночи, и дивит ночь ум и глаз разнообразной игрой света и теней и загадочными звуками своими. Напилась земля за день

солнцем, крепко спит, пышно одетая в травы и цветы, а леса молча сосут ее теплую, сочную грудь.

Люблю я ходить летними ночами один по земле — хорошо думается о ней и о мире в эти часы, точно ты углубил корни до сердца земного и вливается оттуда в душу твою великая, горячая любовь к живому.

На повороте моей тропы из-за кустов выдвинулся Семенов конь и прынул в сторону, испугав меня и себя.

— Кто?.. — крикнул стражник, матерно ругаясь, и направил ружье меж ушей коня сверху вниз — тоже испугался.

А узнав меня, ворчит:

— Что вас чорт таскает по ночам-то!

— А тебя?

— У меня — служба!

— Вот и у меня тоже, — смеюсь я. — Ты за ворами следишь, а я за звездами.

— За звездами...

Он свалился на землю, словно куль муки, бросил поводья в куст и, разминаясь, спрашивает хрипло:

— Куришь? Ну, я один покурю. Сесть, что ли...

Уселись на песке рядом, он положил ружье на колени, зажег спичку, поглядел на меня, мигая глазами, и, глядя ствол ружья, говорит:

— Росы хороши... Дождей мало, а вот росы обильные. Говорят — вредно это хлебу.

Курит он жадно, глоток за глотком, точно боится, что отнимут у него папиросу.

Я спрашиваю его:

— Что, дядя Семен, доволен ты этой службой?

— Ничего! Что ж? Катаюсь вот! — не сразу молвил он.

И бросив окурок, зарыл его в песке каблуком сапога.

Спрашивает:

— Ты в солдатах служил?

— Нет.

— А походка у тебя — как у солдата...

Хочу я разговориться с ним и — не умею, не могу начать. Веет от него водкой и еще чем-то тяжелым, что связывает мысли.

— А что, — мол, — Петр Васильич Кузин не родня тебе?

— Кузин? Нет!

Роет ногой яму в песке. Лицо у него тупое, мертвое, и темные глаза стоят неподвижно, как у рыбы. Нехотя и задумчиво говорит:

— Я его уважаю, хороший старик. Умный, священное писание знает.

Замолчал и снова закурил. И медленно, будя во мне скучную досаду, тянет слово за словом:

— Только и он тоже — сдает, да! С той поры, знаешь, как пошатнулся народишко, и он, старый, склоняется...

— Куда? К чему?

— Вообще! Как все: против начальства... да и насчет бога слабее стал. Когда я жил у брата, у Лядова, — знаешь? — он туда часто приходил. Придет и сейчас спорить: все, говорит, неправильно. А теперь я живу у Кузьмы Астахова — поругался с братом, — а он, Петр Васильич, к Астахову не ходит, тоже поругался. Не знаю, как он теперь...

— А тебе надо знать, кто как думает? — спрашиваю я. Он тянет:

— Да-а, как же? Надо! Я и знаю все.

Мне кажется, что он говорит все с большим трудом. Тяжело сидеть рядом с ним. Все его слова — вялые, жеванные, добывает он их как бы с верху души и складывает одно с другим лениво, косо, неладно. И я думаю, что подо всем, что он говорит, легло что-то черное, страшное, он боится задеть эту тяжесть, от нее неподвижны его темные глаза и так осунулось худое, заросшее жестким волосом лицо.

— Что же ты знаешь? — дерзко и громко спрашиваю.

Он поднял голову, посмотрел на меня, оглянулся вокруг и говорит, словно бредит:

— Все, что обязан службой. У скорняковского лесника, сказано мне, сын бежал из ссылки. В Малинках сухопаренькая учительница народ мутит — сейчас дьячок ко мне: гляди, Семен! Астахов Кузьма тоже за всеми следит. Только он сумасшедший, Кузьма-то.

Мне уже не хочется, чтобы он говорил, как-то стыдно и неловко слушать эту речь, проходящую как сквозь сон. А он тяжело ворочает языком:

— Все у него крамольники и воры, и брат мой и ты — все как есть. Брат мой подлец, ну не крамольник! Просто — жулик.

И вдруг он встрепенулся, точно его кто-то невидимый ударил сзади по шее, мотнул головой, отодвинулся от меня и, держась рукой за горло, хрипло и быстро говорит:

— Это всё — идиёты! Все как есть — и Кузьма, и До-секин, и дьячок... Не о том думают они, знаешь? Я тебе говорю — совсем не о том!

Неуклюже поднялся на ноги, выправляя свое тело, и опять хрипит:

— Я тебе однажды скажу, погоди... я, брат, такое дело знаю... такое видел... прямо — умирать надо! Я тебе говорю: люди — как трава — р-раз! — и скошены. Как со-лома — вспыхнули, и — нет их! Дым, пепел! Одни глаза в памяти остаются — больше ничего!

Он подвинулся к лошади, держа ружье, как дубину, за конец дула, и, не глядя на меня, заорал на лошадь, спутавшую поводья, начал пинать ее ногой в живот, а потом взвалился на седло и молча, трусцой поехал прочь.

Я сижу на песке, точно пьяный, жутко мне, темная тоска в душе. Над водой поднимается предутренний, кисейный парок, он кажется мне зеленым. Сзади меня гнутся ветви кустарника, из них вылезает мой тёзка, отряхиваясь и поправляя шапку. Удивленно смотрю на него и молчу.

— А я, — говорит, — лежал и слушал. Н-ну и чадо!

— Это вы зачем же?

— Да так! — объясняет он, опустив глаза. — На всякий случай. Мы сообща решили посмотреть... Кто его знает?

Я крепко тискаю его руку, хотя мне смешно.

— Что же вы против него можете?

— Ну, у меня ножик есть! Закричал бы, ежели что.

Я обнял его за плечи, и мы не торопясь пошли в деревню.

— Смелый ты человек, Егор Петрович! — задумчиво говорит тёзка, стараясь шагать в ногу и заглядывая мне в лицо. — Я бы вот не стал говорить с ним один на один, ну его! Боюсь этаких...

Мне понравилось, что он первый заговорил на ты, и случилось как-то так, что я рассказал ему в то утро всю мою извилистую, интересную жизнь. Это бывает иногда: вдруг неудержимо захочется говорить о себе, рассказать все, что прожито, ввести другого человека в свою душу,

показав все, что понято тобою в ней и дурного и хорошего. В нашем деле это необходимо: нужно, чтобы товарищ вполне знал, кто ты и чего ему ждать от тебя в тот или иной трудный час жизни. С того времени наша дружба окрепла, так что даже в деле, где всегда люди ссорятся, мы с ним поладили мирно.

Это было через некоторое время после того, как стало известно о моей связи с Варей. Поздно ночью шли мы с ним из Боярок, где объясняли мужикам думские дела и подлое поведение депутата нашей округи. Шли не торопясь, разговаривая о том, что видели, довольные мужиками и собою.

Неожиданно он спрашивает:

— Верно, что ты сошелся с Варварой?

— Верно, — мол.

Крякнул он и, сдернув шапку, помахивает ею над головой. Молчит.

Дорога узкая, темно, мы идем плечо к плечу и, когда запнемся за корневище, толкаем друг друга.

— Ты, — говорю, — что замолчал?

Тогда он тихонько ворчит:

— Обидно, брат, мне несколько! Я было тоже рассчитывал на нее... да вот и прозевал!

Я смутился. Что тут скажешь?

И глупо говорю:

— Этого я не знал.

— При чем тут знатье? — невесело восклицает Егор. — Тут — счастье. Я за нею со святок ходил, уговаривал ее, а выпало тебе. Жениться, видишь ты, мне совсем неохота, то есть так, чтобы своим домом жить и все, — на этом даже уж и отец не настаивает, поборол я его. А она — баба свободная, хорошая...

— Да, хорошая! — невольно поддакнул я.

— Ведь верно?

И вдруг оживился, толкнул меня плечом:

— Ты гляди — вот я тебя и моложе и с лица получше, ты не обижайся, ладно? А однако она тебя выбрала! Стало быть — не быка ищет баба, а человека!

Не совсем понимаю его, не знаю, что сказать, и бормочу:

— Разве же ты бык?

— Такова поговорка. Я, признаться, до этого раза баб не дорого ценил: «Нужна баба, как и клеть, а для бабы надо плетъ», — поется песня. А теперь — задумался: пожалуй, ведь и у нас могут образоваться женщины, подобные городским, а?

Теперь, когда я понял его, мне стало жалко тѣзку, известно пред ним; взял его под руку и прошу:

— Вот что, Егор, ты, пожалуйста, не обижайся на меня, да и на нее, ты же понимаешь...

Он меня остановил:

— Ну при чем же тут вы? Обижаться мне на себя надо — хотел, а не достиг. Нет, насчет обид — это ты оставь, надо, чтобы ничего лишнего между нами не было, не мешало бы нам дело двигать. Я, брат, врать не буду: мне скорбно — зачем врать? И не знаю, что бы я сделал, кабы не ты это, другой... А тут я понимаю — человек на свой пай поработал, отдых-ласку честно заслужил...

Тронуло это меня.

— Спасибо, Егор...

— Ведь если друзья — так друзья! — ответил он.

И пошли оба мы молча, вплоть друг другу. Но долгое время было мне неловко перед ним, а он, видимо, почувал это; как-то раз спрашивает:

— Ты, слышь, учить ее начал?

— Да.

Смотрит на меня, улыбается и говорит:

— Ишь! А я бы не догадался, наверное.

Ясно мне, чего парень хочет.

— Она сама, — говорю, — подсказала мне.

— Ну-у?

Очень удивился и с той поры начал величать ее по отчеству, а когда узнал, что она и склад книжек устроила у себя, радостно хохотал, крутя головой и гордо покривая:

— Вот это так! Это, брат, хорошо-о! Ежели бабы с нами будут, я те скажу — до удивительных делов можем дожить! Ей же богу, а?

... И вот пришла ночь нашего знакомства с людьми Кузина. Весь день с утра шел проливной дождь, и мы явились в землянку насквозь мокрые. Они уже все четверо были там и еще пятый с ними.

Суетится в подземной черной дыре Милов, конфузливо одергивая мокрую, залатанную и грязную рубаху, мигает линючими глазами и тонко, словно комар, поет:

— Здравствуйте, гости дорогие... нуте-ка, садитесь-ка!

А сесть негде — землянка набита людьми, словно мешок картофелем, она человек на шесть вырыта, а нас десятеро.

Гнедой тоже орет:

— Ага-а, вот они!

Он выпачкал рожу сажей, дико таращит глаза и похож на пьяного медведя: поломал нары, разбивает доски ногами, все вокруг него трещит и скрипит — это он хочет развести светец в углу на очаге; там уже играет огонек, приветливо дразня нас ласковыми желтыми языками. В дыму и во тьме слышен кашель Савелия и его глухой голос:

— А ты скорей раздувай, Гнедой!

Присмотревшись, видим в углу троих — словно волостной суд там заседает: солидно распространил по нарам длинное свое тело Кузин, развесил бороду, сидя на короткох обок с ним, Данило Косяков, человек, нам не обещанный и, кроме как по имени, никому не знакомый — всего с месяц назад явился он неведомо откуда сторожить скорняковский лес.

— Вот черти! — тихонько ругался Алеша. — Притащили кого-то, не спрося нас!

Егор тоже недоволен, сопит носом. Молча усаживаемся на землю, подстилая под себя доски, а Милов топчется, дергая свою рубаху, и бубнит:

— Проникла водица... разрушилась жилища-то, две зимы не жили в ней...

Резво взыграл огонь, взметнулась тьма, прижалась к черным стенам, ко крыше землянки и дрожит, торопясь восатся в землю.

— Святой огонек, батюшка, обсуши, обогрей! — весело говорит Кузин.

Савелий, пожимаясь, кашляет, а лесник, темный и мохнатый, словно кикимора, озирает нас маленькими острыми глазками.

— Допрежде надо выпить! — кричит Гнедой, вытаскивая откуда-то пару бутылок водки. — Для откровенности.

— Для храбрости! — добавил Милов, сидя на корточках пред огнем и протягивая к нему серые руки с растопыренными пальцами.

Выпили.

Трешит, поет огонь, качаются стены землянки под толчками испуганных теней.

— Ну, теперь определись к месту! — говорит Кузин, чувствуя себя уставщиком. — Надо начинать благословясь.

— Надо сразу, по-солдатски! — шлепая рукою по груди, кричит Гнедой, стоя посреди землянки спиною к огню.

— Ты погоди! — пробует Савелий остановить его, но солдат, как огонь, сразу взвился, закрутился, затрещал.

— Годил, довольно! Я, ребята, желаю вам сказать, как это вышло, что вот, значит, мне под сорок, а иду я к вам и говорю — учите меня, дурака, да! Учите и — больше ничего! А я готов! Такое время — несет оно всем наказание, и дети должны теперь учить отцов — почему? Потому — на них греха меньше, на детях...

Лесник крикнул и тоже кричит:

— Верно! У меня сын, Василей...

— Главное тут... — тихонько стонет Мил Милыч, дергая меня за рукав. — Живем на горке, хлеба ни корки...

— Дайте мне объяснить! — орет солдат, дико поводя глазами, красными, как уголья, в слезах от дыма.

— Вы думаете, они нам верят, молодые? Нисколько не верят! Так, ребята? Я — знаю! Разве можно нам верить, ежели мы — подлецы, а? Вот я, вот Кузин, али мы не подлецы?

Старик откинулся к стене и, качая головою, говорит:

— К чему ругаться-то?

— Верно! — соглашается Гнедой. — Это я зря, не надо ругаться. Ребята! — дергаясь всем телом, кричит он. Вокруг него летает лохмотье кафтана, и кажется, что вспыхнул он темным огнем. — Ребятюшки, я вам расскажу по порядку, слушай! Первое — работал. Господь небесный, али я не работал? Бывало, пашу — кости скрипят, земля стонет — работал — все знают, все видели! Голодно, братцы! Обидно — все командуют! Зиму жить — холодно

и нету дров избу вытопить, а кругом — леса без края! Ребятенки мрут, баба плачет...

Савелий резко махнул на него рукой и перебил речь:

— Перестань, не вой! Жизнь для всех одинакова.

— Нет, врешь! Не для всех! Али я хуже китайца?

Освещенное красной игрой огня, худое лицо Савелия горит и тает. Глядя в нашу сторону навсегда печальными глазами, он, тихо покашливая, резонно говорит:

— Они сами мужики и наружную жизнь нашу знают.

— Дай мне сказать, Савел!

Егор толкает меня под бок и шепчет:

— Задело солдата.

— Ну, взяли меня на службу, отбыл три года, хороший солдат. И — снова работаю десять лет. И клянусь земле: ведьма, горе мое, кровь моя — роди! Ногами бил ее, ей-богу! Всю мою силу берешь, клятая, а что мне отдала, что?

— Всем одинаково, — говорит Савелий упрямо. — Ругать землю не за что, она — права, земля.

— Верно! Только надо это понять, надо ее видеть там, где ее знают, где ее, землю, любят. Это я, братцы мои, видел! Это и есть мой поворот. Началась эта самая война — престол, отечество, то, сё — садись в скотский вагон! Поехали. С год время ехали, под гору свалились... Вот китайская сторона... Смотрю — господи! да разве сюда за войной ездить? Сюда за умом! За умом надобно ездить, а не драться, да!

Он матерно выругался и завыл, подпрыгивая:

— Ребята! Это совсем неправильно, что человек человеку враг... кому я враг?

— Ну, это ты оставь! — крикнул Савелий.

И лесник тоже говорит:

— Это уж не подумавши сказано.

Закрыв глаза, солдат тоскливо поет:

— Я зна-аю! Ну да, ах господи! Дак ведь это же обман, дурачье вы! Почему китаец мне враг, а? Ну, почему?

— Конечно, — тихонько шепчет Мил Милыч, — все земные люди о Христе братия...

— Разве они и я — по своей мы воле лютуем? Братцы! Вот что верно: у всех один закон — работа для детей своих,

У всех одна есть связь! Есть связь или нет? Есть! Спрашиваю я этого китайца, примерно: «Как работаете, землячок?» А он ответ дает: «Вот она, наша работа!» Он — смирный, уважительный, здоровенный, китаец-то. И вовсе он не хотел драться, жил тихо, в сторонке, а наши его разоряли — жгут, рубят, ломают, — ф-фу, боже мой! До слез жалко это! Кабы он захотел драться, он бы насыпал нам сколько ему угодно! Ну, он хоша здоровый человек, но грустный такой, смотрит на все и думает: «Вот сволочи! и — откуда?» Земля у него — пожмешь ее в горсти, а хлебный сок из нее так и течет, как молоко у коровы стельной, ей-богу! Ежели китайца добром спросить — он добру научит! Он земле свой, родной человек, понимает он, чего земля хочет, убирает ее, как постелю, э-эх!

— Где же у нас земля? — шепчет Милов. — Нету ее...

— На могилу только дано! — вторит ему Савелий.

И словно некая невидимая рука, схватив людей за груди, объединила всех и потрясла — застонало крестьянство, начался древний его плач о земле.

Дымно, парно и душно в землянке, по крыше хлещет дождь. Гудит лес, и откуда-то быстро, как бабья речь, ручьем стекает вода. Над углями в очаге дрожит, умирая, синий огонь. Егор достает пальцами уголь, чтобы закурить папиросу, пальцы у него дрожат и лицо дикое.

— Остановить бы их? — тихо предлагает Ваня.

— погоди! Скоро опустошатся! — говорит Егор. — Немножко почадят и погаснут.

Милов подкидывает дрова в очаг и плачет, от горя или дыма — не понять.

— На реках вавилонских тамо седоком и плачем, — грустно шепчет мне Ваня.

А у меня кружится голова, в глазах мутно, и мне кажется, что все мы не в яме под землей, а в тесной барке на бурной реке.

Лесник высоким голосом что-то говорит о своем сыне, Савелий с Миловым ругают крестьянский банк, Кузин громко говорит возбужденному Алеше:

— Верно, милый, так! Переели господа-то, да и обветшала утроба их в работе над пищей, вкусной и обильной!

И весь этот тревожный галдеж покрывает пропитанный запахом перегорелой водки ревуший голос Гнедого. Он

закрыв глаза, размахивает руками, и, должно быть, ему уже все равно — слушают речь его или нет.

— Я видел порядок, я видел! Кончилось это самое китайское разорение, начали мы бунтоваться — вези домой! Поехали. Три, пять часов едем, сутки стоим — голодуха! Обозлились, всё ломаем, стекла бьем, людей разных, сами себя тоже бьем — мочи нет терпеть, все как бы пьяные, а то сошли с ума. Вдруг — слушай, ребята! Приехали на станцию одну, а на ней — никакого начальства нету, одни сами рабочие, чумазый разный народ, и вдруг говорят они: стой, товарищи! Как это вы — разве можно добро ломать и крушить? Кем все сработано?

Задохнувшись, он остановился, глядя на всех удивленными глазами. Растрепался весь, точно петух в драке, — все перья дыбом стоят.

Кузин пробует остановить его:

— Рассказывал ты это двадцать раз.

— Стой! Это надо понять! Что случилось? Грозного начальства не слушали мы, а их — послушали! Был беспорядок, суматоха, мятеж, вдруг — нет начальства и все товарищи! Оказана нам всякая забота, едем без останову, сыты и видим везде — переворот, сами рабочие правят делом, и больше никого нет. Тут мы присмирели — что такое? Говорят нам речи, так, что даже до слез, мы кричим — ура. В одном месте барыня молодая, в очках, наварила каши, щей — кто такая? Товарищ! И говорит она: всё, говорит, от народа, и вся земля и обилие ее — народу, а?

— Михайла! — отчаявшись, кричит Кузин, — да перестань ты, Христа ради! Развел шум на весь лес — а все старое, слышано все!

Солдат так и взвился:

— Да вы этого, сто раз слыша, не поймете! Каторжники, — ведь это опрокидывает всю нашу океанную жизнь! Товарищи все, все дело взято в общие руки, и — больше ничего!

И обращается к нам:

— Ребята, вы-то так ли понимаете?

Этим вопросом он погасил гомон, словно тулупом покрыв его. Снова стал слышен веселый треск огня, шум

дождя в лесу и падение капель воды сквозь размытую крышу.

— Дай мне слово, — шепчет тёзка и суровым голосом старшего говорит:

— Именно вот так мы и думаем, так и веруем: все люди должны быть товарищами, и надо им взять все земные дела в свои руки. Того ради и прежде всего должны мы самих себя поставить в тесный строй и порядок, — ты, дядя Михайло, воин, тебе это надо понять прежде других. Дело делают не шумом, а умом, волка словом не убьешь, из гнилого леса — ненадолго изба.

Говорит Егор всегда одинаково: громко, мерно, спокойно. Его скуластое лицо никогда не дрогнет во время речи, только глаза сверкают да искрятся, как льдинки на солнце. Иной раз даже мне холодновато с ним — тесна и тяжела прямота его речей. И не однажды я сетовал ему:

— Очень ты строг, тёзка, пугаются люди тебя...

А он, прикрывая кремневые свои глаза, объясняет:

— Теперешний человек особой цены для меня не имеет, да и для тебя, наверно, тоже, так что если он слов испугается и отойдет — с богом! Нам — что подтверже, пожилотоватей. Для того дела, которое затеяно жизнью, — как выходит по всем книгам и по нашему разумению — самой вселенской хозяйкою жизнью, так? Ну, для этого дела нужны люди крепкие, стойкие, железных костей люди — верно?

Соглашаюсь:

— Верно.

Так и теперь: вытянулись к нему все шеи, все головы, а он точно рубит их словом.

— Дело наше, как известно, запретное, хотя все оно в том, что вот учимся мы понимать окружившее нас кольцо тяжких наших бед и нищеты нашей и злой да трусливой глупости. Мы, дядя Михайло, понимаем, какой ты сон видел...

— Эх! — крикнул Гнедой, закрыв глаза. — Верно, сон!

— И понимаем, что ты почуял верную дорогу к жизни иной, справедливой. Но однако как забыть, что человек ты пьющий, значит — в себе не волен, сболтнешь что-нибудь пьяным языком, а люди от того беду принять могут.

— Погоди! — тихо говорит Гнедой, протягивая к нему руку. — Конечно, я пью... Отчего? До войны ведь не пил, то есть выпивал, но чтобы как теперь — этого не было! Жалко мне себя! Ударило, брат, меня в сердце и в голову... Но я — брошу вино, ежели что!

Ваня говорит тихо на ухо мне:

— Заверотил Егор...

Вижу, Кузин смотрит на тёзку сердито.

«Плохо!» — думаю.

Алешка трет коленки себе и ухмыляется. Никин, как всегда, молчит и словно черпает глазами все вокруг. Прыгает, играет огонь в очаге, живя своей красной, переливчатой жизнью, напевая тихие, веселые, ласковые песни. Дует ветер, качая деревья, брызгает дождем.

Мужики сумрачно молчат, глядя на Егора исподлобья. Колышутся в землянке серые тени, уже не боясь игры огня.

— Вот ты, — продолжал Досекин, — взял привычку на улицах богатых ругать, с этого они не полопаются, дядя Михайло...

Кузин откашлялся и солидно заговорил:

— Тебе, Егорушка, двадцать шесть годов-то, помнится, а мы все здесь старше тебя — товарищей твоих не считаю. Говоришь ты однако так начальственно...

— Что ж — вы начальство любите...

— А может, и у нас, стариков, есть чему поучиться...

— Нечему нам учиться у вас, Петр Васильич...

И оба неласково смотрят друг на друга.

— Так! — обиженно сказал Кузин.

— Да! — говорит Егор. — Чему бы вы поучили нас? В ту пору, когда вся русская земля вскинулась, — где вы были?

— Не поняли мы... — сказал Савелий.

— От вашего непонимания множество людей погибло...

— Оставить бы эти речи! — попросил лесник. — Мы понимаем: ваша правда — та самая, которая всем нужна, чтобы жить...

— Не для ссоры сошлись! — робко кинул Милов.

— Говорить надо про то, что делать и как, — задумчиво и негромко сказал Савелий. — Я, конечно, человек, лишенный здоровья, жить мне месяцы, а не годы, однако

хоть бы напоследок-то поумнее пожить. Бит я загодя без вины, надо бы сквитаться...

Снова заговорил Досекин.

— Никого я обидеть не хотел, а говорил, чтобы поняли вы: дело — великое, оно требует всего человека, и мы в этом деле понимаем больше вас; пусть вы старше, мы не говорим, что умнее мы вас, мы — грамотнее.

— Ну да! — крикнул Кузин. — Али мы спорим? Вы говорите планты-то ваши.

Егор указал на меня.

— А это вам тёзка скажет.

Весь этот разговор, близкий ссоре, наваял на душу мне и грусть и бодрость: жалко было мужиков, моргали они глазами, как сычи на свету, и понимал я, что каждый из них много перемолол в душе тоски и горя, прежде чем решиться пойти к парням, которых они помнили бесштан-ными. Нравилось мне внимательное и грустное молчание Вани, смущал Авдей жадными глазами своими, и не совсем понятна была опасная прямота Егора.

Заговорил я о плане нашей работы объединения людей и сначала понимал, что хорошо складываются мысли мои, стройно и певуче звучат слова, а потом позабыл следить за собой и все позабыл, кроме того, во что верую. Смутно, как сквозь утренний туман далекие звезды, вижу вокруг себя человечьи глаза, чувствую содеянную мною тишину; очнулся, когда Никин, дернув меня за руку, громко шепнул:

— Погоди!

Все люди напряженно вытянулись к двери землянки, а за нею ясно слышен какой-то шум, лязг, жестяной шорох. Вот она медленно открылась, сгибаясь до пояса, в яму грузно свалился стражник и угрюмо сказал:

— Здрово!

Кузин не вдруг и сердито откликнулся:

— Здравствуй, коли не шутишь!

Лесник подвинулся к очагу, поправил головни. Радостно вспыхнул огонь. Милов сидит на корточках и виновато смотрит на стражника снизу вверх, как собака на коня. Жаль — хвоста у него нет, а то бы вилял, бедняга!

— Это что за совет нечестивых? — глухо спрашивает Семен.

Гнедой рычит:

— А ты бы не ломал комедию-то!

— Тебе что надо? — спрашивает Кузин, звонко и быстро.

— Это ты, Петр Васильич, народ собрал?

— Ну, скажем, я...

Стоит Семен в тени, осматривая людей невидимыми глазами; на голове у него черный башлык, под ним — мутное пятно лица, с плеч до ног колоколом висит омытая дождем клеенка, любопытно скользят по ней отблески огня и, сверкая, сбегает вода. Он похож на монаха в этой одежде и бормочет, точно читая молитву:

— Значит — разговор у вас идет... о божественном прение... это ничего, допускается... это не заказано!

Кузин зло ухмыляется и смотрит на него, а Гнедой вдруг кричит, как женщина:

— А ты иди, поезжай, доноси, Иудин сын!

И зловеще хрипит Савелий:

— Худо кончишь, Лядов, продажная душа!

Стражник вскинул голову и глухо сказал:

— Иди-ёты!

У меня тревожно дрогнуло сердце, когда упало это слово, сказанное с великою тоскою. Хрустя клеенкой, он медленно полез наверх по оплывшим ступеням, угрюмо и громко говоря:

— На мельницу, в шинок, Сашка пришел и сказал, что вы тут... Я должен знать... кто — где...

Потом уже наверху раздался его сырой голос:

— Н-но... Ну! Дьявол...

И зачмокала грязь под копытами лошади.

Тогда все вдруг начали говорить торопливо, смущенно, нескладно...

— Пьяный! — сказал Гнедой.

— Конечно! — подтвердил Савелий. — Из шинка явился.

— Напрасно, пожалуй, обругали его! — улыбаясь, заметил Кузин.

Лесник, качая головой, молвил:

— Нескладный он у вас человек!

— От кого мог узнать Сашка? — строго спросил Егор.

Сашка — это работник Астахова. Алеша виновато объяснил:

— Когда мы с Иваном шли — видел он нас.

— Видел? — переспросил Егор и задумался.

Озлобленно и громко раздается голос Авдея:

— Я вам скажу: Кузьма Астахов неотвязный за нами сыск нарядил, и Сашка и Мокей везде про нас спрашивают.

Никин говорит долго, сует в воздух кулаками, лицо у него гневное. Мужики слушают молча, но, видимо, не верят ему, зная его историю с дочерью Кузьмы.

— Ну, пес с ими! — воскликнул Кузин. — Эка важность — следят! А вот, — обратился он ко мне, — хорошо ты говоришь, Егор Петров! Как псалом прочитал!

Вмешался Гнедой:

— Вот это самое и по железной дороге говорили, слушал я и вспоминал — это!

Кузин задумчиво продолжает:

— Может — недостижимо, но жить, веруя в такой мир, — это я понимаю, брат, хорошо с этим жить-то!

Поднялся Милов и тихонько сказал:

— А не пора ли по домам? Поехал он, этот...

Все засмеялись, кроме Савелия, — блестя глазами и грозя кулаком, он проговорил за один дух:

— Понимаю я теперь, почему они брызжут змеиной своей слюной яростно так, — куда им деваться, ежели народ на такой путь встанет, ага!?

— А расходиться пора! — сказал Егор, вставая с пола.

Савелий спросил:

— Кто здесь останется ночевать со мной?

Милов согласился с ним:

— Тебе по мокро вредно ходить, давай — я останусь.

Замечаю, что лесник смотрит на меня и подмигивает мне на дверь. Что бы это значило?

И остались все, кроме Кузина, меня, Егора и лесника.

Мы вылезли из ямы. Было темно и сыро, как в глубоком колодце. Дождь перестал, но ветер тряс деревья, и с них падали на головы нам крупные, тяжелые капли дождя.

— Фонарь бы нам! — спотыкаясь, вздохнул Кузин.

— А еще лучше — карету! — весело заметил Егор. —
Архирееву бы...

Лесник смеется.

Под ногами быстро текут невидимые ручьи. Тяжело и
плотно легла на грудь земли сырая ночь, и пьет земля
животворную влагу, захлебываясь ею, как ребенок моло-
ком матери.

— Хорошо, брат, Егор Петров, речи ты говоришь! —
ворчит Кузин, качаясь впереди меня и обильно брызгая
водой и грязью на ноги мне. — А ты, Досекин, неладно!
Ты, милый, нехорошо...

Егор спокойно отвечает:

— Ты, Петр Васильич, на свой счет сказанного мною
не принимай, я тебя прошу.

— Все равно! — говорит Кузин, но уже мягче. — Все
равно это, — я, не я.

Лесник дернул меня сзади за рукав и шепчет:

— Мне бы поговорить с вами надо...

— О чем?

— Дело есть. Тут сейчас тропа свернет на сторожку
мою — может, зайдете? С версту всего. А они пускай
идут...

Едва слышу его шопот в шуме воды и шорохе деревьев,
невольно замедляю шаг, а Кузин и Егор уже растаяли,
скрылись во тьме, нырнув в нее, как рыбы в омут.

— Извините, — толкая меня, говорит лесник, — это и
есть поворот... Вы Филиппа Иваныча знавали?

Вздрогнул я, насторожился, молчу.

— Который в город Налим, что ли, сослан был?

— Знал немного, — говорю, а у самого даже ноги дро-
жат с радости: Филипп-то дорогой мне человек, духовный
крестный мой, старый вояка и тюремный житель. Он и до
переворота дважды в ссылке был, и после него один из
первых пошел. Человек здоровенный, веселый и неумного
упрямства в деле строения новой жизни.

— Где он? — спрашиваю, чувствуя уже, что друг
близко.

— В городе, — тихо говорит лесник. — Он бежамши
вместе с сыном моим, и через сына я имею записку его
к вам.

— Давайте-ка!

— А как? Она в шапке зашита, да и прочитать здесь нельзя — темно.

Верно, нельзя. Все вокруг мокро, все течет теплыми потоками, словно тает от радости, все дышит глубоко, влажно, жадно чмокает и шепчет благодарными шопотами к тучам, носительницам влаги земной.

— Идем скорее! — говорю.

Мелькнул за черными деревьями желтый глаз огня, уставился во тьму, прободая ее, и дрожит встречу нам, как будто тоже охвачен нетерпением.

Встали у сторожки, осевшей к земле боком, лесник тихо постучал в дверь; чей-то тонкий голос подозрительно спрашивает:

— Кто там?

— Отопри, Еленка!.. Дочь моя, хозяйка она же...

Вошли в сторожку: печь, нары, две короткие скамьи, стол с лампой на нем, книжка на столе раскрыта, и, заслоня спиною окно, стоит, позевывая, белобрысая, курносая девочка-подросток.

— Мамоньки, вымокли ка-ак! — поет она ломким голосом.

— А ты, чем дивиться, самоварко вскипятила бы! — снимаю мокрую одежду у порога, говорит лесник.

— Да я и вскипятила.

— Ну, и умница! Вот теперь сухое надеть хорошо, да, кроме штанов, нету одежды-то запасной. Ну-ка не гляди-ка, Еленка, я штаны пересниму...

— Есть и рубаха, высохла, я ее на печи посушила, — говорит дочь, бросая ему серый комок тряпья, и озабоченно ставит на стол маленький жестяной самовар, кружки, кладет хлеб, быстрая и бесшумная. Я снимаю сапоги, полные грязи и воды, смотрю на мужика — крепкий, лицо круглое, густо обросло рыжеватыми волосами, глаза голубые, серьезные и добрые, а голову все время держит набок.

— Что у тебя шея-то, товарищ?

— Мужики, черти...

— За что?

— По должности!

— Больно храбёр! — презрительно усмехаясь, говорит дочь и шмыгает носом.

— А ты — молчи! Я те дам — храбёр! — ласково ворчит лесник.

— Испугалась! — восклицает девочка и смеется.

— Я те испугаю!

Фыркнув, Еленка дружески смотрит на меня, и я тоже смеюсь.

— Приехали трое, — беззлобно рассказывает лесник, укладывая мокрую одежду на пол, — я их, значит, застиг, ну и вышла сражения. Одному я дробью в ноги шарахнул...

— Надо было! — ворчит Еленка, снова неодобрительно фыркая.

— А другой дрючком по башке как даст мне! — продолжает он, ковыряя шапку лапотным кочедыком, — я и грохнулся...

— Что ты шапку-то рвешь! — кричит дочь, подбегая к нему. — Дай-ка сюда!

— На, на, закричала! Изорвешь ее — чай, она кожаная... Грохнулся я, значит, да шеей-то на сучок и напорись — продрал мясо ажно до самых позвонков, едва не помер... Земской доктор Левшин, али Левшицын, удивлялся — ну, говорит, дядя, и крови же в тебе налито, для пятерых, видно! Я говорю ему — мужику крови много и надо, всяк проходящий пьет из него, как из ручья. Достала? Вот она, записка...

Прочитав записку, смеюсь и спрашиваю:

— Как же это ты, Данило Яковлевич, к народному делу склонен, а, охраняя вражье добро, готов людей убивать?

Он гладит колени, покачивается и солидно объясняет:

— Давно ведь это было, года за три до поворота на бунт, в то время Васютка еще в ее годах ходил, — он кивнул головою на дочь, а Еленка разлила чай по кружкам и, напрягаясь, режет тупым ножом черствый хлеб.

— В те поры и я, как все, младенцем был, никто ведь не знал, не чуял народной силы. Второе — лес я сызмала люблю, это большая вещь на земле — лес-то! Шуба земная и праздничная одежда ее. Оголять землю, охолодить ее — нельзя, и уродовать тоже не годится, и так она нами вдосталь обижена! Мужики же, со зла, ничего в лесу не видят, не понимают, какой это друг, защитник. Вают

дерево — зря, лыко дерут — не умеючи. Народ все-таки дикий! Еленка, ты бы шла на печь да и спала...

Она бежит острыми глазенками по страницам книжки, жуёт хлеб и, не поднимая головы, спрашивает:

— Али мешаю?

— Зачем? Секретов нет у нас! А спать пора тебе. Гляди — ослепнешь!

Лесник подмигивает мне: он, видимо, хвастает дочерью.

— Ты что читаешь? — спрашиваю я.

— Историю.

— А какую?

— Русскую.

— Чью?

— Учительница дала.

— Нет, кто написал?

Она удивленно подняла на меня глаза и ответила:

— Человек! А то кто же?

— Она у меня любит книги читать, — задумчиво сказал лесник. — Дух этот новый и ее касается. Я смеюсь ей — кто тебя, Еленка, ученую-то замуж возьмет? А она, глупая, сердится! На-днях здесь Ольга Давыдовна была, — знаешь, сухопаренькая учительница из Малинок? — так говорит: пришло, дескать, время русскому народу перехода через черное море несчастья своего в землю светлую, обетованную — да-а!

— Интересная книжка? — пристаю я к девочке.

— Ничего! Только про царей больше, а про нас — мало.

— Про кого — про нас?

Еленка удивленно посмотрела на меня.

— Про мужиков. Ка-акой ты непонятливый! — говорит она и сокрушенно покачивает головой.

А отец ее ухмыляется вплоть до ушей.

«Что, дескать, срезала она тебя?»

За окном мягко шумит ветер, побрызгивая в стекло крупными каплями. В сторожке тепло, пахнет сушеной земляникой, хвоей и свежим лыком. Пищит самовар, шестят страницы книги.

— Расскажи про сына-то, — прошу я лесника, — что за человек?

Он поводит плечами, степенно гладит рыжую бороду большой ладонью и довольным голосом рассказывает:

— Человек, конечно, молодой. Мы, видишь, безземельные, еще отец мой по переселенческому делу от земли оторвался, а я, как себя помню, все по людям ходил, по экономиям. Отбыл солдатчину, нанялся в лесники. Женился на молодой вдове, мужа у нее — каменщиком был — кирпичом убило на кладке, тюрьму в уезде строили. Женщина хорошая была. В первый же год он и поспел, Васютка-то. Он у меня везде — первый, во всем! У безделья обучился хорошо грамоте и в Константиновскую экономию поступил к машинам — жатки там, молотилки и прочее. А машинист оказался из новых, из ваших.

— Ты уж говорил бы — из наших.

— Ну ин так! Хоша — какой я боец? И грамоту-то едва понимаю. Ну, заметил я — читает Васюк книжки и становится со всеми суров. Спрашиваю — куда? Нам, говорит, батя, иного пути нет! Спорили. Насыкался я не раз и бить его, ну, однако чувствую — прав, лиходеи! Кое-что и сам понимаю в спорах-то с ним. А тут как раз подоспел переворот в народе, гляжу — Васька везде впереди: он и стачки устраивает, книжки, листочки сеет, речи говорит — уважение ему в народе, даром, что по двадцатому году парень. Ну, думаю, благослови тебя господи, а я — не помеха, да и помешать нельзя уж — поздно! И к чему мешать? Хозяйства у меня нету, стало быть — он свободен сам свою жизнь делать.

Еленка перестала читать и слушает рассказ отца. На ее плоском личике задумчиво и неподвижно светятся бледноголубые глазенки, и рот полуоткрыт.

Я чувствую, что леснику грустно и все-таки доволен человек кровью своей: говорит, как заветные драгоценности показывает.

— Мы с нею, — продолжает он, кивнув головой на дочь, — часто про него вспоминаем, любит она его!

— Начнет он рассказывать про Василья-то, — оживленно заговорила Еленка, — да и плетет и плетет, чего вовсе не было!

Лесник смущенно хохочет.

— Эка подлая девчонка! Гляди, как она про отца-то!

И с тою же смущенною улыбкою на добром лице он говорит мне таинственно и негромко:

— А она верно, Еленка-то: знаете, говорю я, говорю про него, да незаметно как и прибавлю чего-то — поди ж ты! Не к худу прибавляю, а к хорошему — хочется больно хорошего-то, милый человек! Ну — и забежишь вперед, али грех это? Ведь все равно — начат иной разбор людям, становится выше цена им! Вот, примерно, Василью помогли бежать, а — путь далекий, значит, больших денег стоит. Дешевому человеку не помогут, наверно. Был я у него, ходил в уезд, тайно, ночью — не узнал парня, ей-богу, право! За два года такой стал — вовсе не похож на сына моего, а ласковый, веселый — чудно все это! И товарищ его — седой уж почти, а так и прыгает скворцом! Шутит все и таково ловко да смешно — просто беда! Говорит по-крестьянски, с прибаутками, и столько их у него, будто со всего мира собрал. А веселые люди — они нужны, мало их, праздничных-то людей, однако — родятся! Хороший народ пошел, ничего кроме не скажешь! А ежели земля способна такой народ рожать, значит — хорошая она, сильная, земля-то, так ли?

— Верно, Данило Яковлевич! — тихонько откликаюсь я, а в сердце сладко бьется утренняя, светлая радость.

Когда я собрался уходить, лесник спрашивает:

— Что это за человек стражник-то у вас?

— Не знаю, — мол.

— Чуден! Намедни, ночью, обхожу я лес, а он — как памятник чугунный, стоит на лошади верхом середь поля и стоит. До-олго я глядел на него, потом окликнул. Оглянулся и поехал прочь, видимо, не признал, а ведь часто заезжает сюда, в краулку-то. На словах будто и разумен, а вот глаза у него жуткие — вроде как бы смертное из них глядит.

— Больной он, — говорю.

Ушел я от них пред рассветом. Иду лесною тропой и тихо пою — нет мочи молчать. Истекла дождем ночь и побледнела, плывут над лесом похудевшие, усталые тучи, тяжело преклонилась к земле вдосталь напоенная влагою трава, лениво повисли ветви деревьев, но еще бегут, журчат, играют веселые ручьи, прячась в низинах от близ-

кого солнца, чтобы за день не высушило их оно. Иду не торопясь и думаю:

«Хорошо быть человеком на земле!»

И вдруг, точно искра вспыхнула, вспомнил о стражнике: недавно я узнал, что он ходит около Варвары. Спрашиваю ее:

— Верно это, Варя?

Смеется:

— Есть немножко!

— Что ж ты мне не скажешь?

— А какое тебе дело?

— Как же?

— Ну зачем тебя понапрасну беспокоить! Ну, хрипит мужик, урчит! Рукам я его воли не дам, не бойся! А ты чем тут поможешь? Врага наживешь себе, больше ничего! Уж делай, знай, свое дело.

Стоит предо мной такая твердая вся, прямая, ясно улыбается, и глаза ее греют меня горячей ласкою.

После этого собрания повадился ко мне Кузин и сидит, бывало, часа два-три, интересно рассказывая о старине. Мешает, а слушаешь внимательно, оторваться нельзя. Пьет чай стакан за стаканом без конца, потеет, расстегивает одежду до ворота рубахи и вспоминает горькую старинку, страшную в простоте своей русскую мужичью жизнь. Неустанно гудит его крепкий, привычный к речам голос. Надо сказать, что, когда мужик тронется влево сердцем и умом, он немедленно начинает говорить о себе как об известном бунтаре.

— Господи! — кричит, — как этого нам не понимать, ежели мы истари бунтовались! В восемьдесят пятом году нас пороли — десятого, в девяносто третьем — пятого, четверо из нашей деревни сосланы в Сибирь! Отец мой трижды порот, дед — и не знаю сколько!

И так занесется до пращура, вспоминая все порки и ставя их как бы в заслугу себе, словно солдат ордена, за храбрость ему данные.

Иногда, слушая эти истории, с досадой хочется сказать:

«Дяденька, жизнь не тем местом строят, терпением которого ты хвалишься!»

Накануне переворота, в девятьсот пятом году, выступал я на митинге на одном, в богатом селе, так после моей речи крестьянство — старики — распалясь, кричат:

— Мы-ста! Милый, ты ученый — вспомни, где Разин основался? У нас! За него, Степана Тимофеича, сколько нас было повешено-побито, тысячи! Пугачево дело тоже не миновало нас: вон они, наших бойцов могилки, гляди, вон на бугре-то! Долгорукий князь тьму нашего народа замучил, перебил, в реку покидал!

А вскоре они, подлые, погром устроили у себя — учителя побили, доктора, молодых парней некоторых, чайную сожгли, библиотеку.

Битый человек драться любит, дадут ему палку — мать, отца не жалко, лишь бы зло сорвать.

Кузин тоже оказался исконным бунтарем.

— Вы, молодежь богова, конечно, сильнее нас, потому что имеете широкий план, для всех приемлемый...

Алексей ворчит:

— Ну, не совсем для всех...

Старик редко замечает Алешу, он не смотрит на его зловещую, как у выпи, ночной птицы, сжатую с висков голову, не видит насмешливый, немного кривой нос, всегда подстерегающе вытянутый вперед.

Похваливая настоящее, он продолжает хвастаться прошлым.

— А и мы, старые головни, тоже, бывало, светло горели! Мой род, примерно, издревле бунтовщицье гнездо-то! Мальчишкой будучи, помню, рассказывали мне, как начальство скиты наши за Волгой зорило, а подростком видел я свирепое дело — лежащий бунт.

— Ка-акой? — изумленно воскликнул Алеша, озорниково-то играя карими глазами.

— Причину того бунта не помню, только — отказались наши мужики подать платить и землю пахать, в их числе дядя мой и отец тоже. Пригнали солдат, и началось великое мучительство: выведут солдаты мужика-то в поле, поставят к сохе — айда, работай, такой-сякой сын! А народ падает ничком на землю и лежит недвижно...

— Эт-то бунт! — ухмыляется Алешка.

— Поднимут мужика, поставят на ноги, а он опять валится. Так и отлежались. Отец мой помер от побоев-то,

а дядя — Корнеем звали, могучий был мужик — навсегда здоровья лишился и тоже недолго прожил — года два али три. Оба они были из главных водителей, им больше других и попало.

Отвернулся старик, смотрит в окно, и желтый череп его кажется мне зеленоватым. Полная темных воспоминаний, за окном медленно проходит от востока на запад тихая ночь.

— А тебя, Петр Васильич, тоже били? — серьезно и смущенно спрашивает Алексей.

— Всех, молодец, били! И баб тоже! Насильничали солдатишки над ними. Девок-то перепортили почитай что всех. Была после этого на селе у нас великая скорбь, и днями летними люди жили, как зимнею ночью: все, до крови битые и кровно обиженные, прятались друг от друга, — зазорно было видеть скорбные человечьи глаза-то!

Алеша визгливо и скверно ругается и возится на лавке, как пойманная щука на горячем песке. А старик, вздыхая, перевертывает одну за другой тяжелые страницы своей жизни.

— Тогда и решил я бросить крестьянство, предался, значит, учению, да всей моей натуры книга не могла одолеть, по женской части был я очень жаден, господи, прости! Думаю, что это у меня больше с горя, с тоски, чем от развратности: книгу-то читаешь — оно хорошо, высунешься на улицу — ад безобразный! Ну и хочется человека, милого взгляда, доброго слова, а кроме женщин — у кого ласку найдешь? Да и ей, бабе нашей, ласка-то — как живая вода мертвецу. Теперь вот все иначе становится, и даже девицы как будто другие от вашего малого внимания к ним — не то они умнее, не то злее, бойчее, что ли... Думать надо, что и они себя покажут.

— Без рубах! — ворчит Алеша. Потерпев у Вари неудачу в исканиях своих, милейший мой парень жено-ненавистником стал.

— Да, ребяташки, нам, старикам, больно заметно, что все ныне сдвинулось с местов, все стягивается в одну-две линии: семо — овцы, овамо — козлищи, или как там? Понуждает жизнь человека искать определения своего! Вы это поняли, и вот — тянет за сердце меня, старого, к вам!

Вспоминаю я свою молодость — ничего нету, кроме девок, да баб, да побоев и увечий за них!

Алексей допрашивает:

— А как ты начетчиком-то был?

Старик смеется холодным смехом, словно битое стекло в горле у него.

— Так вот и был! Хожу, значит, по богатым домам, нищий около сытых, да говорю им про бога, ради страха ихнего и утешения; как бы коновал я при них — дурную кровь спускаю. Народ-от больно уж сволочь, и очень явно это, что сволочь! Вчера еще был наг и бос, яко и аз, грешный раб, а сегодня — глядишь: сыт по уши, кобенится, кичится тугим пузом, жадничает! Торговля, конечно, сѣдни — при гроше, завтра — в барыше, и, глядя по притоку пятаков, то вспомнит бога, мерзец, то позабудет, еретик! А ты его — поучай, а поучение — для утешения, а на кой мне ляд утешать его, коли он — грязное место для меня? Каркаешь, бывало, устрашающие слова и видишь — не страшно жуликам! Живут, как мухи в патоке, довольны, сыты, одеты, тепло им, покойно, только смерти и боятся, а она — далеко! И захочется нестерпимо разворошить весь дом, ну и начнешь, бывало, бабенок смущать — они благополучию главная основа-то.

Поглядываю я на Алексея — как он это принимает. Опасаюсь, не посмеялся бы над стариком, но Алешины острые глаза смотрят строго и серьезно, губы плотно сжаты, и все лицо — как топор. Холодно, со скрытой и сейчас готовой зазвенеть насмешкой льется высокий голос старика.

— Мужик-то я был ничего, приятный, здоровый, женщину привлечь особых трудов не испытывал, ну, а сдается она — тут и пошел дому развал! Зол был человек, уподобихся неясоти пустынному! Бивали меня, конечно, ногу вот капканом пересекло, потом в больнице отрезали ее...

Алеша тихонько говорит из своего угла:

— А однако, видно же, и потерпел ты на веку своем!

Старик, прищурясь, посмотрел в его сторону и ото-звался:

— Да, не пожелаю никому, даже и недругу...

И с той поры они стали смотреть друг на друга поласковее.

Однажды в праздник сидели мы под вечер полной компанией на любимом нашем месте у реки, над заводью, где вода, подобно ревнивой любовнице, жадно и настойчиво подмывает берег, кружится и течет, как бы сама против себя, обнажая корни лип, осин и берез.

Место это тем для нас хорошо, что с него видно деревню, все дороги за рекой, так что мы сразу замечаем, кто куда идет. И если покажется нам что-нибудь неладное, за нами — лес, перед нами — брод.

Собрались поговорить о Гнедом: больше месяца после собрания в землянке прошло, и все не пил солдат, а в последнее воскресенье хватил горькой слезы и устроил скандал: пошел по улице, как бездомный храбрый пес, изругал Скорнякова, Астахова, и отвезли его в волость под арест.

Было это так: в полдень после обеда вышел я с Алешей на улицу — надо было нам Кузина повидать, он в город собирался идти — вдруг слышим трубный голос нашего приятеля.

— Эй! Скорняков! Где ты, уважаемый? Вышел бы на улицу-то, показал бы миру бесстыжие свои зенки, мироед! Али и ты, грабитель, стыд имеешь, боишься, видно, людей-то, снохарь?

— Надо его остановить! — говорит Алеша. — Ты не ходи, я один лучше.

— Не будет толку! — сказал я. — Увидит он тебя, да повернет его мысли в опасную сторону, может плохое выйти для нас.

Алеша согласился, и мы стали издали следить за воином.

Дом Скорнякова высокий, на каменной подклети, солдат стоит перед ним, задрав голову так, что шапка на землю упала. В доме мечется кто-то юркий, перебегая от окна к окну. Из дворов на улицу спешно сыплются мужики, бабы, ребятишки послушать солдатова клятве, а он ревет:

— Выглянь хоть в оконце-то, Иван Захарович, покажись, почтенный человек, мы тебе всем миром в глаза плюнем!

Старуха Лаптева, крестьясь, нагнулась, подняла шапку Гнедого и, заботливо отряхнув с нее пыль, встала сзади солдата. Сгруживается вокруг него народ — все веселые,

подмигивают друг другу, ворчат, довольные скандалом, науськивают Гнедого.

— Ловко чешет!

— Так его... Иуду!

— Пленник, не жалей языка!

— Кричи, китаец!

Стоит над деревней в жарком небе золотое солнце и ослепительно смеется.

— Расскажи, вор, нам, миру, — рубит солдат, — сколько ляпинскому управляющему хабары дал, когда аренду перебил у нас? Поведай, по чьей милости Шишлина семья по миру пошла, Легостевы с голоду издыхают, Лаптев Григорий ума решился? Эй, старое базло, много ли аренды берешь за тайный шинок на мельнице на твоей? Выходи, что ли, против правды бороться, что трусишь, прячешься, кошей проклятый! Ну, поспорим, давай, во-рище, вылезай!

Подходят к солдату мужики, постепеннее которые, и, остановясь сзади него, озабоченно вполголоса подсказывают:

— Про Феклушку, про работницу-то, крикни, не забудь!

— Когда приговор был винную лавку убрать, он ее отстоял — потому в его доме она!

В стороне жметя Савелий и покашливает — точно ворон каркает, ожидая падали. Вихрем крутятся ребятишки, визг стоит в воздухе, свист, хохот, и все покрывает сильный голос Гнедого. А старушка Лаптева, мать умалишенного Григория, стоя сзади солдата, держит его шапку в руках, трясет головой и шевелит черными губами.

И когда солдат переходит под окна Кузьмы Астахова, она торопливо семенит за ним, маленькая, согнутая вдвое, одетая в рубище.

— Эй, Кузьма, кособокая кикимора! — гремит солдат, напрягая грудь. — Иди сюда, вот я раздену, оголю пакостную душу твою, покажу ее людям! Приходит вам, дьяволы, последний час, кайтесь народу! Рассказывай, как ты прижимал людей, чтобы в Думу вора и приятеля твоего Мишку Маслова провести! Черной сотни воевода, эй, кажи сюда гнусную рожу, доноситель, старый сыщик, рассказывай нам, миру, почем Христа продаешь?

— Ну-у! — бормочет Алеша, — поехали!

— Вали, Гнедой, — распаляясь, орут мужики, — говори за всех, мирская душа! Жги его, горе наше...

Того и гляди, начнут стекла бить у Астахова.

Но Кузьма ростом мал, да сердцем храбр: вот с треском распахивается окно, высунулась, трясется острая змеиная головка, мелькает маленький, темный кулачок, и тонкий, высокий голос старика яростно визжит:

— А-а-а, опять пришел, пьяница, китаец, изменник отечества!

Солдат безумеет, слыша эти слова, вытягивается кверху, взмахивая руками над головой.

— Молчать! Кто — отечество? Это ты, сукин сын, отечество мое? Это за таких вот воров, как ты, солдат лямку трет, чтоб тебя рѣзорвало поперек живота! Ты миру ворог, ты смутьян и крамольник, вы правду сожрали, землю ограбили, людей уничтожаете!

— Врешь! — воет старик, так что его верст на пять кругом слышно. Человек он жидкий и треплется в окне, как лохмотья на огородном пугале в ненастный, ветреный день.

— Народ! Кого слушаете? Хватай его! Зови стражника, Марья! Мокей! Сашка — сюда!

Народ молчит, у избы Астахова все стоят угрюмо, как осенняя туча, — две трети села в кабале у Кузьмы, и в любой день он любого человека может по миру пустить. Только старуха Лаптева, не разгибая спины и странно закинув голову вверх, что-то неслышно шепчет, и трется в толпе Савелий, сверкая глазами, хрипит, кашляет, дергает людей за локти, поджигая сухие, со зла, души.

Они, Астаховы, впятером жизнь тянут: Кузьма со старухой, Марья и сын с женой. Сын Мокей глух и от этого поглупел, человек невидимый и бессловесный. Марья, дочь, вдова, женщина дебелая, в соку, тайно добрая и очень слаба к молодым парням — все астаховские работники с нею живут, это уж в обычае. Надо всеми, как пестух на коньке крыши, сам ядовитый старичок Кузьма Ильич — его боится и семья и деревня.

— Православные! — трубят солдат, указывая кулаком в окно. — Это вот для них, богатеев, гоняют нас вокруг земли, ради их льется мужицкая кровь...

— Не подступиться к нему! — соображает Алеша, стоя рядом со мной. И беспомощно оглядывается.

— Для того, чтобы они ежедневно жрали щи с убойной...

Савелий медленно сбоку подвигается ближе к окну, а в руках у него палка.

— Ой, дьявол! — шепчет Алеша и, побледнев, бросается к больному.

А Кузьма, высунувшись до пояса, режет воздух диким визгом:

— Аа-а-а-а! Вот оно, вот слова! Ну, Мишка, кончена твоя жизнь! Каторга тебе, а-а-а! Народ! Которые слышали — держи его! Измена! Россия, кто понял, держи его! Против России сказано! Вот — этот человек против России...

Но тут народ хохочет — всем ясно, что старик пустил слово огромное и неуместное в его душе.

— Ну-ка, еще двинь про Россею-то, Кузьма Ильич! — задорит кто-то старика.

— А ты бы, Гнедок, Россею-то не шевелил!

— Укрепляй, Кузьма, Россею!

— Астахов поддержит, он жилистый!

А старик все кричит и кричит шальные слова, и они носятся в воздухе, как летучие мыши.

Из ворот выплывает темным облаком заспанный, тяжелый стражник, лениво подходит к солдату, люди нехотя раздвигаются, и вот остался Гнедой один, только старуха Лаптева с шапкой в руках стоит у него за спиной.

— У меня крест есть! — кричит солдат, топая ногами.

— Брось орать! — хмуро говорит стражник.

Гнедой отмахивается:

— Отстань!

— Иди, иди! — хрипит стражник, подталкивая солдата к сборне, где холодная.

Старуха Лаптева, тряся головой, молча протягивает Гнедому шапку, он берет ее, взбрасывает на голову и, медленно шагая впереди стражника, ревет:

— Пошел бы ты к чорту, мутная рожь! Стыдился бы, продажная душа, ворову руку держать! А еще — солдат! Солдат защитником правды должен быть, а ты кто? Скотина немая!

Семен молчит. Кто видел его лицо в такую минуту, говорят — страшное лицо.

Народ, ухмыляясь, расходится по домам. Идут кучками, говорят неслышно и уже никакого интереса к Гнедому не показывают.

А над деревней все еще вьется злой и тревожный крик:
— Перебить, перевешать, а-а-а!

Этот скандал мы и обсуждали, собравшись на реке.

Егор Досекин курит, заглушая едким дымом своего табачища вкусный запах грибной сырости, и спрашивает:

— Что же ты, тёзка, распускаешь эдак безобразно паству твою?

Никин тоже смотрит на меня строго, недовольно.

— Провалит нас Гнедой скандалами своими! — говорит он, хмурясь. — И к чему озлобление разводить промеж людей?

После того, как они достаточно пробрали меня, я начал было объяснять им, что солдатовы речи не так уж вредны и опасны, как им это кажется, но Егор сердито отклонил мои слова.

— Нет, тёзка, так не годится! Хотя и мужичок ты, но давний, и мы деревню знаем лучше тебя, мы ведь не сквозь книжки глядим. Верно то, что есть, а не то, чего тебе хочется, по доброте твоей души. Мужички наши поболтать любят, послушать резкое слово тоже любят, но всего больше нравится им своя до дыр потертая шура.

Все чаще говорит он со мной в таком роде, и не один он, правду сказать. Я это понимаю: мало знаю я для них, и они почти уже вычерпали из меня всё, что я мог им дать. И есть между нами какая-то разница, мало понятная мне: для меня слово имеет душу мягкую, гибкую, а они говорят речью обыною, а влагают в слова смысл иной, неясный мне. Вернее сказать, берут они слово и начинают пристально раскрывать его, разматывать, добиваясь того, что заложено в корне. Все у них выходит крепче моего и хотя жестковато, обнаженно, но ясно и стройно, это я вижу, вижу и рад, что они так быстро переросли меня. Что ж — я свое дело сделал, что имел — отдал, идут они куда нужно, если ж я не успеваю за ними — это не обидно мне.

Алексей сказал однажды:

— А ты, Егор Петров, с народом-то запутался!
— Да-а, это, брат, никак не единое существо! — подхватил, усмехаясь, Егор Досекин. — И все меньше единое! Выдел нам показывает это в полной наготе.

Ваня, тихонький и мягкий, как всегда, возражает им:
— Братцы, ведь это только наружно так, как трещина на посуде, а посуда-то из одной глины.

Алеха смеется:

— Ну вот, по тем трещинам и развалится она в куски, битая твоя корчага! Нет, Ванька, надо тебе хороших книжек почитать, а то больно елею намазано на тебе!

А Егор мне говорит:

— И тебе, тёзка, надо бы посушиться, слышь!

Кончив пилить меня за Гнедого и Савелия, приступили к разбору очередных делишек. Авдей Никин недели две ходил по округе в поисках работы и рассказывает:

— В трех местах жил, и везде одинаково содомит деревня, стонет, бьется — ходит по телу ее острая пила и режет надвое. Говорил я с некоторыми мужиками о выде, так сначала они, как бараны перед новыми воротами, пучат глаза, а потом воют, зубами скрипят.

На его красивых губах дрожит грустная усмешка, брови хмурятся, голос звучит устало. Мне кажется, что чем дальше, тем все быстрее вянет этот большой, складный парень, снедаемый каким-то червем.

— В Оленеве Святухин Иван первый дело раскусил: кричит, как ушибленный, — глядите, что с нами делают! А Звягин Федор привязался ко мне — откуда я это все знаю? Позвал к себе ночевать, пришел к нему и Святухин, да еще Митьков, у которого в городе сына убили. Прямо и спрашивают — с партионными знаешься? Я говорю — что же, разве самому мужику нельзя этого понять, а все только по указке, со стороны? Не верят! Нет, говорят, врешь! Мы вот кои веки живем, а однако до сего дня не поняли, понять не могли, что такое делается, да и теперь бы не догадались, что на наших костях богатую деревню строить решено. Всю ночь проговорили — ну и мается народ! Смотришь — сердце ноет...

Досекин искоса взглянул на него и крикнул.

Алеша крепко трет руками голову.

— Газету бы нам иметь! — жарко вздыхает он.

— И печатать в ней обо всем! — подхватывает Ваня. — Как в настоящих столичных, а не как в листках!

— Нн-да-а, — тянет Авдей, — листки эти не совсем подходят, злобно очень пишутся они...

— Интеллигентов бы нам парочку хороших! — говорит Досекин, скручивая папироску.

Мне хочется сказать ему о Филиппе — я уже трижды виделся с ним и сыном лесника, но что-то смущает меня, и, не решаясь обрадовать товарищей, я говорю только два слова:

— Интеллигенты будут.

Егор вскинул голову, посмотрел на меня, прищурил глаза, и, сразу повеселевший, четко заговорил, что нам надо требовать в городе помощи книгами и людьми, что нужно привести в известность все какие есть кружки молодежи в окрестных местах.

— Впряжем в ходоки по этому делу Кузина. Самый удобный человек. Только надо будет ему денег дать на дорогу, обеднел старик.

Ваня, наш казначей, говорит:

— Денег мы имеем 7 рублей 49 копеек.

Меня Егоровы слова не удивили, — в ту пору Кузин уже много сделал нам разных услуг, — но Алеха спросил:

— А не рано Кузина вводить в дело?

— Ничего! — твердо сказал Егор. — Я к нему присмотрелся за это время — сильно обозлен старичок; он друзьям своим будет портить делишки как только может, это верно!

Авдей тяжело возится и медленно говорит, прикрыв глаза:

— Место ли злобе в нашем деле-то? И то устал народ со зла, право!

Кремневые глаза Досекина вспыхивают, он сурово отвечает:

— Когда нас будут тысячи и миллионы, мы без злобы возьмем за горло кого надо. А чтобы эти мысли выросли на такой трудной земле — навозом брезговать не приходится, и жалеть его нет причин, так-то!

Идут по небу облака, кроют нас своими тенями, в серых волнах плавает и прячется светлая луна. Шуршат деревья, тихо плещет вода, лес и земля еще дышат

теплом, а воздух прозрачен по-осеннему. За деревней, у мельниц, девки песню запели — их крикливые, сухие голоса издали кажутся мягкими и сочными, как свирель.

Ваня, разобрав, что поют, тоже затянул вполголоса эту песню, мы пристали к нему и задумались, поем. Вдруг вижу я: на бугре около хлебного магазина стоит стражник, лезут на него облачные тени, и является он между ними то светлый и большой, то темный и маленький. Видно, слышит он наше тихое пение — легкий ветер от нас на него.

Замолчали. И следим, не двигаясь. Ваня тихонько говорит:

— Жалко мне его за что-то...

— Жалко! — тотчас вскипел Алексей. — Высчитывает человек, почему за голову людей продать, не ошибиться бы, — а ты жалеешь! Тюря с квасом!

— Бросьте, ну вас! — сказал Егор. — Вон Кузин прыгает около огородов, это он нас ищет, думаю. Конечно — сюда правит!

Качаясь, размахивая полами длинного кафтана, старик подошел к нам и сейчас же заговорил, незаметно для нас усвоенным голосом начальника:

— Под вечер завтра к леснику придут мужики из Броварок, трое, насчет Думы желают объяснения. Вы сначала Авдея им пошлите: парень серьезный, язык-то у него привешен хорошо, и деревенскую жизнь до конца знает он. А после него — Алексея, этот озорник даже камень раздражить может, а потом уж кого-нибудь из Егоров, для солидности. Вот так-то — к людям надо осторожно подходить-то, а не то, что после скобеля да топором. Вы глядите, как я вам народ сгоняю, а? То-то!

Снял шапку и гладит голый череп, отдуваясь, довольный собою, оглядывая нас по очереди хитрыми глазками.

Мы трое — я, Ваня и Егор — давно решили выпросить старого начетчика о боге — как он верует и верует ли? Нам казалось, что у него была с богом некая темная распря, видимо, мало понятная и самому старику. Говоря о боге, он всегда как бы требовал возражений наших, но сначала никому из нас не хотелось спорить с ним по этому вопросу, и, не встречая наших возражений, он всегда почти сам же срывался на противоречия себе. Рас-

сказывает, например, о злых ухищрениях сатаны в споре с господом за власть — и вдруг скажет что-то чуждое строю мыслей своих.

— А вот, — таинственно звучит его голос, и глаза разбегаются по всем лицам нашим, зоркие, цепкие глаза, — однажды ехал я, ребяташки, по Каме и разговорился с одним сибирским жителем, лошадьми барышничал он, и скажи он мне: «Сатаны — нету!» — «Как так?» — «Нету! А есть, говорит, князь подземного мира — Адам, первосозданный и первоумерший человек, и — больше никого нету!» — «Постой, говорю, Адам быша изведен из ада Иисусом Христом?» — «Нисколько, говорит, не изведен, а остался в преисподней. Это, говорит, записано в одной древней индейской книге, мой знакомый бурят» — буряты, народ вроде мордвы — «бурят, говорит, книгу эту читал и тайно мне рассказывал, как было: сошел Иисус во ад и предлагает: ну, Адам, выходи отсюда, зря отец мой сердился на тебя, и сидишь ты тут неправильно, а настоящее по закону место твое, человек, в раю. Нет, отвечает Адам, не хочу, не уйду отсюда, — у вас, дескать, в раю-то все разно святы, а у меня здесь — все равно грешны. Я, говорит, тыщи лет не напрасно здесь сидел, мною тут установлена настоящая справедливость, не как у вас на небе и земле. Так и не пошел!»

Смотрит на нас старик острым взглядом, рассыпались его искристые глаза и скрытно смеются.

— Нет, что выдумывают люди-то, а?

Таких рассказов у него был неисчерпаемый запас, и, видимо, все их создало отчаяние мысли человеческой, неспособной помириться с двоебожием пагубным, ибо оно разрывает душу, лишая ее целостности. И, рассказывая такие сказки, старик всегда понижал голос до глухого, как бы из-под земли исходящего шопота.

После одной из таких бесед, когда ушел Кузин, Алеша, запустив пальцы рук в свои вихрястые волосы, задумчиво сказал:

— По-моему, он — провокатор!

— Полно, — говорю, — Ленька, неужто не видишь, что человек искренно приобщается к нам?

— Нет, я не в том смысле, что выдать хочет, это уж пора бы!

И Алексей беззаботно махнул рукой.

— Мне, видишь, кажется, что не верит он в бога, а один не верить боится, вот и подстрекает всех к тому же, ища себе поддержки. Он мне нравится, интересный, ей-богу! Да и смел, старый чорт!

Алеша радостно хохочет.

— Эх, с елки иголки! Все тронулось, все пошло к месту!

В тот вечер, после того как переговорили о делах и усталый Авдей ушел спать, Ваня прямо и мягко, как только он один и умеет, сказал старику:

— Давно мы трое хотим спросить тебя, дядя Петр Васильич, как ты о вере думаешь?

— О какой? О православной?

И, не ожидая ответа, как по книжке читает:

— Это есть вера денежная, вся она на семишниках держится, сѣдни свеча, да завтра свеча, а н поглядишь и рубаха с плеча — дорогая вера! У татар много дешевле, мулла поборами с крестьян не занимается, чистый человек. А у нас: родился — плати, женился — плати, помер — тащи трешницу! Конечно, для бога ничего не должно жалеть, и я не о том говорю, а только про то, что бог — он сыт, а мужики — голодны!

Шутит старичище, посмеивается, и смех его скрипит нехорошо, как пробка по стеклу.

— А ты с богом дружно живешь? — опустил голову, спрашивает Ваня.

Кузин смотрит на него ласковыми глазами, смотрит на Егора, на меня, как бы молча измеряя и сравнивая нас, потом беззаботно говорит:

— О чем же мне с ним спорить? Ничего у меня нет да и не было, делить нам нечего!

— А ты Иова книгу читал?

— Как же не читать! Давно только...

Тихо вокруг нас. Зажигаются в небесах звезды, играют с ними облака, скрывая и открывая звездный блеск.

И тихо звучит Ванин голос:

— Помнишь, как спрашивал Иов: «Почто же господа утаишася часы, нечистивии же предел преидоша, стадо с пастырем разграбивше? Под яремника сирых отведоша и вола вдовича в залог взяша» — словно вчера сказано!

— Ишь ты! — восхищается старик. — Наизусть знаешь, а-а!

Голос его звучит неискренно, мы слышим это, и, видимо, он понимает, что слышим, дергается весь, беспокойно и быстро.

— И еще, — вспоминает Ваня, — «почто нечестивии живут обветшаша же в богатстве?..»

И вдруг, неожиданно и странно для нас, Кузин тихо, ворчливо вторит:

— «Домове их обильнии суть, страх же — нигде, раны же от господа — несть на них...»

Тряхнув головой, он поднимает ее и смотрит в небо, и, как бы вспоминая, медленно, громко и с упреком в голосе говорит:

— «Воистину — не вем, како сие уразумети имам, егда суть дела лучшая вавилонская, нежели сионская». Это уж из Ездры книги! Спрашивали... да!

Ваня потихоньку разгорается:

— Ангел Уриил отвечает ему: «Понеже земля добра дана вам есть...»

— Дана! — ворчит Досекин, крякая.

— «И море волнам своим дано есть: так иже обитают на земли, только вещи наземные разумети могут...» Почему же, дядя Петр, дано нам разуметь только вещи наземные?

Кузин хлопает себя длинными руками по коленям и хохочет, заливаясь, дрожит весь, даже слезы сверкают на глазах у него.

— Чего захотел, а! — сквозь смех покрикивает он. — А помнишь, Уриил-то как сказал: «Не спеши быти выше вышнего!» А? «Ты бо всуе тщишься быти выше его». А?

Спокойно и ровно Ваня отвечает:

— Сего-то я и не принимаю за справедливое, ибо — должен спешить, срок жизни краток, и он же требует от меня полного разумения хода ее...

— Ну и Ваня! — восклицает Кузин. — Куда ведь заглядывает, а?

Светлым ручьем льется молодой голос. Ваня встал на колени. Не велик он ростом, но сложен и силен. Его задумчивое лицо робкого, испуганного жизнью человека изменяется, освещаясь светом изнутри.

— И не хочу я быть выше его, но законы его хочу, должен понять — почему дела вавилонские лучше пред ним яко сионские?

Иван побледнел и напрягся, как молодая береза, на- сильно склоненная вершиной к земле.

— Почему мы отданы в тяжкий плен злым и ослеплен народ вавилонянами нашими и подавлен тьмою, тысячко пут опутан угнетенный — почему? Создан я, как сказано, по образу и подобию божиему — почто же обращают меня во зверя и скота — нем господь? Разделился мир на рабов и владык — слеп господь? Подавлен врагами, в грязь и ложь брошен народ — бессилен господь? Вот я спрашиваю — где ты, вездесущий и всевидящий, всеиль- ный и благой?

Освещенное луною лицо юноши горит яркой краской, строгие серые глаза неотступно требуют ответов и свер- кают изумрудными искрами. Нам — мне и Егору — ра- достно видеть его таким, мы взволнованы, зажжены его огнем, внимательно слушаем строгую речь, а старик громко, усиленно дышит, сморкается, и на его маленьких глазах блестят слезы.

— Страшные речи говоришь, Иван, — начинает он, кивая головой не в лад словам своим, и голос его вздра- гивает, ломается, руки ищут чего-то, быстро шаря по земле, шуршат песком.

— Страшные речи, да! Бог — есть, Ваня! Бог должен быть, ибо нет народа необоженного.

Он потирает грудь себе и краткий миг молчит, глу- боко вздыхая.

— Не сладко, ребятушки, на старости лет говорить мне так, а скажу истину-правду, надо вам ее знать, пони- маю я; скажу, признаюсь — верую в господа вседержи- теля мира сего, но — лика божия не зрю пред собой, нет, не зрю! И ежели спросить бы — рцы ми, человеце, како веруеши? — что по чистому сердцу ответу? — Не вем! И многие тысячи так-то ответят, коли по чести сердца за- хотят отвечать. Вы подумайте над этим, это надо понять!

И, подняв руку, он грозит нам, обьятый тенью набе- жавшего облака.

— Должен быть бог един для всех, коли всеми чуется: стало быть, не Аллах, не Кереметь, а почему же Саваоф?

Тот бог настоящий и верный, у которого люди хороши, а чем мы, христиане рекомые, лучше татар, чуваш, мордвы и других иноверных народов? Я, может, десять раз сквозь все инородцы прошел, я знаю их: все одинаково безобразно живут, и мы — не лучше, нет! Татары же, это всяк знает, в деле гораздо честнее нас. Как же быть? Евангелие божие опровергнуто, и пророки опровергнуты в утверждениях своих, а в сомнениях доселе крепки! Да! Говорят — потому мы лучше, что у нас Христос!

Он оглянулся, помолчал и спрашивает, тихо, со скорбью:

— Где же он, Христос-то, в жизни нашей? Начало любви и кротости — где он? Не вижу, детки! Почему не вижу? Ослеплен ли дьяволом или здоров излишне?

Замолчал. И все круг нас задумалось с нами вместе, только тени тихо глядят усталую землю, истомленную за лето обильными родами хлеба, трав и цветов. Холодной тропею уходит в лес река, то темная и мягкая, то белая, как молоко.

— Страшные, Ваня, думы! — снова тихо говорит Кузин. — И опоздал я, чай, думать их — а думаются! Чем мы, крестьяне, богу виноваты? Грешим друг против друга? Ну-ка, проживи лет хоть с двадцать по нынешнему времени, да не согреши! Против его грешим? Все законы его — для людей, стало быть — все грехи против людей! Первую-то заповедь мы не рушим, идолов не строим! А если всемогущ — так и уничтожил бы все зло жизни, соединил бы людей в добре, для всех явном! А то — бросил в трясину и приказывает — не тони, гляди, в ад пошлю!

Он успокоился уже и снова говорит, как всегда, полусуто и хитро поблескивая глазами.

— Н-да! — воскликнул Досекин. — Это все требуется разобрать. Вот, кабы ты, Петр Васильич, собрался с силой, да и написал бы книжечку обо всем этом, рассказал бы думы-то свои, а мы бы ее тайно напечатали да пустили в люди, то-то бы задумался народ, ух!

— Где мне, Егорушко, — смеясь и махая рукой, отказывается старик, — разве я могу? Понимать — понимаю: приобщить людей к таким мыслям — это их разбудит, это

поднимет! Да писать-то я не горазд, вовсе не умею, можно говорить.

— Эх, жаль! Ну, тебе бы, Вань, всех этих пророков, которые посмелее, тоже связать бы в один пучок, да тоже бы в книжку! А то эти разные секты наши — Марьиная вера, Акулькина вера — одна путаница!

И мечтает далее, освещаемый нашими улыбками.

— Вот как вырастем мы числом, да затеем газету... В ней все будет! И тебе, Ваня, все церковные дела поручим — готовься!

— Я учусь! — скромно говорит Ваня и от радости становится как бы прозрачным. — Мне бы вот книгу о соборах вселенских надобно, как выбирались епископы на соборы эти, от чьего имени устанавливали каноны и вообще — как все это делалось?

А Кузин, качая головой, говорит:

— Видно, что наделаете вы делов, дай вам бог помощь! А что же в гражданских книгах пишется на этот счет, а?

Досекин сказал, проводя рукой над землею:

— В наших — отрицается!

— Совсем?

— Совсем!

Старик, сомнительно поджав губы, подергал себя за бороду.

— Ну, это резко больно! Уж не знаю... Не сгоряча ли это, а?

— Ты почитай, погляди!

— М-м... Надо будет поглядеть... Да ведь непонятно, чай?

— Попробуй! — ласково говорит Егор.

— Надо будет попробовать!

После этого Кузин усилил свою беготню по округе, исчезал, неожиданно появлялся и говорил:

— Вот хороший мужик, к вашему хору подходящий. А то вот еще. И вот тоже.

Людей он брал чутьем и редко ошибался в них; почти все его знакомые были так или иначе задеты за душу горем и обидами последних лет, и все они, видимо, понимали, что жить так, как жилось, — больше нельзя.

— Я вам буду настоящим ловцом человеков! — хвастался Кузин и сожалительно восклицал: — Мало больно вас, грамотеев-то, не хватит во все места!

— Ну, — ворчал Егор, — это он, пожалуй, и через меру суетится! Нам всех не выучить, нам бы настолько отцов тронуть, чтобы они детям не мешали, — вот и все!

А недостаток наших сил сказывался все яснее: летние работы кончились, по утрам уже раздавалась дробная, веселая музыка цепов, народ, несколько освободившийся от труда, рвал нас во все стороны.

Уставший за лето, изработавшийся Авдей похудел, осунулся и как-то все более увядал, становился скучен и небрежен. Алеша был занят с подростками и едва успевал удовлетворять их запросы, злился, ругался, а Ваня — плохой нам помощник: он как бы замер на своем деле — религии и церкви. Только Досекин ломит, как лошадь, умея не спать ночи по три кряду, бегая из деревни в деревню, читая газеты и журнальные статьи о Думе мужикам, которых собирал Кузин. Егор усердно читал «Свод законов», «Положение о крестьянах», книги по земельному вопросу и, видимо, очень успел в понимании этих мудростей.

— Ну и законы же! — говорил он. — В них человеку — как рыбе в бредне, куда нос ни сунь — везде петля!

И плевался, озлобленно жалуясь:

— На что приходится время тратить, а! Эх, кабы поучиться мне, почитать бы хороших книг!

Вдвоем с ним или порознь я сживал в овинах и лесных оврагах, рассказывая мужикам то, что знал, усиленно отвечая на их вопросы о выделе, о ходе думских заседаний, о том, как поставлено земельное дело в других государствах, какие права имеет там крестьянство.

Однажды собрал нам Кузин человек с двадцать народу, сошлись мы в глухом лесном овраге, куда встарину, бывало, ходили охотники стеречь, как папоротник зацветет. Порыжел, пожух папоротник, затоптанный и смятый мужиками, сели они на нем тесной кучей, как большие, серые, озябшие птицы. Круто поднялся вверх темный суглинок, изорван оползнями и осыпями, усеян разноцветным, мертвым листом. Кое-где по горе криво стоят тихие березки и осины, а наверху, на краю оврага, растет

могучая сосна, выдвинула над нами широкие, черные лапы и покрыла нас, как шатром. И чуть видно сквозь него зеленоватое небо осени, безмерно далекое от нас. Тихо, темно, сыровато и холодно. Тенькают синицы, бьет дятел, шуршит, бегая по стволам, поползень, опадая, шелестят листья, и мерно, точно кузнец гвозди, отбивает Досекин острые, холодные слова.

— Не на кого больше опереться начальству, и затеяло оно подкупить некоторых, кто позажиточнее, да и спрятаться за спиной у них от судьбы...

Мужики неподвижны, точно комья земли; головы подняты кверху, невеселые глаза смотрят в лицо Егора, молча двигаются сухие губы, как бы творя неслышно молитву, иные сжались, обняв ноги руками и выгнув спины, человека два-три устало раскинулись на дне иссохшего ручья и смотрят в небо, слушая Егорову речь. Неподвижность и молчание связывают человечески тела в одну силу с немою землею, в одну грудю родящего жизнь вещества.

Изредка раздаются негромкие голоса:

— Стряхнуть, значит, нас с земли решено у них!

— Ежели кредиту не дадут — дело это не выйдет!

Высокий, худой мужик, сверкая зелеными, как у голодного кота, глазами, густо говорит:

— А с кредитом твоим что будет? Забыл про маломочный-то народ? Он те даст кредит!

Кто-то, хихикая, вставил:

— Нам и кредит вредит!

— Да и где их взять, денег!

— Монастыри оберут!

— Для тебя? Жди!

Егор прерывает свою речь, выслушивая замечания, и снова долбит головы, ища живого мозга.

— Поймите, что выходит: все, значит, плати подать, а некоторым начальство будет подать эту давать в долг, и эти некоторые на наши-то грошики скупят землю да и обратят всех нас, маломочных, в батраков себе.

Закачались мужики, как лес под ветром.

— Та-ак...

— Стало быть, целую деревню придушить для пятерых?

— Началось это, братцы! — тревожно звенит высокий голос. — Глядите — которые по городам живут, землей не пользуются, они уж наделы-то свои продавать начали!

— Запретить!

— А как?

— Паспорта не выдавать!

— Верно! Пускай оборотятся к нам да поживут от земли!

— Верно здесь сказали — всякое увеличение прибытка за чей-нибудь пай!

— А конечно! Земля-то кругла, говорят...

И все чаще слышен тревожный вопрос:

— Что будем делать?

Большой, солидный мужик в крепком полушубке встал на ноги, сняв шапку с головы, и степенно говорит:

— Затеяно это всем во вред, православные! Вот я, скажем, имею земли до двадцати десятин и могу купить еще, ничего — могу! Однако — не куплю, потому — опасно! Первое — никому не известно, что будет, значит, как народ решит, второе — купи-ка я теперь, так вы меня со свету сживете...

Слышен одинокий, сухой смех, и как будто крикнул человек тихонько или заскрипел зубами. Мужичьи тела шевелятся в темноте, сдвигаясь плотнее, трутся друг о друга. И шелестят подавленные голоса:

— Прямо говори — половину народа сорвет эдак-то с земли!

— Братцы! Как же бог, али — не видит?

— Некоторые, конечно, всплывут, что говорить, ну, а мир... мир расколется!

Большой мужик все стоит опустя голову и треплет в руках шапку.

— Нет, православные, — громко говорит кто-то, — хошь не хошь, а пришло нам время самим шевелить мозгами. Видно, что за нас никто не встанет, а против нас — как есть все!

Я шепчу Егору:

— Ишь как...

А он вслух и громко говорит, прищуривая глаза и оглядывая слушателей:

— Слова делам редко верные товарищи! Говорить можно всяко, а втайне здесь каждый думает быть «некоторым».

Замолчали мужики. Только один, невидимый, со смешком пробормотал:

— Всем в «некоторые» не попасть, не-ет!

— Что будем делать? — тоскливо спрашивает молодой голос.

— Говори! — шепчет мне Егор.

Говорю. И вся гряда человеческих тел молчит, не дышит, жадно слушая новую речь, иногда вдруг пошевелился тяжко, охнет, забормочет и снова замрет. Лица в сумраке овражном почти не видно — только мутные, круглые пятна и тусклый блеск глаз. Сомкнулись люди, навалились друг на друга, подобно камням, скатившимся с горы; смотришь на них, и овладевает душою необоримое желание сказать им столь большое и огненное слово, кое обожгло бы их, дошло горячим лучом до глубоко спрятанных душ и оживило и заставило бы людей вздрогнуть, обняться в радости и любви на жизнь и на смерть.

Бывало это — плакали люди и смеялись и, расходясь по домам, пели новые песни, шли в обнимку, точно жаркого вина выпили, позабыв деление на друзей и врагов. Великое и живое это дело — слияние людей в общезначимом для всех и для каждой души необходимом!

Редко спрашивали меня — кто я таков, а один раз, когда некто из них осведомился, чем занимаюсь, другой тут же с упреком остановил его:

— А ты не видишь — чем?

На многие их вопросы приходилось отвечать:

— Этого не знаю я, братцы!

И такой ответ приближал их ко мне более всего — сразу люди становились откровеннее и доверчивее.

— Из простых будешь? — спрашивают.

— Да, не из мудрых!

— Ну и ладно!

— Как и сами мы!

Ласково улыбаются, хлопают по плечам; иной раз какой-нибудь чужак скажет:

— Спасибо, браток, за поученье, очень нам в пользу это!

И выходит так, как будто искреннее незнание сопрягает людей крепче, чем лицемерное и командовать желающее знание.

Общаясь с ними, чувствую все глубже и крепче, что сорвалось старое с корней своих и судорожно бьется, умирая, бессильное по тяжести и ветхости своей удержаться на земле, ныне уже враждебной ему. Новых сил требует земля наша, отталкивая от груди маломощное, как невеста влюбленная жениха, неспособного оплодотворить измученное неумелыми ласками, плодородное, могучее и прекрасное тело ее.

У меня не было времени пристально заняться самообразованием; я человек, образованный разгромом народного восстания, взявшийся за дело объединения людей по непобедимому влечению сердца и по ясно видимой мною невозможности жить старым, пагубным для человека порядком. Социалистические брошюры начал я читать всего за год до переворота жизни и будущее — понимаю, а в настоящем — разбираюсь с большим трудом, прошлое же русской земли — совсем темное дело для меня; тут, пожалуй, Егор больше знает, чем я. Считаю себя рядовым делателем жизни, как бы землекопом, который скромненько роет канаву под фундамент предположенного судьбою к постройке собора справедливого разума и красоты духовной. До разгрома был знаком с партийными людьми обеих партий, а после восстания, когда все рассеялись и частью погибли, остался один, потеряв связи с партиями и зная только некоторых, сочувствующих делу, так сказать любителей, а не артистов.

Теперь, когда явился Филипп Иванович, настоящий двигатель жизни, и я рассказал ему о ходе местных дел, было решено, что он останется в городе, добудет денег, откроет торговлю чем-нибудь, возьмет Алешу приказчиком себе и примется за устройство газеты для нас. А Василий, сын лесника, уехал в губернию, к рабочим.

Рассказы Алеши и мои о работе нашей увлекли в дело учительницу с братом ее, оба стали они помогать нам усердно, все больше добывая книг, внимательно следя по газетам за всем, что было необходимо нам знать.

В Гнездах мы старались держаться незаметно, — кроме Алеши никто не работал в нашей деревне, а он

свои чтения вел осторожно. Боялись мы: деревенька маленькая, все становится сразу известно улице. Расслоилась она, словно напоказ: Астахов со Скорняковым — первые люди, с ними рядом Лядов, брат стражника, — наша черная сотня, люди сытые, но обеспокоенные за богатство свое: за свой горшок шей они хоть против бога; за ними, сверху вниз идя, — степенное крестьянство, работяги и авосьники, ломают хребты над высосанной и неродимой землей, и всё еще говорят:

— Авось, бог даст, как-нибудь поправимся!

И всего бегут, прячутся, желая только тишины и мира, а в делах тянут, конечно, с богатыми. Из этого ряда — Егоров отец, мужик смиренный, испуганный, растрепанный. Вторую очередь ходит в старостах, не умея по кротости своей отбиться от этой чести. Егор — плохой помощник ему, да и помогать-то не в чем: земли у них десятина с четью — разоряется Досекин вместе со многими. Потом шатается со стороны на сторону голец, бедняк, обессиленный, крепко злой, ни во что не верующий и запьянцовский народ: им, главное, угоститься бы вином, и за стакан — они идут на все.

А в стороне — подростки, человеки всё больше серьезные, хмурые, вдумчивые, они нутром понимают силу грамоты и на отцов смотрят косо, неодобрительно.

Дружки Кузина не великие помощники нам. Мил Милыч, хлопая глазами, все больше молчит, иной раз вдруг и не в пору тихонько смеяться начнет, а чаще всего просительно ноет:

— Уж вы, милые, порадейте за мир-от Христов! И на веки вековечные запомнит он имена ваши добрые...

Алеша, конечно, издевается над ним:

— А ты, Миллов, чего ждешь? Делать тебе нечего на земле, бери кружку, айда по миру и собирай на памятники нам! Только гляди, чтобы мне — конный! Другие как хотят, а я желаю верхом на чугунном коне в веках сидеть! И чтобы надпись золотом: на сего коня посажен деревнею Большие Гнезда Алексей Дмитриев Шипигусев за добрые его дела вплоть до конца веков!

Тихий мужик сконфуженно улыбается, молчит, жмется и одергивает рубаху свою слабыми руками.

А Савелий — тот, сверкая большим горящим взглядом, хрипит:

— Бить! Они бьют...

Спросишь его:

— Чего же можно достигнуть боем?

Крутит головой и, задыхаясь от кашля, говорит:

— Нету у меня иного слова на вашу речь, нету! И скоро помирать мне, а хочется видеть, как вздрогнет мясо на их костях, хочется слышать, как их хрящи затрещат!

Тут он весь. И это — страшно! Но уж немного осталось этого человека на земле, да скоро и остатки свои он кровью расплюет.

Смотришь на него и горестно думаешь:

«Сколько народу изувечено, разбито, озлоблено — за что? Какая это жизнь? И как не стыдно людям терпеть ее, не бороться с ней!»

С Гнедым же случилось неожиданное и смешное событие. Приходит он ко мне, смущен весьма, сидит, ежится и — растерянная улыбка на темном лице.

Вижу я — одежда у него починена, заплатами покрыта, а штаны совсем крепкие — это необычно!

Некогда было мне, и я тороплю его:

— С каким делом, дядя Михайло?

Разводит руками и начинает:

— Не знаю, как и сказать! Видишь ли, режу я вчера вечером лозняк на верши, вдруг — Марья Астахова идет. Я будто не вижу — что мне она? «Здравствуй», — говорит, и такая умильная, приветная. «Здорово, — мол, — бесстыдница!» Ну, и завязался разговор. «Какая, дескать, я бесстыдница, ведь не девка, а вдова, муж, говорит, у меня гнилой был, дети перемерли, а я женщина здоровая, тело чести просит, душа ему не мешает».

Почесал солдат переносицу, смотрит на меня исподлобья и спрашивает:

— Верно она сказала?

— Ничего, — мол, — хорошо.

Оживился, осмелел и продолжает:

— Вот и я думаю — верно! Ведь коли баба свободна и по своей охоте к парню идет — почему это грех? Та же милостина — парню-то где взять? И лучше еще, а то —

девку бы испортил. Ну, слово за слово, вижу я — чего-то нужно ей от меня, а сказать она не решается, смотрит ласковой кошкой и... и все такое. «Тебе чего надо-то?» — говорю. А она — заплакала, стоит против меня, и слезы из глаз у нее, как сок из березы. «Буду, говорит, просить тебя, Михайлушка, не позорь ты батюшку по праздникам, сделай милость! Гляди-ка, ночей-де спать старик не может, мотается по избе и все ворчит и ругает всех: поп — лентяй, урядник — вор, становой — грабитель, до земского вплоть изругает всех и ревет, да так ревет, что жутко! А спросишь — что ты, батюшка? Кричит — прочь, позорище мое! Тебя с Мокейкой ради — куда я жизнь свою спустил, в чем мне радость, где покой? Кто мне защита? В зверях живу! Кабы силы мне, топором бы изрубил я вас, окайнных, пагуба вы моя, съели вы меня! Страшно, говорит, мне, Михайлушка, да и жалко его — отец ведь!» Я говорю: «Так ему и надо!» А у самого сердце екнуло, не то с радости, не то от другой какой причины.

И снова мнется солдат, сконфуженно ерзая по скамье, не смотрит на меня.

— Видишь ты, Егор Петров, знаю я это, как ночами от обиды не спится, тяжело это человеку, брат! Конечно, мне Кузьму нисколько не жаль, а при чем тут женщина эта? Однако и на нее позор падает — за что? Не сама она себе отца выбрала...

— В чем же дело-то?

— Погоди! Я тебе по порядку объясню.

И, виновато посмеиваясь, объяснил: улестила его Марья, приласкала, не может он теперь отца ее обличать.

Говорю ему с досадой:

— Да я тебя три месяца уговариваю, чтобы ты бросил эти скандалы!

Он тихо говорит:

— Верно, три! А все-таки будто измена!

— Кому?

— Правде!

И вдруг прояснел солдат, хлопнул ладонью по скамье.

— Время-то, Егор Петров, а? Бывало — всяк человек, лежа на печи, как хотел, так и потел, а ноне, не спрося шабра, не решить тебе ни худа, ни добра — верно?

Рад, хохочет.

Рассказал я об этой беседе Егору, а он, дымя злыми корешками своими, сквозь зубы ворчит:

— Ну, и дешев народишко!

И, помолчав, добавил:

— А прибаутка верная — и здоровым, и хворым пришло время жить хором! Знаешь — и тут кусок пользы мы найдем. Если это решится, что Варвару Кирилловну в город, в типографию нашу, кухаркой или женой определим, самое милое дело тайник наш устроить у Астахова. Теперь ясно, что Гнедой в работниках будет у него, для того Сашку и прогнали.

— Ошибаешься ты, пожалуй? — говорю я, сомнительно покачивая головой.

— Я? — тихо воскликнул Егор, сощурив кремневые глаза. — Я, брат, на год вперед все эти дела и поступки вижу, уж поверь!

Улыбаясь, он продолжает:

— Нет, перенести склад Кузьме в дом — это и приятно и безопасно: Мокей неграмотен, Марья не выдаст, а сам старик не найдет — надо, чтобы не нашел, это уж Гнедого обязанность.

— Говорят — избил старик Марью за связь с солдатом, — сказал я.

Егор равнодушно пояснил:

— Куда ему людей бить! Слаб уж, не может. Был в силах, так сына в дураки забил и оглушил на всю жизнь. Это Мокей колотил сестру, по отцову приказу, но он, глухой, сильно бить не смеет, боится Марьи, она сама его треплет, когда ей не лень. Видел я ее сегодня — она шла с Варварой Кирилловной капусту рубить, — ничего, хохочет.

Пристально и задумчиво глядя на меня, он говорит:

— Все это не важно, тѣзка, все это дребедень. А вот замечаешь ты или нет, что Авдей у нас все больше сучает?

— Да, заметно.

— То-то. А не кажется тебе, что не по пути ему с нами?

Я не сразу ответил.

— Нет, будто бы не кажется.

— Будто бы?

Досекин усмехнулся, помолчал и снова тихо повторил:

— На год вперед все дела вижу, да... От этого в сердце у меня будто смола кипит иной раз.

На скулах у него появились желваки, он протянул сквозь зубы:

— Понимаю я, что должны мы быть самые спокойные люди на Руси — не завтра наш праздник, не через год и не через десять лет, понимаю! Дела — эвон сколько! Вся Россия — это как гора до небес вершиной. Да... Да, брат, все это я понимаю и спокоен. Только боюсь — не убить бы мне кого!

Мне стало боязно за него, и жуткое коснулось сердца.

— Ты что? — спрашиваю, подходя к нему.

Но он уже оправился и заговорил мягче, с улыбкой в глазах:

— Спокойные люди — силища! О, господи, как мне всегда умиляет душу слесарь этот, убитый на Лесной. Вспоминаю о нем, и — всего меня приподнимает изнутри: вот — умер человек, а я питаюсь его силой и живу! Вижу все: приходят солдаты к нему, зовут — пойдем! «Это, спрашивает, вам и приказано убивать меня?» Не смеют ответить, а? «Жалко, говорит, вас, что, молодые ребята, начинаете вы жизнь свою убийством. Идемте!» Застрелили они его. Какой народ! Даже обругать неохота таких. На третий день с одним из них сидел я в трактире — совсем разбитый человек: кобенится, лается, а глаза мертвые. Спился он, наверное. А то — удавился. Видно было, что нельзя ему жить, — померла душа.

— Что с тобой, Егор? — снова спрашиваю я.

Он встрепенулся, встал.

— Ничего. Так. Вспомнилось. Ну, ночью я иду в город; говори, что надо, пора мне.

И ушел, спокойный.

Дней через десять я сидел поздно вечером с Варварой, рассказывая ей о древних русских народоправствах во Пскове и Новгороде, вдруг — топот на дворе, в сенях, и входит Досекин с Авдеем.

— Добрый вечер! — здоровается Егор, спокойно и громко. — Помешали мы? Извините, коли так! Вот, у Авдея — новость.

Никин бросил в угол шапку, пригладил волосы и, оглянув комнату, просит:

— Ты, Варвара Кирилловна, помолчи о том, что я скажу...

— Поклоняйся, может и помолчу! — недружелюбно отвечает Варя.

Он сел, согнулся вдвое, локти на коленях, голова между ладонями зажата, потом выпрямился, вытянул ноги, плюнул на пол.

— Ты рассказывал бы, — предлагает Егор, закуривая.

— Дело такое, — глуховато начал Никин, — узнал Кузьма Астахов, что Марья живет с Гнедым... Я, Варвара Кирилловна, потому сказал — помолчи, что дело это не общественное, а мое, видишь ты...

Варя удивленно посмотрела на него и молчит.

Егор держит перед лицом папироску и, осторожно сдувая с нее пепел, говорит:

— Кузьма зовет его в зятя.

— Вот! — кратко сказал Авдей и смотрит на меня, растерянно улыбаясь. Его серьезное, красивое лицо осунулось, поблекло, глаза налились томной мутой, и сквозь нее из глубины сверкают незнакомые мне искры тайной радости, страха или злобы — не пойму я.

— Рассказать с начала? — спрашивает он Досекина.

Не отрывая глаз от своей папиросы, тот равнодушно говорит:

— Как хошь!

Авдей встал — он показался мне вытянувшимся еще больше за эти дни.

— Вчера в обед иду я около избы, а он меня позвал...

— Позвал... — неопределенно повторил Егор.

— Ей-богу — сам позвал! — воскликнул Никин и поднял руку, как бы желая перекреститься.

— Я не спорю! — говорит Егор. Он качается и тихонько посвистывает сквозь зубы.

Никин сел в угол, в тень, и оттуда неровно течет его крепкий голос, нескладно идут осторожные слова.

— Хворый он, Кузьма Ильич, хилый, видно, умрет скоро. «Желаю, говорит, я, чтобы ты обвенчался с Настасьей». — «Ты, мол, желаешь, а я не могу — чем кормить мне ее?» Говорили мы с ним долго...

— Долго... — повторяет Егор, кивая головой.

— Да! И он перечисляет: Мокей-де не хозяин, да и бездетен, Машка все с полюбовниками промотает, а имущества у меня много...

— Много... — эхом отражает Досекин вкусно сказанное слово.

Варя, кусая губы, жметя к моему плечу, и мне тоже смешно, грустно и стыдно.

Авдей снова встал на ноги.

— Ты не смейся, пожалуйста, Егор! — просит он вздрагивающим голосом. — Ты пойми — мочи моей нету жить так! Когда-то что будет у вас, а жизнь идет!

— Она идет! — уверенно говорит Егор. — Она, брат, ни минуты не стоит, жизнь!

— Да! А Настя — в городе. Устал я, изголодался! Мать эта у меня — надо понять, братцы! Человек не скот, терпения у него мало!

— Ты рассказывай, коли хочешь, — предлагает Егор.

А Авдей медленно жует вялые слова:

— «Не связала бы ее нечистая сила с тобой, говорит, была бы она замужем за хорошим человеком...»

— А ты чем не хорош? — тихо спрашивает Варя. — Он верно рассчитал — в твоих руках ничего не пропадет.

— Он это тоже говорил, — подтверждает Авдей, — парень, дескать, ты трезвый, умный, мужик настоящий...

Егор тем же голосом продолжает:

— «Товарищей своих крамольных брось, иди лучше к нам, мироедам...»

Никин спохватывается и растерянно бормочет:

— «Остается, говорит, у меня одна Настасья, а кроме ее — никого». И — плачет. Я, братцы, понимаю, но — я решился...

Он стоит среди горницы длинный, угрюмый, с растрепанными волосами.

— Вы подумайте — будут у меня книги, то есть деньги, будут и газеты у всех, книг купили бы, школу бы выстроили и — хорошего учителя при ней... Вы поддержите меня! А не будете вы мне верить — и я себе верить не буду!

— Пожалей его! — шепчет мне Варя.

— А теперь, — тянет Никин, — выдел этот... Двоит он человека...

— Брось-ка ты эти речи, Авдей! — говорит Егор, закуривая снова.

Но Авдей, должно быть, не все рассказал и продолжает бессвязно:

— Плачет — для кого работал полста лет! Для чужого человека! Избу хочет нам ставить отдельную, земли даст пять десятин, пару лошадей, корову...

Он взмахивает правой рукой, пальцы на ней растопырены и загнуты крючками — это неприятно видеть.

— Я говорю — довольно уж, Авдей! — нехотя сказал Досекин. — Что у тебя будет и что будет с тобой — потом увидим.

Он встал, подошел к нему вплоть.

— Не знаю, как другие, а я плохо верю в дружбу сытого с голодным, и ты лучше не обещай дружбы, эта ноша не по силам, пожалуй, будет тебе. Не обещай! А обещай одно: держать язык за зубами всегда, и ныне, и во веки веков. Вот это...

— Братцы! Егор! — воскликнул Авдей, странно топая ногами.

— Подожди!

— Мы с тобой товарищи измала...

— погоди! — тихо и твердо остановил его Досекин. — Ты запомни — если благодаря твоему языку хоть один человек когда-нибудь...

— Егор Петрович! — плачевно воззвал Никин. — Обидно мне...

И Варя шепчет:

— Жалко его...

А мне — не жалко.

Душа моя окутана сумраком и холодна. Глажу тихонько Варину руку, молчу, смотрю на лицо Егора и чувствую, как тяжело ему говорить.

— Ты понял, что я говорю?

— Эх, Егор!

— Пойми! Я тебе грозить не стану — зачем грозить? Ты знаешь меня, знаешь, что я упрям, задуманного не брошу, не доведя до конца. Вот и весь разговор!

Никин изломанно опустился на лавку и, вздыхая, ворчит:

— Обидел ты меня... а за что?

— Я не обижал тебя, нет! — говорит Егор, помахивая шапкой. — Я, брат, знаю — в эту минуту ты себе веришь. Только я уж не первый раз слышу такие речи и обещания, бывало это: выпадет человеку жирная кость, примется он глотать ее и одичает. Было это!

— Увидишь! — пообещал Авдей и, помолчав еще, тише добавил: — Я теперь несколько отойду от вас...

Егор опустил голову, тихо сказав:

— Конечно!

«Сейчас это кончится», — облегченно подумал я. А по щекам Вари текут слезы.

С минуту молчали. Потом Никин пробормотал:

— Он скоро умрет, тогда увидите, как я...

— Ну, — молвил Егор, заглушая эти слова, — пожалуй, время спать!

И надел шапку.

Авдей Никин медленно поднялся на ноги, стал прощаться. Сжимая мою руку обеими своими, он просительно сказал мне:

— Разговори его, Егор Петрович, чтобы он верил мне!

— Ладно, — ответил я.

Мне показалось, что глаза его радостно заблестели, когда он увидел Варины слезы.

Он ушел, не спеша и с большим усилием отрывая от пола отяжелевшие ноги.

Егор остался и тотчас будто бы весело заговорил:

— Ну, дорогие товарищи, мне тоже надо идти, устал я сегодня...

Я взял его за руки, молча посмотрел в глаза; усмехнулся Егор и опустил голову, сильно встряхнув руки мои.

— Крепок же ты характером! — говорит ему Варя с ласковым уважением и удивленно, с грустью, шепчет:

— А он-то, Авдей, раскис, размяк, ай-яй! Вот те и Авдей...

Вздохнул Егор и, отведя глаза в сторону, смущенно, негромко ворчит:

— Я про эти его дела давно знаю, врет он, что Кузьма его соблазнил, врет, шалыган! Все я тут знаю, только

стыдно мне было сказать тебе, тёзка, про это, стыдно, понимаешь, нехорошо!

И, сильно тряхнув головой, он снова крепко пожимает мои руки, говоря:

— Люблю я людей, которых не одолевают все эти коровы, лошади, телеги, хомуты, — у настоящего свободного человека все — внутри, и когда он выберет чего-нибудь снаружи, так уж это будет самое лучшее, я про тебя сказал, тёзка, и про тебя, Варвара Кирилловна, — от души! А больше ничего не хочу говорить — ну его ко всем чертям! До свиданья, друзья...

Лицо его хорошо загорелось, глаза стали невиданно мною мягки и лучисты, он ушел, весело засмеявшись, а мы остались, счастливые его лаской, и долго и тихо говорили о нем, с грустью любуясь человеком, задушевно гадая о судьбе его.

— Какой надежный он, какой крепкий! — не раз задумчиво сказала Варя, и хорошо было слышать похвалы ему из ее уст.

Эти двуличные, печальные и смешные дела быстро забывались нами в торопливой работе, все более широко разгоравшейся с каждым днем. И все ярче пламенели вокруг нас леса в пестрых красках урядливой осени. Уже дня по два и по три кряду над округой неподвижно стояли серые, скупые облака, точно смерзлись они над землею ледяным сводом, холодно думая — не пора ли одеть ее в белые одежды снега?

Утешали нас с Егором Алеша и Кузин: между ними наладилась какая-то особая дружба, бранчливая, насквозь прошитая взаимными издевками. Все чаще замечаем мы, сходятся они вдвоем, вместе путешествуют в город и с глазу на глаз, очевидно, иначе говорят, а при людях обязательно задевают друг друга и насмешничают, словно конфузясь своей дружбы.

Вот однажды шли мы все четверо — я, тёзка, Кузин и Алеша — с одного большого собрания крестьян, устроенного стариком в лесу, уже раздетом почти до последнего листа. Прояснился день к вечеру, а с утра был легкий заморозок — лист под ногами хрустел и ломался, как стеклянный. Шли на запад, сквозь черную сеть сучьев был виден багровый закат усталого солнца, на душе у нас

тоже было красно и празднично — собрание вышло хорошее, дружное, говорили мы все четверо по нескольку раз и, должно быть, хорошо тронули крестьянство. Было народу уже человек около сорока, да еще не все пришли. Это первый раз собрали мы всех знакомых нам мужиков, устроив как бы смотр им, и впервые видели воочию, что работа наша не пропала да и не пропадет теперь.

— Эк вы гоните! — побряхывая, крикнул Кузин. — Мне, хромому журавлю, этак-то не поспеть за вами! Отдохнуть бы!

— Поживешь и без отдыха! — ответил Алеша.

— Это я тебе могу сказать, а не ты мне, дерзила! — упрекает старик.

А Егор то мурлыкает песню, то посвистывает и, не глядя под ноги себе, спотыкается.

Смешно он ходит, Егор, — глаза у него верст за десять вперед смотрят, а ногами он так действует, точно в гору лезет.

Шутя и насмешничая, вышли на опушку, Алексей куврыкнулся на землю, катаясь по ней, сгреб кучу цветных листьев, кричит:

— Садись, ребята!

И, толкнув, повалил на листья Кузина.

— Гляди — картина: закат солнца в деревне Большие Гнезда! Вход бесплатный!

Кузин, делая вид, будто не понял Алехиной любезности, ворчит:

— Городские эти полоротые мальчишки...

Сели, смотрим — деревенька наша как парчой и золотом на серой земле вышита. Опускается за рекой могучее светило дня, жарко горят перекрытые новой соломой крыши изб, красными огнями сверкают стекла окон, расцветилась, разыгралась земля всеми красками осеннего наряда, и ласково-сине над нею бархатное небо. Тихо и свежо. Выступают из леса вечерние тени, косо и бесшумно ложатся на нас и на звонкую землю — сдвинулись мы потеснее, для тепла.

— Хорошо! — вздыхает Алеша. — А вот в губернии хаживал я на выставки картин — двадцать копеек за вход — и вижу однажды — картина: из-под мохнатого зсленого одеяла в дырках высунулась чья-то красная

рожа без глаз, опухла вся, как после долгого пьянства, безобразная такая! В чем дело, думаю? Гляжу в книгу-каталоге: закат солнца! Ах ты, думаю, анафема слепая, да ты и не видал его никогда, солнца-то!

— Да-а... — задумчиво тянет Кузин, — и солнце люди разное видят...

Алеша оживленно продолжает:

— А иные картины сильно за душу берут! Вот, примерно, нарисовано поле, и промеж хлебов лежит прямая-прямая дорога в мутную даль, ничего там не видно! Воз оттуда едет, и девица или женщина идет; лошаденка мухортая, голову опустила, почитай, до земли, глаз у нее безнадежный, а девица — руки назад и тоже одним глазом смотрит на скотину, измученную работой, а другим — на меня: вот, дескать, и вся тут жизнь моя, и такая же она, как у лошади, — поработаю лет десяток, согнусь и опущу голову, не изведав никакой радости...

— Это в книжке написано? — спросил Егор.

— Нет, это сама картина говорит!

Досекин уже окутался дымом и сам кашляет от крепости его.

— Ишь ты! — говорит старик, покачивая головой. — Не пускай ты на меня адову эту вонь! Деревья сохнут от нее!

— Не терпишь, кулугур, православного табаку? То-то! Архирейский аромат! — гордо заявляет он и, недоумевая, продолжает: — А я вот никогда картин не видал, то есть в книжках видел. В книжках оно помогает понять написанное, а вот отдельно — не знаю! И даже не понимаю — как это можно нарисовать красками, а я бы понял без слов? То есть сколько я не понимаю на земле! Даже сосчитать невозможно!

Алексей возится и говорит уверенно:

— Увидишь — поймешь! Я часто на выставки ходил, в театр тоже, на музыку. Этим город хорош. Ух, хорош, дьявол! А то вот картина: сидит в трактире за столом у окна человек, по одеже — рабочий али приказчик. Рожа обмякла вся, а глаза хитренькие и веселые — поют! Так и видно — обманул парень себя и судьбу свою на часок и — радешенек, несчастный чорт!

— Сейчас — чорт! — укоризненно замечает Кузин. — Не можешь ты без него, как поп без бабы.

Алеша задорно смеется.

— Чем поп чорта хуже — оба одному служат!

Егор, помолчав, спрашивает Алешу:

— К чему же это приводит?

— Что?

— Да вот — лошадь, пьяный! Я это знаю, видел раз тысячу! Ты мне напиши, чего я не знаю, не видал, — коли пишешь!

Алеша подумал, потом убежденно говорит:

— Видишь ли, и я видел и пьяных, и лошадей, и девиц, конечно, только — это особая жизнь, иначе окрашена она! Не умею я объяснить... Ну, вот, скажем, девицы — эту зовут Марья, а ту Дарья, Олена... А на картине она без имени, на всех похожа, и жизнь ее как будто оголена пред тобой — совсем пустая жизнь, скучная, как дорога без поворотов, и прямо на смерть направлена. Трудно это объяснить...

Досекин попытлся папиросой и сказал:

— Да, невразумительно говоришь!

Сидя рядом с Кузиным, я слушаю краем уха этот разговор и с великим миром в душе любуюсь — солнце опустилось за Майданский лес, из кустов по увалам встает ночной сумрак, но вершины деревьев еще облиты красными лучами. Уставшая за лето земля дремлет, готовая уснуть белым сном зимы. И все ниже опускается над нею синий полог неба, чисто вымытый осенними дождями.

Толкнув меня, Кузин говорит, улыбаясь:

— Вдруг бы явился он в сей тишине и кротости небес, на минутку бы, на одну!

— Бог? — спросил Егор.

— Вот! Бог господы! И сказал бы...

— Потерял начальство, Петр Васильич! — дурит Алексей, похлопывая старика по плечу.

— Нет, ты погоди, не глумись! — оживленно заговорил Кузин, привстав и грозя Алексею длинным пальцем. — Я, ты знаешь, согласен, что об этом тайном предмете можно рассуждать-то всяко, а ведь о том, чего нету, и сказать нечего. Значит — есть что-то! Что же? Надо знать!

Его глазки сыплют искры, голос стал умильным, старичок собирается сказать что-то острое и двоемысленное.

— В долгой жизни моей наткался я на разных людей-то, и вот — в Галицком уезде это случилось — один странник... Многие богохульства услышал я от него, и одно особенно ушибло меня. Говорит он: «Миром правит сатана! Бог же господь низринут с небес и лишен бессмертия и распят бысть под именем Иисуса Христа. И не черти, говорит, были изгнаны с небес господом, а люди из рая дьяволом, вкупе с господом, он же, земли коснувшись, умре! Извергнув нас, людей, яко верных слуг бога нашего, внушил сатана каждому разное и разностью мнений человеческих ныне укрепляет трон жестокости своей».

Он оглянул нас всех поочередно и поучительно добавляет:

— Вот какие еретицкие мнения-то возможны даже!

У Егора лицо такое, как будто он стал ровесником Кузину. Медленно и сердито звучат его слова:

— Когда все головы научатся думать, тогда и ошибки все обнаружатся. А сказки — бросить, они не пугают!

Старик сомнительно качает головой.

— Заплутаете вы себя во тьме вещных знаний ваших! — усмехается он. — По-моему, бог — слово, миром не договоренное до конца, вам бы и надлежало договорить-то его. Вам!

Лежа на земле вверх грудью, Алеша ворчит:

— Мы, дедушка, все слова до конца договорим, погожди!

Из увала над холмом явилось что-то темное, круглое, помаячило в сумраке и исчезло.

— Кто-то, — говорю, — идет сюда.

Алексей вскочил на ноги, присмотрелся, вновь лег пластом и поет:

Всходит месяц на небо,
Едет милый по полю...

Он всходит справа от нас, месяц. Большой, красноватый и тусклый круг его поднимается над черной сетью лесной чащи, как бы цепляясь за сучья, а они гибко поддерживают его, толкая все выше в небо, к одиноким звездам.

— Это Семен, кажись! — ворчит Досекин, приложив руку ко лбу. — Ну да! Он и есть! Засиделись мы тут... Пеший он...

— Посидим еще — может, не заметит? — предложил Кузин.

Алеша хмуро спросил:

— А ты его боишься?

— Зачем! Мы с ним дружки. А вот тебе бы, Егор Петрович, подумать о нем надо...

— Что такое?

— Насчет Варвары...

— Погодите говорить! — тихо сказал Егор. — А ведь это он за нами следит!

— Конечно, — шепчет Алеша.

В тишине раздается угрюмый вопрос:

— Вы, что ли?

— Мы, мы! — торопливо крикнул Кузин.

Стражник подвигается на нас; пеший, он кажется странно широким. И ружья нет при нем, только сабля.

— Слышали, — гудит он, — в Фокине лавочник зарезан?

— Который? — спросил Досекин.

— Хохол. Галайда Мирон.

— А кто зарезал?

— Не узнано еще.

Согнув колена, Семен валится на землю рядом с нами и глухо ворчит:

— Дня нет неокровавленного!.. Проливается этой человеческой крови — без меры! Мирон лежит в сених, а кровь даже на двор выбежала и застыла лужей...

Он смотрит на нас, точно видит впервые, и равнодушно спрашивает:

— Может, это ваши режут?

— Какие — наши? — сурово и громко молвил Досекин.

— Такие. Знаю я какие! У кого спички есть? Дайте-ка мне, я забыл.

А когда вспыхнула спичка, он вновь оглядел всех и снова спрашивает:

— Ты чего, Алешка, зубы скалишь?

— Весело мне, дядя Семен.

- Отчего?
- Вообще! Внутри весело!
- Нашел время веселью! Тут людей режут везде...
- А кругом — ты гляди...
- Стражник быстро оглянулся, беспокожно спрашивая:
- Кто кругом?

— Да никого нет! — удивленно сказал Алеша. — Я про месяц хотел сказать, про то, какая красота везде...

Темный человек поднял голову вверх, посмотрел и угрюмо сказал:

— Он всегда об эту пору, месяц. Ничего веселого нет в нем! Каин Авеля убил — вот и все!

— Ты что не на коне? — спросил Кузин.

— Хромает. Коновала надѐ. Вот ты везде тут ходишь, скажи, чтобы коновала прислали мне.

— Где же это я везде хожу?

— Уж я знаю. Нехорошо про тебя говорят.

— Кто?

— Вообще, народ! Скорняков, Астахов... все!

Кузин не по-старчески задорно смеется.

— О хорошем плохо — легко сказать, ты скажи о плохом хорошо!

Вялый, измятый весь, точно с похмелья, стражник лениво и тягуче бубнит:

— Замечают тебя в подозрительных делах.

— А ты этому веришь?

— Астахов — за всеми следит. Его голос услышат...

Кузин встал на ноги, встряхивая полы кафтана, и бойко говорит:

— Его? Его услышат, верно! Громкий старичок, к тому же на василевской колокольне колокол у него висит и звон астаховский, чай, даже до седьмых небес слышен.

— Не шути! Это не к летам тебе. Я обязан службой вперед Астахова всё знать, а он вот обгоняет меня.

— Плохо твое дело! — сказал Егор, присматриваясь к нему.

И я вижу, что сегодня грубое лицо стражника как будто обмякло, опухло какой-то тяжелой задумчивостью. Его темные глаза неподвижны, взгляд мутен и туп, а голова необычно беспокойна, точно ей неудобно на толстой,

заросшей черными волосами шее и она боится упасть на землю.

Тяжело ворочая языком, Семен продолжает:

— Трое тут главных, говорят, — ты, да Досекин, да вот Егор Петров... Да еще Алешка...

— Выходит четверо! — заметил Алексей.

Егор заботливо спросил:

— Ты что, дядя Семен, с похмелья, али нездоровится?

— А тебе что? — сказал стражник, лениво поднимаясь с земли. — Какое тебе дело до меня?

И, не простясь с нами, пошел прочь, а мы — домой.

Поглядев вслед ему, Кузин сказал:

— Чего-то неладно с ним...

— Да! — подтвердил Егор. — Хворает он.

— Ну его к чорту! — воскликнул Алеша, передернув плечами. — Это, по-моему, он же сам и зарезал Мирона Галайду, право, он!

— Ври! — сурово остановил его Досекин.

И Кузин упрекнул:

— Да уж! Разве можно такое-то говорить?

Но Алеша стоял на своем:

— Он! А если этого не он, другого кого-нибудь зарежет, вот увидите!

Алексей говорил так уверенно, что мне стало холодно и все замолчали.

Прошло недели две, и наступил один из тех дней, когда события, ручьями сбегаясь отовсюду, образуют как бы водоворот некий, охватывают человека и кружат его в неожиданном хаосе своем до потери разума. В каждой жизни есть такие дни.

В тот день мы с Егором были в Василеве, объясняли мужикам, собравшимся в овине, что такое черная сотня и чего она добивается. Возвращались вечером, было темно и пасмурно, шли по дну Останкина лога, и вдруг сверху из холодного сумрака раздался хриплый крик:

— Эй, Егор Петров! Поди сюда!

— Не ходи! — советует мне Егор, схватив за руку.

— Как же не пойдешь? — говорю, видя на краю невысокого взгорья голову лошади и темное лицо стражника, наклонившееся вниз.

— Иди скорее! — зовет он. — А ты, Досекин, ступай, куда идешь!

— Ружьем балует, дьявол! — шепчет мне Егор.

Я полез вверх, цепляясь за кусты, и, когда поравнялся с конем, стражник спросил:

— Тот — ушел?

— Ушел.

— Мне надо сказать тебе два слова — одному тебе! Иди! Н-но, бревно!

Тронув коня, он отъехал в сторону, остановился, прислушался к чему-то и, наклоняясь к башке лошади — я стоял у морды ее — говорит тихо, вяло, как сквозь сон:

— Беседа — минутная! Видишь — скоро зима. Значит — пора тебе уезжать отсюда. Уезжай, а Варвару мне уступи!

Гладил я шею коня, и рука моя, задрожав, бессильно упала.

— Что ты? В уме? — спрашиваю его. — Разве она овца?

— Отступись от нее! — продолжает он деревянным голосом, и голос этот все больше пугает меня.

Сухим языком говорю, вздрагивая:

— Подумай, что предлагаешь!

Но он как бы не слышит моих слов.

— Для меня отступись. Прошу!

Действительно — просит, и это очень неприятно мне, странно: он вдвое сильнее меня и с оружием.

— Отступись!

У меня дрожат ноги, я боюсь его, обидно мне, и едва могу сдерживать злобу, схватившую меня за сердце. Громко отвечаю ему:

— Это — нельзя.

Услышал, должно быть. Выпрямился в седле.

— Я тебя Христа ради прошу!

Не знаю, что сказать ему. Молчу, держась рукой за седло, а он медленно тянет, точно веревками скручивая меня бездушными словами:

— Ты подумай. Вот ты — всяко в руке у меня. Опасный человек, и дана мне власть над тобой. Зашибу тебя до смерти, а скажу — сопротивлялся, и — ничего не будет.

«Пьяный? — думается мне. — Сходит с ума?»

Но вином пахнет от него слабо, на коне он держится будто хорошо, речь его кажется мне связной. Мне было бы, наверное, легче, если б он сердился, кричал, ругал меня, но видеть его таким — невыносимо. Говорю:

— Брось, Семен, что это такое?

— Я знаю, что ты ничего не боишься... — бормочет он. — Но это мне все равно! Решилась, видно, моя дорога, идет круто под гору. Не желаю! Вот она, Варвара, и нужна мне, — пусть поддержит!

Он свесил голову низко на грудь и набок, точно удавленный. Перебирает в руке повод, его холодные и твердые пальцы касаются моей руки — вздрагиваю я от этого, и нестерпимо тошно мне.

Что сказать ему?

— Варвара, — говорю, — сама себе хозяйка. С нею и беседуй иди. А меня оставь!

Покачиваясь в седле и точно засыпая, он тянет:

— Я говорил... три раза... больше. Грозил ей и всё. Она — тоже ничего не боится. Это и хорошо, если не боится. Этого я ишу.

Тут я схватил его за руку, дернул, кричу ему:

— Что ты как говоришь? Нездоровится, что ли?

Покачулся он ко мне, вздрогнул, озирается.

— Сна нет у меня, уж и забыл, когда спал. Хочу спать, а — боязно и не могу уснуть.

— Чего тебе боязно?

— В голове как на мельнице... — снова гудит он, — и язык немеет...

— Чего боишься-то? Поезжай-ка домой!

— Не хочу, ну их всех! Я вчера Кузьму прибил. Он все говорит — вредные люди. Плачет, старый дурак. Не выйдет насчет Варвары? Эх... Толкнул я его, он упал, ушибся и опять плачет...

Мне холодно, душно — разговор этот давит меня, подобно ночному кошмару. Взял я коня и тихонько веду его на дорогу.

Семен спрашивает:

— Ты куда?

— Домой. Холодно мне.

— А меня куда?

— И тебе домой надо. Чего больному-то в поле маячить! А может, ты выпил?

— Нет. Вчера был выпивши. Ты брось лошадь — я еще поезжу, брось! Эх, ничего ты не боишься, никого не слушаешь...

«Да, — думаю я, — не боюсь, чорт бы тебя взял!»

— Слушай! — говорит он. — Хочешь, я тебе денег дам? Вот со мной шестьдесят два рубля, а?

Режет меня поперек груди беспомощный голос его.

— На что мне твои деньги?

— За Варвару! — объясняет он. — Я и еще дам! У меня, брат, есть...

Молчу и веду лошадь, поглядывая на него, — как бы не ударил.

— Оставь лошады! — просит он.

Я выпустил узду. Слышу над головой его голос:

— Ну, иди! Топор не укусишь! Я шутил ведь. Ты думаешь что? Болен я? Нисколько не болен! Вот поеду на мельницу в шинок, там Дунька, Феклушка...

Он начал говорить похабные слова; мне показалось, что голос его стал крепче, яснее.

— Прощай! Холодно. Водки выпить хорошо теперь... Н-но, корова!

Он ударил лошадь каблуками в бока и рысцой поскакал в темноте. И вдруг остановился где-то близко.

Стою и ожидаю — хватит он из винтовки или нет? Ноги у меня бежать хотят, тянут в сторону, в кусты.

— Пора все-таки уехать тебе! — доносится его голос. — Слышишь?

Кричит как будто без угрозы.

— Слышу!

Он снова крикнул на лошадь, и копыта ее торопливо застучали по звонкой, скованной морозом дороге.

И я, чтобы согреться, побежал бегом. У околицы, около хлебной магази, Егор ждет меня, продрог. Рассказал я ему все это — он сурово ворчит:

— Как бы не сделал он чего-нибудь? Вот что — ты иди к Варваре Кирилловне, спроси ее, в чем дело, а я — к брату его, к Лядову пойду. Надо ему сказать...

— В ссоре они!

— Ну, какая тут ссора! Эх, бабы! Лишние они в нашем деле!

Совестно мне несколько слышать этот скрытый упрек.

— Ты, брат, — говорю, — будто историю на сей день забыл.

— Ничего не забыл! Историю делали в городах. Те женщины — я их не трогаю.

Но, подумав, он сказал:

— Нет, запутался я!

Я прошу его:

— Ты потом зайди к Варе, от Лядова-то!

— Ладно!

И вдруг — повеселел мой тёзка, толкнул меня плечом, усмехаясь, спрашивает:

— Так и говорит он — могу убить?

— Так и сказал.

— Ах, дьявол, а? Что же ты, струхнул?

— Не без этого, брат!

— Тут испугаешься!

Он снова коснулся меня широким плечом и тихо говорит:

— А хорошо ты сделал, что позвал меня к Варваре-то!

— Что ж тут хорошего? — удивленно спрашиваю я.

— Молчи, знай!

Мы прошли деревню насквозь, изба Лядова осталась позади, Егор быстро повернулся и пропал во тьме.

У меня на душе было беспокойно и тяжело; не люблю показываться людям в таком виде — поэтому я миновал призывный огонек в окне Вариной избы и снова вышел в поле, к мельницам. Было темно, как в печной трубе, деревня, придавленная тяжелой сыростью, вся в землю ушла, только мельницы, размахнувшись мертвыми крыльями, словно собрались лететь, но бессильны оторваться от холма, связанные холодом и ночью. Сеяло мелкой, сухой изморозью, гулял, резко встряхиваясь, острый, злой ветер, разгоняя в темноте тихий шорох и жуткие шумы. Где-то плачевно скрипела веревка, хлопал ставень, немотно мычала озябшая скотина. Катался по дороге клок соломы и жалобно шуршал, не находя места, куда при-
ткнуться на ночь.

Думалось о людях, было жалко их. Вспоминались умные намеки Кузина:

«Укрепляет сатана трон жестокости своей разностью мнений человеческих...»

Тревожно билась в душе какая-то неясная, безлика мысль о Досекине и Варе, хотелось бы видеть их вместе и в счастье, радости. Было жалко себя... И черной глыбой стоял в памяти стражник, гудел его неживой голос.

Торопливые, знакомые шаги в тишине — Егор идет. Пошел и я встречу ему.

— Эй!

— Это ты?

— Я!

— Разве она не дома? Огонь у нее в окне.

— Я тебя ждал! Ну, что Лядов?

— Что Лядов! Мямлит — он, дескать, давно такой, а я ему не начальство. Ну их к чорту, коли так!

Варвару мы застали сильно расстроенной, по глазам было видно, что она много плакала. Отперла нам дверь нехотя и сердито спрашивает:

— Что это вы когда?

— Теперь, Варвара Кирилловна, — говорит Егор, садясь, — не больше восьми часов.

— Мы, — говорю, — по делу.

Волосы у нее растрепаны, и вся она как-то опустилась, двигается быстро, резко, обиженные глаза сурово горят, и губы крепко сжаты.

— Книжки надо убрать от меня, а то пропадут, — сухо извещает она, не глядя на нас.

— Что так? — спокойно спросил Егор.

— Семен обыском грозит.

И отвернулась к печке, громыхая чем-то на шестке.

— Чай пить будете?

Незаметно отирает глаза концом головного платка. Досекин уважительно и ласково просит ее:

— Чаю мы выпили бы и голодны оба, как зимние звери, только это после, а теперь ты нам Расскажи, что тут Семен натворил?

Мечется она, схватила самовар, наклонилась над ним, скрывая свое лицо.

— Перевели бы вы меня в город скорее, а то — нет больше терпенья моего, и беда может случиться! Откуда знаете, что был он сегодня?

— Ты сказала! — усмехнулся Егор, потирая колена руками.

Тогда я передал ей встречу со стражником и его безумные слова. Повеселела моя подруга, взяла шитье в руки, села к столу и рассказывает светлым голосом, посмеиваясь, смущаясь и сердясь:

— Совсем он мне покоя не дает! Терпела я, терпела, молчала, больше не могу, а то грех будет! Все чаще он приходит, влезет, растопырится с ружьями и саблями своими и воет, и лает, и ворчит... страшный, черный, дерзкий...

Тёзка мой смотрит на меня круглыми глазами и тихонько посапывает носом — признак, что сердится.

— Напрасно ты не говорила про это мне! — упрекаю я ее.

Она с досадой отвечает:

— Полно-ка! Он тукнет тебя — вот тебе гроб да погост, и больше ничего. Он хоть и полоумный, а власть свою чувствует!

— Разве полоумный? — спросил Егор.

— А конечно!

Ее передернуло дрожью, и, закрыв глаза, она стонет:

— Совсем он лишенный ума, ей-богу! Говорит: слушай, я тебе расскажу одно дело, а ты мне клятву дай, что никому не расскажешь про него. Я говорю — не скажешь, Христа ради, прошу тебя, не хочу! Некому, говорит, больше, а должен рассказать, — и снова требует клятву. Ругает меня, рожа-то у него станет серая, глазищи — как у мертвого, тусклые, и говорит — чего понять нельзя!

Тихонько и настойчиво Егор спросил:

— О чем все-таки он говорит?

— Не понимаю ничего! — восклицает Варя, отбрасывая шитье и убегая к печи, где вскипел самовар. — Все у него не собрано в голове, все разрознено. Вас он ненавистью ненавидит и боится, Кузина ругает: старый дьявол, богоотступник он, дескать, всю душу мне перевернул, жизни лишил, колдун он, крамольник! Он все знает: и

про сходки по деревням, и что у лесника беглый сын воротился — все сегодня сказал!

— Так! — спокойно молвил Егор.

— Полает, полает и начнет жалостно выть: отступись, дескать, от них, пусть они люди скромные и серьезные, но это самые страшные люди, они, говорит, принадлежат тайному фармазонскому закону, смерти не боятся, по всей земле у них товарищи и поддержка, хотят они все государства в одно собрать и чтобы никогда не было войны...

— Слышал звон! — сказал Егор, весело усмехаясь.

— Вот всё так! — удивленно говорит Варя, гремя посудой, — ругает, ругает он вас, потом смеется — они, говорит, глупые, ничего не будет по-ихнему, до той поры все умрут, перебьют друг друга и умрут! И опять за свое — вот я тебе, говорит, расскажу это дело, а ты побожись, что будешь молчать. Я кричу — да отженись ты, нечистый дух, не хочу я слушать тебя! Помолчит минуту, опустя голову, и спрашивает: разве и ты ничего не боишься? У меня, говорит, деньги есть, хочешь — дам тебе денег? Ступай ты, говорю, на мельницу, там деньги берет, а меня оставь Христа ради!

Лицо у нее горячо горит, голос обиженно вздрагивает и руки трясутся.

— Что я далась ему? Мало ли других баб на селе? А он этакой рослый, здоровый, согнется и бормочет, махая рукой: «Коли страха нету больше — всё кончено! Все рушится, все нарушено! Мир, говорит, только страхом и держался!» И опять ко мне лезет, за груди хватает, щиплет, просит лечь с ним — мне просто хоть нож в руку брать!

Она всхлипывает, наклоняя голову. Лицо Егора окаменело, скулы торчат, он вытянул руки, сжал все десять пальцев в один кулак и пристально смотрит на него. А я словно угорел, скамейка подо мной колыхнется, стены ходят вверх и вниз, и в глазах зелено.

Варя говорит тихо, сквозь слезы:

— Уйду я в город! Измучил он меня, не могу больше терпеть и молчать! Не хотелось мне говорить обо всем этом — зачем, думаю, буду я беспокоить людей бабьими делами... А сегодня так он меня истерзал, что я уж едва

стою, силы нисколько нет, и думаю — мать божия, помоги! Вот сейчас схватит, вот опоганит, окаянный!

Тихонько покашливая, Егор спросил:

— А клятву-то дала ты ему? Рассказал он тебе, что хотел?

— Ой, ну его, я и слушать не стала бы! Уши заткнула бы себе! Начинал он что-то про какую-то женщину... Чудится ему что-то, мертвецы синие, мертвые женщины. Одна, говорит, ходит ночью голая вся, глаза у нее закрыты, а руки вытянуты вперед. А потом начинает такое говорить — ну его! Охальник он и буеслов! — угрюмо и гадливо проговорила она. — Не могу я передать его слова...

— Ты, Варвара Кирилловна, — внушительно сказал Егор, вставая из-за стола, — дома сегодня не ночуй. А завтра, — обратился он ко мне, — в город ее! Ну, я пойду.

Он подал руку Варе и, заглянув ей в глаза, посоветовал:

— Собирайся-ка скорее! А он — это верно — полоумный, и пора бы ему шею свернуть. Ну, тёзка, я иду.

Мне хочется остаться в теплой и чистой горнице подруги, и она, я вижу, хочет этого, — усталые глаза ее смотрят на меня так ласково с измученного лица. Но меня тянет за Досекиным — он тревожит мне сердце: лицо у него необычно благодушное, двигается он как-то особенно валко и лениво, как бы играючи своей силою, хвастаясь ею перед кем-то. И сухо посапывает — значит, сердце у него схвачено гневом. Встал я.

— До свиданья, Варя!

Она неохотно сует руку, а глазами говорит — не уходи.

— Ты куда же это? — спросил Егор, надевая шапку.

— С тобой.

— Я один дорогу знаю!

Смотрит мне прямо в глаза взглядом, нелюбимым мною и неприятным, и я чувствую, что не ошибся — он что-то надумал.

— Ты бы не пускала его, — будто шутя говорит он Варе. — Что он оставляет тебя по целым неделям одну? Разве так делают хорошие любовники!

— Слышишь? — молвила она, ласково положив руку на плечо мне.

— Скажи, Егор, что ты затеял? — прошу я его. — Может быть, я и не пойду с тобой..

Все трое смотрим друг на друга и молчим, и все сразу догадались, что поняли друг друга.

— Подь-ка ты к чорту! — сказал Егор, шагая к дверям, но я схватил его за руку.

— Нет, так нельзя!

А Варя, побледнев, шепчет:

— Что ты, что ты! Из-за этакого-то человека себя губить?

И, толкая меня к двери, торопливо говорит:

— Иди с ним! Не пускай его одного-то! Иди!

Я не мог удержать товарища, он вытянул меня за дверь. Минуты две-три мы шагали по улице молча.

— Не стучи каблуками-то! — сердито ворчит Егор. — Сторожа тут где-нибудь. Шел бы домой!

— Не пойду.

— А куда ты?

— С тобой.

И снова идем молча. Я слушаю, не застучат ли в темноте копыта коня.

— Ты что думаешь? — угрюмо шепчет Егор.

— Ничего.

— Я пойду на мельницу, он там.

— Что делать?

— Минута укажет! Сначала я ему скажу: уходи прочь отсюда, ты человек больной, вредный, а не уйдешь — пеняй сам на себя.

— Тут он тебя и ахнет!

— Увидим!

Разум говорит мне — спорь, а сердце — не надо. Я молчу.

Очутились мы за околицей, у магазина. Над нами ветер бойко гонит темное стадо туч, вокруг нас маячит и шуршит сухой от мороза ивняк, и все торопливо плывет встречу зимнему отдыху. Егор тихонько свистит сквозь зубы, и ветер разносит во тьме этот тихий, тонкий звук. Холодно. Жутко. Издали доносится чуть слышный шум...

— Будто скачут? — смятенно говорю я и вздрагиваю от холода или страха.

— Ветер! — отвечает Егор, прислушавшись. — А Гнедому не одобровать — заберут его! — раздумчиво продолжает он, шагая широко и твердо. — Отец мой вчера пришел из волости — говорит: Астахов жалобу подал на солдата, и суду и в город какую-то бумагу послал. Писарь бумагу эту составлял ему. Стой-ка! Чу...

Шум ближе, и ясно — скачут на лошади.

— Это не он, — говорю я.

— А кому еще быть?

— У него конь тяжелый.

Во тьме запрыгало большое серое пятно, и завыл вздрагивающий, страшно громкий голос:

— Наро-од... сбива-ай... Скорей! Убийство-о случилось!

Мы бросились вперед к верховому.

— Это с мельницы Корней-работник! — говорит на бегу Егор. — Стой! Где убийство?

Верховой, прыгая на лошади, не может остановить ее, она мечется из стороны в сторону, угрожая опрокинуть нас, и ломает, разрывает речь человека.

— На мельнице, милые! Стой же! Стражник там Авдотью-солдатку... Это ты, Досекин? Дома отец-то твой? Да стой!.. Сбивайте скорее народ, а то он там всех...

— Скачи в деревню, а мы туда!

Егор быстро зашагал вперед, схватив меня за руку и вскрикивая:

— А-ах ты... как сошлось! Говорил я Лядову... Сво-лочи!

Сзади нас несется жуткий вой:

— Вста-ава-эй!

Задыхаясь, бежим. Ветер толкает нас в спины, осыпая нас тревожным криком, залихватым лаем собак и глухим гулом чугунного била. Проснулась деревня, но кажется, что она боязливо отходит в сторону, удаляется от мельницы.

Досекин наклонился вперед, стелется по дороге, как лиса, и ворчит, задыхаясь:

— Трое мужиков там, три бабы — как они допустили!

— Оружие у него!

— Трусы всё!

Пошли тише, ветер подкатывается под ноги, торопит.

Нас догоняют верховые, скачут они во тьме и для храбрости ревут разными голосами, стараются спугнуть ночные страхи. Черные кусты по бокам дороги тоже к мельнице клонятся, словно сорвались с корней и летят над землей; над ними тесной толпой несутся тучи. Вся ночь встепенулась, как огромная птица, и, широко и пугливо махая крыльями, будит окрест все живое, обнимает, влечет с собою туда, где безумный человек нарушил жизнь.

— Кто идет?! — неистово орут сзади.

Выравнялся из тьмы Мозжухин, болтает ногами и, наезжая на нас конем, кричит:

— Начальство-то наше, а? Обложили нас этими стражниками — ах, ты, господи!

— Поздно ты сообразил, дядя Василий! — сказал До-секин.

— Заскакал я вперед всех, — сокрушенно говорит верховой, — а что могу один-то? Приеду, а он в меня — пулю!

И, оборотясь назад, заунывно ревет:

— Пospеша-ай!

До мельницы всего версты две места, а мы будто верст десять отмерили. В голове смутно, в горле саднит, глаза и уши необычно чутки, все вокруг задевает меня, ложится на память и сердце царапинами. И всё — как сон.

Плывет вокруг тьма, гонимая ветром, мелькают черные деревья, тревожно встряхивая ветвями, и промерзлая грязь под ногами кажется зыбкой, текучей.

— Огня там нет! — говорит Егор.

Мозжухин дергает за узду, задирая голову лошади кверху, она топчется на месте, фыркает, а всадник вытягивается вперед и громко шепчет:

— Глядите — бежит кто-то, ей-богу, право! Ах ты, господи, — бежит ведь!

Раздается его отчаянный крик:

— Наро-од-жа! Скорее-эй! Сюда-а!

В темноте пред нами мечется маленький кусочек чего-то живого, окрыленный чем-то белым... вот он подпрыгнул с земли и вдруг неподвижно остановился, прилип к ней.

Когда мы подбежали, это оказалась сирота Феклуша, бывшая работница Скорнякова, а ныне подруга убитой Авдотьи по службе в тайном шинке. Полуголая, в одной белой юбке и рубаше, она, лежа на земле, бьется, стучит зубами и ничего не может сказать. Подняли ее на ноги, ведем обратно, и тут она безумно закричала:

— Куда вы меня, милые, куда?

— Где стражник-то? — спрашиваем.

— Убился... убился из ружья! Ползает по полу, а кровь так и льется, так и льется... Пустите вы меня...

Егор накинул на нее свой кафтан и пропал во тьме, словно камень в омуте.

Настигли нас еще трое верховых, двое с кольями, а Лядов даже с ружьем. Узнав, в чем дело, они храбро заговорили:

— Дошел, темный дьявол!

— Туда ему и дорога, псу!

— Это вот тайные шинки эти губят людей! — грозно кричит Лядов, размахивая ружьем.

А Мозжухин грустно говорит:

— Начнется теперь, братья, великая склока нам; эх — житье!

Все четверо быстро погнали вперед, оставив меня одного с девицей. Обняв за плечи, веду ее, выспрашиваю, как все это случилось, она жмется ко мне, дрожит, пытается рассказать что-то, но, всхлиывая, говорит непонятно. Впереди нас мелко топчут лошади, сзади гудит народ, а земля под ногами словно растаяла и течет встречу нам, мешая идти. Девушка кашляет, спотыкается, охает и скулит, точно побитый кутенок.

— Грозный он приехал, спросил вина, пьет, дергает за бороду себя и все молчит, все молчит! Я с пещи гляжу на него через переборку, думаю — царица небесная! Как он меня спросит — что буду делать? Пришла покойница Дуня, он ей — «раздевайся!» Она хоть и озорница была и бесстыжая, а не хочет — холодно, говорит. Он кричит... батюшки!

Виденное овладело ею, она начала говорить быстро, захлебываясь словами и взвизгивая. Догнали нас пешие, заглядывают в лица нам и прислушиваются к страшной сказке, сдерживая свой говор и топот ног.

— Стал он деньги жечь на свече, она говорит — дай мне! Дал! А она еще просит, на колена села ему, он схватил ее за грудь и давит; кричит она — господи! — а он ее за горло да на стол и опрокинул; тут я испугалась да к хозяину, а он говорит — ну их ко псам! Сказала я хозяйке, да опять сама на печь... гляжу — постеля на пол сброшена, Дуня поперек ее лежит, а он на коленках перед ней, вино наливает и кричит: сожгу всю деревню! Ничего не боюсь, говорит! Дуня расцарапана вся, в крови! Тут пришли Корней с Михайлой и хозяйка — как он на них зыкнет! Зарублю, кричит, все прочь! Я и глаза закрыла, слышу визг, топот, возня, и Семен пуще всех ревет! Тут я опять убежала во двор! Ничего не помня, бегаю по двору, и собаки тоже, а что делать — не знаем! Вбежим в сени, да назад, они испугались, лают обе...

В темноте мне плохо видно ее маленькое круглое лицо, я чувствую на нем широко открытые глаза, и мне кажется, что они совсем детские и по-детски испуганы. И вся она, все слова ее будят надоедную думу:

«Тысячи и тысячи таких, как она, людей, похожих на медные копейки! И тратятся они без жалости всяким и на всё...»

— Тут Михайла вышел, стонет, шатается. Зарубил он меня, говорит. С него кровь течет с головы, сняла кофту с себя, обернула голову ему, вдруг — как ухнет! Он говорит — погляди-ка, ступай! Страшно мне, взяла фонарь, иду, вошла в сени, слышу — хрипит! Заглянула в дверь — а он ползет по полу в передний угол, большой такой. Я как брошу фонарь да бежать, да бежать...

Кто-то сзади меня сердито сказал:

— Разве можно фонарь с огнем бросать, дура! Ведь он с огнем!

Неожиданно и высоко поднялась из тьмы стена амбара, все остановились перед нею, глухо и осторожно переговариваясь.

— Тихо!

— Не слышать людей-то!

— Айда!

Никто не тронулся. Были слышны вздохи, сопенье и холодный, внятный звон воды на плотине.

— Господи! — шепчет Феклуша, держа меня за руку. — Как я теперь пойду туда?

Отстранив ее, я шагнул вперед, и все гуськом потянулись за мной, а девушка тихонько завывала:

— Дяденьки! Да не бросайте вы меня одну-то!

— Тиш-ша! — зашипело на нее несколько голосов сразу.

На дворе стоят, понурясь, лошади наших верховых, а людей — ни одного. И только войдя в сени, увидал я их: прижались все пятеро к стене в сенях; на пороге открытой в избу двери стоит фонарь, освещаая слабым, дрожащим огнем голое человеческое тело.

— Что? — спрашиваю Егора.

— Помер!

Приподняв фонарь, он осветил горницу: стражник лежал в переднем углу под столом, так что видны были только его голые, длинно вытянутые ноги, черные от волос; они тяжело упирались согнутыми пальцами в мокрый, темный пол, будто царапая его, а большие круглые пятки разошлись странно далеко врозь. Авдотья лежала у самого порога, тоже вверх спиной, подогнув под себя руки; свет фонаря скользил по ее желтому, как масло, телу, и казалось, что оно еще дышит, живет.

— А как Михайла? — спросил я.

— Ничего! — ответил Егор. — Он говорит, что сам разбился, когда побегал от стражника. Упал с крыльца.

Из угла сеней раздается голос Лядова:

— Врет! Пачпорта у него нет!

А Мозжухин гнусаво скорбит на ухо мне:

— Эка женщина дородная, а? И ведь умница была, работяга, а вот — загуляла, закружилась!

— Это вы ее довели! — резко сказал Егор, покуривая.

— Полно, племяш! Мы! А нас как судьба ставит!

— Еще вверх ногами стоять будете...

Смешливый мужик Никон Ермаков согласился с Егором:

— Будем, Егорша! Нам — долго ли? Мы завсегда вниз головой живем — фокусники!

Лядов грозно оговаривает:

— Нашли место шуткам! При упокойниках-то! Лучше бы хозяев-то поискали, — чай, не сдохли они со страха!

- Это — дело старосты!
- А коли ты хочешь — ищи!
- Мне что? Я не начальство!
- Ну, так молчи!
- Так-таки и молчать?

Начинается обычная канитель: собрались в тесном месте издавна очертевшие друг другу люди, привыкли они в этот час спать, а теперь стоят здесь и знают, что завтра придет начальство, начнется неизбежная ругань, сума-тоха, знают они это, тупо сердятся все — на каждого, каждый — на всех.

Время от времени являются новые зрители, толкают друг друга, шипят, охают и вытягивают шеи, заглядывая в горницу. То и дело фонарь поднимается кверху, из темноты выплывают серые пятки стражника, пышные плечи Авдотьи, ружье среди пола, опрокинутая лампа и черные пятна крови.

Ползет, змеится пугливый шопот:

- Кровищи-то!
- Мужик был ражий!
- Пил, ел сытно!
- Бабочку жа-аль!
- Н-да, хороша была забавушка!
- Вы бы лучше прикрыли ее, черти!
- Ничего! Она и живая наготы не боялась!
- А вот стражнику — черти рады!
- Что ж он? Бывают много хуже!
- Еще бы! Вон в Фокине...

— Михайле-работнику голову порубил!

— Его бы задержать надо, Михайлу-то этого! Эй, староста! Работник тут, Михайла, — мне известно, что пачпорта нету у него, слышишь?

Досекин, отец Егора, высокий, сутулый и смирный, озабоченно и тихо отвечает:

- Задержим! Сотские — человек тут, слышь...
- Михайла!
- Шадрывый!
- Поищите-ка его!

— Вот! — довольным голосом говорит Лядов. — А то ходят, стоят, а никто ничего не делает.

— Айда домой! — тихо зовет меня Егор.

На дворе Скорняков жирным своим голосом матерно ругает арендатора мельницы; лошади слушают ругань и прядают ушами, переступая с ноги на ногу. Коренастый, курчавый арендатор, встряхивая головой, спокойно оправдывается:

— Что шинок я держал — это известно всем и тебе известно — ты за это аренду мне набавил на сотню рублей выше...

— Я? Набавил! — кричит Скорняков, топая ногами.

У ворот стоит сотский и, ковыряя палкою землю, спрашивает всех, кто проходит мимо него:

— Михайлу-работника не видели случаем?

— Чорта два, найдете вы этого Михайлу! — бормочет Егор, усмехаясь. — Понимаешь, какая история? Прибежал я сюда, взглянул на все это, стало так тошно, так горестно на сердце. Вышел я на двор — чу... кто-то стоит! Подошел — стоит у телеги человек, голова обмотана тряпкой, — Михайла! Я с ним раза два-три беседовал раньше, и всегда казалось мне, что человек он не без разума. «Ну, говорит, Досекин, вот я и пропал, ведь я, говорит, брат, беглый, из солдат сбежал, паспорта у меня нет!» И ума немного тоже, говорю! Направил его к Черному перелеску, сидит, наверное, там и ждет нас. Отведу его к леснику, а потом уж припрячем.

Смотрю я на него — у человека даже и волосы не растрепались, а я до смерти устал, в голове у меня туман, сердце бьется нехорошо, и тошнит меня от жирного запаха человеческой крови.

— А простудилась, наверное, девушка та! — раздумчиво говорит он, свертывая папиросу. — Босая бегла! Жалко мне ее — какая-то бескрылая пичужка из разоренного гнезда!

— Как ты все это успеваешь заметить, запомнить? — искренно удивляясь, спрашиваю я.

Он молчит, четко отбивая шаг.

Уже светало — на деревьях был виден сероватый, тонкий иней, на лице Егора — тонкая усмешка.

— Видишь ли что, — говорит он, опуская голову, — я ведь людей-то люблю, честное слово! Я будто суров и все такое, а — мне всех жалко! Вот теперь возьмем этот случай: оба они такие могучие, здоровые, телом креп-

кие — разве не жалко? Вдохни в эти тела новую душу, сколько они могли бы работы сделать над жизнью! И подумай: вор — здоров, конокрад — здоров, стражник, гулящая женщина и весь этот противообщественный, так сказать, народ — здоровяки больше. А общественники — рядовой мужик, рядовая баба, землеробы наши смиренные — всё больше мозглявенькие, хворенькие, изработались, забиты нуждой и голоса никогда не поднимут за себя — верно?

— Почти всегда так! — соглашаюсь я.

— Да! И в нашем деле... которые парни и мужики посильнее — тянут к нам, а вырождков между нами не видать. Это, брат, значит, что пришел деревне конец! Сильному в ней — тесно, слабому — невместно! Настало время разорваться деревне надвое, и никакими канатами, ни цепями не скрепить ее теперь! Нет, конечно!

Он негромко смеется. Утренний мороз нащипал ему лицо докрасна, и глаза у парня ясно горят.

Слева от нас из кустов выглянул человек.

— Вот он! — сказал Егор и тихо крикнул: — Эй!

Человек тускло отозвался.

— У тебя рубаха чистая? — спросил тёзка. — Ты сними-ка ее, ему надо голову-то перевязать.

Когда мы подошли к раненому, он сидел, охватя голову руками, и, сцепив зубы, тихо ныл:

— У-у-у, головушка моя!

Я снял рубаху, прохваченный холодом, немного оклемался от усталости и обрадовался, а то совестно было перед Егором за нее.

— Кость цела? — спрашивал Егор, осторожно снимая с головы раненого кровавую тряпицу.

— На ощупь — будто цела! Но только и болит голова! Вот болит!

Стоя на коленях, он подпирал скулы ладонями и держал голову, как чашку, до краев наполненную.

— Я ему норовил в живот головой-то, а он отскочил, видно, да и секанул, дьявол!

— Застрелился он — знаешь?

— Знаю! До смерти?

— Да!

— Ну — и хорошо! Что только с бабами выделявал

он там — ай-яй! Словно и не человек это! Ты куда меня хочешь прятать?

Собирая покрытые инеем листья, Егор говорит:

— Я тебя только отведу, а спрячет другой. Вот лицо надо бы тебе вытереть.

Густо окрашенное запекшеюся кровью лицо Михайлы точно из железа: кровь застыла на нем ржавыми корками, рыжей маской.

Уже светло; видно, что и одежда пораненного замерзла, топырится и хрустит при его осторожных движениях. Егор оттирает ему щеки сырыми листьями, больной трясется весь, стучит зубами и тихонько бормочет:

— Спаси вас Христос, братья! А ежели попаду я начальству — оно меня запечет! Вы почему же такие добрые к людям-то?

Из голубых глаз больного медленно текут мутные слезы.

Мне становится неловко от вопроса его, и Егор тоже смущенно смеется.

— Ты иди, тёзка, — говорит он, — светло и все такое, народ сейчас явится — иди!

— У-ух! — стонет раненый, покачивая головой, похожей на растрепанный кочан капусты, а тёзка, посвистывая, старается — чистит ему лицо, как самовар.

Без дум, со смутной и тяжелой грустью в сердце иду по дороге — предо мною в пасмурном небе тихо развевается серое, холодное утро. Все вокруг устало за ночь, растрепалось, побледнело, зеленые ковры озимей покрыты пухом инея, деревья протягивают друг к другу голые сучья, они не достигают один другого и печально дрожат. Снега просит раздетая, озябшая земля, просит пышного белого покрова себе. Сошлись над нею тучи, цвета пепла и золы, и стоят неподвижно, томя ее.

Подошел я к деревне — над плетнем Варина огорода вижу ее бледное лицо, ждет, бедняга, и, должно быть, всю ночь не спала.

— Уснешь с таким! — передергивая плечами, говорит она и ведет меня за собой. — Иди скорей! Гляди-ка, как загваздался весь кровью-то! А рубаха где?

Слезы у нее на глазах, а рука холодная, как лед. Подавая мне воды, тихо спрашивает:

— Кто его застрелил?

— Сам.

— Ей-богу?

— Полно, Варя! — строго говорю ей.

— Ах, господи! Разве тут поймешь? Ведь вы пошли к нему!

— А судьба — опередила!

— А отчего же кровь?

— Погоди, все расскажу.

— Умерла Дуня-то?

— Конечно!

Села она на лавку и тихо плачет, говоря:

— Кабы мы знали до рожденья, что нас ждет, — жились бы слезно: матушка богородица, не роди ты нас бабами! Ведь какая она милая была, Дуня-то, какая веселая да умная! Заели вы ее, мужичишки, дьяволы! Ограбили, обобрали — вот с чего начала она пить да гулять! А все из-за проклятой вашей войны! Погодите, черти неумные, когда бабы возьмутся за ум — они вам покажут, как войны эти затевать!

Мне и смешно и совестно слушать сердитые речи ученицы и подруги моей; сидя рядом с нею, глажу молча ее руку, а она, не глядя на меня, жалуется:

— Всю ночь места себе не могла найти, так боялась! У-у! Бить бы тебя!

И вдруг, порывисто обняв, шепчет, улыбаясь сквозь слезы:

— Блаженный ты мой...

Это у нее выходит вроде дурачка, — ну что же...

Жмусь я к ней, точно малый ребенок к матери, на душе становится спокойно и легко, черные дела ночи тают в памяти моей.

Положила она голову мою на колени себе, гладит щеку мне теплой рукой.

— Рассказывай! Где Егор, дома?

Неожиданно для себя я спрашиваю ее.

— Любишь ты его?

Она тихо и горячо отвечает:

— А как же! Конечно, люблю! Да ты говори же!

Я начал, но, сказав слов с десяток, вдруг, не помню как — заснул.

Разбудил меня Алексей, уходивший с Кузиным в город. Стоит он надо мной, дергая меня за руку и сердясь. — А ты скорее! Понял?

Оглядываюсь — он нахмурен и строг. Варя стоит среди горницы одетая.

— Да очнись ты! — жалобно просит она. — Слышишь — Кузина заарестовали!

Это сразу поставило меня на ноги.

Оказалось — разговорчивый старик засиделся у знакомой нам учительницы, балагурия с нею и братом ее, а ночью явилась полиция, арестовала брата и сестру да, кстати, забрала и Кузина.

— Нашли у них что-нибудь? — спрашиваю.

— Кто ж это знает? — тихо ответил Алеша. — Жан-дармы из губернии приехали! Ты иди, Варвара Кирилловна, зови скорее Егора-то!

Уходя, она ворчит:

— Покажет вам себя Кузин этот!

А я хожу по комнате и не могу явить себе Петра Васильева, как он, прихрамывая, зашагает с полицейскими в тюрьму.

Алеша сидит на печи и, болтая ногами, скучновато рассказывает:

— Я тоже там был у них, обедал и потом долго сидел, ладно, что во-время ушел. Он там с Федором и Лидией насчет бога, конечно, сцепился — интересно говорил, я тебе скажу!

И, наклонясь ко мне, оживленно продолжает:

— Помогите, говорит, богу! Что это значит? Он же всемогущ? Воистину так, — а вы есть рассеянные крупички и части силы его необъятной и, соединяясь, — увеличиваете мощь его, разъединяясь, — уменьшаете. Доказывает по-славянски... жаль, не понимаю я этого языка!

Меня арест Кузина не беспокоит. Не думая о том, как он будет держать себя перед начальством, я верю — не велик это вред, коли с большой лесной рубки кто-то украдет лесину или пять.

— Мы с Филиппом заранее узнали про обыск, да все-таки поздно! Я сижу у него, читаю, вдруг он прибежал — сейчас, говорит, встретился мне помощник исправника и сказал, что торопится на обыск. Я побежал было к Сус-

ловым, но у ворот их полиция стоит, — прошел мимо. Как ты думаешь — что теперь будет?

— Не знаю! — говорю. — Почему-то чувствую, что все это боком пройдет.

— Лишнего он не скажет! — уверенно молвил Алеша. — Филипп, зная его меньше меня, иначе думает: он махнул в губернию, а в лавочке остался этот новый, из города, сумрачный человек. Он — чистый, а в лавке ничего нет лишнего, только бумага одна, да о ней не догадаются, наверно. Они уж и товар разложили, книжки, детские игрушки, на окнах картонки висят с ручками, карандашами. И вывеска готова: «Книжная и писчебумажная торговля Горчакова», а Филипп с бородой своею — совсем купец! Он в городе со всеми знаком — смешно видеть...

— Все пройдет мимо! — говорю я, ибо ощущаю уверенность в этом и она — растет.

Пришел Егор; кафтан у него, несмотря на холод, внакидку, рубаха не опоясана, рукава засучены. Хмуро оглянул нас круглыми глазами и спрашивает:

— Ну?

Слушая рассказ Алеши, он свистит тихонько, барабанил пальцами по столу и, не мигая, смотрит на меня несвойственно ему мягким взглядом.

— Рановато попал старик! — сожалительно говорит он. — И жалко, что один, никого нет с ним наших! Тёзка, ты не думаешь, что арест этот тебя касается?

— Нет.

— Ты бы все-таки ушел из деревни куда-нибудь, а? На всякий случай.

— Надо подумать.

— Подумай!

Алеша тоже советует.

Я не выпался, в голове мутно, туманно, думать лень. Алексей уходит — сегодня у него чтение; где-нибудь в овине соберутся ребята и просидят до позднего вечера.

Надевая кафтан в рукава, Егор говорит:

— Я тоже иду, мне надо сани чинить. Давеча родитель проповедь мне читал, все упрекает, что мало я работаю, разоряемся мы, плачется. И мать тоже — в два голоса донимали. Да! Мешают несколько родители нашему

брату, надо бы прямо из земли родиться, она умнее отцов-матерей. Так ты, тёзка, подумай, да поскорее — к вечеру надо это решить. Варвару Кирилловну я попросил — пусть она погуляет, послушает, что народ говорит. Отец чего-то намеки мне кидал про Астахова, что он всех может съесть. На мельницу начальство явилось — видимо-невидимо сколько его! Тятка бросился туда, как обожженный. До свиданья! До вечера!

Он взял меня за руку, пожимает и говорит, опустя голову:

— Чорт его знает — бьется у меня в сердце какая-то тревога — с устатку, что ли?

— Ты, — спрашиваю, — Кузину веришь?

— Нарочно зла не сделает, верю! А не нарочно — всякий может.

Он усмехнулся и говорит:

— Скучно ему будет одному! Ваню бы туда посадить для беседы с дядей и отвердения души, а то Ваня очень жалостлив: все жалуется, что Никина напрасно обидели мы, и утешает его. А Никин той порой — лес возит на избу себе. Ну, до вечера!

Ушел. Но оставил мне часть своей тревоги.

Над деревней давно уже носятся белые мухи, лениво падая на истоптанную землю, одевают ее прозрачной, тонкой пеленой сухого снега. Торопливо проходят взад и вперед по улице наши серые мужички; голоса звонки, и громок бодрый шаг. Вот плывут празднично одетые женщины, среди них, высоко подняв голову, Варвара — она что-то рассказывает, остановясь посреди улицы, слышу, как мягко бьется в стекло окна ее густой и сильный голос. Осыпанный белыми снежинками, подошел Милов, спросил о чем-то и, передвинув с боку на бок шапку, потупившись, плетется дальше.

Надо бы Варю домой звать, да неловко мне постучать в стекло.

Проскакал верховой, взмахивая локтями, словно курица крыльем, бабы закричали вслед ему и спешно разбежались, а Варя осталась одна, как береза в поле, и, погладев вдоль улицы из-под руки, идет к воротам.

Вот она на пороге, розовая и свежая, снимает кофту и говорит:

— Насмотрелась, наслушалась, все дела разнюхала — ай, батюшки! Как деревня-то вздыбилась! Астахов Скорнякова попрекает шинком — дескать, это разврат. Скорняков божится, что ничего не знал, а Гнедой поливает обоих — беда! У сборни крик, шум стоит...

Она двигается, точно рыба в воде, плавно и щеголевато играючи сильным телом, — люблю я смотреть на нее...

— Скорняков боится, уже пустил слух, что этой зимою начнет сводить лес свой, — хочет задобрить народ, чтобы молчали про шинок-то, — работа, дескать, будет. А Астахов кричит — врет он, лес у нас с ним общий, неделимый, еще тяжба будет в суде насчет границ... Не знают мужики, чью руку держать, а в душе всем смерть хочется, чтобы оба сгинули!

Варя смеется, закрыв лицо рукой.

— Кирик отличился: говорил за Астахова, Кузьма-де и богу и начальству — любезный человек, умница, грамотник, миру защитник, недаром-де мы его в Думу послать собрались, да вдруг как начнет матюкать защитника-то! Все глаза вытаращили, а потом — хохочут! Кирик крутит головой, смеясь: «Эко, говорит, как я ошибся! Уж больно он меня окарнал, сукин сын, Кузька-то, забыть нельзя!» Да и начал, и начал грабежи его считать! Народ кричит: «Кирик, где же у тебя правда?» Обозлился он и скажи: «Там же, где и у вас, сволочи!» Да такое место назвал — срамота!

Стыдливо и лукаво присунулась она ко мне, замолчала, а потом тихо и грустно шепчет:

— Знаешь, про тех, что на мельнице лежат, как будто и забыли все, только бабы одни втихомолку вспоминают Дуню... ой, что это?

Быстрый топот в сениях, распахнулась дверь, на пороге встал Досекин и, задыхаясь, шепчет:

— Солдаты приехали, жандармы, тебя, тёзка, спрашивают, схватили Гнедого!

Екнуло у меня сердчишко, замерло. Хотел встать на ноги — Варя обняла меня, держит, вижу ее милые глаза, бледное лицо, слышу тихий голос:

— Беги скорее в лес!

И Егор повторяет:

— Беги!

Схватил меня за руку, смотрит в лицо мне, тащит к двери.

— Поздно бежать-то! А отсюда скорее уходить надо. Обнял Варю, поцеловал. Обнял меня тёзка.

— Берегите, — говорю им, — друг друга!

А у самого сердце вдруг взыграло, налилось и тоской и силой. Жарко стало мне.

— Может, еще успеешь? — шепчет Егор, а Варя, бледная, толкает меня к двери:

— Иди скорее, милый, иди ты!

Выскочил я на двор, пробежал огородом, перескочил плетень, — по тропе в кустах идут двое солдат, увидали:

— Стой!

И оба, взбросив ружья к плечу, прицелились.

— Что вы, — говорю, — с ума сошли?

— Молчать!

И повели раба божия один впереди, другой сзади. Идем задворками, падает снег, белит землю и серую шинель солдат.

Встречу идут еще солдат и маленький офицерик в башлыке.

— Кто такой? — грозно кричит он.

— Егор Петров Трофимов.

Тогда он командует солдату своему:

— Иди, доложи ротмистру — Трофимов задержан. Слышишь? Трофимов!

Личико у него маленькое, розовое, с черными усами и гордое, как новенький пятиалтынный. Руки в толстых желтых перчатках и лакированные сапожки на ногах.

Идем.

— Куда ж вы меня ведете? — спрашиваю.

— Не ваше дело!

— Верно, — говорю, — но, может быть, вам нужно ко мне на квартиру?

— Конечно!

— Прошли мимо ее.

В горнице у меня — жандарм, солдаты и высокий, осанистый жандармский офицер, с острой седой бородкой и большими усами, — концы их висят вниз, кажется, что

у него три бороды. Книги побросаны на пол, все пере-
рыто.

— Трофимов? — басом спрашивает офицер и доба-
вляет: — Он же — Николай Смирнов, а?

«Эге! — думаю, — какой ты образованный!»

У меня ноют ноги. Дверь в комнату не притворена,
мне холодно, тоскливо и обидно среди этих людей. Лгать
им — я не могу, я не хуже их.

Соображаю: если они — эти — знают мое настоящее
имя, стало быть, Кузин тут ни при чем, а провалился я
как-то случайно, что-нибудь напутали брат и сестра Сус-
ловы, и это хорошо, что я буду около Кузина завтра же.

Ротмистр кричит, потрясая тремя бородами:

— Я спрашиваю — это ты бывший штабный писарь
Т-го резервного батальона Николай Смирнов?

— Трофимов я, Егор Петров.

Кричит грозно:

— Врешь!

Очень легко сердится оно, начальство.

Маленький офицерик оглядывает меня, раскрыв рот,
как голодный вороний птенец, нижние чины смотрят
строго и внимательно. Ротмистр пишет. Скрипит перо, ца-
рапая меня по сердцу.

На рассвете мы шагали в город — я, Гнедой и пятеро
конвойных, а все остальное начальство поехало куда-то
дальше.

Идти трудно. Густо падают хлопья снега, и мы барах-
таемся в нем, как мухи в молоке. Сквозь белую муть то
справа, то слева темными намеками плывут встречу нам
кусты, деревья, бугры еще не засыпанной снегом земли.

Солдаты не выспались, голодны и злы, орут на нас,
толкаются прикладами; Гнедой зуб за зуб с ними, и раза
два его ударили, больно, должно быть.

Он буйнит: размахивает руками, кричит, плюется,
в рот ему попадает снег.

— Я сам солдат! Солдат должен правду защищать!

— Поговори! — грозно предупреждает его один кон-
войный, а другой насмешливо спрашивает:

— Какую?

— Таковую! Всеобщую правду! А вы — Кузьку богача,
мироеда защищаете!

— Дай ему по башке, Ряднов!
Это надо прекратить.

— Земляки, — убеждающе говорю я, — не на то вы сердитесь, на что нужно...

— Разговаривай! — рычит солдат.

— Изволь! С разумными людьми говорить приятно. Сердиться нужно на то, что не дали вам подвод, а заставили шагать пешком...

— Из-за кого? Из-за вас, чертей!

— Не дали ни чаю попить, ни поесть, ни выспаться...

— Это он верно говорит! — отозвался солдат сзади меня.

— У нас все верно! — гордо заявляет Гнедой.

— Слушай их, они скажут!

Старшой, заглядывая мне в лицо, хмурит брови.

Я продолжаю, уверенно и ласково:

— Все это можно исправить, земляки! С версту пройдет — будет на дороге деревня, а в ней — чайная, вот вы зашли бы, да попили чаю, и нам тоже позвольте. А так — ни вам, ни нам с лишком тридцать верст места не одолеть!

Старшой фыркает, стряхивая снег с усов, и мягко говорит:

— Это — можно! Это — ничего, земляк, можно!

И все ему поддакивают:

— Конечно!

— Не худо!

— Близо деревня-то?

— Не пожравши, и блоха не прыгает!

А Гнедой поучает:

— Видите — мы же вас и жалеем!

Старшой был у меня на обыске, мы вместе ночевали, и ночью я с ним немножко поговорил о том, о сем. Он и еще один рослый солдат, Ряднов, шагающий рядом со мной, спокойнее других, остальные трое, видимо, давно болеют тоской и злостью. Они все худые, костлявые и навсегда усталые, словно крестьянские лошади, у них однообразно стертые лица и тупые, безнадежные глаза.

— Водим мы вас, водим, — тихо говорит Ряднов, — конца нет этому маршу!

— Отчего эта история идет в народе, земляк? —

спрашивает старшой, косясь на меня. — Какая тому причина, что никто не имеет покою?

Я начинаю объяснять им историю и причину, они сбиваются в плотную кучу, прижав ко мне Гнедого, их глаза недоверчивы, усы и брови в мутных каплях талого снега, и все они словно плачут тяжелыми слезами.

— Даже удивительно, до чего нехорошо все! — слышу я сзади себя тихое, искреннее восклицание, и кто-то горячо дышит в затылок мне.

Я их знаю, солдат: они все равно как дети — такие же доверчивые и такие же жестокие. Они — как сироты на земле — ото всего оторваны, и своей воли нет у них. Русские люди, значит — запуганные, ни во что не верят, ждут ума от шабра, а сами боятся его, коли видят, что умен. А еще я знаю, что пришла пора, когда всякий человек, кто жить хочет, — должен принять мою святую веру в неборимость соединенных человеческих сил. Поэтому я, не стесняясь, говорю им, что думаю.

— Плохо слышно! — с досадой ворчат назад.

— Снег этот в уши набивается!

Гнедой доволен и бурчит:

— То-то вот оно!

Разговариваем всю дорогу до деревни, и, лишь войдя в улицу, наши конвоиры снова погрубели и грозно командуют нами.

Но придя в чайную и дождавшись, когда нам дали чаю и хлеба, они свирепо изгнали хозяев, расстегнулись, встряхнулись и снова, подобрев, смотрят на нас мягко и внимательно слушают мои речи.

Жуют хлеб, глотают чай, чмокают губами, и серые стриженные головы их печально покачиваются.

Ряднов спрашивает:

— А что, там в деревне остались еще люди вашей веры?

Гнедой, чорт его возьми, гордо орет:

— А как же! У нас по всей округе...

Я ударил его ногой под столом, солдаты заметили это и хмуро улыбаются, а один спрашивает, подмигивая:

— Ты что, землячок, язык-то прикусил?

Гнедой, красный весь, пыхтит, двигая ногою, и все-таки говорит смущенно:

— Что ж, двое, что ли, нас?

— Стало быть, — широко ухмыляясь, говорит старшой, — вас отведем — за другими пошлют?

Красные распотевшие рожи солдат разное улыбаются, а один из троих насмешливо говорит:

— Занятие!

И злой чей-то голос вторит ему:

— Приказали бы перебить всех сразу — правых, виноватых, — вот и покой!

Пользуясь минутой задумчивости, обнявшей их, спрашиваю Гнедого:

— Оговорил-таки тебя Кузьма-то?

— Не он! — быстро отвечает Гнедой. — Это Мозжухин с Лядовым, Скорняков, главное, и другие еще там! Что говорили! «Ваши благородия, он — это я — не иначе китайцами подкуплен и самый вредный человек на деревне: начальство позорит и нас всех тоже, одни, говорит, китайцы хороши!»

Солдаты подозрительно смотрят на нас, и Ряднов спрашивает:

— А ты откуда знаешь их, китайцев?

— Я-то? — гордо кричит Гнедой. — Вона! Да я же на войне на этой был, в плену был, крест имею Егория — вот он, крест-от, он у меня тут...

Торопливо полез в карман штанов, вынул оттуда горсть какого-то мусора и, шевыряя в ней толстым пальцем, сокрушенно бормочет:

— Эх ты, дуй те горой! Крест-от я забыл, ребята! Н-ну, это нехорошо — была бы мне все-таки защита, а я его забыл, а-ах!

— Коли имеешь — это начальству известно! — ободряя его, говорит старшой, потом командует:

— Собирайсь, живо!

Солдаты застегиваются, берут в руки ружья; они смотрят на Гнедого с любопытством, задумчиво, сожалеательно.

Но Гнедой уже оправился; значительно хмурясь, он высоко поднял руку и, кому-то грозя темным кривым пальцем, таинственно говорит:

— Я, ребята, людей этих, китайцев, японцев, близко видел — и которые воюют, и которые землю пашут... Ну

как они землю свою взбадривают!.. боже мой! постеля невесте, а не пашня! Это же настоящий рабочий народ — и зачем ему драться, ежели такая земля, и, конечно, они всё издали больше, вовсе они и не хотят войны, потому сеют они этакое особое просо...

Снова плотным клубком серых тел катимся мы по дороге сквозь зыбкую пелену снежной ткани, идем тесно, наступая друг другу на пятки, толкаясь плечами, и над мягким звуком шагов по толстому слою мокрых хлопьев, над тихим шелестом снега — немолчно, восторженно реет крикливый, захлебывающийся голос Гнедого.

Спотыкаясь, позванивая штыками, солдаты стараются заглянуть ему в лицо, молча слушая сказку о неведомой им щедрой земле, которая любит работников своих. Снова их красные лица покрыты мутными каплями талого снега, течет он по щекам их, как тяжкие слезы обиды, все дышат громко, сопят и, чувствую я, идут всё быстрее, точно сегодня же хотят достичь той сказочной, желанной земли.

И уже нет между нами солдат и арестантов, а просто идут семеро русских людей, и хоть не забываю я, что ведет эта дорога в тюрьму, но, вспоминая прожитое мною этим счастливым летом и ранее, — хорошо, светло горит мое сердце, и хочется мне кричать во все стороны сквозь снежную тяжелую муть:

«С праздником, великий русский народ! С воскресением близким, милый!»

ПРИМЕЧАНИЯ

В восьмой том вошли повести «Жизнь ненужного человека», «Исповедь», «Лето», написанные М. Горьким в 1907—1909 годах. Все они включались в предыдущие собрания сочинений писателя и неоднократно редактировались им. Повести «Жизнь ненужного человека» и «Исповедь» в последний раз редактировались автором при подготовке собрания сочинений в издании «Книга», 1923—1927 годов. Повесть «Лето» после Октябрьской революции М. Горьким не редактировалась.

ЖИЗНЬ НЕНУЖНОГО ЧЕЛОВЕКА

Впервые часть повести, составляющая около одной трети ее (до слов: «Старик жил в длинной и узкой белой комнате, с потолком, подобным крышке гроба», — см. главу VII настоящего издания, стр. 74), напечатана без разделения на главы в «Сборнике товарищества «Знание» за 1908 год», книга двадцать четвертая, СПб, 1908. Остальное не могло быть напечатано из-за цензурных препятствий до 1917 года. 25 ноября 1908 года К. П. Пятницкий телеграфировал М. Горькому, что сборник с окончанием повести вызвал бы немедленную конфискацию книги (Архив А. М. Горького). В двадцать пятом сборнике «Знания» напечатано следующее сообщение: «Окончание повести «М. Горький. Жизнь ненужного человека» не могло быть напечатано в этом сборнике по причинам, не зависящим ни от автора, ни от издательства».

Одновременно повесть полностью была напечатана в издании И. П. Ладыжникова, Берлин (без обозначения года издания).

В период работы над повестью М. Горький в своих письмах называл ее «Шпион». Первые упоминания о работе над повестью содержатся в письмах М. Горького к И. П. Ладыжникову от февраля 1907 года. В одном из этих писем М. Горький сообщал, что он пишет повесть «Шпион». В другом письме говорится о том, что вслед за «Шпионом» и в противовес ему он будет писать другую вещь — «Исповедь» (Архив А. М. Горького).

Повесть «Жизнь ненужного человека» была закончена летом 1907 года, то есть на 7—8 месяцев раньше «Исповеди», но, по указанию автора, была напечатана позднее этой повести. В феврале 1908 года М. Горький просил К. П. Пятницкого оставить пока в стороне «Шпиона» и сообщал, что дней через десять для ближайшего сборника «Знания» будет выслана новая повесть, которую необходимо напечатать в первую очередь (Архив А. М. Горького).

В письме к В. Л. Львову-Рогачевскому, относящемся к середине 1908 года, М. Горький сообщал, что повесть написана «по рассказу героя, служившего в одном охранном отделении, и автобиографической записке его товарища» (Архив А. М. Горького).

До Октябрьской революции большая часть повести оставалась под цензурным запретом. Было строго запрещено также и распространение заграничных изданий повести на русском и иностранных языках. Так, 24 февраля 1910 года цензор докладывал центральному комитету иностранной цензуры в связи с выходом повести в переводе на французский язык: «Автор задался целью нарисовать всю грязь шпионства и провокации, с одной стороны, и благородство революционеров — с другой... Такая тенденция романа уже затрудняет его дозволение, а так как автор при всяком удобном случае упоминает о царе, о намерениях революционеров относительно его особы и дает понять, что все, что делается худого в России, то делается во славу царя и по его приказанию, то ясно, что книжка подлежит запрещению... полагаю, что книжка эта не только должна быть запрещена, но и не выдаваема по просительным запискам».

Комитет постановил: «Запретить и не выдавать». (Сб. «М. Горький. Материалы и исследования», М. — Л., 1941, т. III, стр. 431).

В 1914 году издательство «Жизнь и знание» решило выпустить «Жизнь ненужного человека» полностью десятым томом сочинений М. Горького. Книгу отпечатали, но она была задержана цензурой.

В феврале 1914 года петербургский комитет по делам печати постановил «возбудить уголовное преследование против автора... и наложить... арест на книгу «М. Горький. Жизнь ненужного человека». 19 мая 1914 года решение это было приведено в исполнение: «...из всех арестованных 10 400 экземпляров книги... — говорится в специальном донесении комитету по делам печати, — сделаны вырезки... со стр. 138 до конца книги» и «в переплетной Кана уничтожены» (Архив А. М. Горького). В книге осталась лишь та часть повести, которая входила в двадцать четвертый сборник товарищества «Знание», с добавлением текста из VII главы объемом меньше страницы (кончая словами: «Он все время тихонько барабанил по столу длинными пальцами», стр. 74).

«Вырезки», то есть две трети повести, рисующие деятельность органов царской охраны и ее служителей, впервые появились в свет только в 1917 году. Издательство «Жизнь и знание» в своем предисловии к книге, говоря о цензурной расправе над повестью в 1914 году, сообщало: «Распорядительное заседание судебной палаты почти полностью присоединилось к мнению цензуры, и нам удалось спасти

от уничтожения только первые шесть с половиною глав..., причем мы могли лишь глухо оговориться в примечании, что «независящие от нас обстоятельства заставили нас выпустить книгу в крайне сокращенном виде» — ничего другого по этому поводу царская цензура нам не разрешила напечатать... В настоящее время мы выпускаем в свет, как *вторую книгу десятого тома*, весь конец, начиная с VII главы, этого произведения А. М., руководствуясь тем, что многие читатели уже приобрели его первые шесть глав, выпущенные нами в десятом томе и которые мы будем теперь считать лишь *первой книгой этого тома*».

После 1917 года «Жизнь ненужного человека» включалась во все собрания сочинений.

Печатается по тексту, подготовленному М. Горьким для собрания сочинений в издании «Книга».

ИСПОВЕДЬ

Впервые напечатано в «Сборнике товарищества «Знание» за 1908 год», книга двадцать третья, СПб, 1908, с подзаголовком «Повесть».

Одновременно повесть вышла отдельной книгой в издании И. П. Ладженикова, Берлин, 1908.

В 1930 году М. Горький вспоминал: «...«Исповедь» написана по рассказу одного нижегородского сектанта и по статье о нем Кудринского, «Богдана-Степанца», преподавателя нижегородской семинарии» (Архив А. М. Горького). Тогда же, в очерке «На краю земли», М. Горький указывал, что в «Исповеди» отразилось кое-что из рукописи некоего Левонтия Поморца. Эту рукопись привез в конце 80-х годов из сибирской ссылки С. Г. Сомов и познакомил с нею молодого Горького.

Работу над «Исповедью» М. Горький начал в 1907 году и закончил в начале 1908 года. В январе 1908 года М. Горький писал К. П. Пятницкому, что он усиленно работает над повестью (Архив А. М. Горького). В феврале того же года он уведомлял И. П. Ладженикова: «...А сейчас — кончаю повесть, кажется, интересную. Она будет названа «Житие» или как-то в этом духе. Герой — странник по святым местам» (Архив А. М. Горького). 6 марта, направляя К. П. Пятницкому более половины повести, М. Горький сообщал ему, что конец ее будет готов дней через пять, и просил напечатать все произведение непременно в одном сборнике (Архив А. М. Горького).

30 июня 1908 года М. Горький писал К. П. Пятницкому, что нетерпеливо ждет выхода «Исповеди» (в русском издании), что за границей о ней уже кричат. Не раз М. Горький говорит о повести и в дальнейшей переписке с К. П. Пятницким, относящейся к лету того же года. Однако уже к осени 1908 года в авторской оценке повести наметился известный перелом. 31 августа 1908 года М. Горький писал В. Я. Брюсову об «Исповеди»: «Сам я очень недоволен ею...» (Архив А. М. Горького).

«Исповедь» писалась М. Горьким в период столыпинской реакции, о котором в «Истории Всесоюзной коммунистической партии (большевиков)» говорится:

«Поражение революции 1905 года породило распад и разложение в среде попутчиков революции. Особенно усилились разложение и упадочничество в среде интеллигенции...»

Упадочничество и неверие коснулись также одной части партийных интеллигентов, считавших себя марксистами, но никогда не стоявших твердо на позициях марксизма. В числе них были такие писатели, как Богданов, Базаров, Луначарский (примыкавшие в 1905 году к большевикам), Юшкевич, Валентинов (меньшевики). Они развернули «критику» одновременно против философско-теоретических основ марксизма, то-есть против диалектического материализма, и против его научно-исторических основ, то-есть против исторического материализма... Часть отошедших от марксизма интеллигентов дошла до того, что стала проповедывать необходимость создания новой религии (так называемые «богоискатели» и «богостроители»)» («История Всесоюзной коммунистической партии (большевиков). Краткий курс», Госполитиздат, 1945, стр. 96—97).

Под влиянием группы Богданова — Луначарского, с которой М. Горький был в то время связан, он допустил ряд ошибок философского характера, в частности развивая идею «богостроительства», нашедшую отражение в повести «Исповедь».

Позднее, объясняя задачу, которая ставилась им в «Исповеди», М. Горький писал:

«Я — атеист. В «Исповеди» мне нужно было показать, какими путями человек может придти от индивидуализма к коллективистическому пониманию мира... Герой «Исповеди» понимает под «богостроительством» устройство народного бытия в духе коллективистическом, в духе единения всех по пути к единой цели — освобождению человека от рабства внутреннего и внешнего» (Архив А. М. Горького).

Таковы были намерения писателя. На деле же «Исповедь» с ее порочной идеей «богостроительства» давала материал для оправдания «новой» религии и поэтому была решительно осуждена В. И. Лениным.

В. И. Ленин и М. Горький, как это видно из их переписки, беседовали об «Исповеди» летом 1910 года. 22 ноября этого года В. И. Ленин писал М. Горькому из Парижа: «Когда мы беседовали с Вами летом и я рассказал вам, что совсем было написал Вам огорченное письмо об *«Исповеди»*, но не послал его из-за начавшегося тогда раскола с махистами, то Вы ответили: *«напрасно не послали»* (В. И. Ленин, Сочинения, изд. 8-е, т. XIV, стр. 375).

В. И. Ленин резко отрицательно отнесся к отголоскам «богостроительства», проявившимся несколько позднее и в публицистике М. Горького. В середине ноября 1913 года, когда в ряде газет появилась статья М. Горького «Еще о «карамазозщине», В. И. Ленин писал ему:

«Вчера прочитал в «Речи» ваш ответ на «вой» за Достоевского и готов был радоваться, а сегодня приходит ликвидаторская газета и там напечатан абзац Вашей статьи, которого в «Речи» не было.

Этот абзац таков:

«А «богоискательство» надобно *на время*» (только на время?) «отложить, — это занятие бесполезное: нечего искать, где не положено. Не посеяв, не сожнешь. Бога у вас нет, вы *еще*» (еще!) «не создали его. Богов не ищут, — *и х т о в д а ю т*; жизнь не выдумывают, а творят».

Выходит, что Вы против «богоискательства» только «на время»!! Выходит, что Вы против богоискательства *только* ради замены его богостроительством!!

Ну, разве это не ужасно, что у Вас *выходит* такая штука?

Богоискательство отличается от богостроительства или богосозидательства или боготворчества и т. п. ничуть не больше, чем желтый черт отличается от черта синего. Говорить о богоискательстве не для того, чтобы высказаться против *в с я к и х* чертей и богов, против всякого идельного труположства (всякий боженка есть труположество — будь это самый чистенький, идеальный, не искомый, а строяемый боженка, все равно), — а для предпочтения синего черта желтому, это во сто раз хуже, чем не говорить совсем.

В самых свободных странах, в таких странах, где *совсем* неуместен призыв «к демократии, к народу, к общественности и науке», — в таких странах (Америка, Швейцария и т. п.) народ и рабочих отупляют особенно усердно именно идеей чистенького, дужовного,

построемого боженьки. Именно потому, что всякая религиозная идея, всякая идея о всяком боженьке, всякое кокетничанье даже с боженькой есть невыразимейшая мерзость, особенно терпимо (а часто даже доброжелательно) встречаемая *демократической* буржуазией, — именно поэтому это — самая опасная мерзость, самая гнусная «зараза». Миллион грехов, пакостей, насилий и зараз *физических* гораздо легче раскрываются толпой и потому гораздо менее опасны, чем *тонкая*, духовная, приодетая в самые нарядные «идейные» костюмы идея боженьки. Католический поп, растлевающий девушек (о котором я сейчас случайно читал в одной немецкой газете), — *гораздо менее* опасен именно для «демократии», чем поп без рясы, поп без грубой религии, поп идейный и демократический, проповедующий созидание и сотворение боженьки. Ибо первого попа *легко* разоблачить, осудить и выгнать, — а второго *нельзя* выгнать так просто, разоблачить его в 1000 раз труднее, «осудить» его ни один «хрупкий и жалостно шаткий» обыватель не согласится.

И Вы, зная «хрупкость и жалостную шаткость» (русской: почему русской? а итальянская лучше??) *мещанской* души, смущаете эту душу ядом, наиболее сладеньким и наиболее прикрытым леденцами и всякими раскрашенными бумажками!!

Право, это ужасно.

«Довольно уже самооплеваний, заменяющих у нас самокритику».

А богостроительство не есть ли *худший* вид самооплевания?? Всякий человек, занимающийся строительством *бога* или даже только допускающий такое строительство, *оплевывает себя* худшим образом, занимаясь вместо «деяний» *как раз* самосозерцанием, самолюбованием, причем «созерцает»-то такой человек самые грязные, тупые, холопские черты или черточки своего «я», обожествляемые богостроительством.

С точки зрения не личной, а общественной, *всякое* богостроительство есть именно *любовное самосозерцание* тупого мещанства, хрупкой обывательщины, мечтательного «самооплевания» филистеров и мелких буржуа, «отчаявшихся и уставших» (как Вы изволили очень верно сказать про *душу* — только не «русскую» надо бы говорить, а *мещанскую*, ибо еврейская, итальянская, английская — *все один черт*, везде паршивое мещанство одинаково гнусно, а «демократическое мещанство», занятое идейным труположеством, сугубо гнусно).

Вчитываясь в Вашу статью и *доискиваясь*, откуда у вас эта *описка* выйти могла, я недоумеваю. Что это? Остатки «Исповеди»,

которую *Вы сами* не одобряли?? Отголоски ее??» (В. И. Ленин, Сочинения, изд. 3-е, т. XVII, стр. 81—82).

В конце ноября или в начале декабря того же года, отвечая на письмо М. Горького, В. И. Ленин указывал:

«По вопросу о бже, бжеественном и обо всем, связанном с этим, у Вас получается противоречие — то самое, по-моему, которое я указывал в наших беседах во время нашего последнего свидания на Капри: Вы порвали (или как бы порвали) с «впередовцами», не заметив идейных основ «впередовства».

Так и теперь. Вы «раздосадованы», Вы «не можете понять, как проскользнуло слово на время» — так Вы пишете — и в то же самое время Вы защищаете идею Бога и богостроительства.

«Бог есть комплекс тех, выработанных племенем, нацией, человечеством, идей, которые будят и организуют социальные чувства, имея целью связать личность с обществом, обуздать зоологический индивидуализм».

Эта теория явно связана с теорией или теориями Богданова и Луначарского.

И она — явно неверна и явно реакционна. На подобие христианских социалистов (худшего вида «социализма» и худшего извращения его) Вы употребляете прием, который (несмотря на ваши наилучшие намерения) повторяет фокус-покус поповщины: из идеи бога убирается прочь то, что исторически и житейски в ней есть (нечисть, предрассудки, освящение темноты и забитости, с одной стороны, крепостничества и монархии, с другой), причем вместо исторической и житейской реальности в идею бога вкладывается добренькая мещанская фраза (Бог = «идеи будящие и организующие социальные чувства»).

Вы хотите этим сказать «доброе и хорошее», указать на «Правду-Справедливость» и тому подобное. Но это ваше доброе желание остается вашим личным достоянием, субъективным «невинным пожеланием». Раз вы его написали, оно пошло в *массу*, и его *значение* определяется не вашим добрым пожеланием, а *соотношением общественных сил*, объективным соотношением классов. В силу этого соотношения *выходит* (вопреки Вашей воле и независимо от вашего сознания) выходит так, что вы подкрасили, подсахарили идею клерикалов, Пуришкевичей, Николая II и гг. Струве, ибо *на деле* идея Бога *им* помогает держать народ в рабстве. Приукрасив идею Бога, Вы приукрасили цепи, коими они сковывают темных рабочих и мужиков. Вот — скажут попы и К° — какая хорошая и глубокая

это — идея (идея Бога), как признают даже *«ваши»*, гг. демократы, вожди, — и мы (попы и К^о) служим этой идее.

Неверно, что Бог есть комплекс идей, будящих и организующих социальные чувства. Это — богдановский *идеализм*, затушевывающий материальное происхождение идей. Бог есть (исторически и житейски) прежде всего комплекс идей, порожденных тупой придавленностью человека и внешней природой и классовым гнетом, — идей, *закрепляющих* эту придавленность, *усыпляющих* классовую борьбу. Было время в истории, когда, несмотря на такое происхождение и такое действительное значение идеи бога, борьба демократии и пролетариата шла в форме борьбы *одной религиозной* идеи против другой.

Но и это время давно прошло.

Теперь и в Европе и в России *всякая*, даже самая утонченная, самая благонамеренная защита или оправдание идеи бога есть оправдание реакции.

Все ваше определение насквозь реакционно и буржуазно. Бог = комплекс идей, которые «будят и организуют социальные чувства, имея целью связать личность с обществом, обуздать зоологический индивидуализм».

Почему это реакционно? Потому, что подкрашивает поповско-крепостническую идею «обуздания» зоологии. В действительности «зоологический индивидуализм» обуздала не идея бога, обуздало его и первобытное стадо и первобытная коммуна. Идея бога *всегда* усыпляла и притупляла «социальные чувства», подменяя живое мертвечиной, будучи *всегда* идеей рабства (худшего, безысходного рабства). Никогда идея бога не «связывала личность с обществом», а всегда *связывала* угнетенные *классы* верой в *божественность* угнетателей.

Буржуазно ваше определение (и не научно, неисторично), ибо оно оперирует огульными, общими, «робинзонзовскими» понятиями вообще — а не определенными *классами* определенной исторической эпохи.

Одно дело — идея бога у дикаря зырянина и т. п. (полудикаря тоже), другое — у Струве и К^о. В обоих случаях эту идею поддерживает классовое господство (и эта идея поддерживает его). «Народное» понятие о боженьке и божедком есть «народная» тупость, забитость, темнота, совершенно такая же, как «народное представление» о царе, о лешем, о таскании жен за волосы. Как можете вы «народное представление» о боге называть «демократическим», я абсолютно не понимаю.

Что философский идеализм «всегда имеет в виду только интересы личности», это неверно. У Декарта по сравнению с Гассенди

больше имелись в виду интересы личности? Или у Фихте и Гегеля против Фейербаха?

Что «богостроительство есть процесс дальнейшего развития и накопления социальных начал в индивидууме и в обществе», это прямо ужасно! Если бы в России была свобода, ведь вас бы вся буржуазия подняла на щит за такие вещи, за эту социологию и теологию чисто буржуазного типа и характера.

Ну, пока довольно — и то затянулось письмо. Еще раз крепко жму руку и желаю здоровья.

Ваш В. У.»

(В. И. Ленин, Сочинения, изд. 3-е, т. XVII, стр. 84—86).

В 1910 году в «Заметках публициста», подвергая критике платформу сторонников и защитников отзовизма, к которым принадлежали Богданов, Луначарский и др., стремившиеся использовать авторитет М. Горького в своих фракционных целях, В. И. Ленин писал: «Горький — авторитет в деле пролетарского искусства, это бесспорно. Пытаться «использовать» (в идейном, конечно, смысле) *этот* авторитет для укрепления махизма и отзовизма значит давать *образчик* того, как с *авторитетами* обращаться не следует.

В деле пролетарского искусства М. Горький есть громадный *плюс*, несмотря на его сочувствие махизму и отзовизму. В деле развития социал-демократического пролетарского движения *платформа*, которая обособляет в партии группу отзовистов и махистов, выдвигая в качестве специальной групповой задачи развитие якобы «пролетарского» искусства, есть *минус*, ибо эта платформа в деятельности крупного авторитета хочет закрепить и использовать как раз то, что составляет его слабую сторону, что входит отрицательной величиной в сумму приносимой им пролетариату громадной пользы» (В. И. Ленин, Сочинения, изд. 4-е, т. 16, стр. 186—187).

Статьи и письма В. И. Ленина, а также его беседы с М. Горьким помогли писателю преодолеть допущенные ошибки.

Повесть «Исповедь» включалась во все собрания сочинений.

Печатается по тексту, подготовленному М. Горьким для собрания сочинений в издании «Книга».

ЛЕТО

Впервые с большими цензурными сокращениями напечатано в «Сборнике товарищества «Знание» за 1909 год», книга двадцать седьмая, СПб, 1909, с подзаголовком «Повесть». Одновременно

полностью напечатано отдельной книгой издательством И. П. Ладыжникова, Берлин (без обозначения года издания).

Над повестью «Лето» М. Горький работал в первой половине 1909 года. Из письма М. М. Коцюбинского к жене от 20 июня (ст. ст.) 1909 года видно, что М. Горький закончил повесть в июне 1909 года и 20 июня читал ее на о. Капри своим друзьям и знакомым (Сб. «О. М. Горький і М. М. Коцюбинський. Збірник матеріалів», Київ 1937, стр. 53).

М. Горький считал повесть «Лето» одним из набросков к задуманной, но не осуществленной им повести «Сын». В письме к В. А. Десницкому он сообщал:

«Предполагалось после «Матери» написать «Сын»; у меня были письма Заломова из ссылки, его литературные опыты, знакомства с рабочими обеих партий и с крупнейшими гапоновцами: Петровым, Инковым, Черемохиным, Карелиным, впечатления лондонского съезда, но всего этого оказалось мало. «Лето», «Мордовка», «Романтик», «Сашка» — можно считать набросками к «Сыну»...» (В. Десницкий, М. Горький, Гослитиздат, Л. 1940, стр. 263).

Вплоть до Октябрьской революции повесть «Лето» печаталась в России с большими цензурными сокращениями; распространение издания И. П. Ладыжникова было запрещено на основании цензурского доклада от 13 января 1910 года. В докладе говорилось: «В прилагаемом повествовании автор, по своему обыкновению, преподносит читателям свои пересказы на освободительные темы, причем в книжке, конечно, нет недостатка в суждениях социалистических, бунтовских и антимилитарных... На стр. 77, 82, 83, 87, 116, 122 автор выражает свое сочувствие революционерству, отрицает законы, даже восхваляет Стеньку Разина и Емельяна Пугачева, духовных праотцев русской революции. Полагал бы, что книжка должна быть запрещена ввиду ее совершенно определенного направления...» (Сб. «М. Горький. Материалы и исследования», М. — Л. 1941, т. III, стр. 429—430).

Значительные изъятия были сделаны в повести общей и военной цензурой при публикации ее в четырнадцатом томе собрания сочинений М. Горького, издание «Жизнь и знание», Петроград 1916.

Повесть включалась во все собрания сочинений.

Печатается по тексту хранящейся в Архиве А. М. Горького машинописной копии, подготовленной автором для двадцать седьмой книги «Сборника товарищества «Знание» за 1909 год», с восстановлением всех цензурных изъятий по изданию И. П. Ладыжникова.

ИЛЛЮСТРАЦИИ

1. А. М. Горький. Капри. 1907—1908 гг.
2. А. М. Горький. Капри. 1907—1908 гг.
3. Первая страница машинописного текста повести «Жизнь ненужного человека» (ранняя редакция 1908 г.).
4. А. М. Горький. Капри. 1908 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Жизнь ненужного человека	5
Исповедь	211
Лето	379
Примечания	499
Иллюстрации	511

Подписано к печати 31/VIII-50 г. А-06552.
Формат бумаги 84×108 1/32=8 бум. лист. 26,24 печ. листа.
25,79 уч.-авт. листа. Тираж 300 000. Цена 12 руб. Зак. № 737.

2-я типография «Печатный Двор» им. А. М. Горького Главполиграф-
издата при Совете Министров СССР,
Ленинград, Гатчинская, 26,